ISSN 0130-6545

12.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

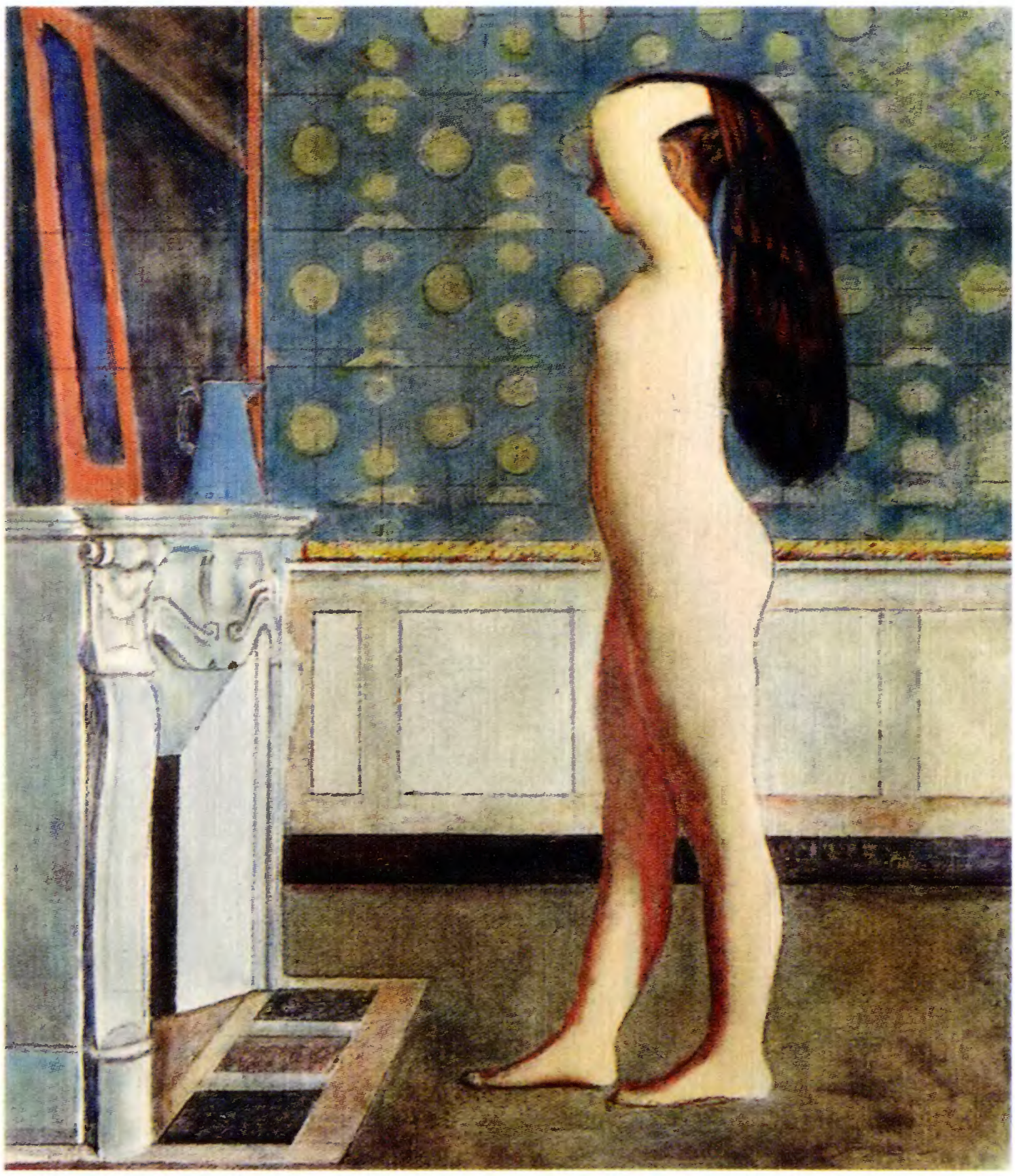
В номере:

ДИЛАН ТОМАС
Рассказы

ПЕТЕР ТУРРИНИ
Всё, наконец

ПАУЛЬ ЦЕЛАН
Псалом

ЛИТературный ГИД ⇨ Тень Набокова



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

**Из общего тиража в 13 350 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 3 500 экземпляров.**

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

12 декабрь 1999

СОДЕРЖАНИЕ

ДИЛАН ТОМАС — Рассказы *(Перевод с английского и вступление Е. Суриц)* 5
ПЬЕР РЕВЕРДИ — Стихотворения в прозе *(Перевод с французского и вступление Алины Поповой)* 25
ПЕТЕР ТУРРИНИ — Всё, наконец *(Монолог. Перевод с немецкого Л. Бухова)* 31
КРИСТОФЕР БАКЛИ — Здесь курят *(Роман. Окончание. Перевод с английского Сергея Ильина)* 46

Вглубь стихотворения

ПАУЛЬ ЦЕЛАН — Псалом *(Переводы с немецкого. Вступление Н. Мавлевич)*. ФИЛИПП ЛАКУ-ЛАБАРТ — Молитва *(Перевод с французского Н. Мавлевич)* 122

Литературный гид

ТЕНЬ НАБОКОВА

ВЛАДИМИР НАБОКОВ — Убедительное доказательство *(Последняя глава из книги воспоминаний. Перевод с английского С. Ильина)* 136
ЧАРЛЬЗ КИНБОТ — Серебристый свет. *Подлинная жизнь Владимира* Набокова *(Начальные главы романа. Перевод с английского и послесловие С. Ильина)* 146
ЭРИК ОРСЕННА — Два лета *(Повесть. Перевод с французского Т. Бунтман и А. Дегтярь)* 172
АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ — Перехитрить Набокова 217

Галерея «ИЛ»

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ — Музыка молчания, или Время зеркал 230

Среди книг

А. ВИНОГРАДОВА — Неолиризм. С. БЕЛОВ — О пользе огурца и правоте тещи. Л. ГИНЦБЕРГ — Третья империя: каждодневный ад 234

У книжной витрины 241

Курьер «ИЛ» 243

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1999 год, № 1—12 246

Авторы этого номера 251

Анкета для читателей 253

©«Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

«МОЕ СТОЛЕТИЕ» — фрагменты новой книги нобелевского лауреата 1999 года немецкого писателя **Гюнтера Грасса**, состоящей из ста глав (по одной — на каждый год) и представляющей собой своеобразную мозаичную картину жизни Германии в уходящем веке.

Основанная на автобиографическом материале проза французского писателя, знаменитого «отца нового романа» **Алена Роб-Грийе** «АНЖЕЛИКА, ИЛИ ЧАРЫ» — фантастический сплав рыцарского романа, эротических грез и реальных воспоминаний.

Новая пьеса польского драматурга и прозаика **Славомира Мрожека** «ПРЕКРАСНЫЙ ВИД» — две пронизанные иронией, лаконичные и обманчиво простые детективные сценки.

В рубрике «*Документальная проза*» — главы из книги популярного перуанского писателя **Марио Варгаса Льосы** «РЫБА В ВОДЕ», где он рассказывает истории из своей жизни, которые легли в основу самых известных его романов.

Герой рубрики «*Портрет в зеркалах*» — крупнейший ирландский писатель и драматург **Сэмюэл Беккет**, чье творчество по-новому представило мироощущение человека XX века и обозначило целую эпоху в современной литературе.

Цветные иллюстрации номера — работы французского художника БАЛЬТЮСА (род. в 1908 г.):
На 1-й стр. обложки — «Терпение» (1943)
На 2-й стр. обложки — «Обнаженная перед камином» (1955)
На 3-й стр. обложки — «Читающая Катя» (1968)

В Москве журнал можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Большая Никитская, д.46
«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 30.11.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,54. Заказ №166.

Тираж 13 350 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

ДИЛАН ТОМАС

Рассказы

Перевод с английского Е. СУРИЦ

От переводчика

Своей славой, прижизненной, странной, феерической, чуть-чуть скандальной славой, которая после ранней смерти (в 1953 году, от алкогольного отравления) стала, как это водится, вовсе уж гремучей, оглушительной, легендарной, затем подвергалась сомнению, пересматривалась, но сейчас, почти полвека спустя, остается неоспоримой и прочной, Дилан Томас, одно из самых ярких лиц в английской литературе уходящего века, обязан не только своим стихам, но (быть может, в равной мере) и прозе.

Просто со стихов начиналось. Юный валлиец приехал завоевывать Лондон — и сразу завоевал. Он прославился двадцатилетним (в 1934 г.), после первого же сборника «Восемнадцать стихотворений». Сборники пошли один за другим. Витально напористые, барочные, темные, яркие, глубинно мистические, его стихи ошеломляли. Он стал кумиром юных поэтов, пытавшихся подражать его неподражаемости. Эти строфы заучивали (и сейчас заучивают) наизусть.

Есть, однако, немало свидетельств, что прозой своей — сначала шифрованной, сюрреалистической, с годами все более лиричной и ясной — Томас дорожил не меньше. Блистательный чтец, он любил читать по радио собственные рассказы, тем весьма приумножая их необыкновенную популярность. (Кстати, публикуемое ниже «Детство, Рождество, Уэльс» до сих пор читают по Би-би-си каждый год на Рождественских праздниках.) Проза Томаса — естественное продолжение стихов. У них один источник питания. Как-то, в частном письме, он походя сформулировал свой общий писательский принцип: «...надо только нырнуть глубоко в себя, как щенок ныряет в море». Пресловутый томасовский щенок! Любимая, смиренно ироническая поза. Самоуподобление, нашептавшее идею похитить у Джойса название романа, чтобы перекроить на себя. Книга Томаса, написанная по мотивам собственной жизни в 1940 году, так ведь и называется — «Портрет художника в щенячестве». (В оригинале лукавый маневр очевидней: ...as a young man — ...as a young dog). Не эта ли прелестная, щенячья, беспомощная улыбка озаряет страницы «поздней» Томасовой прозы, и так и кажется, что всё расходятся, всё бегут по ним тугие, искрящиеся круги от того нырка....

Лесли Норрис, издавший том прозы Дилана Томаса, заключает свое предисловие такими словами: «Один мой знакомый мне рассказал, что его мать ни за что не хотела читать Томаса, потому что он — такой жуткий человек. Когда же ее все-таки удалось уговорить, она решительно изменила свое мнение и теперь убеждена, что он человек прекрасный. Я с ней согласен». Согласитесь с ней, даже по этой скромной публикации, я надеюсь, и вы. А ничего более лестного, не правда ли, нельзя сказать о писателе, потому что его тексты свидетельствуют о нем куда верней, чем все пересуды современников и архивно-биографические раскопки, вместе взятые.

© Е. Суриц. Перевод, вступление, 1999

Детство, Рождество, Уэльс

Одно Рождество, в те года под боком у приморского городка, теперь так слилось с другими, так затихло, кроме разве дальнего говора, какой я слышу, бывает, перед тем как усну, что я не могу уж припомнить, шел ли снег шесть дней и ночей подряд, когда мне было двенадцать, или двенадцать дней и ночей, когда мне было шесть лет.

Те Рождества катятся все к предателю-морю, как дрогнущая луна, круто сваливавшаяся по небу к нам на улицу; и замирают у самого уреза льдистой, острой, морозящей рыбу воды, а я зарываюсь руками в снег и выкапываю что попадется. Рука входит в белый, пышный, колоколами звонящий шар каникул у края колдующего, колядующего моря, и наружу выходит миссис Протеро с пожарными.

Это было в сочельник вечером, и я был в саду у миссис Протеро, вместе с ее сыном Джимом поджидая кошек. Шел снег. На Рождестве всегда идет снег. Декабрь в моей памяти бел, как Лапландия, только без северных оленей. Зато есть кошки. Терпеливые, окоченевшие и безжалостные, закутав руки в носки, мы ждем кошек, чтобы побить их снежками. Вкрадчивые, длинные, как ягуары, страшные, усатые, полосатые, брызгая слюной и рыча, они бочком, тишком перелезут через белый забор, и тут-то мы с Джимом, в меховых шлемах и мокасинах, — ястребы-охотники с дикого Гудзона, что на Мамблс-роуд, — метнем наши смертельные снежки прямо в ошарашенную зелень их глаз.

Мудрые кошки и не думают являться. Мы так затаились, отважные эскимосы, арктические снайперы, в оглушительной тишине вечных снегов — вечных, с самой среды,— что даже не слышим первого вопля миссис Протеро из ее вигвама в глубине сада. А если и слышим, он отдается в наших ушах дальним кличем нашего врага и жертвы — сибирского кота соседей. Но вот вопль стал громче. «Пожар!» — голосит миссис Протеро, и она бьет в обеденный гонг.

И мы бежим по саду с нашими снежками в руках к дому; и дым в самом деле валит из столовой, и гонг клокочет, и миссис Протеро предрекает погибель, как городской глашатай в Помпеях. Это почище, чем все кошки Уэльса, выстроившиеся рядком на заборе. Мы бросаемся в дом, вооруженные снежками, и замираем на пороге плавающей в дыму комнаты.

Что-то горит, честь честью. Может быть, это мистер Протеро, который всегда засыпает после обеда с газетой на лице. Но он стоит посреди комнаты и говорит: «С праздником вас!» — и побивает дым шлепанцем. «Вызывай пожарных!» — орет миссис Протеро, колотя в обеденный набат.

— Вызовешь их, — говорит мистер Протеро, — на Рождестве-то.

Огня не видно, только клубья дыма, и посреди них стоит мистер Протеро и, как бы дирижируя, машет шлепанцем.

— Что-то надо делать, — сказал я.

И мы побросали в дым все наши снежки — по-моему, в мистера Протеро мы не попали — и бросились из дому к телефонной будке.

— Давай заодно и полицию вызовем, — сказал Джим.

— И «скорую помощь».

— И Эрни Дженкинса, он любит пожары.

Но мы вызвали только пожарную бригаду, и скоро приезжает пожарная машина, и трое здоровенных мужчин в шлемах вносят в дом шланг, и мистер Протеро как раз успевает выскочить, пока шланг не включили. Такого громкого сочельника, конечно, нет больше ни у кого. А когда пожарные уже выключили шланг и стоят в сыром дыму, сверху спускается Джимина тетя — мисс Протеро — и в них всмат-

ривается. Мы с Джимом тихонько стоим и ждем, что она им скажет. Она всегда попадает в самую точку. Она оглядела троих высоких пожарных, стоящих среди дыма и пепла в своих сияющих шлемах, и она сказала: «Не желаете ли чего-нибудь почитать?»

Много-много-много лет тому назад, когда еще по Уэльсу бродили волки, и птицы, красные, как фланелевое исподнее, трепетали над лирным изгибом холмов, когда мы пели и нежились день-деньской и ночь напролет в пещерах, пахнущих влажным воскресным вечером в деревенской зале, и отваживали англичан и медведей челюстью дьякона, еще до автомобиля, до велосипеда, до кобылы с лицом оскорбленной принцессы, когда нас несли на хребтах несёдланные, веселые горки, — все шел и шел снег. Но тут маленький мальчик говорит: «А в прошлом году тоже шел снег. Я слепил бабу, а брат ее толкнул, а потом я его толкнул, а потом мы пили чай».

— Нет, это не тот снег, — говорю я.— Наш снег не так вот просто-напросто лили с неба из ведер с белилами, он стлался шалью из-под земли, он выплывал, он вытекал из древесных стволов, и побегов, и веток; и все крыши за ночь порастали нежным и снежным мхом, белый плющ мигом обегал все стены, и немое, штормовое, белое крошево рождественских открыток обрушивалось на входящего во двор почтальона.

— А почтальоны тогда были?

— С моросящими глазами и с вишенкой вместо носа, он прохрустывал к двери и колотил в нее варежкой. Но дети только и слышали что колокольный звон.

— Значит, почтальон, выходит, тук-тук-тук стучал в дверь, а она звенела?

— Вовсе нет, эти колокола были у детей в голове.

— А у меня только гром иногда в голове, а колокола никогда.

— Но это были церковные колокола.

— У них в голове?

— Нет, нет и нет, на белоснежных, глаз выколи, звонницах их раскачивали епископы вместе с аистами. И они вызванивали свою весть забинтованному городу, и мороженому в барашках сахарных, сливочных гор, и хрустящей корочке моря. Все церкви как будто гудели от радости у меня под окном; и медные петушки кукарекали про Рождество у нас на воротах.

— Лучше еще про почтальонов.

— Почтальоны как почтальоны, они любили ходьбу, и собак, и Рождество, и снег. Молотили в двери синими костяшками...

— А у нас черный такой молоточек...

— ... и потом стояли на половике в маленьких продувных сенях, и сопели, пыхтели, и выдували в сени призраков, и переминались с ноги на ногу, как маленькие мальчики, когда им надо по-маленькому.

— А потом подарки?

— Потом подарки, рождественские подарки. А закоченелый почтальон, цветя алой розой меж глаз, звонко скользит по блестящему, гладкому, как чайный поднос, накату. Он загребает заледенелыми сапогами, как граблями. Он качает своим мешком, как замерзший верблюд горбом, головокружительно, на одной ноге он нацеливается на поворот, поворот его подхватывает, и — нет почтальона!

— Теперь про подарки.

— Были подарки полезные: мохнатые, поглощающие, как бездна, полости из старых кучерских дней, и варежки для громадных лентяев; полосатые шарфы из чего-то вроде шелковистой резины, которые можно было вытянуть до самых га-

лош; шотландские береты с наушниками, похожие на лоскутные грелки для чайников, и кивера размером на кроликов, и шапочки для жертв ходящих по скальпы племен; тетушки, которые всегда носили шерсть на голое тело, дарили усатые, колючие фуфайки, вызывавшие удивление, как вообще у тетушек еще сохранилось тело; а однажды я получил даже маленькую вязаную торбу от тетушки, которая, увы, более не ржет среди нас. И книжки без картинок про мальчиков, которым не велели кататься на коньках у фермера Джайлса на пруду, а они не послушались и утонули; и книжки, которые разъясняли все про осу, умалчивая только — зачем.

— Лучше про бесполезные подарки.

— Были, были целые горы разноцветных «уйди-уйди», и свернутый флаг, и накладной нос, и фуражка кондуктора, и машинка, которая штамповала билетики и звенела в звонок; рогатка ни разу не попадалась; однажды, по странной ошибке, которую никто так и не смог объяснить, попался маленький томагавк; и целлулоидная утка, которая, если ее сожмешь, издавала неутинейший звук, мяукающее «ммуу», которое скорей могла бы произвести воображала-кошка, возомнившая себя коровой; и альбом, где я мог вы-красить траву, и деревья, и зверей каким душа пожелает цветом и где тем не менее небесно-лазоревая овца щипала багрец травы под радужноклювыми, остро-горчичными птицами.

— И тянучки, ириски, леденцы, марципаны. И полчища оловянных солдатиков, которые пусть не могли сражаться, зато всегда сияли и были стойкими. И головоломки, ребусы, сложи-картинки, и доступные игры для юных конструкторов с подробнейшим руководством.

— Ох! Доступные для Леонардо да Винчи! И свисток, чтоб будить соседских собак, чтобы те лаем будили своего старика хозяина, а он колотил тростью нам в стену, и со стены срывалась картина.

— И пачка сигарет: суешь одну штуку в рот и часами стоишь на углу, дожидаясь, когда появится старая дама, станет ругать тебя за курение, а тут ты с ухмылкой и съешь свою сигарету.

— А дяди у нас тогда были в гостях?

— Дяди всегда бывают на Рождестве. Те же самые дяди. А рождественским утром я со своим собакопобудным свистком и сахарной сигаретой, выискивая местного значения новости, обшаривал город и всегда находил мертвую птицу у белой почты или у забытых качелей; иногда совершенно погаснувшую зарянку. Вброд расходясь от обедни, алея жаром алкогольных носов и ветром зацелованных щек, мужчины и женщины, все как один альбиносы, хохлили вопиюще-черное, залубеневшее оперенье, обороняясь от безбожника ветра.

В каждой зале с газовых рожков свисала омела; рекой лились херес и пиво; кошки урчали, подлаживаясь к огню; огонь же плевался, предвидя бородатые анекдоты и будучи не в ладах с кочергой.

Несколько крупных мужчин сидели в зале без воротничков, почти наверное дяди, испытывая новые сигары, пытливо отводя на отлет руку, возвращая сигару губам, кашляя и снова ее отстраняя, как бы в ожидании взрыва; и некоторые мелкие тети, не требующиеся на кухне и, если честно, нигде, сидели на краешках стульев, неустойчивые, ломкие, боясь расколоться, как поблеклые чашки и блюдца.

Мало кто попадается в такие утра на занесенной улице: у старикашки в серо-буро-малиновом котелке и желтых перчатках ничто не отнимет его моциона до белых зеленых насаждений — ни первый день Рождества, ни день Страшного суда; а то двое дюжих парней, пыхтя трубками, без пальто, в хлопающих шарфах, топают молча к сирому морю, чтоб нагулять аппетит или кольца пускать, а может, ведь кто

же знает, чтобы войти в воду и идти, идти, пока ничего не останется, только два вьющихся дымных облака от негасимых трубок. А потом я бреду домой, я чую запах чужих ужинов, запахи подливки, птицы, и коньяка, и пудинга, и птичьей начинки льнут к моим ноздрям, но тут из забитого снегом проулка выходит мальчишка, ну вылитый я, во рту сигарета с пламенеющим кончиком, лиловый отсвет в карем глазу, весь наглый, как воробей, и сам себе усмехается.

Я ненавижу его всей душой, я уже подношу свой собачий свисток к губам, чтоб сдунуть его с лица Рождества, но вдруг он, лилово мигнув, подносит к *своим* губам *свой* свисток и свистит так заливисто, резко, так восхитительно громко, что вздувшиеся от гуся, жующие лица приникают к своим разукрашенным окнам по всей эхом охнувшей, оробелой, белой улице. У нас на ужин индейка и пудинг с пламенем, а после ужина дяди сидят у огня, расстегнутые на все пуговицы, теребят влажными лапищами цепи от часов и, покряхтев, засыпают. Матери, тети и сестры мечутся с подносами взад-вперед. Тетя Бесси, уже дважды напуганная заводной мышью, постанывает в углу и восстанавливает силы померанцевой. Тете Дози пришлось принять три аспирининны, зато тетя Ханна, не враг красненького, стоит на снежном дворе и распевает, как крутогрудый дрозд. Я надуваю воздушные шары, чтобы посмотреть, надолго ли их хватит; и когда они лопаются, а лопаются они всегда, дяди вскакивают и негодуют. Пышным густым вечером, когда дяди сопят, как дельфины, и валит снег, я сижу среди гирлянд и китайских фонариков, жую финики и, честно следуя руководству для юных конструкторов, конструирую крейсер, но он в результате почему-то скорее похож на мореходный трамвайный вагон.

Или я выхожу, поскрипывая новенькими сапожками, в белый свет, я иду к прибрежной горке, я захожу за Джимом, и Дэном, и Джеком, и мы топаем по тихим улицам, оставляя огромные, глубокие следы на невидимой мостовой.

— Люди, наверно, думают, что это гиппопотамы!

— А что ты будешь делать, если увидишь, как по нашей улице идет гиппопотам?

— Я его — бабах! — переброшу через забор и столкну с горки, а потом я пощекочу его за ухом, и он будет вилять хвостом.

— А если два гиппопотама?

Могучие, ревучие гиппопотамы с лязгом и грохотом идут сквозь буран, когда мы идем мимо дома мистера Даниэля.

— Давайте сунем мистеру Даниэлю в почтовый ящик снежок.

— Давайте напишем ему «Мистер Даниэль — вылитый спаниель» — по всему лужку.

Или мы идем на белый берег.

— А рыбы видят, когда идет снег?

Тихое небо с единственной тучей уплывает к морю. А мы — полярные путешественники, ослепленные снегом, затерянные в горах, и большие собаки в пышных подгрудках, неся на ошейниках фляги, с ленцой, трусцой взбираются за нами и лают: «Excelsior»[1]. Мы возвращаемся домой по бедным улицам, где детишки роют красными голыми пальцами израненный колесами снег и свистят нам вслед, и свист тает, и мы идем в гору, в крик чаек и вой пароходов там, во взвихренной бухте. А потом, за чаем ласковы воспрянувшие дяди; и торт-мороженое посреди стола сияет, как мраморный склеп. И тетя Ханна прослаивает чаёк ромом — ведь это бывает один раз в году.

---

[1] Все выше (*лат*). (*Здесь и далее — прим. перев.*).

И каких только страшных историй не рассказывается у камелька, когда газовый рожок булькает, как водолаз. Привиденья, как совы, кычут в нескончаемой ночи, и я боюсь оглянуться через плечо; в нашем заповедном местечке под лестницей, где тикает газомер, прячутся звери. А как-то, помню, мы выходим, распевая колядки, на летучую улицу без единой лунной лучины. В конце длинной дороги гравиевая тропка сворачивает к большому какому-то дому, и мы, топча темень и спотыкаясь, идем по этой дорожке, и каждый боится, каждый на всякий случай зажал камень в руке, и все мы так храбры, что не произносим ни звука. Деревья издают особенный звук на ветру, как будто противные и, возможно, перепончатоногие люди сопят в дуплах. Мы подходим вплотную к черной громаде дома.

— Что мы им выдадим? «Весть благую»?

— Нет, — сказал Джек. — «В небесах и на земле». Считаю до трех.

Раз, два, три, и мы запели, и голоса высоко взлетели, но кажутся дальними в глухой, снежно-ватной тьме вокруг дома, в котором никто не живет из наших знакомых. Мы стоим, прижавшись друг к дружке, у самой у темной двери.

В небесах и на земле
Славьте все царя царей...

И тут слабый пересохший голос, как голос того, кто долго молчал, начинает нам подпевать; слабый, сухой, ломкий голос по ту сторону двери; слабый, сухой голос сквозь замочную скважину. И когда мы останавливаемся на бегу, мы оказываемся возле *нашего* дома; зала прекрасна; воздушные шары проплывают над простуженно кашляющими рожками; все опять хорошо, и на весь город сияет.

— Может, это был призрак, — сказал Джим.

— Может, тролль, — сказал Дэн, он вечно читал.

— Пошли глянем, может, у них еще осталось желе, — сказал Джек. И мы пошли, и мы глянули.

Рождественская ночь не обходится без музыки. Один дядя играет на скрипке, двоюродный брат поет «Глаза любимой», а другой дядя поет «Сыны отваги». В маленьком доме тепло.

Тетя Ханна, перейдя на померанцевую, поет песню про бедное сердце и смерть и еще другую, из которой вытекает, что ее сердце — как гнездышко пташки; и потом опять все смеются· и потом я иду спать. В свое окно я вижу луну, и нескончаемый дымный снег, и во всех окнах на нашем холме огни, и в долгую, медленно падающую ночь поднимается музыка. Я прикручиваю газ и ложусь в постель. Говорю несколько слов густой и святой темноте, и сразу я засыпаю.

Путь обратно

РАССКАЗЧИК

Главная улица была студеной, белой, с доков шпарил разнузданный ветер, ибо лавчонки и лавки, стоявшие прежде дозором вдоль моря, теперь, разбомбленные, стали склепами в снеговой облицовке, без крестов и оград, и не могли защитить город. Собаки осторожно, как по воде кошки, так, будто на лапах у них перчатки, переступали по исчезнувшим зданиям. Мальчишки дрались, носились, кричали ясно и звонко на выкошенной аптеке, на лавке сапожника, а девчушка в отцовой шапке

запускала снежком в продрогший, покинутый сад, где некогда жил и тужил Принц Уэльский. Ветер несся по улице с охапкой подобранных в порту беспризорных, осипших гудков. Я видел спеленутую горку, высунувшуюся из города, чего она никогда себе прежде бы не позволила, заснеженные поля вместо крыш на Мильтон-террас. Мерзлые, сизогубые, красноносые, с авоськами и зонтами, в шарфах, ботах, варежках и галошах, зашоренные, как ломовики, напялив на себя все, кроме разве кошачьих попонок, женщины топтались на этой малой Лапландии, в прошлом серой убогой улице, толклись, толкались, хвостились, вожделея горячего чая, когда я начал свои розыски в холодном Суонси тем проклятым февральским непроспавшимся утром. Я пошел в гостиницу. «Доброе утро».

Швейцар не ответил. Я для него был всего-навсего еще один снеговик. Он не знал ведь, что я ищу кого-то после четырнадцатилетней разлуки, и даже бровью не повел. Так бывает. Он стоял, ежился от холода и наблюдал сквозь гостиничную стеклянную дверь, как с неба сибирским конфетти соскальзывают снежинки. Бар только открылся, но уже один посетитель отдувался и пыхтел у стойки, зажав в своей варежке полную пинту окоченелой воды Тоу. Я опять поздоровался, и официантка, драившая стойку так рьяно, будто это драгоценнейшее, редкое блюдо валлийского фарфора, сказала первому посетителю:

ОФИЦИАНТКА

Кино смотрела в Елисейском мистер Гриффитс ну и снег вы неужели на велосипеде у нас в понедельник трубы прорвало...

РАССКАЗЧИК

Пинту крепкого, пожалуйста...

ОФИЦИАНТКА

Аж прям озеро целое налило яйцо захочешь сварить обувай сапоги резиновые с вас шиллинг четыре пенса пожалуйста...

ПОСЕТИТЕЛЬ

Прямо гибель для меня этот холод, вот тут так болит...

ОФИЦИАНТКА

...и восемь пенсиков вам сдачи это все ваша печень мистер Гриффитс опять небось какао себе позволили...

РАССКАЗЧИК

Я вот думаю, не помните ли вы случайно одного моего друга? Он всегда ходил в этот бар сколько-то лет тому назад. Каждое утро в это приблизительно время.

ПОСЕТИТЕЛЬ

Вот тут болит. Прямо не знаю, что бы я делал без бандажа...

ОФИЦИАНТКА

Звать-то как его?

РАССКАЗЧИК

Томас-младший.

ОФИЦИАНТКА

Тут как собак нерезаных Томасов этих куда ни зайдешь Томасы понатыканы правда мистер Гриффитс а из себя-то он какой?

РАССКАЗЧИК *(раздумывая)*

Лет семнадцати-восемнадцати...

ОФИЦИАНТКА

...мне вон тоже когда-то семнадцать было...

РАССКАЗЧИК

...рост выше среднего. То есть выше среднего для Уэльса, в нем сто шестьдесят пять с половиной сантиметров. Толстые пухлые губы; нос картошкой; кудрявые темные волосы; один передний зуб сломан в результате игры в кошки-собаки на Мамблс-роуд; говорит как-то странно: свирепо; напористо; что-то вечно на себя напускает; лопни, но держи фасон, в таком роде; опубликовал стихи в *«Геральд оф Уэльс»;* написал про представление *«Электры»* на открытом воздухе, в Скетти, в саду у миссис Берти Перкинс; жил на Нагорье; надутый юнец, дешевый провинциальный пижон в актерском галстуке крупной вязки, перевязанном из сестриного шарфа, которого она все никак не могла доискаться, и крикетной майке, выкрашенной в бутылочный цвет; болтливый, честолюбивый, псевдогрубый, претенциозный юнец; да, и прыщавый.

ОФИЦИАНТКА

Ну и слова и зачем *он-то* вам сдался я б в его сторону и не глянула... а вы, мистер Гриффитс? Да-а, всяко бывает. Помню, раз пришел один с обезьяной. И не то чтобы тебе итальянец. По-валлийски чесал что твой проповедник.

РАССКАЗЧИК

Бар понемногу наполнялся. Белоснежные деловые пуза вжимали в стойку цепочки от часов; черные деловые котелки, дымясь и белея, кивали замглившимся зеркалам и отпечатлевались в них рождественскими пудингами в глазировке. Зал носил из конца в конец металлические звуки коммерции.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС

Ну, и как вам погодка?

ВТОРОЙ ГОЛОС

Как ваши трубы, мистер Льюис?

ПЕРВЫЙ ГОЛОС

Мне двойного...

ВТОРОЙ ГОЛОС

Аналогично...

ОФИЦИАНТКА

Вот, пожалте вам...

ПОСЕТИТЕЛЬ

Кажется, я припоминаю малого, которого вы описали. Второго такого — надо надеяться — быть не может. Он репортером работал. Я встречал его, бывало, в «Трех лампах». *(Доверительно.)* Сильно за галстук закладывал.

РАССКАЗЧИК

А что теперь собой представляют «Три лампы»?

ПОСЕТИТЕЛЬ

Ничего ровным счетом. Их нет. Что поделать. Помните Бена Эванса магазин? Это буквально соседний дом. Бена Эванса тоже нет...

РАССКАЗЧИК

Я вышел из гостиницы в снег и пошел по Главной улице, мимо белых сглаженных пустырей, где столько всего прежде было. Эддершо-мебельщик, Велоси-

педы Карри, Одежда Донегола, Доктор Шолл, Лучшие Костюмы у Симпсона, Аптека Смита, Склады Лесли, Мебель от Апсона, Принц Уэльский, Рыба Такера — разбомбленная, снегом придавленная, несуществующая улица. Мимо дыры в пространстве, засосавшей Москательные Товары, по Замковой, мимо мнящихся, помнящихся витрин — Крауч-ювелир, Сукна, Бортон, Дэвид Эванс, кафе Кардома, Самые низкие цены, банк Ллойда и — ничего. И — на Соборную. Здесь-то и были «Три лампы», и старый Мак диктаторствовал в углу. И мистер Томас-младший, которого я искал, стаивал каждую пятницу после получки с Фредди Фарром, Биллом Лейтемом, Клиффом Уильямсом, Глином Лаури, молодец молодцом, лихо сдвинув набекрень шляпу, в этом престижном, пижонском святилище изысканных, истасканных, исконных жрецов Вакха.

В глубине слышны шумы бара.

СТАРИК РЕПОРТЕР

Помнишь, как я в первый раз тебя в морг привел, а, Томас? Он, ребятки, в жизни трупа не видывал, кроме старого Рона в одну субботнюю ночь. «Если хочешь стать настоящим газетчиком, — я ему говорю, — надо, чтобы тебя знали в определенных кругах. Надо заделаться *persona grata* в морге», я ему говорю. Так он даже позеленел, ей-богу.

ПЕРВЫЙ МОЛОДОЙ РЕПОРТЕР

А теперь зарделся, смотрите...

СТАРИК РЕПОРТЕР

Вот приходим мы туда, и что бы вы думали? В морге маляры слегка освежают сей храм покоя. Стоят на стремянках и шлепают по потолку. Томас их не видит, он воззрился на столы, а тут один маляр, гулко так, басит сверху: «С добрым вас утречком». Томас весь затрясся и выскочил как ошпаренный. Уморительно!

ОФИЦИАНТКА (*в глубине*)

Хватит с вас, мистер Робертс. Слыхали, что я говорю?

Звуки легкой возни.

ВТОРОЙ МОЛОДОЙ РЕПОРТЕР *(вяло)*

Мистер Робертс в своем репертуаре.

СТАРИК РЕПОРТЕР

Надо отдать должное этому заведению, вышибают тут очень культурненько...

ПЕРВЫЙ МОЛОДОЙ РЕПОРТЕР

А вы видали, как Томас-младший мяч гонял в Ветче и пенделя забивал?

ВТОРОЙ МОЛОДОЙ РЕПОРТЕР

А как он в Маннесман-холле орал: «Отличный удар, сэр!» — когда кучка вдребезги пьяных шахтеров толклась на поле, как стадо бегемотов в посудной лавке!

ПЕРВЫЙ МОЛОДОЙ РЕПОРТЕР

Какой сегодня материал собрали, а, Томас?

СТАРИК РЕПОРТЕР

Глянем-ка в твой блокнот. «Был в Британском легионе: нуль. Был в больнице: одна сломанная нога. Аукцион в «Метрополе». Позвонить мистеру Бейнону. Ленч: пинта и мясной пирог в «Синглтоне» с миссис Джайлс. Благотворительный базар в часовне Вифсаиды. Загорелся дымоход на Тонтайн-стрит. Пикник воскресной школы на Уолтер-роуд. Репетиция «Микадо»... — что и говорить, все так и просится на первую полосу...

РАССКАЗЧИК

Снег глушил голоса четырнадцатилетней давности, они висели, убитые, над руинами, а я шел сквозь зябкое зимнее утро по разоренному центру, где некогда мой юный знакомец, резвый, как воробей, выклевывал из города лакомые черточки, изюм новостей, звонкую мелочь и чепуху. Недалеко от «*Ивнинг пост*» и фрагмента замка я остановил человека, лицо которого показалось мне издавна смутно знакомым. Я сказал: простите, не скажете ли вы мне...

ПРОХОЖИЙ

Да?..

РАССКАЗЧИК

Он глянул из-под своих защитных шарфов и снежной нахлобучки, как эскимос с нечистой совестью. Я сказал: не скажете ли вы мне, быть может, вам приходилось знавать молодого человека по имени Томас-младший. Он работал в «*Пост*», носил иногда пальто клетчатой изнанкой наружу, так что на нем можно было играть в гигантские шашки. Еще у него была деревянная нога, и она у него болела...

ПРОХОЖИЙ

Как это — болела деревянная нога?

РАССКАЗЧИК

И фетровая шляпа на макушке, с павлиньим пером, и он нарочно сутулился, как заправский репортер, даже на встречах Баффало.

ПРОХОЖИЙ

А, этот! Он мне полкроны задолжал. Так я и не видал его со старых дней Кардомы. Он тогда был никаким не репортером, только что кончил гимназию. Он, и еще Чарли Фишер — Чарли теперь отпустил усы, — и Том Уорнер, и Фред Джейнс хлебали кофе и вечно обсуждали разное-всякое.

РАССКАЗЧИК

И что это было, например?

ПРОХОЖИЙ

Музыка, поэзия, живопись, политика, Эйнштейн и Эпштейн, Стравинский и Грета Гарбо, смерть и религия, Пикассо и девочки...

РАССКАЗЧИК

А еще?

ПРОХОЖИЙ

Коммунизм, символизм, Брэдман, Брак, муниципалитет, свободная любовь, бесплатное пиво, убийство, пинг-понг, Микеланджело, честолюбие, Сибелиус и девочки...

РАССКАЗЧИК

И все?

ПРОХОЖИЙ

Еще — как Дэн Джонс принялся за оглушительную симфонию, Фред Джейнс пишет сногсшибательную картину, Чарли Фишер выловил убийственную форель, Вернон Уоткинс и Томас-младший пишут умопомрачительные стихи, и как они ошарашат Лондон, ко всем чертям его размалюют...

РАССКАЗЧИК

Ну а потом?

ПРОХОЖИЙ

Под шипенье окурков в кофейных опивках, под звяканье, звон и бормотанье утра юные олухи, говоря про Эмиля Яннингса, Карнеру, Дракулу, мучительность брака, карманные деньги, море Уэльса, лондонские звезды, Кинг Конга, анархию, шахматы, Томаса Элиота и девочек... У, ччерт, холодно!

РАССКАЗЧИК

И он поспешил дальше, в балладный снег — ни всего доброго, ни до свиданья, — спеленутый своими зимними шарфами, как на собственном острове глухоты, и я понял, что он, может быть, вовсе и не останавливался, не рассказывал о еще одном этапе развития того юнца, след которого я выискивал. Кафе Кардома сровняло со снегом, и голоса любителей кофе, начинающих поэтов, художников, музыкантов — запорошило непрошеным лётом снежных комьев и лет.

А я пошел по Колледж-стрит мимо помнящихся, мнящихся лавок, Джонс, Ричардс, Хорн, Пиротехника, Сигары, Часовня Уэсли и — ничего... Мои розыски направили меня вспять, через паб, газету, кафе, к школе.

Школьный звонок

УЧИТЕЛЬ

А-а, да, как же, я его помню, помню,
хоть не берусь утверждать, что узнал бы:
годы никого не молодят ведь, не красят,
из мальчиков вырастают именно такие мужчины,
как естественно было предвидеть,
правда, порою сбивают с толку усы,
и не так-то легко примирить свою память
о недоумытом мальчонке, безутешно потеющем над уроком,
с многодетным, свирепым, бряцающим орденами майором
или разведенным бухгалтером;
и трудно понять, как кудлатый юнец,
мечтавший покорить современников, полагаясь единственно на
неоспоримое право честного состязанья по плевкам в длину,
теперь управляет собственным банком.
О да, мне запомнился тот, кого вы хотите найти:
мальчик как мальчик, не лучше, не способней, не благовоспитанней;
зевал, ставил кляксы, гремел доской, обменивался шпаргалками с
отпетой галеркой;
халтурил, прогуливал, хныкал, ленился, бесился,
носился, лягался, брыкался,
ныл, жульничал, привирал, сквернословил, был
неискренен, юлил, напускал на себя
вид непонятой добродетели и праведного
негодованья, и весьма натурально притом;
обреченно и хмуро — за мелкие прегрешения —
подчинялся муштровке сержанта Гратча
по прозвищу (как находчиво!) Птичка,
регулярно был оставляем после уроков,
во время алгебры отсиживался в сортире, будучи новичком,
был брошен старшими учениками
в кусты у спортивной площадки
и бросал новичков в кусты у спортивной площадки,

когда *сам* стал старшим учеником;
шушукался на молитве,
протаскивал контрабандой
неподобающие слова в освященные временем тексты,
помогал погубить ревень директора школы,
был тридцать третьим по тригонометрии
и, разумеется, издавал Школьный альманах.

РАССКАЗЧИК

Актовый зал разорен, и обуглены гулкие коридоры, где он ленился, носился, бесился, зевал громадными, свежими, новыми днями, дожидаясь звонка, чтобы сорваться во двор: школа на Маунт-плезант изменила лицо и повадку. Скоро, говорят, от той школы, которую он знал и любил, останется только учащенный ток его крови — и ничего больше: стерлись имена в актовом зале, на всем деревянном и рухнувшем сгорели вырезанные инициалы. Но имена остаются. Какие имена мертвых он помнит? Кого из мертвых, удостоенных Почетной доски, он знал в то давнее время? Имена мертвых в живом сердце и в живой голове останутся навсегда. Из всех этих мертвых — кого же он знал?

Погребальный колокол.

ГОЛОС

Эванс К. Д.
Хейнс Д. С.
Робертс А. Л.
Томас Х.
Бейнс У.
Баззард Ф. Х.
Бир Л. Д.
Бакнелл Р.
Тайфорд Д.
Вэгг И. Э.
Райт Г.

РАССКАЗЧИК

И я пошел вниз с ослепшей от снега горы, в вихре гагачьего пуха, и море хлестало и колотилось, и прохожих, как вспоротые перины, волокло за мной и навстречу. Увязая по щиколотку во вспенившей город туче, я пробрался на пластом растянувшуюся Гауэр-стрит и мимо растаявших зданий прошел на долгую Эленс-роуд. Мои розыски опять повели меня к морю.

Негромкий шум моря.

РАССКАЗЧИК

Только две живые души стояли на променаде, недалеко от памятника павшим воинам, разглядывая подбрасываемые кристаллы моря: мужчина в жеваном шарфе и жалкой шапчонке и сердитый, невнятной выделки пес. Мужчина дрожал от холода, хлопал в синие ладоши, ожидая, кажется, знака от моря или от снега; пес же рявкал на погоду, не отрывая красных глаз от Мамблс-хед. Но когда мы с его хозяином заговорили, пес сразу сбавил тон и уставился на меня, найдя наконец истинного виновника метели. Мужчина говорил, обращаясь к морю. Годами, неважно какая погода, в белый день ли, темно ли, он всегда приходит смотреть на море. Он помнит всех стариков и мальчишек, всех собак, которые приходили смот-

реть на море, носились по песку или останавливались над самой водой, как над дикой, огромной, перекатной глубинной бомбой. Он помнит влюбленных, уходивших любиться в дюны, и мужеподобных женщин с широким шагом, орущих на своих спаниелей, как укротитель на тигров, и слоняющихся мужчин, чья единственная работа — наблюдать неусыпный, великий труд моря. Он сказал:

ЧЕЛОВЕК НА ПРОМЕНАДЕ

А-а-а, да, да, я хорошо его помню, только вот я не знал, как его зовут. Ни про кого из мальчишек с пляжа не знаю, как зовут. И они не знают, как зовут меня. Лет четырнадцати-пятнадцати, говорите, в маленькой красной шапочке. И всегда играл вон у того ручья. Любил слоняться под арками, говорите, проказил на рельсах, орал на бедное море. Шлялся по дюнам, смотрел, как танкеры, и баржи, и лодки выходят из доков. Хотел убежать в море, он говорил. Уж я-то знаю. В субботу под вечер, бывало, подходил к самому морю, когда оно далеко отступало, и слушал туманные горны, хотя не было видно судов. А воскресными вечерами толокся со своими дружками на променаде и приставал к девушкам.

Хихиканье.

ДЕВУШКА

А мамочка-то твоя знает, где ты? А ну, уходи. Вот навязался.

Другая девушка хихикает.

ДЕВУШКА

Ты ничего не говори, Хетти, ты же только его поощряешь. Нет уж, это вам спасибо большое, мистер Нахал, за ваш дикий выговор и папашину шляпу! Ни в какие дюны никакой прогулки не будет. Что ты сказал? Ой, ты только послушай его, Хет, какие слова! Нет, никакими я лунными тропами ни с кем не побреду, ясно, и я не совращаю малолетних. Видела я, как ты в школу шел по Террас-роуд, — ранец, красная шапчонка, все что положено. А ты видел меня в... ну знаете! Хетти, надень очки! Хетти Харрис, да ты сама хороша. Ах, шел бы ты уроки учить! Нахал! Хетти, зачем же ты ему позволяешь! У-у-ух! Вот наглость! Ну ладно, только до конца променада, если хочешь. Но не дальше, учти...

ЧЕЛОВЕК НА ПРОМЕНАДЕ

Да-да, я хорошо его помню. Я узнал бы его из тысячи...

РАССКАЗЧИК

И сейчас еще на выбеленном берегу дальние звонкие крики мальчишек, неразличимо вобравшие голос того мальчика, которого я искал, скользили по зеркалу вод и, отразившись, бомбардировали снежками друг друга и небо. А потом я пошел дальше, от моря прочь, по Бринмилл-террас и Гланбридан авеню, мимо того места, где держал когда-то бакалею Берт Трик и у себя на кухне, над вареньем и бланманже, грозил погибелью правящему классу. А там уж я свернул к домам и лавкам Нагорья. Отсюда откуда-то начал свой путь тот, кого я выискивал в прошлом.

В глубине звуки старого пианино перед сеансом кино.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС

Здесь была когда-то паршивенькая киношка, там он восторженно гикал, поощряя индейцев — охотников за скальпами, вместе с Джеком Бассетом и отбивал ладоши, аплодируя конокрадам.

РАССКАЗЧИК

Джекки Бассет убит.

ТРЕТИЙ ГОЛОС

Здесь была лавка миссис Фергюсон, она продавала лучшие в мире пробки и грошовые кульки, набитые сюрпризами и конфетами, смахивающими на клей.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС

На поле за Куимдонкином эти Марри гоняли его и всех кошек.

ВТОРОЙ ГОЛОС

Давно погасли костры, которые жгли разбойники Робин Гуда, запекая в золе картошку — пищу богов.

ТРЕТИЙ ГОЛОС

А вон за тем холмом он, одинокий охотник, подстерегал волков (или кроликов) и краснокожих племени сиу (они же братья Митчеллы).

На фоне затихающего фильмового аккомпанемента слышны детские голоса, хором твердящие названия графств Уэльса.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС

В Мирадорской школе он научился читать и писать. Кто хуже всех плел салфетки? Кто, аккуратно и неизменно, каждый божий день лил воду в галоши Джойс? Вечерами, когда дети вели себя хорошо, им вслух читали про Макса и Морица, когда же они вели себя плохо, они одиноко сидели в пустынном классе, слушая дальние, унылые, страшные звуки поздних уроков музыки.

Детские голоса умолкают. Урок музыки продолжается в глубине.

РАССКАЗЧИК

И я пошел дальше, через белый Колок, в Куимдонкинский парк, и все сыпался снег, и, внезапно смягчившись, ветер принялся перебирать ребячьи тоскливые, помнящиеся ноты. Сумерки замыкали парк, как снег, только другой, темней. Скоро зазвенит колокольчик в знак того, что сейчас запрут ворота, хоть в парке и нет ни души. Только сторож белыми кругами обходит пруд, на котором нет сейчас лебедей. Я побрел с ним рядом, топча белый саван дорожек, мимо захороненных клумб и пушистых, угнетенных и оглушенных снегом, забывших про щебет деревьев, задавая ему свои вопросы. Он сказал:

СТОРОЖ

А-а, да-да, как сейчас его помню. Перелезет, бывало, через ограду бассейна и пугает бедных лебедушек. Носился, как козлик, по газонам, там, где ходить запрещается. Срезал с деревьев ветки. Вырезал на скамейках слова. Рвал декоративный мох, кромсал георгины. Дрался на эстраде. Или взберется на вяз и мечтает наверху, как сова. Жег костры в кустах. Мял траву. Да-да, я хорошо его помню. По-моему, он был очень счастливый. Я узнал бы его из тысячи.

РАССКАЗЧИК

Мы дошли до последних ворот. Сумерки наступали на нас, на город. Я спросил: И что же теперь с ним сталось?

СТОРОЖ

Он умер.

РАССКАЗЧИК

Сторож сказал:

Звенит колокольчик.

СТОРОЖ.

Умер... Умер... Умер... Умер... Умер... Умер.

Преследователи

Было шесть часов, зимний вечер. Мелкий, тощий дождик тусклой моросью одевал фонари. Длинно, желто мерцали тротуары. Пища галошами, в плачущих котелках и шляпах молодые люди вываливались из офисов на колкий ветер, домой.

— Всего, мистер Мейси.

— Тебе не со мной, Чарли?

— У-уф! Свинская погодка!

— Спокойной ночи, мистер Суон, — и большие черные круглые птицы-зонтики уносили солидных господ вверх, на одетые фонарным светом холмы, под защиту каминов, в тепло и укромность, к шлепанцам, женам, именуемым Мамочками, к старым, нежным, блохастым псам и к журчанию радио.

Офисные девицы, под ручку, вея запахом пудры, духов, и мокрых волос, и шляпок, догоняли шелестящий трамвай и взвизгивали, забрызгав чулки или поскользнувшись на керосинно-радужных лужах.

Две продавщицы в витрине раздевали манекены.

— Ты куда сегодня?

— Не знаю. Как Артур. Ну вот, порядок...

— Осторожно, Эдна, трусики ей не порви...

И еще в одной витрине спустились ставни.

Мальчишка-газетчик стоял у двери и сообщал новости — никому, совсем тихо:

— Землетрясение. Землетрясение в Японии.

На его лохмотья стекала с застрехи вода. Он работал в своем собственном дождевом бассейне.

Тощую, длинную девушку вымыло из ювелирного, сморкаясь в платок, она медленно закрывала стальные ставни длинным крюком. И будто вся с головы до пят плакала в сером дожде.

Мужчина и женщина молча, оба в черном, вынесли из цветочной лавки венки в пахучую смертную тьму за оконным светом. И погас свет.

Ребенок с древним лицом сидел в коляске перед винной лавкой, тихий, промокший до нитки, и осторожно озирался.

Я не помню другого такого грустного вечера. Молодой человек прошел мимо, приобняв девушку, и расхохотался; она тоже захохотала, прямо ему в гладкое, гадкое лицо. Вечер стал еще грустней.

Мы с Лесли встретились на углу Крымской. Мы с ним были, в общем, ровесники: нам было больше, чем надо, меньше, чем надо, лет. Лесли был со свернутым зонтиком, он им никогда не пользовался, только иногда в чужие двери звонил. Он изо всех сил отпускал усы. На мне была предательская клетчатая шапочка, сдвинутая по-субботнему набекрень. Мы поздоровались официально:

— Привет, старик.

— Привет, Лесли.

— Ты минута в минуту.

— А как же, — сказал я. — Минута в минуту.

Пухлая светловолосая девушка, пахнув мокрым кроликом, даже в такой жуткий вечер стесняясь, просеменила мимо на высоких каблучках. Каблучки стучали, подошвы хлюпали.

Лесли присвистнул, тихо, восторженно.

— Не отвлекаться, — сказал я.

— И не говорите! — сказал Лесли.

— А вообще-то она толстая.

— Нет, я люблю, когда они в теле, — сказал Лесли. — Пенелопу Боган помнишь? Вот это да!

— Да ну тебя. Эта старая корова с Парадиз-аллеи? Каковы наши ресурсы, Лес?

— Шиллинг и один пенс. У тебя?

— Шестипенсовик.

— Куда же теперь? В «Компас»?

— Попасемся в «Мальборо».

Мы шли к «Мальборо», увертываясь от зонтичных спиц, и нас охлестывали, хлопая, наши плащи, фонари помечали нас дымными пятнами, и мокрые, взвихренные нечистоты, отходы, отбросы города, обрезки, объедки, окурки скакали, стекали, льнули к водостокам, и костляво гремели и чихали трамваи, и, как увязнувший в тумане филин, ухал в бухте пароход, и Лесли сказал:

— А потом чего делать будем?

— Кого-нибудь будем преследовать.

— Помнишь, как мы ту старушенцию преследовали по Китченер-стрит? Она еще сумочку уронила?

— Зря ты ей не отдал.

— Да там и было-то — кусок хлеба с вареньем.

— Приехали, — сказал я.

В «Мальборо» было холодно и пусто. На мокрых стенах плакаты: Не петь. Не танцевать. Не играть в азартные игры. Не торговать.

— Ты пой, — сказал я Лесли, — а я станцую, а потом мы сыграем в очко и я продам свои подтяжки.

Девица за стойкой, с золотыми волосами и двумя передними золотыми зубами, как у богатого кролика, дула себе на ногти и полировала их на черной тряпочке. Она глянула на нас, когда мы вошли, потом снова стала обдувать свои ногти и безнадежно полировать.

— И не скажешь, что суббота, — сказал я. — Привет, мисс. Две пинты.

— И фунт из кассы, — сказал Лесли.

— Давай твои средства, Лес, — шепнул я, а вслух я сказал: — Ни за что не скажешь, что субботний вечер. Никто не блюет.

— Никто и *не будет* блевать, — сказал Лесли.

В этой облезлой, рыжей комнате, может, вообще никогда никто не напивался. Дельцы, потягивая виски с содовой, потчевали портвейном с лимоном крашеных веселых девиц; завсегдатаи по углам кисли, важничали, балдели, сочиняли свое прошлое, были богаты, чтимы, любимы; непутевые бабушки в мусорно-черном поквохтывали и клевали; влиятельные ничтожества изменяли землю; компания в серьгах терзала больное пианино, и оно ныло, как шарманка, заводимая под водой, пока жена хозяина не объявляла «Хватит». Кто-то входил, уходил, но больше уходили. Мастеровые забредали на кружку-другую; иногда бывали драки; и вечно что-то шло: перепалки, разборки, хохот, шепот, взрывы гнева, веселья, вспышки злобы, любви, и чушь, тишь, мир, и тихий ангел в полете рассекал пьяный дух пошлой нигдешности тупого города, оторопевшего в конце железнодорожных путей. Но сегодня это была самая грустная комната на свете.

Лесли тихонько сказал:

— Может, она нам поверит в кредит по одной?

— Погоди, — сказал я. — Пусть она сперва оттает.

Но девица за стойкой услыхала и посмотрела на меня. Она посмотрела прямо

сквозь меня, сквозь всю мою недолгую судьбу, до самой до той постели, где я родился, а потом покачала своей золотой головой.

— Сам не знаю, в чем дело, — сказал Лесли, когда мы шли под дождем по Крымской, — только у меня сегодня прямо тоска.

— Это самый грустный вечер на свете, — сказал я.

Мокрые, одинокие, мы остановились поглядеть на кадры в витрине кино, которое мы называли Страстюшник. Неделю за неделей, годами, годами сидели мы там на жестких стульях в моросящей, уютной, порхающей тьме, сперва с конфетами и орешками, трещавшими вместо немых выстрелов, а потом с сигаретами: особый дешевый сорт, от которого глотатель огня закашлялся бы насмерть. «Пошли поглядим на Толмедж Львиное Сердце, — сказал я, — и... на Бири с камелиями, — сказал я, — и на Мэри Гиш, и на Лилиан Пикфорд»[1].

Мы оба расхохотались.

— О, где ты, наша утраченная юность, — сказал я.

Мы побрели дальше, шлепая по лужам, нарочно обрызгивая прохожих.

— Ты почему зонтик не открываешь? — спросил я.

— А он не открывается. Попробуй.

Мы вместе пробовали, и зонтик вдруг вздулся, спицы пробили взмокший шелк; ветер пустил клочья в пляс; зонтик бился на ветру, как загубленный огромный математический какой-то птенец. Мы пытались его закрыть: новая, коварная спица прорвалась сквозь покалеченные ребра. Лесли поволок его за собой по тротуару, как будто он его подстрелил.

Девочка по имени Далси мчалась в Страстюшник, она хмыкнула «Привет», но мы ее остановили.

— Произошла ужасная вещь, — сказал я ей. Она была такая дура, что даже когда ей было шестнадцать, мы сказали ей, что, если съешь мыла, волосы станут виться, и Лес украл кусок мыла из ванной, и она его съела.

— Знаю, — сказала она. — У вас зонт сломался.

— Нет, вот тут ты ошибаешься, — сказал Лес. — Это вообще не наш зонт. Он с крыши упал. Пощупай, — сказал он. — Ты убедишься, что он упал с крыши.

Она осторожно потрогала зонтик за ручку.

— Там кто-то стоит и бросается зонтиками, — сказал я. — Возможно, это опасно.

Она начала хихикать, но сразу осеклась и встревожилась, когда Лесли сказал:

— Ничего не известно. Дальше могут быть трости.

— Или швейные машинки, — сказал я.

— Ты погоди тут, Далси, а мы посмотрим, — сказал Лесли.

Мы заторопились дальше по улице, обогнули бушующий угол и тут припустили бегом.

За кафе Рабиотти Лесли сказал:

— Зря мы так поступили с Далси.

Больше мы к этой теме не возвращались.

Мимо скользнула мокрая девушка. Без единого слова мы за ней пошли. Она не спеша, длинноногого, прошла по Инкермана, через Парадиз-пассаж, и мы шли за ней по пятам.

---

[1] Шутка основана на том, что спутаны имена и роли знаменитых актеров двадцатых годов: Норма Толмедж играла Даму с камелиями (в одноименном фильме 1927 г.), Уоллес Бири — короля Ричарда (в фильме «Робин Гуд», 1922 г.), Пикфорд, звезду экрана двадцатых, звали Мэри, не менее яркую звезду Гиш звали Лилиан.

— Не пойму, зачем ходить за людьми, — сказал Лесли. — Бзик какой-то. Ни к чему не ведет. Ну, дотащишься ты за ними до дому и потом хочешь заглянуть в окно, посмотреть, что они там делают, а шторы опущены почти всегда. Уверен, никто, кроме нас, этим не занимается.

— Неизвестно, — сказал я. Она свернула на дугу Святого Августа — в большую, подсвеченную туманность. — Все вечно за всеми ходят. Как мы ее назовем?

— Гермион Уэдерби, — сказал Лесли. Имена он давал всегда без осечки. Гермион была легкая, тощая и, как длинная влюбленная учительница гимнастики, шла сквозь жалящий дождь.

— Неизвестно. Никогда не знаешь, что обнаружится. Может, она живет в огромном доме со своими сестрами...

— Сколько их?

— Семь. И все жаждут любви. И когда она приходит домой, все они переодеваются в кимоно и лежат по диванам и только и ждут, чтоб кто-то вроде нас к ним зашел, и они будут вокруг нас стрекотать, как скворцы, и нам тоже дадут кимоно, и мы не уйдем из этого дома до самой смерти. Там, может быть, так красиво, тепло и шумно, как в теплой ванне с птицами...

— Очень мне нужны твои птицы в ванне, — сказал Лесли. — Может, она горло себе перережет, если шторы не задернут. Мне все равно — лишь бы интересно.

Она прошлепала за угол, на улицу, где вздыхали ухоженные деревья и сияли уютные окна.

— Мне только старых перьев в ванне не хватало, — сказал Лесли.

Гермион направилась к тринадцатому номеру по Буковой.

— Можно и буки разглядеть, — сказал Лесли, — если перископом обзавестись.

На тротуаре напротив, под пузырчатым фонарем мы ждали, пока Гермион откроет дверь, а потом на цыпочках перешли через дорогу, прошли по гравиевой тропке и очутились на задах дома, у незанавешенного окна.

Мать Гермион, толстая добрая курица в фартуке, встряхивала на плите сковородку.

— Есть хочется, — сказал я.

— Ш-ш-ш!

Гермион вошла на кухню, и мы метнулись к углу окна. Она оказалась старая, чуть не все тридцать, темно-мышиного цвета короткая стрижка, печальные большие глаза. Роговые очки, твидовый строгий костюм и белая блузка с аккуратным галстуком. Она как будто вовсю старалась выглядеть как фильмовая секретарша, которой достаточно снять эти свои очки, призаняться волосами, расфуфыриться в пух и прах, и тут же она превратится в сногсшибательную диву, и ее шеф, Уорнер Бакстер, ахнет, влюбится и женится на ней; но если бы Гермион сняла очки, она не смогла бы отличить Уорнера Бакстера от электромонтера.

Мы стояли так близко к окну, что слышали, как скворчит картошечка.

— Как тебе было на службе, детка? Ну и погода, — сказала мать Гермион, занятая сковородкой.

— А *ее* как зовут, Лес?

— Хетти.

Все в этой жаркой кухне, от грелки на чайнике и старинных часов до киски, которая урчала, как чайник, — все было добротное, скучное и на своем месте.

— Мистер Траскот был просто кошмарен, — сказала Гермион, влезая в шлепанцы.

— Где ж ее кимоно? — сказал Лесли.

— Вот тебе чашечка чудного чая, — сказала Хетти.

— Все у них чудное в их старой дыре, — проворчал Лесли. — И где эти семь сестер, как скворцы?

Дождь припустил сильней. Он обрушился на черный задний двор, на уютную конуру — Гермионин дом, и на нас, и на спрятанный, обеззвученный город, где и сейчас еще в гавани «Мальборо» подводное пианино вызвякивало «Типперери» и веселые хнойные женщины повизгивали в свой портвейн.

Гермион с Хетти ужинали. Двое утопленных мальчиков с завистью на них смотрели.

— Полей кетчупом-то картошечку, — шепнул Лесли; и ей-богу, она полила.

— Неужели так ничего нигде и не происходит? — сказал я. — Во всем мире? По-моему, «Всемирные новости» — сплошная фальшивка. Никто никого не убивает. И нет больше никаких грехов, и любви, и смерти, жемчугов, разводов, и норковых шубок, и вообще, и никто не подсыпает мышьяк в какао...

— Поставили бы для нас хоть музыку, что ли, — сказал Лесли. — И потанцевали бы... Не каждый вечер двое парней смотрят на них в окно. Ведь точно — не каждый!

По всему зыблющемуся городу неприкаянные, утопленные человечки, которым нечего тратить и некуда пойти, стоят в карауле под мокрыми окнами, и ничего не происходит.

— У меня уже началось воспаление легких, — сказал Лесли.

Урчат огонь и киска, старинное время утиктакивает наши жизни. Хетти с Гермион убрали со стола и сперва молчали довольно долго, спокойные, надежно укрытые в своей освещенной коробке, а потом посмотрели друг на друга и медленно улыбнулись.

Они тихо стоят на своей пристойной, урчащей кухне и друг на друга глядят.

— Будет что-то интересное, — совсем неслышно шепнул я.

— Сейчас начнется, — сказал Лесли.

Мы уже не замечали мерзкого хлещущего дождя.

Улыбки будто приклеены к лицам двух тихих, молчащих женщин.

— Сейчас начнется.

И мы слышим, как Хетти говорит негромко, таинственно:

— Принеси альбом, детка.

Гермион открывает шкаф и вытаскивает оттуда большой стылого цвета семейный альбом и кладет на середину стола. А потом они с Хетти садятся за стол, рядышком, и Гермион открывает альбом.

— Это дядя Элиот, который умер в Портколе, у него спазм был, — сказала Хетти.

Они с любовью разглядывают дядю Элиота, но нам его не видно.

— Это Марта-шерстяная-лавка, ты ее не помнишь, свихнулась на шерсти, вечно шерсть, шерсть, шерсть; велела — похороните ее в кофте вязаной, такой лиловой, но муж ни в какую. Он в Индии был. А тут твой дядя Морган, — сказала Хетти, — из кидуэлльских Морганов, помнишь? — стоит на снегу.

Гермион переворачивает страницу.

— А это Майфони, ни с того ни с сего, помню, тронулась. Когда кормила. А это твой двоюродный брат Джим, священником был, пока не дознались. А вот и наш Берил, — сказала Хетти.

Но все время она говорила так, будто повторяла урок: любимый урок, затверженный наизусть.

Мы поняли, что они с Гермион просто ждут.

И вот Гермион опять переворачивает страницу. И по таинственным их улыбкам нам ясно, что того-то они и ждали.

— Моя сестра Катинка, — сказала Хетти.

— Тетя Катинка, — сказала Гермион. Они склонились над фотографией.

— Помнишь тот день в Эбериствич, Катинка? — тихо спросила Хетти. — Когда мы с хором ездили на прогулку?

— На мне было новое белое платье, — сказал новый голос.

Лесли вцепился мне в руку.

— И соломенная шляпа с птичками, — сказал ясный новый голос.

Губы у Гермион и у Хетти не шевелятся.

— Я всегда любила птичек на шляпе. Только перья, конечно. Это было третьего августа, мне было двадцать три.

— Двадцать три тебе исполнилось в октябре, Катинка, — сказала Хетти.

— Да, верно, солнышко, — сказал тот голос. — Я же была Скорпион. И мы еще встретили на променаде Дугласа Пью, и он сказал: «Ты сегодня как королева, Катинка», он сказал, «Ты сегодня как королева», он сказал. Почему эти два мальчика заглядывают в окно?

Мы бежали по гравиевой дорожке за угол дома, потом по улице, через дугу Святого Августа. Дождь, грохоча, громил и топил город. Здесь мы остановились перевести дух. Потом пошли дальше сквозь дождь. На углу Виктории мы снова остановились.

— Пока, старик, — сказал Лесли.

— Пока, — сказал я.

И мы пошли каждый своей дорогой.

■

ПЬЕР РЕВЕРДИ

Стихотворения в прозе

Перевод с французского и вступление
АЛИНЫ ПОПОВОЙ

«Лучший из ныне живущих поэтов. Мы рядом с ним просто дети», — говорили о Реверди в 1924 году Луи Арагон, Андре Бретон и Филипп Супо.

В 1915 году выходит его первый сборник — «Стихотворения в прозе», в ближайшие десять лет за ним последуют «Овальная отдушина», «Переодетые жокеи», «Уснувшая гитара» и другие. С 1916 по 1918 год Реверди издает журнал «Норд-Сюд» («Северо-Юг»), в котором сотрудничают Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Луи Арагон, Андре Бретон, Филипп Супо, Тристан Тцара.

В кабачках на Монмартре судачат о вспышках гнева, случающихся порой с редактором «Норд-Сюд» в дискуссиях о поэзии. Молодого Филиппа Супо, в будущем сюрреалиста и соратника Бретона, к Реверди привел Аполлинер. «Ему, видимо, было просто любопытно посмотреть на живого читателя «Норд-Сюд», — пишет Супо о первой встрече с Реверди, — их ведь было не так много». Монмартрской компании поэтов Реверди предпочитал общество художников, он дружил с Пикассо, Жоржем Браком, скульптором Лораном, для его журнала «Норд-Сюд» охотно работали Фернан Леже и Анри Матисс. Супо вспоминает, как однажды спросил у мэтра, почему он предпочитает общаться с художниками. «Они меньше врут», — отвечал тот.

Сюрреалисты считали Реверди своим предшественником. Андре Бретон цитирует его в первом «Манифесте сюрреализма»: «Пьер Реверди, человек, по крайней мере, столь же утомительный, как и я, писал: «Образ есть чистое порождение разума. Возникнуть он может не из сравнения, но из сближения двух более или менее отдаленных реальностей. Чем отдаленней и чем точней будет связь этих двух реальностей, тем могущественнее будет образ, тем больше в нем будет эмоциональной силы и реальности поэтической...»[1]. Но ни «Норд-Сюд», который перестал выходить в 1918 году («попытка практически бесплодная... если я и прозанимался этим полтора года, то лишь потому, что не люблю слишком быстро бросать начатое»), ни бурлящая литературная жизнь никогда не захватывали его полностью. Его всегда ждали «лампа и стол».

В 1926 году, в возрасте 37 лет, Пьер Реверди покидает Париж и Монмартр и поселяется на севере Франции в деревне Солем, неподалеку от аббатства с тем же названием. Там, в этой «ужасной деревушке, безрадостной и непритязательной», он прожил тридцать с лишним лет, до самой смерти, побывав, правда, за это время в Италии, Испании и Греции, да изредка наведываясь в Париж. Интересно, что он предпочел север средиземноморскому побережью, где родился и провел детство. «Надо побывать всюду», — писал он. «Мне нужно было провести сорок лет на севере, чтобы научиться любить Средиземноморье, которое я раньше недооценивал». За годы жизни в Солеме появится еще десять поэтических сборников.

Все, кто пишет о Реверди, отмечают его манеру вводить в стихи элементы повседневной жизни, лиризм реальности. «Ничто так не увлекает меня, как чтение ежедневных газет», — замечает он. При этом его совершенно невозможно представить себе приверженцем реализма. «Простой ум, — писал он, — выражает в темной форме то темное, то не могущее быть ясно выраженным, что он чувствует в себе». Это, видимо, как раз та сложность, о которой

---

[1] *Андре Бретон.* Манифест сюрреализма. *Перевод В. Козового.* В кн.: Писатели Франции о литературе. М., 1978.

© А. Попова. Перевод, вступление, 1999
П. Реверди. Рисунок Хуана Гриса. 1919 г.

П. Реверди. Офорт Пабло Пикассо. 1922 г.

говорит Т. С. Элиот в своей лекции «Три голоса поэзии»: «Если вам кажется, что поэт пишет непонятно, что ему все равно, понимаете ли вы его, или что он творит только для узкого круга посвященных, к которому вы не принадлежите, — помните: возможно, он пытается сказать то, что нельзя выразить никаким другим способом— и потому вам стоит обучиться этому языку»[1].

Предлагаемые читателю стихотворения в прозе, кроме последнего, более позднего, взяты из первого сборника Реверди, появившегося, когда ему было 26 лет. Они, возможно, меньше, чем что-либо другое из написанного им, требуют от читателя усилий по «обучению новому языку». Разве что стоит вспомнить совет Тургенева, предваряющий его собственные стихотворения в прозе: «Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд: тебе, вероятно, скучно станет — и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их враздробь: сегодня одно, завтра другое, — и которое-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу».

Жанр стихотворения в прозе любим многими французскими поэтами XX века. Правда, точно ответить на вопрос, что же это такое, в XX веке становится не так просто. Поскольку стихотворение в прозе нелегко отделить от свободного стиха без рифмы и фиксированного размера, их разграничение служит поводом для литературоведческих дискуссий.

Довольно жесткий обмен репликами по поводу жанра стихотворения в прозе разыгрался в 1917 году между Реверди и его старшим собратом по перу Максом Жакобом. За два года до этого вышел, как уже было сказано, первый сборник Реверди, который так и назывался — «Стихотворения в прозе». А в 1917-м появляется «Рожок игральных костей» Жакоба, тоже сборник стихотворений в прозе, где автор в предисловии излагает свой взгляд на эстетические принципы жанра. По ходу дела он нападает на Бодлера за то, что тот стремится лишь зачаровать и удивить читателя. Рембо тоже достается — например, за отсутствие стиля. По мнению Жакоба, несмотря на то, что литература обязана Рембо расширением горизонтов, его стихотворения в прозе не могут быть взяты за образец, поскольку для этой формы необходимо следование законам стиля и дисциплине, а путь Рембо ведет лишь к хаосу и отчаянию. В этом же предисловии Жакоб замечает, не называя имен, что не считает стихотворениями в прозе блокноты зарисовок — иногда более, иногда менее любопытных, — которые время от времени публикуют его собратья: «Страница прозы — еще не стихотворение в прозе, даже если в тексте есть две-три интересных находки».

Поскольку Реверди был единственным, кто за предшествующие несколько лет обращался к этому жанру, он принял критику на свой счет, как, вероятно, и было задумано. К тому же он счел своим долгом возразить на упреки Жакоба в адрес Бодлера, перед которым преклонялся, и Артюра Рембо, чьи стихи, признавался Реверди, помогли ему открыть самого себя, сыграв роль «решающего шока». В третьем номере «Норд-Сюд» за 1917 год появляется, без упоминания имени оппонента, ответная реплика Реверди. «Сегодня каждому хочется считать себя изобретателем стихотворения в прозе и законодателем его эстетики. Но уже поздно. Рембо давно умер, а его стихи продолжают жить. Никому не возбраняется учиться на них. Что, однако, еще не дает повода рядиться в перья, надерганные из чужого хвоста», — отвечает Реверди неназванному обидчику.

В отличие от Жакоба, он не пытается сформулировать принципы жанра, да и сама граница, отделяющая стихотворение в прозе от свободного стиха, у Реверди довольно расплывчата. Известно, что он никогда не считал написанное окончательно завершенным и перерабатывал даже опубликованные вещи. Критик Паскаль Пиа приводит интересный пример стихотворения, которое изначально в журнальной публикации было разбито на строки разной длины (такая форма стиха типична для Реверди), а потом — в сборнике «Летящий мяч» (1927) — появилось с несколькими изменениями в тексте уже в виде стихотворения в прозе. Критик замечает, что некоторые стихотворения Реверди вполне могли бы путем

---

[1] Перевод А. Завражновой. Цит. по кн.: *Т. С. Элиот*. Назначение поэзии. Киев – Москва, 1997.

нехитрых изменений в полиграфическом оформлении стать стихотворениями в прозе, и наоборот, кое-что из написанного им в этом жанре легко преобразуется в свободный стих. Такое перетекание одного в другое — в основе поэзии Реверди. «Стихи, выряженные в прозу», — говорит тот же Паскаль Пиа.

Жакоб, похоже, был не так уж не прав, называя первый сборник Реверди блокнотом зарисовок с натуры. Идет ли речь о происходящем вокруг или внутри — в этих стихотворениях узнается знакомое, их можно *себе представить*. Наверное, в те моменты, когда читателю это удается, стихи как раз и живут.

Талисман

Крохотная кукла, пупсик-амулет болтается у меня за окном по воле ветра. Ее платье, лицо и руки намокли и вылиняли под дождем. И даже куда-то пропала нога. Но перстень на месте, а в нем — вся ее сила. Зимой она стучит по стеклу голубым башмачком и пляшет, пляшет от радости и от холода, чтобы согреть свое сердце, деревянное сердце-талисман. По ночам она воздевает руки, с мольбой обращаясь к звездам.

Ветер и мысли

Что за странное наваждение? На уровне вон того этажа, между проводами, устроилась голова и висит себе; вокруг все замерло без движения.

Незнакомая голова говорит, а я здесь внизу, на земле, не понимаю ни слова, не слышу ни звука. Я по-прежнему стою на тротуаре напротив и гляжу, я гляжу на слова, уносимые ветром, слова, которые он бросит где-нибудь вдалеке. Голова говорит, а я ничего не слышу, все разгоняет ветер.

О великий ветер, то насмешливый, то заунывный, я пожелал тебе смерти. И остался без шляпы, ведь ты унес и ее. У меня теперь нет ничего, но моя ненависть проживет, увы, дольше тебя.

Подальше отсюда

Глядит из маленького окошка, под самой крышей. Линия моего взгляда и линия ее взгляда пересекаются. Мне повезло, я смотрю сверху вниз, рассуждает она. Но вот напротив открывают ставни, и устанавливается досадный контроль. Теперь мне повезло — я могу смотреть на витрины. Но пора наконец подняться, а еще лучше — спуститься, чтобы, взяв друг друга под руку, отправиться прочь — туда, где нас уже никто не увидит.

Анри Матисс. Иллюстрации к сборнику стихов П. Реверди «Переодетые жокеи». 1918 г.

Вечно один

Этот дым вылетает из чужих дымоходов или из ваших трубок? Я выбрал в комнате самый укромный из четырех углов, чтобы побыть одному, и окно напротив открылось. Но где же она?

Над улицей повис мост наших рук, никто из прохожих не смотрит вверх, и дома наклонились друг к другу.

Когда две крыши соприкасаются, уже не решаешься говорить. Любые звуки внушают страх, камины гаснут. Наступает кромешная темнота.

Зима

Сегодня вечером — проливной леденящий дождь и там, где бульвар освещен фонарями, — маленький черный человек с посиневшим лицом. Это от холода? Или дело в глубинном огне, который зажигает вино?

Но в его огромные башмаки натекла вода, он кружит вокруг фонарей. Подружкам глядеть на него — смех и слезы. Как тяжело! Кто захочет взвалить на себя этот груз?

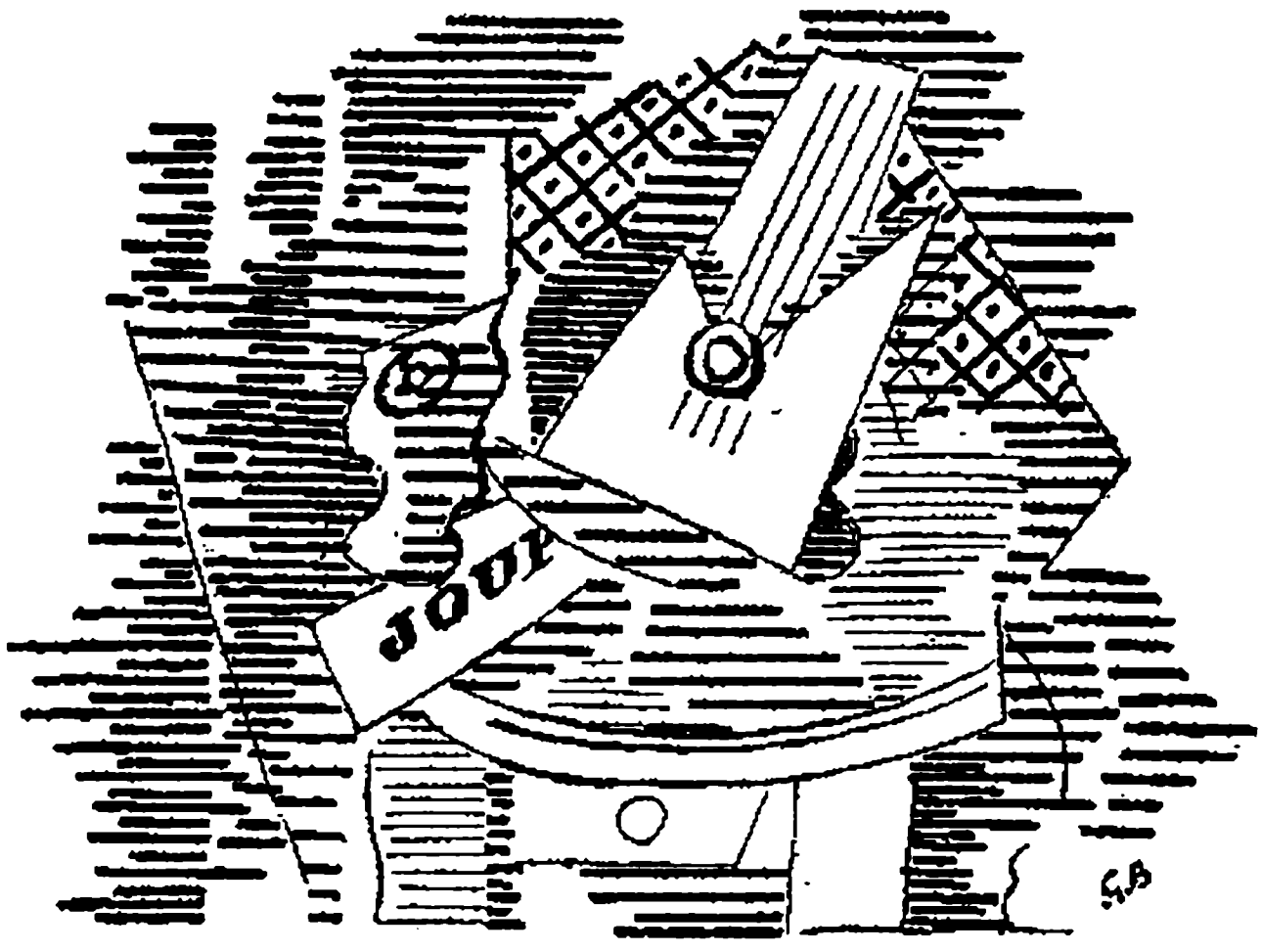
О бездомный мир, ты идешь этой тяжкой дорогой и все тебе нипочем —мне тебя не понять. Я люблю тепло, уют и покой.

О мир, питающий к ним неприязнь, ты меня пугаешь!

Путешественник и его тень

Была такая жара, что он по дороге поснимал с себя всю одежду. Сбрасывал и оставлял на кустах. И когда на нем ничего не осталось, он как раз приблизился к городу. Внезапный стыд охватил его и помешал войти. Ведь он совершенно голый — все будут глазеть!

Тогда он обогнул город и вошел в те ворота, что были с другой стороны. Он поменялся местами с собственной тенью, и она, идя впереди, его прикрывала.



Жорж Брак. Рисунок для журнала «Норд-Сюд».

Гладильщица

Когда-то руки гладильщицы ложились на ослепительное белье, как розовые острова. Но здесь, в прачечной, рядом с докрасна раскаленной печкой, кровь ее потихонечку испарилась, и сама она становится все белее, ее все трудней разглядеть в клубах пара, в сияющих волнах кружев.

Ее светлые волосы колышутся в воздухе, как локоны света, утюг продолжает свой путь, вздымая над бельем облака, а душа порхает вокруг гладильной доски, душа все еще пытается выстоять, суетится и складывается под утюгом в несколько раз, как простыни, и мурлычет какую-то песенку, но никто ее не замечает.

Неприметный человек

Свисток — и состав тронулся весь в дыму, слившемся с низкими облаками.

Это длинный заплаканный поезд, и на каждом перроне — все новые расставанья и все новые руки машут платками вслед. А этот — совсем один, и очки его помутнели от потоков чужих слез или от ливня, бьющего по стеклу, к которому он прижался лицом. Он ни от кого не уехал, и никто не будет встречать его на вокзале.

К тому же о своих странствиях он молчит, он не умеет рассказывать о краях, которые видел. Может быть, он ничего и не видел, и, почувствовав на себе чей-то взгляд, опасается, как бы не начали задавать вопросы, и опускает глаза или смотрит в небо, с которым сливаются все новые облака. На станции назначения, не выражая ни радости, ни нетерпенья, он в одиночестве отправляется в ночь, и видно, как временами выныривая под фонарями, он пропадает вместе с маленьким чемоданом. Рядом с ним никого, или кажется, что никого. И все-таки, что-то движется вслед за ним, а может, и кто-то со странными очертаниями его тени.

Под открытым небом

Я, кажется, потерял ключ, и все вокруг надо мной хохочут, и каждый мне тычет в глаза свой огромный ключ, висящий на шее.

И только я не могу открыть ни одну дверь. Все разошлись и позапирали ворота, улица приуныла. Вокруг никого. Я начинаю стучаться повсюду.

Оскорбления брызжут из форточек; я ухожу.

И тогда за городом, на границе реки и леса, я обнаружил дверь. Просто дверной проем, без всяких замков. Я вошел и попал в ночь, у которой нет окон, а есть лишь тяжелый полог, и там, под охраной реки и леса, я смог наконец поспать.

После бала

Я, похоже, сдал в гардероб еще что-то, кроме одежды. Я вхожу, мне невероятно легко, ни в чем никаких сомнений, и в зале заметили мое появление. Лучи света наводнены танцующими.

Я вальсирую, я кружусь в волнах света от электрических ламп, ничего не видя вокруг, наступаю все время кому-то на ноги, а другие тем временем оттаптывают мои.

Что за бал, что за праздник! Все женщины здесь прекрасны, и мои флюиды летят навстречу их взглядам. Пока у оркестра не кончились силы, я выписывал кренделя на вощеном паркете, возбуждение переполняло меня, а руки гудели от тяжести новых пленниц, которых опять и опять я должен был отпускать.

Но оркестр умолк, и при погашенных лампах навалилась усталость. В гардеробе мне отдали теплую зимнюю шубу, но где остальное? Нет, чего-то мне не хватает. Я один, мне не выстоять против этой стужи.

Сумерки

Темнело, и расширялись кошачьи зрачки.

Мы сидели вдвоем на подоконнике, приглядываясь и прислушиваясь к тому, что творилось не где-нибудь, а внутри нас самих.

Вдали, за чертой, замыкавшей улицу сверху, деревья бахромой изрезали небо.

А город? Вот именно, где этот город, уходящий под воду, из которой сделаны облака?

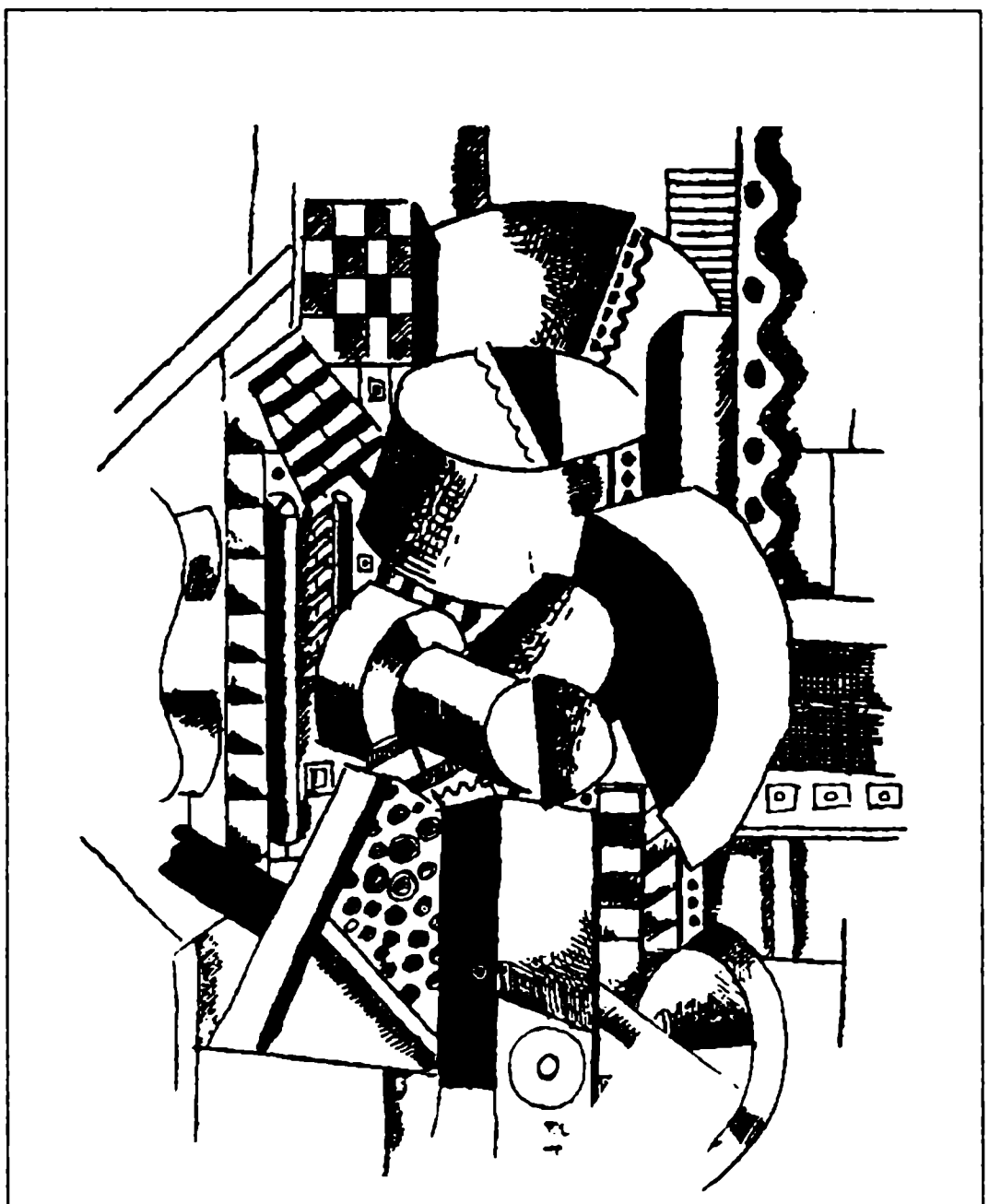
Свежесть воздуха на лице и в мыслях

И не было ничего вокруг ее бесплотного черного тела, только осколки неба, только клочки черной материи.

Она держалась меж домом и небом, точней, перед правой створкой окна.

Но таким большим ей казалось небо и ночные небесные дыры, днем спрятанные за облаками, что она неотрывно глядела сюда, ко мне в комнату. И этот отсвет перед камином, это в шумном дыханье камина стихавшее пламя — ей, наверно, могло показаться, или мне самому показалось, будто это звезда.

И глаза ее там, за оконным стеклом, на ветру.



Фернан Леже. Рисунок для журнала «Норд-Сюд».

ПЕТЕР ТУРРИНИ

Всё, наконец

МОНОЛОГ

Перевод с немецкого Л. БУХОВА

Все сценическое пространство задрапировано черной тканью и совершенно пусто. Под потолком ярко светит голая лампа, без абажура. В углу стоит мужчина лет пятидесяти пяти, скромно одетый. В руке у него пистолет, он взводит курок и подносит пистолет к виску.

МУЖЧИНА. Сейчас я сосчитаю до тысячи и покончу с собой.

(Пауза. Он смеется.)

Как только я досчитаю до тысячи, я застрелюсь.

© Peter Turrini, 1997. Права на постановку принадлежат издательству Thomas Sessler Verlag; Wien.
© Л. Бухов. Перевод, 1999

52
53
54
(Паузы между числами постепенно становятся длиннее.)
55
56
57
58
59
60
61
62
63
(Он считает все медленнее.)
64
(Пауза.)
65
(Пауза.)
66
(Пауза.)
67
(Пауза.)
Придется ждать очень долго, пока я досчитаю до тысячи. Так я никогда не доберусь до своей собственной смерти. Я должен сам ее ускорить, поспешить ей навстречу.
(Начинает считать быстрее.)
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Мне нужно прыгнуть ей навстречу.
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
(Считает все быстрее.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
180
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
190
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
200
(Смеется.)
Я невероятно счастливый человек. Для всех я желанный гость, мое имя у всех на устах. Мне делают самые завидные предложения. Всем я нужен. Стоит выйти из квартиры, как тут же ко мне подходят любящие соседи. Каждый стремится затащить меня к себе. Я ускользаю от них, ссылаюсь на важные дела. Я бегу вниз по лестнице, но тут же попадаю в объятия консьержа. Он настойчиво приглашает меня к себе на кухню, хочет чем-нибудь угостить. Но и от

него я ускользаю, правда с большим трудом, и выскакиваю на улицу. На улице меня узнают, здороваются со мной, все меня любят. Жизнь подарила мне всё. Я достиг многого в своем деле, у меня масса наград. В любви я пережил высочайшее счастье. Ни один ландшафт, даже самый прекрасный и величественный, не остался не открытым мною. Рассветы, которых кинематографисты вынуждены ожидать часами, чтобы запечатлеть их на пленке, сами собой представали передо мной. Прекраснейшие слова, точнейшие формулировки, убедительнейшие аргументы с легкостью слетали с моего языка и пера. Я — незаурядная личность. И лишь смерть способна меня одолеть.

(Продолжает считать.)

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Я перенес страшные болезни, но ни одной не удалось сразить меня, ни одна не загасила во мне искру жизни. Я прочитал книги о смертельных болезнях величайших из великих. Когда я начал кашлять подобно Кафке, то обращался в разные санатории, ожидая, что у меня вот-вот начнется кровохарканье. Я обследовал свое тело в поисках узлов ницшеанской венерической болезни, я пьянствовал, подражая Хемингуэю, курил сигарету за сигаретой и надеялся, что смогу, как Пуччини, умереть от рака горла. Я желал, чтобы меня, вслед за Бюхнером, уничтожил тиф, я жаждал быть насмерть покусанным собакой, как Фердинанд Раймунд, или на худой конец погибнуть, как Албан Берг, от укуса насекомого. Семью, друзей я ставил перед фактом опасной болезни, угрожающей моей жизни, а замечая падение их интереса к моему состоянию, я по секрету сообщал им о моей предстоящей смерти. Я рассылал им копии рентгеновских снимков, на которых были видны затемнения. Однако чем настойчивее демонстрировал я им приметы своей скорой гибели, тем безразличнее становился я для них и тем равнодушнее начинал сам относиться к собственным болезням. И тогда я решил покончить с собой.

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

(Он все еще держит пистолет у виска и улыбается.)

222
223
224
225
226
227
228
229
230

Смерть приближается, она все ближе и ближе. Моя первая встреча с ней произошла в детстве, мне было тогда девять лет. Я лежал в черной комнате, в провинциальной больнице, и ожидал ее прихода. Поскольку она все не появлялась, я принялся фантазировать, начал придумывать свою жизнь. И привычке придумывать свою жизнь я остался верен по сегодняшний день. В своих фантазиях я становился все более могущественным и видел себя в роли покорителя гор и океанов, я прокладывал дорогу сквозь африканские джунгли и раскрывал тайны морских глубин. В семнадцать лет я захотел стать чемпионом мира по прыжкам на лыжах с трамплина, но вскоре отказался от своего плана, поскольку он делал невозможным избрание меня Папой. Я видел себя революционером, в одном

строю с известнейшими революционными вождями, однако никак не мог, да и не желал связывать себя каким-либо мировоззрением. Я планировал ограбления банков, мечтал танцевать под пальмами с обитательницами тропических островов, но уже некоторое время спустя подумывал о пострижении в монахи. Я хотел стать убийцей, киллером, которого разыскивает Интерпол, однако роль международного миротворца сулила мне еще большую известность. Видя парочку, застывшую в объятии, я жаждал быть самым страстным влюбленным. Если же вступал в любовную связь, то очень скоро начинал чувствовать себя пленником. Вид играющих и смеющихся детей вызывал во мне неутолимое желание стать отцом, но когда у нас с женой родился сын, я стал завидовать любому, кто был свободен от тягот семейной жизни. Мысленно я рассылал по почте бомбы в конвертах, но в то же время мечтал о славе того, кто сумел бы разоблачить преступника. Все в моей жизни было иллюзорно, реален только этот пистолет у моего виска.

(Продолжает считать, живо, убыстряя темп.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
240
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
250

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
260
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
270
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
280
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
290
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
300
(Смеется.)
Смерть — игрок, ей нравится играть в прятки. Всякий раз, когда мне кажется, что я настиг ее, она ускользает от меня. Совершив попытку самоубийства, я очнулся в больнице, в реанимации. Я был подключен к множеству трубок, на лице — кислородная маска. В палату вошли моя жена, сын, который был тогда еще очень мал, и толстый священник. Жена всхлипывала, сын цеплялся за нее, священник повесил себе на шею лиловую епитрахиль. Он помазал мой лоб елеем и произнес слова, понять которые я не мог, поскольку мои уши были закрыты креплениями кислородной маски. Я взобрался на ящик, чтобы лучше видеть и слышать происходящее, и наблюдал всю эту сцену сверху. Священник взял мою руку — в его действиях чувствовалась некоторая поспешность, — помазал и ее елеем и сказал, что Господь простит мне все прегрешения. В своем милосердии Он укрепит мой дух и поведет меня к жизни вечной. Жена сменила носовой платок, сын наблюдал, как на экране монитора поднимается и опускается кривая биений моего сердца, священник вытер пот со лба и положил епитрахиль и елей в карманы своего черного пиджака. «Когда жена вернется домой, — подумал я, — она прежде всего бросит в стиральную машину носовые платки. А священник, проходя мимо кельи сестер, заглянет к ним, прихватит несколько конфет из открытой коробки и поспешит на следующее соборование». И я спрыгнул с ящика и решил, что буду жить дальше.
(Смеется и продолжает считать.)
301
302
303
304
305
306
(Танцует в ритме счета, не отнимая пистолет от виска.)
307
308
309
310
Это был танец, головокружительный танец.
311
312
313
314
315
Я завершил бессодержательный период своего существования, став внештатным сотрудником второразрядной газеты и начав описывать мир так, как его описывали все. Я писал колонки для крупной ежедневной газеты. Взывал к благоразумию, когда все взывали к благоразумию, критиковал то, что в данный момент считалось достойным критики. Когда возникали военные конфликты, я клеймил как агрессора того, кого агрессором считали все. Я выступал против государственного регулирования экономики и за бóльшую свободу рынка, в массовом увольнении рабочих я видел единственный путь оздоровления производства. Я высказывался с симпатией, хоть и осторожно, о политиках, выступающих против засилья иностранцев в нашей стране. Время от времени я кардинально менял свои взгляды — писал о нуждах уволенных рабочих, жертвовал свой месячный заработок на строительство жилья для беженцев и брал под защиту шефа разведки одной из бывших коммунистических стран. О смене моих убеждений я каждый раз оповещал мир решительно и страстно. Что принесло мне репутацию человека, мыслящего независимо. Изменяя своей жене, я звонил ей, еще лежа возле любовницы, и говорил жене те же самые ласковые слова, которые только что говорил другой. Подобные вещи я повторял не раз, а моя жена ни о чем не догадывалась. Когда же мой интерес к подобным играм иссяк, я покаялся перед женой во всех своих любовных связях и вдобавок присочинил еще несколько,

не скупясь на детали. Изображая глубочайшее раскаяние, используя весь свой запас красноречия, я стремился вновь завоевать ее доверие, которое за минуту до того преднамеренно разрушил. Я то говорил ей правду, то лгал, пока сам не переставал понимать, действительно ли я совершил тот или иной поступок. Жена сказала, что она больше не в состоянии все это выносить и сходит с ума. Я же убеждал ее, стремясь вызвать сочувствие, что это я сошел с ума, что я болен и что мне очень нужна ее помощь. А когда она решилась мне помочь, я оттолкнул ее. Она возненавидела меня и принялась осыпать словами, как острыми стрелами, сотнями стрел, которые, подобно иглам, торчали из моего тела. А я, окровавленный еж, с улыбкой заявил ей, что все равно останусь в живых. Она вместе с сыном съехала с нашей квартиры и начала через адвокатов преследовать меня, требуя денег, я же упрочил свое положение в газете.

Где я остановился, на каком числе?

320?

(Продолжает считать быстро и с воодушевлением.)

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

(Смеется.)

Я вел ночной образ жизни, потреблял виски в огромных количествах, стал записным острословом. Мне было наплевать на убеждения других. Они осуждали поведение церковника, грешившего с воспитанниками интерната, я, наоборот, защищал его. Известно же, сколь беспечна созревающая молодежь в вопросах личной гигиены. Ведь должен же найтись некто, кто позаботится о чистоте пипок и попок этих юношей. Этот человек никакой не педераст, он ревнитель гигиены. Всеобщий смех. Когда мои коллеги на редакционном заседании осуждали врача, работавшего в нацистском концлагере, который отправлял заключенных на тот свет посредством инъекций яда и которого недавно отыскали в Бразилии, я сказал, что готов отнестись к этому человеку с пониманием. Его действия можно расценить как гуманные. Ведь заключенные, изнуренные тяжким трудом в каменоломнях и избиваемые надсмотрщиками, были уже на пределе своих сил, на пороге смерти, его укол лишь сокращал страдания несчастных, избавлял их от физической боли, от всех земных горестей. Даже смертельно раненным солдатам на фронте было отказано в подобном проявлении милосердия из-за дефицита шприцев и медикаментов. Коллеги не знали, как им себя вести: промолчать или рассмеяться, и предпочли последнее. Я всем говорил, что страдаю импотенцией, и приставал к редакционным секретаршам со всякими непристойностями. Как-то раз меня пригласили произнести речь по поводу дня рождения одного еврея-промышленника, и я говорил о нарастании праворадикального экстремизма, о нелепых претензиях многих людей на расовую чистоту. И это в стране, столетиями предоставляющей кров чужестранцам. Собравшиеся внимали мне, одобрительно кивая. Что может быть отвратительнее этих чистопородных наци? Только одно — чистопородные евреи. Все в ужасе уставились на меня, но вдруг расхохотались. Они смеялись, не в силах остановиться. Я тонул в море хохота и тоже смеялся.

(Смеется.)

Мне пришло в голову броситься с самой высокой башни города и зафиксировать мое падение с помощью фотоаппарата.

(Смеется.)

Я решил, что лучше отправить на тот свет кого-нибудь другого. Например, моего коллегу по редакции, который каждое утро бесконечно долго копается в багажнике своей машины. Внезапно захлопнув крышку багажника, я его обезглавлю. А привратнику в Доме прессы, который всегда угод-

ливо приветствует меня, я суну в лицо вентилятор, что постоянно жужжит в его каморке. Главного редактора, который выводит меня на крышу Дома прессы и, указывая рукой на город, говорит, что наш долг идти навстречу людям, ежедневно ожидающим нашу газету, — так вот, его я просто столкну с крыши. С издателем, который сегодня вечером возьмет меня на конфиденциальные переговоры к канцлеру, я тоже расправлюсь — как и с половиной правительства — с помощью бомбы. Спрячу ее в портфель и поставлю под стол канцлера.

(Смеется, разбегается и делает прыжок.)

340

(Делает еще прыжок.)

350

(Делает маленький прыжок.)

359

(Делает большой прыжок.)

365

(Разбегается и делает большой прыжок.)

380

(Еще один большой прыжок.)

400

(Тишина. Он тяжело дышит.)

Это совсем не просто — покончить с собой. Я позвонил в городское бюро обслуживания и сказал, что нуждаюсь в информации относительно смерти. Меня соединили с руководителем городского погребального музея. «Существует три тысячи книг на тему смерти», — сообщил он мне по телефону. Если у меня нет времени на их чтение, то можно присоединиться к групповой экскурсии по музею умирания. Если же я покажусь ему достаточно симпатичным, то мы договоримся об индивидуальном осмотре музея.

Я позвонил в фирму под названием «Фирма ритуальных принадлежностей и погребальных услуг». Управляющий заметил, что похоронные фирмы — это не мебельные магазины, предлагающие свои товары по сниженным ценам, здесь речь идет о предметах, исполненных благочестия. Детали можно обсудить только при личной встрече. Являюсь ли я близким родственником усопшего? В ответ на мое искреннее утверждение, что я намереваюсь покончить с собой, но не желал бы обременять близких излишними хлопотами, он повесил трубку.

В следующей фирме, представленной в телефонной книге как погребальная, мне заявили, что главная проблема — это не гроб или надгробный камень, а сложности с захоронением. По сравнению с количеством мест для могил количество трупов слишком велико. На кладбищах становится все теснее, но, с другой стороны, люди становятся все требовательнее, желают иметь все более просторные участки для могил, все более монументальные надгробия, а места для этого не хватает. Возникла ситуация, похожая на положение с холодильниками. Проблема сегодня не в том, как произвести холодильник, как его продать, а в том, куда его потом девать.

(Пауза).

Мир будет скоро переполнен трупами, холодильниками и другими трудноустранимыми вещами. Просто гора трупов, и холодильников, и тостеров, и видеомагнитофонов. А на вершине горы сижу я, неустранимый, и молю о моем устранении, о переходе в состояние разложения, молю о погребении, жажду отдаться на съедение червям, подвергнуться распаду, тлению. Тостер и телевизионная антенна впились в мою все еще живую задницу и проклинают меня, обрекая на бессмертие. На каком числе я остановился? Я уже не знаю. 400? 410? 420? Ради простоты начну-ка я опять с 400.

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411
412
13
14
15
16
17
18
19
20
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

Я бродил, ведомый господином Бергером, руководителем музея погребения, осматривая экспозицию. Он продемонстрировал мне весь арсенал предметов, сопутствующих умиранию, показал мне все имеющиеся гробы. Я всегда страдал клаустрофобией. В кинозалах, в театрах я всегда сижу на крайнем месте, глядя на выходные двери, в любую минуту готовый покинуть помещение, чтобы не задохнуться. Мне безразлично, в каком из гробов Бергера я буду лежать, в старинном или современном, в цинковом, жестяном, дубовом, еловом. Боюсь, что все они будут мне узки. Тяжесть земли рано или поздно продавит любую крышку, даже самую прочную. Крышка будет давить мне на грудь все сильнее и сильнее. Мое дыхание замедлится, лицо станет багровым, глаза вылезут из орбит, жилы набухнут. Мой зов «На помощь» не пробьется сквозь давящий груз. Я распоряжусь, чтобы меня сожгли. Хотя, надо сказать, я весьма чувствителен к жаре.

(Тишина. Он держит пистолет у виска и продолжает считать.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
440

Самое скверное — потерять зубы. Когда они начинают шататься, все становится неустойчивым. И все глазеют на твои зубы. Даже тот, кто намеренно отводит взгляд, смотрит на лоб или на другое место, не забывает о твоих зубах. Ты чувствуешь, что совершенно выбит из колеи, и пытаешься найти поддержку у тех, кто, как ты подозреваешь, находится в такой же ситуации. От искусственной челюсти — прямая дорога к красным фонарям публичных домов. Проститутки совершенно не обращают внимания на изъяны их гостей. Проститутки — чудесные создания, они тебе рады, прижимаются к твоим бедрам, прикасаются к тебе губами, они тебя желают, и ни одно уродство в мире не способно помешать им заниматься своим делом. Ни одна бородавка не в силах остановить их, никакая сыпь не заставит их отпрянуть. Они распахивают перед тобой все свои двери — передние и задние, верхние и нижние, ты проникаешь во все более просторные покои, ощущаешь все большую свободу. Не важно, что ты говоришь, и не важно, что говорят они, слова теряют свое значение, все вокруг замирает. Какое-то время я посещал психиатрическую клинику, но там тебя постоянно о чем-то спрашивают.

441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

(Тишина.)

После моей смерти следователь попросит

лечащего психиатра дать письменное заключение. В нем будет написано, что я снова и снова пытался встретиться с женой и сыном, что преследовал их, угрожая самоубийством. В этом нет ни слова правды. Мой сын — бездарь, а моя жена — алчная старая карга. Для своего врача — да и для каждого врача — я всегда играл придуманную роль. Рассказывал им о трудном детстве, о родителях, за которыми я наблюдал во время полового акта, о матери, которая долгие годы болела и была вынуждена носить корсет. О крестьянах, до крови избивавших своих детей куском приводного ремня. О соседских детях, которые заставили меня воткнуть соломинку в лягушку и надуть ее. О годах, проведенных мной в интернате, где мои однокашники систематически издевались надо мной. Я никогда не жил в интернате, и мое детство не было ужасным ни в коей мере. В действительности все было замечательно — прямо как на картинке. Дети играют в саду, дедушка раскуривает трубку, мать выносит из дома молодое вино, а отец спешит отвести лошадей в конюшню. Я рассказывал о том, как началась моя жизнь в городе, о сырых меблированных комнатах и садистах-сослуживцах. Описывал сцены своей супружеской жизни, детали, которые, как мне казалось, могут потрафить их нездоровой фантазии. Я точно знал, какие катастрофы покажутся им убедительными. Почему я лишаю себя жизни? Из-за трагического детства? Из-за жены? Или из-за другой женщины? Из-за некой Дорис? Из-за Беаты? Из-за Инги? Но почему это непременно должна быть женщина? Почему, например, не река или гора? Разве не мог Дунай стать причиной моего краха? Или горная цепь — разве не могла она привести меня к погибели? Я считаю до тысячи, стреляюсь и умираю без всякого повода.

(Тишина.)

451

452

453

454

455

(Тишина.)

Тишина. Абсолютная тишина.

(Тишина.)

Я достиг поста ведущего редактора авторитетной газеты. Написал исследование о причинах возникновения международных конфликтов. Меня постоянно приглашали на симпозиумы, известные политические деятели обращались ко мне за советом.

(Тишина.)

456

457

458

459

460

(Продолжительная тишина.)

Мой язык, мой образ мыслей стали мне чужды. Я стал сам себе чужд. Я слушал, как некто говорит, смотрел, как он пишет, наблюдал его — то есть себя — во время пробуждения, бритья, за едой, в автомобиле. И хотя не было ни малейшего сомнения, что человеком, который вставал, брился, ел, ходил, ездил, говорил, был я, этим индивидуумом с таким же успехом мог быть совершенно другой человек. То, как он вставал, что он говорил, что ел, писал, все сильнее вовлекало меня в сферу его интересов. Я был вынужден выслушивать от него вещи, ни в малейшей мере меня не интересовавшие, он отбирал сообщения пресс-агентств, руководствуясь соображениями, которые, на мой взгляд, не имели никакого смысла, он ел в ресторанах, которые казались мне малосимпатичными и чрезмерно дорогими, он целовал секретаршу, от одного вида которой меня мутило. Всеми своими действиями и поступками, которые, к счастью, были не моими собственными, он высасывал из меня все силы, утомлял меня, доводил до крайности, убивал. Я решил избегать его, скрываться. Когда утром он вставал, я продолжал сидеть на краю кровати, когда он намазывал свое лицо дурно пахнущим кремом для бритья, я свое лицо умывал, когда в редакции он пускался в смехотворные и довольно туманные разглагольствования о мировых проблемах, я только качал головой,

когда он беспрестанно ссорился со своей женой по телефону, я отключал телефон. Короче: если он шел вперед, я останавливался, если он собирался заговорить, я молчал, если он хотел поработать, я и пальцем не шевелил. Чтобы наконец полностью от него избавиться, я остался дома, в кровати и ел только по необходимости, в основном то, чего он терпеть не мог. Главный редактор засыпал меня письмами, бомбардировал звонками. Он предложил мне лечь в клинику, я ответил, что он ошибся адресом. Тогда он вместе с двумя редакторами притащил ко мне домой компьютер, подключенный к Интернету, и заклинал меня снова начать писать, иначе меня ждет полная деградация. Поначалу я даже не прикасался к клавиатуре. Я опасался, что тот, другой, который постоянно работал с компьютером, может при его включении снова очутиться в комнате и разрушить мое чудесное одиночество. Со временем я оставил подобные опасения. Сев к компьютеру, я получил через Интернет последний номер газеты «Лос-Анджелес таймс», распечатал статью, показавшуюся мне наиболее бессмысленной, перевел ее и по факсу переслал главному редактору. Тот сразу откликнулся факсом: поздравил меня с возвращением на борт, высоко оценил качество статьи и предложил продолжать писать, оставаясь дома впредь до полного выздоровления, а написанное пересылать в редакцию по факсу. Эта деятельность вносила приятное разнообразие в мою жизнь. Я распечатывал отдельные статьи из очередных новых номеров «Лос-Анджелес таймс», переводил их и по факсу отправлял переводы в редакцию. В один прекрасный день главный редактор позвонил мне: в моей статье о маоистской террористической группе в Перу я назвал предводителя террористов именем кубинского революционера, и он просит исправить имя. Но мне это было абсолютно безразлично, и я откровенно признался, что эту статью, равно как и все предыдущие, я взял из «Лос-Анджелес таймс» и что со своим вопросом ему следует обратиться именно туда. С тех пор газетный мир больше не давал о себе знать, и я вновь погрузился в тишину.

(Тишина.)

Где я остановился? Не могу вспомнить число. На каком числе я остановился? 430 или 440? 450? 460? 470? Ненавижу написанное слово. Газеты, книги — все печатное. Я сжег все стихи, рассказы, написанные мной в юности. Уничтожил все свои статьи, свою книгу, свои колонки, все свои декларации о мировых проблемах. Написанное мной приковывало меня к другим людям, к их готовности читать все это, к их одобрению, к их мнению, оценке, а от того, что я прочитал из написанного другими, не в меньшей степени зависел я сам. По какому только поводу мне не приходилось иметь собственное мнение, и я должен был знать все значительные литературные произведения, каждый дебют ожидал от меня похвалы, каждый стиль нуждался в понимании, каждая серьезная газета желала быть прочитанной, каждая передовица жаждала моей поддержки или опровержения. Любое слово, отданное мной миру, и любое слово, воспринятое мною от него, все глубже погружало меня в эту тюрьму, в эту темницу, в этот шум. А я нуждался только в тишине. Побросав все — книги, газеты — в черные мешки для мусора, я сложил их в прихожей. В надежде избавиться от звуков, доносящихся из внешнего мира, я промазал все щели в окнах замазкой, но это не принесло того результата, на который я рассчитывал. Тогда я велел установить звукоизолирующие окна, самые толстые, и повесил на окнах тяжелые бархатные шторы. Стало, правда, немного тише, уличный гул, человеческие голоса, чириканье птиц звучали глухо и отдаленно, однако мое всепоглощающее желание погрузиться в тишину так и не осуществилось. Чем сильнее хотел я отодвинуть от себя внешний мир, тем ближе он ко мне подступал. Я постоянно прислушивался, подстерегая любой ощутимый шум, и едва моего слуха касался какой-нибудь звук, как в моих ушах он разрастался до чудовищных масштабов: далекое пение птицы казалось мне пронзительными

криками огромной птичьей стаи, шум тормозящего автомобиля превращался в грохот массового столкновения десятка машин, возглас одного ребенка вырастал в гвалт целого детского сада. Я повесил ткань, очень много черной ткани поверх штор, задрапировал все стены, пока все это не стало единым черным пространством, мне хотелось забыть, где расположены окна, чтобы не глазеть больше в ту сторону и не ожидать напряженно каких-либо звуков. Но шум стал возникать в моей голове, я уже не мог отличать шум, проникший извне, от шума, рождающегося внутри меня. Мой мозг, истосковавшийся по тишине и покою, извлекал из памяти все звуки прошлой жизни и повторял их. Я выключил электроприборы — все до одного, заказал себе специальное питание для астронавтов в большом количестве, чтобы стук в дверь посыльного с пищей или какого-нибудь другого поставщика продуктов не повергал меня в отчаяние. Я заплатил почтальону и попросил его всю мою почту, включая служебную, выбрасывать в урну, стоящую в подъезде, а не звонить мне в дверь с сообщением, что мой почтовый ящик переполнен. Он на это не согласился, и тогда мне пришлось, приплатив ему еще, уговорить его, чтобы мою почту, в том числе официальную, он бросал без долгих разговоров в щель на двери моей квартиры. В результате целая гора почтовых отправлений выросла в моей прихожей, куда я, впрочем, перестал выходить. Само собой разумеется, что компьютер, телевизор, телефон, часы, батарейки, удаленные из часов, — все это я выкинул в прихожую. Долгими часами охотился я на мух, но не всегда успешно. Я старался избегать шума при ходьбе, я задерживал дыхание, чуть не падая в обморок. Я перестал двигаться, даже почти перестал дышать. И хотя воспоминание о звуках и шумах постепенно ослабевало, возникло другое воспоминание: о словах и обрывках слов, о предложениях и их обрывках, которые я когда-то произнес, прочитал, написал или услышал. В них с трудом улавливался какой бы то ни было смысл. Название Республика Сербия оттеснялось словами «яичная вермишель», между обрывками речи какого-то политика протискивался вопрос моей жены, заданный мне много лет назад. В чтение цитат из Библии вторгались анекдоты, которыми я развлекал друзей. Стереотипы метеосводок дополнялись в моей голове строфами баллады, некогда выученной наизусть еще в школе. А текст Мюнхенского соглашения, который я изучал, работая над статьей, прерывался словами давней прощальной беседы. Отдельные фрагменты моих передовиц смешивались с недовольным голосом моего сына. И ласковые слова, которые я обычно употреблял, звучали из уст дикторов, рассказывающих о последних новостях. И фраза «Я хочу умереть» искажалась, превращаясь в звуки маршевой музыки. Я разорвал все письма, все записи, все календари, все свидетельства, все документы, все написанное и напечатанное, что еще сумел найти в своей квартире. В последнюю очередь я разорвал свое свидетельство о рождении. Эти обрывки бумаги я бросил на кучу мусора в прихожей, запер дверь, ключ просунул под дверь и погрузился в ожидание окончательной тишины вокруг меня и во мне. Но слова и обрывки слов, фразы и фрагменты фраз проникали из прихожей, из книг и газет, из писем и документов, из статей и воспоминаний, они проползали под дверью прямо ко мне в голову. Все теории самоубийства ложны. Главное здесь — установить тишину. Установить тишину.

(Тишина.)

Мне нужно продолжать счет, просто считать дальше.

480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

492
493
494
495
496
497
498
499
(Пауза.)
500
(Тишина.)
Половина моей смерти. Я в самой середине своего умирания.
(Тишина.)
Достигнув половины пути, следует проверить свою экипировку.
(Садится на пол и рассматривает пистолет. Начинает его разбирать. Детали пистолета раскладывает на полу.)
Это «смит-и-вессон», модель шестьсот двадцать четыре. Модель шестьсот двадцать четыре имеет калибр сорок четыре, он заряжен специальными патронами. Стреляет с приятной мягкостью и отличается высокой точностью. С любого расстояния можно получить входные отверстия диаметром не более шестнадцати-семнадцати миллиметров. При таком коротком стволе это весьма отрадный результат.
(Тишина. Он рассматривает отдельные детали.)
Я продумал все виды смерти и отверг их. Выпрыгнуть из окна — рискованно, можно остаться в живых, превратившись в инвалида. Отравление газом отпадает — городские газовые станции теперь обезвреживают газ. Таблетки я уже испробовал, безуспешно. Одно время я подумывал о том, чтобы на большой скорости врезаться в стену, но это лишь увеличило бы статистику дорожных происшествий и лишило бы мою смерть оригинальности. Вешаться, на мой взгляд, слишком банально. Самосожжение патетично, к тому же — криком изойдешь. Выстрел в голову — вот самое разумное. Сильный грохот, а потом — тишина.
(У входной двери звонят. Он смотрит на боковую стену и продолжает тихо считать.)

501
502
503
504
505
506
507
(Снова звонят.)
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
(Еще раз звонят.)
520
521
522
523
(Тишина. Он смотрит на стену и прислушивается.)
524
525
526
527
528
(Он перестает считать и прислушивается. Долгая пауза.)
Снова и снова я разглядываю дерево перед моим окном. Зимой оно стоит окоченевшее, безжизненное, и я радуюсь тому, что мы оба застыли. Весной оно покрывается цветами, и я из последних сил стараюсь пробудиться вместе с ним. Летом оно растет в вышину, и я разделяю с ним это чувство роста. Мы растем и растем, покрываемся листьями и плодами, наконец достигая бессмертия. Но подует осенний ветер, наступит одна холодная ночь, пронесется буря, и оно пугается, все с себя сбрасывает, а я вот лежу на земле. Меня топчут, я истлеваю, уличный подметальщик сгребает меня в кучу и бросает на тачку, в мусор.

(Тишина.)
Любое дерево — это ловушка. Меня обманывают уже более пятидесяти лет подряд. Всякая рука, что согреет тебя и снова с тобой простится, вершит злодеяние. Каждое поздравление, любая похвала, тебе адресованная, отзвучав, оборачиваются клеветой на тебя же. Взгляд, на тебе остановившись, высматривает кого-то другого. Улыбка, тебя приглашающая, — это темница, где ты остаешься в одиночестве. Любой призыв, манящий тебя, есть ложь.
(Он продолжает считать, медленно и напряженно, при этом он периодически бросает взгляды на черную стену.)
528
529
530
531
532
533
(Пауза.)
534
(Пауза.)
535
(Пауза. Внезапно он вскакивает, встает перед правой черной стеной, прикладывает ладони рупором ко рту и кричит.)
600
(Он прислушивается. Потом становится перед задней черной стеной и снова кричит.)
700
(Прислушивается. Становится перед левой черной стеной и кричит.)
800
(Становится перед воображаемой четвертой стеной и кричит в публику.)
900
(Продолжительная тишина. Он снова садится на пол и собирает пистолет. Прижимает дуло пистолета к виску.)
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
(Его рука начинает дрожать. Он издает звуки, напоминающие плач.)
912
913
914
915
916
917
918
918
919
920
921
(Пауза. Внезапно он подпрыгивает и срывает черную ткань с правой боковой стены. В стене обнаруживается дверь, ведущая, очевидно, в прихожую. Он изо всех сил пытается открыть дверь, но ему это не удается. Тогда он взламывает ее, засунув ствол пистолета в дверную щель. Открывается вид на прихожую. Там громоздятся горы пластиковых мешков и разных вещей. Невообразимое количество. Он копается в этой груде вещей и затем притаскивает несколько мешков в комнату. Закрывает дверь в прихожую, вскрывает мешки и вываливает их содержимое. На полу громоздится большая куча предметов. Он ложится на кучу, держит пистолет у виска и продолжает считать.)
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
(Пауза. Он берет из кучи лыжный ботинок, разглядывает его и продолжает считать.)
932
933
934

935
(Он бросает ботинок обратно, извлекает из кучи связку писем и разглядывает их.)
936
937
938
(Он отбрасывает письма и берет из кучи старый игрушечный автомобиль.)
939
(Он отбрасывает автомобиль и по очереди берет из кучи миксер, бокал, рубашку, атлас, часы, рассматривает все эти предметы, продолжая считать и бросая предметы обратно.)
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
(Пауза. Он копается в куче и внезапно вытаскивает из нее фотографию. Садится на пол, ставит фотографию перед собой и рассматривает ее. Видна только тыльная сторона фотографии. Пауза.)
Я так хотел быть возле тебя, каждый день. Я обыскивал почтовые ящики в надежде найти хоть какой-нибудь знак от тебя. Но жестяные ящики были пусты, они издавали грохот, когда моя рука билась внутри них, как будто письмо, весточку можно выколотить из жести. Вся остальная корреспонденция, которую мне довелось получить в жизни, ничего для меня не значила, ведь в ней не было твоего имени. Любые радостные приветствия, которыми меня встречали, превращались в грубый ор, ведь в них не было слышно твоего голоса. И любая пара глаз, смотревшая на меня с восхищением, казалась мне мертвой, потому что ты никогда больше на меня не взглянула.
(Он роется в вещах, находит зажигалку и поджигает фотографию. Она медленно сгорает.)

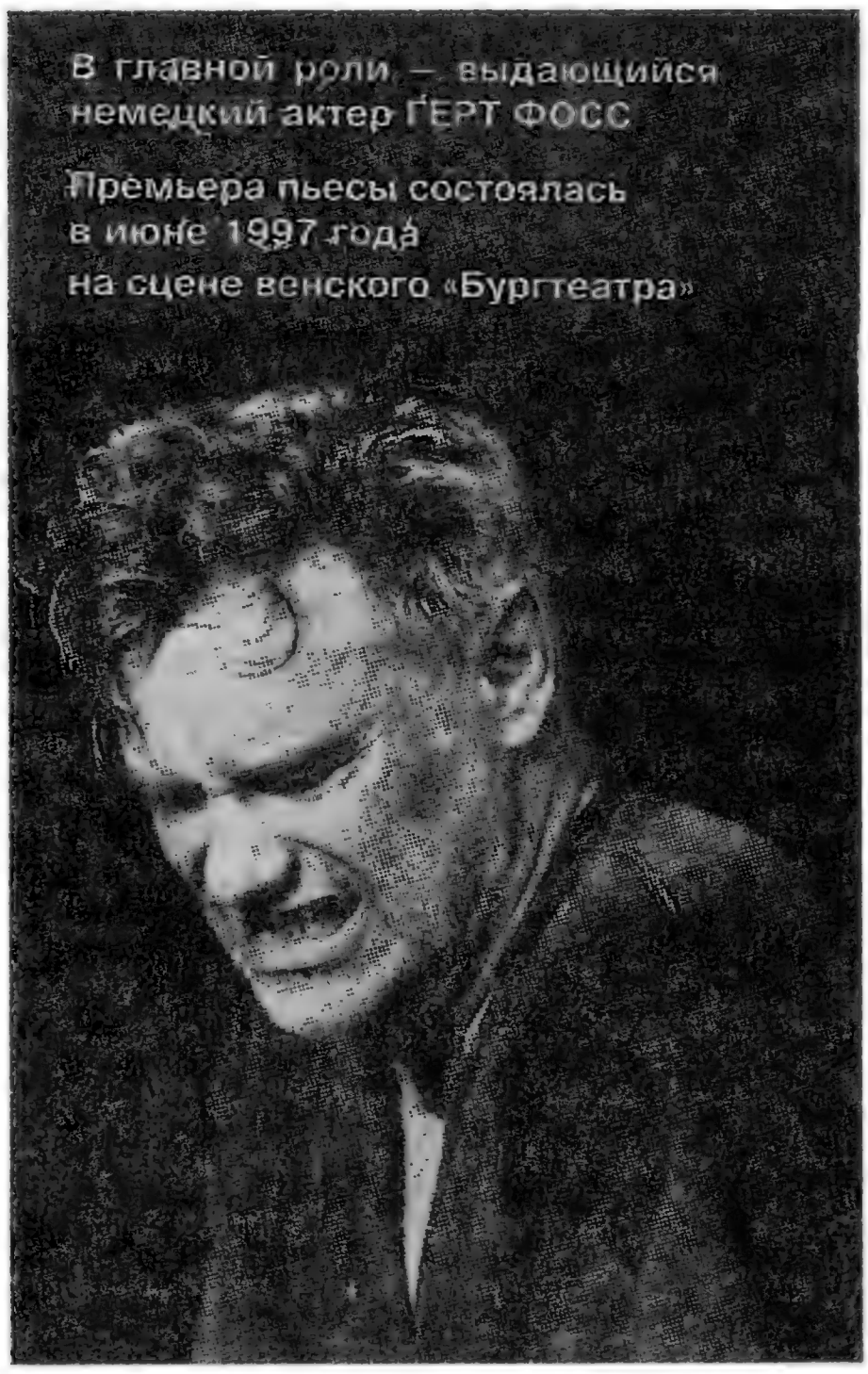
Мы бежим навстречу друг другу, луговые травы качаются под ветром, и наши ноги едва касаются земли. Наш бег подобен полету, полету друг к другу. Потом мы останавливаемся, переводим дыхание и смотрим друг на друга. Я прикасаюсь руками к твоему лицу, которое всегда передо мной, даже когда тебя нет. Ты можешь отсутствовать часами, днями и годами, а я вижу твое лицо. Оно проступает сквозь ландшафты, по которым я странствую без тебя, смотрит с картин прошедших столетий, отражается в прудах, на берегах которых я стою в одиночестве. Даже на дверце шкафа обнаружил я очертания твоего лица. И в темноте, в темноте оно всегда предо мной.
(Он берет пепел от сожженной фотографии и мажет им свое лицо. Пауза. Он встает, отодвигает в сторону несколько предметов и садится посередине. Сидит прямо под ярко горящей лампой и держит пистолет, направив его в лоб. Продолжает считать.)
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
954
965
966
967
968
969
970
(Тишина. Долгая пауза.)
Я опять начну считать сначала.
(Он встает, выворачивает лампу из патрона, снова садится среди вещей. Полная темнота. Только слышен его голос.)
1

2
3
4
5
6
7
8
9

(Пауза. Он напевает детскую песенку. Внезапно раздается грохот выстрела. Звон разбитого стекла. Через дыру в ткани с левой стены на него падает луч света. Снаружи доносятся шум уличного движения, человеческие голоса, чириканье птиц. Его рука с пистолетом все еще направлена на окно. Он снова прижимает пистолет к виску и продолжает считать. Временами его голос заглушается шумами, доносящимися через окно, временами шум затихает, и тогда становится слышен только его счет.)

971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

Единственное, чем я озабочен, достигнув этого числа, столь близкого к 1000. — отвечает ли моя одежда значительности момента. Возможно, я одет чересчур небрежно, учитывая серьезность ситуации? И эта спортивная рубашка, наверное, неуместна? Может быть, поменять обувь, надеть что-нибудь более элегантное? Побриться



мне самому, или это входит в число услуг похоронного бюро? Я как будто уже все продумал, но сейчас вдруг возникает масса проблем. Что, если выстрел окажется не смертельным и все было напрасно? Нужно ли мне еще раз посетить туалет?

991
992
993
994
995
996
997

(Пауза. Снаружи доносится шум.)

998

(Пауза. Снаружи доносится шум.)

999

(Пауза. Снаружи доносится шум.)

Как я хочу оказаться в каком-нибудь другом месте.

(Пауза. Снаружи доносится шум.)

1000. Всё, наконец.

(Он стреляет себе в голову и падает посреди разбросанных вещей. Снаружи доносится шум. Постепенно наступает тишина и гаснет свет.)

КРИСТОФЕР БАКЛИ

Здесь курят

РОМАН

Перевод с английского СЕРГЕЯ ИЛЬИНА

16

БР позвонил в половине восьмого утра, когда Ник еще напевал под душем «C'est fumée, c'est fumée!» (Дженнет успела улизнуть до рассвета), и сказал, что с ним только что разговаривал Капитан. Леди Бент предстояло выступить в Нью-Йорке перед Трехсторонней комиссией, и в ее расписании образовалось редкостное пятнадцатиминутное окно. Нику надлежит отправиться в Нью-Йорк и побеседовать с ней по душам.

— Почему мне? — спросил Ник.

— Потому что Капитан думает, будто на тебе свет клином сошелся.

— И что я ей должен сказать? «Когда вас в следующий раз спросят о Ближнем Востоке, не забудьте упомянуть о сигаретах»?

— Капитан считает, что она послушает тебя, потому что ты молодой, красивый...

— Хватит, БР.

— И потому что ты, как и она, стал жертвой терроризма.

— Да я даже с британским акцентом говорить не умею.

— Ладно, перезвони Капитану и скажи, что с бывшим премьер-министром ты встречаться не желаешь.

Ник вздохнул. Увы, в игру под названием «Тогда скажи Капитану» умеет играть не он один.

— Хорошо. Но у меня на девять назначена встреча с толкачами.

— Хрен с ними, с толкачами. Предоставь их Дженнет.

— Им нужен я. Не могу же я их подвести.

— У меня от этой публики с души воротит. Шайка неудачников.

— Зато они нам преданы. Знаешь, я успею и к ним и к Бетонным Панталонам.

— Валяй, только помни — в десять у тебя самолет. Да, кстати, держи все в тайне. Если эта шлюшка Холлуэй или еще какой-нибудь репортеришка пронюхает, что Ник Нейлор натаскивает Пенелопу Бент, нас сорок дней и ночей будет поливать дождь из дерьма, так что никому ни слова, даже своим подчиненным.

Ник вернулся под душ, намылился. Перспектива встречи с самой знаменитой женщиной планеты — не считая Лиз Тейлор и британской принцессы — оставляла его до странности равнодушным. Он знал, к чему сведется их встреча. Эта баба разрежет его на тонкие ломтики, проглотит и после еще выковыряет остатки из зубов его же берцовой костью.

Он снова намылился. Успеть на десятичасовой самолет будет трудновато, но подвести толкачей он не может. Для них это очень важно.

«Толкачами» в Академии называли борцов за права курильщиков, группы которых якобы сами собой возникали по всей стране по мере того, как набирало силу антитабачное движение. Группы эти отстаивали права угнетенных курильщиков, которые все с большим трудом находили рестораны с отведенными для них залами, а на службе вынуждены были покидать свои рабочие места и плестись с сигаретой на улицу, под снег и дождь. Толкачи донимали местных политиканов, голосовавших за введение направленных против курения законов, наскакивали на Главного врача яростнее, чем это могла позволить себе Академия, устраивали «собрания курильщиков» — довольно трогательные, надо сказать, — и «семинары», тоже трогательные, засыпали неблагосклонных к курильщикам вашингтонских конгрессменов и сенаторов стандартными письмами протеста, присуждали награду «Друг курильщика» — главным образом ресторанам, кото-

---

Окончание. Начало см. в № 11, 1999.

рые не загоняли курящих к самым бакам для отбросов, — и распространяли укрепляющие дух курильщика майки и бейсболки с протабачной эмблемой, содранной с давнего приветственного жеста «Черных Пантер»: поднятый вверх кулак с зажатой в нем сигаретой. Предположительно, то были стихийные объединения простых граждан, плоть от плоти Америки (или опухолей ее?), знаменующие энтузиазм и политическую активность пятидесяти пяти миллионов курильщиков. Да вы посмотрите хотя бы, сколько денег им удалось собрать в поддержку своей деятельности!

На самом деле никакой стихийностью тут и не пахло. То были «форпосты», детище Капитана, созданное по образцу и подобию студенческих организаций, которые в 50-х финансировало ЦРУ. Практически все свои средства толкачи получали от Академии. Деньги отмывались самым что ни на есть законным порядком — передавались разного рода посредникам, а те, изображая анонимных дарителей, жертвовали их кому следует. Расходов все это требовало относительно малых, зато друзья табачной индустрии в Конгрессе и Сенате имели возможность распространяться о всенародной любви к табаку.

Ну, а кроме того, если у какой-либо местной газетки образовывался недостаток новостей, она всегда могла взять интервью у находящегося под боком главы Коалиции за курение в помещениях, или Союза курильщиков за свободу, или несколько более воинственной испанской группы «Fumamos!»[1].

Раз в год все они съезжались в Вашингтон — устраивали на Эспланаде сеанс одновременного курения да бродили по залам Капитолия в надежде отловить какого-нибудь озабоченного по части здоровья конгрессмена и показать ему где раки зимуют.

Академия, естественно, старалась не афишировать свои контакты с этими «форпостами»,однако Ник полагал необходимым подбодрять их зажигательными речами. Да, все они марионетки, ну и что с того? Они-то этого не знают. БР, при всей его чванливости, прав: люди они были, как правило, пустейшие. Нику, по крайности, платили за страстные речи в защиту курения. А эти драли глотку задаром. Как это ни смешно, толкачи сильно походили на антитабачных горлопанов — то же отсутствие чувства юмора, та же зацикленность на одной идее, та же озлобленность.

И все-таки Ник считал, что Академия обязана уделять им хотя бы полчаса в год. Он не вправе обманывать их ради того, чтобы поучить уму-разуму бывшего премьер-министра Британии. Этим утром Ник, даром что поспать ему ночью практически не удалось, пребывал в мире с окружающей действительностью. Постельные труды иногда приводят к такому эффекту. А Нику пришлось-таки потрудиться. Дженнет извела на него две коробочки презервативов. Она, безусловно, знала толк в этих делах. И какая молодчина: когда Ник, которому вовсе не улыбалось, чтобы Хизер, заглянув к нему, обнаружила разбросанные по полу предательские упаковки от презервативов, собрался их выкинуть, оказалось, что Дженнет все унесла с собой. Аккуратистка — наверное, это качество сопутствует навязчивой потребности связывать человека по рукам и ногам.

Когда он появился в Академии, Гэзел сообщила, что в кабинете его дожидаются агенты Монмани и Олман.

— С добрым утром, — сухо сказал Ник. — Уже поймали?

Агент Олман поздоровался в ответ. Агент Монмани промолчал.

— Чем могу быть полезен? — спросил Ник, решив обойтись без дальнейших любезностей. — У меня сегодня очень мало времени.

Монмани вытащил блокнот.

— Шесть лет назад, работая в ВРТК, вы объявили в прямом эфире о смерти президента Бродбента.

— И что же?

— Как это случилось?

— Я впал в добросовестное заблуждение.

Физиономия Монмани приобрела выражение, говорившее, что он не намерен слушать столь беспардонное вранье.

---

[1] «Мы курим!» *(исп.)*

— Это имеет какое-нибудь отношение к поискам похитителей?

— Нет, — сказал агент Олман. — Ну ладно, вы нынче заняты. Поговорим позже.

Фэбээровцы вышли. «Интересно, — подумал Ник, — в ФБР принимают просьбы о замене приставленных к тебе агентов?»

Толкачи ожидали его в небольшой аудитории. Атмосфера ее ошарашила Ника — комнату заволок такой дым, что задние ряды различались с трудом. Эти люди действительно любили курить.

Его приветствовали бурей аплодисментов. Что ж, приятно. «Наши люди», — подумал он. Глава Союза американских курильщиков Людлоу Клют произнес воодушевленное вступительное слово, из которого следовало, что Ник отбился от похитителей голыми руками. Затем Клют долго распространялся о том, как много значит для них Академия. Ну ничегошеньки не понимают.

Ник вышел на подиум и принялся тарабанить речь, которую сочинил, моясь под душем. В ней он сравнивал своих слушателей с американскими борцами за свободу, длинная череда которых восходила аж к «Парням с Зеленой горы» Итана Аллена[1]. Пришлось немного переиначить историю Америки, но ей это было не впервой.

Ник уже добрался до первой мировой и телеграммы Першинга, требовавшей от Вашингтона побольше сигарет для солдат, — о том, что за этим последовали первые в Америки случаи заболевания раком легких, он говорить не стал, — когда на нем начал сказываться стоявший в комнате дымина. Сначала закружилась и запульсировала голова, следом напал кашель. Настоящий добротный кашель, когда приходится держать перед собой носовой платок, чтобы не забрызгать окружающих.

— Простите... — задыхаясь, произнес Ник, — простуда... агрррх...

Ему удалось собраться с силами и дотянуть до нападок на Люси Пейдж Гастон, но тут его сразил новый, ураганный приступ кашля, от которого в глазах поплыли звезды, а сердце бодрым шагом двинулось в сторону пароксизмальной тахикардии. «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ УМЕР ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА, ВЫСТУПАЯ ПЕРЕД СТОРОННИКАМИ КУРЕНИЯ». Люди будут хохотать, читая его некролог. Надо выбираться отсюда.

— В заключение, — прохрипел Ник, — позвольте сказать вам, что...

Они с обожанием смотрели на него, впитывая каждое слово. «Наши люди».

— ... что именно люди... подобные вам... несут... кха, кха... факел свободы... кха, кха, кха... зажженный... кхы, кхы, кхы... нашей великой нацией...

Еле держась на ногах, он раздал несколько автографов, все больше на сигаретных пачках, и помчался к самолету, развернув по дороге «Нью-Йорк таймс» и прочитав прямо на первой полосе: «Авиалинии Соединенных Штатов из соображений экономии сокращают подачу свежего воздуха в салоны самолетов». И после этого люди обижаются на сигаретные компании?

В ожидании своего рейса Ник заскочил в мужскую уборную аэропорта «Нэшнл». Это было одно из немногих мест, куда телохранительницы последовать за ним не могли. Думая о своем, Ник стоял перед писсуаром, когда голос за его спиной произнес: «Привет, Ник!». *Питер Лорри!*

Ник развернулся так стремительно, что не успел даже выпустить из рук свой краник, — и обнаружил, что поливает штанины ни в чем не повинного, но чрезвычайно разгневанного бизнесмена.

— Эй! А, дьявол!

— Простите. Простите, — выдавил Ник. — Я...

Бизнесмен, сквернословя, отряхивал брюки. Ник огляделся. Никого. Большую часть полета Ник просидел, неотрывно глядя на спинку сиденья впереди. Прямо из самолета он позвонил доктору Вильямсу и рассказал о случившемся. Доктор Вильямс, со всегдаш-

---

[1] Итан Аллен (1738—1789) — герой Войны за независимость, руководивший повстанческой организацией «Парни с Зеленой горы».

ней его благожелательностью, несколько раз повторил, что Ник перенес серьезную травму, и предложил записать телефон психиатра. Ник сказал, что подумает, попрощался и снова уставился в спинку сиденья.

Леди Бент обосновалась на верхнем этаже отеля «Пьер». Попасть туда можно было лишь после того, как портье вставит в скважину на своем щитке управления специальный ключ; человека же, поднимающегося в лифте, не покидало ощущение, что его тело просвечивается вдоль и поперек.

Дверь со звоном отворилась, и перед Ником предстала троица крепких мужчин с припухлостями под мышкой. Ник сразу признал в них сотрудников Службы безопасности — достаточно было оценивающих взглядов, которыми они его смерили. Из-за того, что леди Бент сотворила с взорвавшей ее бульдогов ИРА, она теперь пребывала под защитой Специального отдела. Ирландцы поклялись, что рано или поздно достанут ее.

Телохранителям не понравилось, что Ник явился с собственной вооруженной охраной — слава богу, та хоть обрезы с собой не прихватила. Ситуация создалась патовая, поскольку Никовы Валькирии имели приказ не сводить с него глаз, а охранники леди Бент не собирались подпускать их к предмету своих забот. Наконец явился один из ее помощников, установил, продемонстрировав чудеса дипломатичности, вооруженный нейтралитет и пригласил Ника последовать за ним.

Они вошли в бескрайний, бесконечный «люкс». Помощник мягко стукнул в дверь, та растворилась, явив не леди Бент, но ее личного секретаря, человека с лицом вице-короля, высокого, тощего, в отлично сшитом костюме. У него была странная, прозрачная кожа, под которой едва ли не различалось устройство черепной коробки, и нос как у баклана, отчего у Ника возникло желание предложить ему свежей рыбки.

— А, э-э, мистер Нейлор, — без улыбки сказал секретарь и протянул ему руку. — Боюсь, у нас нынешним утром несколько напряженно со временем, так что, если вы согласитесь присесть, мы могли бы переговорить о том, что именно угодно вам обсудить с леди Бент.

— Виноват? — ошеломленно переспросил Ник.

Вице-король соорудил на лице страдальческую гримасу, извещающую, что он не для того получил в Кембридже диплом первой степени по двум специальностям сразу, чтобы тратить время, повторяя свои безупречно сформулированные вопросы умственно отсталому жителю бывшей колонии Ее величества. Впрочем, сказанное он повторил слово в слово.

Ник, слегка откашлявшись, спросил:

— А как по-вашему, что именно мне следует обсудить с леди Бент?

— Люди мистера Бойкина просто сообщили нам, что вы желали бы побеседовать с бывшим премьер-министром о ее отношениях с «Агломерейтед Тобакко». Точный характер беседы нам так и не был указан, несмотря на наши, вынужден упомянуть об этом, неоднократные просьбы прояснить его. Такова, стало быть, ситуация, в которой мы пребываем, — я, впрочем, надеюсь, что никто не решится назвать ее неприятной.

Вице-король продолжал говорить, прибегая к длиннющим оборотам, которыми, пожалуй, и жираф подавился бы, и до Ника стало понемногу доходить, что Капитан, титан индустрии и прирожденный лидер, ни больше ни меньше как боится этой женщины, которой он выплачивает ежегодно небольшое состояние и которая летает туда-сюда на его «Гольфстриме», что само по себе стоит 15 000 долларов в час. Капитан просто не смог заставить себя сказать ей: «Черт подери, произнесите же хоть пару слов в защиту сигарет!»

И судя по всему, вице-король не собирался позволить Нику свидеться со старыми Бетонными Панталонами, не выяснив, на что будет потрачено ее драгоценное время.

— М-м, — промямлил Ник, лихорадочно придумывая, что бы такое сказать. Вице-король молча взирал на него. Ник перешел на шепот: — В этой комнате чисто?

— Прошу прощения?

— Вы уверены, что ее просканировали?

— Просканировали? Что это значит? Вы говорите о *жучках?*

Ник кивнул.

— Я... насколько мне известно, нет. Но простите, почему вас-то это заботит?

Ник вытащил блокнот и написал на листке: «Есть здесь ванная комната, в которой мы можем поговорить?»

— Ванная комната? — удивился вице-король. — Что вы, собственно, имеете в виду?

Ник написал: «Это касается личной безопасности Л. Б.».

Вице-король в замешательстве взглянул на написанное и раздраженно произнес:

— Ну хорошо.

Ник прошел за ним в ванную, устроил там небольшое представление, якобы отыскивая подслушивающие устройства, а после открыл все краны. Звук получился под стать Ниагарскому водопаду. Ник зашептал:

— Как вам, наверное, известно, на меня покушались радикалы из антитабачного движения.

— А, да. То-то ваше лицо показалось мне знакомым. Но, боже мой, при чем тут леди Бент?

— Мы не знаем, насколько пространен список жертв, намеченных этими людьми. Вы меня понимаете?

— Помилуйте, какие могут быть к ней претензии? Она практически не связана с вашим бизнесом. Несколько появлений на совете директоров, от случая к случаю присутствие на обеде, не более того.

— Она принимает от нас деньги.

— Ну да, но...

— И летает на самолете компании «Аг-Тобакко».

— Да, но она почти...

— Стало быть, если не она с нами, то мы-то с ней связаны.

— Честно говоря, мне кажется, вы принимаете все это слишком близко к сердцу. Не вижу, что может грозить премьер-министру.

— Если вы готовы взять риск на себя, прекрасно. Возможно, вы правы. Возможно, они не станут охотиться на нее. Я просто вернусь к себе и представлю письменный доклад относительно того, что вы не видите здесь никаких проблем.

— Пожалуй, вам все же стоит переговорить с ней. Но прошу вас, очень коротко, очень. У нас сегодня чрезвычайно насыщенный день.

Он открыл дверь ванной — в самой середине номера стояла леди Бент. Очень приятная пожилая дама с грудью матроны, глазами мангусты и копной волос, способной, похоже, сохранить ее голову в целости даже при обстреле ядерными снарядами.

— Ага, — сказала леди Бент. — А я вас везде ищу. Чем вы там занимались, господи прости?

Вице-король покраснел.

Леди Бент предложила Нику кресло и, усевшись сама, спросила:

— Чем могу вам помочь? — явно давая понять, что не собирается вести с ним светскую беседу о Нью-Йорке, отеле «Пьер» или склонности ее секретаря заманивать в туалет симпатичных молодых людей. Ник еще не успел ответить, как она, с любопытством вглядевшись в него, задала новый вопрос: — Вы ведь тот самый человек из сигаретного бизнеса, на которого было совершено покушение, верно?

— Да, мэм, — ответил Ник.

Леди Бент оживилась.

— Называть меня «мэм» вовсе необязательно. Я не королева. Наверное, это было ужасно.

— Ну, веселого было мало, — согласился Ник. — Хоть и не сравнить с тем, через что пришлось пройти вам.

— Выходит, у нас с вами есть кое-что общее. Мы оба сознаем, что с терроризмом мириться нельзя. Никогда.

— Несомненно, — сказал Ник. — Однако, леди Бент, нас очень тревожит, что эта

группа — вероятно, все еще достаточно большая — может выбрать следующим объектом нападения вас. Если что-то подобное случится, мы будем чувствовать себя виноватыми. Поэтому я и приехал к вам — попросить, чтобы вы воздерживались, и на публике, и в частных беседах, от каких бы то ни было упоминаний о табаке. И уж тем более, оборони бог, от положительных отзывов о нем.

Леди Бент распрямилась в кресле, точно проснувшаяся львица, и смерила его испепеляющим взглядом. Да, подумал Ник, оказаться в ее кабинете и ощутить на себе этот взгляд, бьющий в упор из-за письменного стола, не очень-то приятно.

— Мистер Нейлор, — произнесла она голосом, подобным арктическому ветру, — я никогда не поступалась принципами из опасения за свою безопасность.

— Разумеется, нет, — сказал Ник. — Я вовсе не это имел в виду. Просто нам кажется...

— Если мы позволим террористам указывать, чего нам нельзя говорить, мы тем самым позволим им указывать, что нам говорить *следует*. И в этом случае мы как цивилизованные люди существовать перестанем.

— Прекрасно сказано, — подхватил Ник. — И все же я должен настоять на том, чтобы о табаке вы не упоминали. Вы же не хотите довести эту публику до белого каления. Я ничего не знаю об ИРА, кроме того, что добра от нее ждать не приходится, — и, разумеется, то, что ее бойцы сделали с вашими собаками, ужасно, — однако в Америке случаются временами вещи и пострашнее.

Краска бросилась в лицо леди Бент. Она встала, показывая, что разговор окончен, протянула Нику руку и сдавленным голосом, не улыбнувшись, сказала:

— Рада была познакомиться с вами.

Ник, сопровождаемый вице-королем, покинул комнату, дверь которой, как по волшебству, сама распахнулась перед ним.

Два дня спустя, в Вашингтоне — Ник готовился к поездке в Калифорнию — его вызвал БР.

— Видел? — спросил он, бросая на стол номер «Уолл-стрит джорнал».

Нет, еще не видел. Ник приступил к чтению:

«После обеда в отеле «Пьер» леди Бент произнесла речь, продлившуюся час двадцать пять минут, что немало даже по ее меркам. Темой речи стала свобода предпринимательства после холодной войны. Никого из присутствовавших на обеде, то есть по преимуществу официальных лиц из сфер бизнеса и международной торговли, не удивило, что бывший премьер-министр Британии поднимает свой голос в защиту свободы торговли, язвительно нападая на протекционизм. Однако, помимо этого, она с необычайной страстностью высказалась в поддержку права американских и английских сигаретных компаний свободно конкурировать на азиатском рынке.

Леди Бент отдала должное компании «Агломерейтед Тобакко», проявляющей особую активность в стараниях преодолеть существующие в странах Тихоокеанского бассейна ограничения на продажу американских табачных изделий. В состоявшейся после обеда неофициальной беседе с журналистами леди Бент заявила, что ее высказывания о табаке никак не связаны с дружественными отношениями, сложившимися между ней и «Агломерейтед». «Мои воззрения на производство и продажу табака ничем не отличаются от моих воззрений на производство и продажу мороженого, — сказала она, — и они оставались неизменными на протяжении всей моей карьеры». Далее она осудила антитабачное движение как «направленное против бизнеса».

— Не знаю, что ты ей наговорил, — сказал БР, — но оно определенно сработало. Я получил распоряжение еще повысить тебе жалованье. До двухсот пятидесяти.

В коридоре Ник столкнулся с Дженнет. Она просияла.

— Мы так и не поговорили о «Затянись!», — сказала она.

— Я завтра лечу в Калифорнию.

— Значит, надо будет вечером еще разок выпить по маленькой на сон грядущий, — промурлыкала Дженнет. Ей хотелось снова прийти к Нику.

И все повторилось: погашенный свет, коробочки с презервативами — Дженнет явно

питала слабость к резиновым изделиям, — охи и ахи. На следующее утро Ник, квелый и разбитый, вылетел из «Даллеса» в Лос-Анджелес, на важную встречу с важным человеком.

17

Он полетел первым классом. БР пришлось согласиться на это, поскольку Ник вез в кейсе полмиллиона пятидесятидолларовыми и сотенными бумажками. Плата за молчание Лорна Латча. Странное возникает ощущение, когда тащишь с собой такую кучу денег. Кажешься самому себе наркодельцом или тайным посредником времен Уотергейта. Когда Ника просвечивали в «Даллесе», у парня, глядевшего на монитор и увидевшего все эти пачки, глаза полезли на лоб. Деньги перевозить закон не запрещает, а вот трем телохранительницам Ника, как только они предъявили свои девятимиллиметровые, устроили небольшую сцену. Впрочем, когда Ник уселся в первом классе и над ним склонилась сначала стюардесса, раздававшая нагретые салфетки, а следом другая — с «Кровавыми Мэри», он ощутил приятную расслабленность. Нику нравилось летать, пусть даже авиалинии экономили теперь на подаче свежего воздуха в салоны. Пожалуй, подумал Ник, и он и они занимаются одним делом.

Салон первого класса был заполнен. В последние годы между Вашингтоном и Лос-Анджелесом мотается немало людей. Ник узнал пресс-секретаря Барбры Стрейзанд, который, как он читал, прилетал в столицу, чтобы изложить Совету национальной безопасности взгляды Барбры на развитие ситуации в Сирии. Был здесь и пресс-секретарь Ричарда Дрейфуса, познакомивший кабинет министров с отношением Ричарда к реформе здравоохранения.

Прошло почти два часа полета, прежде чем Ник сообразил, что сидящая рядом с ним женщина в темных очках, размерам которых позавидовала бы и Джекки О., это Тарлина Тамм, телережиссер и близкий друг «первого семейства». Ник, знающий, насколько знаменитости, особенно спорные, не любят, когда их узнают в самолетах, не стал ей представляться. Однако вскоре заметил, что она украдкой поглядывает на него из-под очков. Когда их взгляды встретились в третий раз, оба смутились, и Ник улыбнулся ей. Она же спросила:

— Вы не тот человек из табачной промышленности, которого недавно похищали?

— Тот, — сказал Ник, польщенный, что знаменитость заговорила с ним первой. Он уже собрался произнести ответную любезность, когда она выпятила челюсть и пророкотала:

— Я знала немало людей, умерших от рака легких. *Хороших* людей.

— А плохие все выжили? — поинтересовался Ник.

Тарлина смерила его свирепым взглядом, поозиралась в поисках пустого кресла и, не обнаружив такового, вернулась к лежащему на ее широких коленях сценарию и принялась сердито черкать его большим красным карандашом. За дерзость Ника придется расплачиваться какому-то сценаристу.

Лос-Анджелес Ник любил. Всякий раз, как он прилетал сюда — даже в разгар напряженной рабочей недели, — ему казалось, будто уже пятница. Он испытывал радость, спускаясь по самолетному трапу и воображая, как поедет по Малхолланд-драйв в спортивном «мустанге», нанятом для него Гэзел, как будет поглядывать на огни города, раскинувшегося внизу — далеко, насколько видит глаз. Жаль, что нет с ним ни Хизер, ни Дженнет. Может, стоило сманить Хизер с собой? Или Дженнет.

Все эти приятные мечтания разлетелись в прах, едва он увидел ближневосточного обличия шофера со стрижкой стоимостью долларов в сто. Шофер поджидал его у выхода из аэровокзала, держа перед собой табличку «М-р Нейлор». Невинная попытка отобрать у Ника кейс обошлась шоферу дорого: телохранительницы едва не выдрали бедняге руку из плеча. Шофер извиняющимся тоном представился — его звали Махмуд, а послал его мистер Джек Бейн из Ассоциации творческих дарований — и вручил Нику конверт с запиской от Бейна, содержавшей просьбу позвонить при первой же возможности.

Ник еще пуще пожалел о несостоявшемся «мустанге», когда дошел до машины Махмуда, приземистого лимузина длиною в бассейн для соревнований по плаванию. Люди, стоявшие невдалеке в ожидании автобуса, завидев Ника, его свиту и смахивающий на Моби Дика лимузин, тут же принялись клянчить у него автографы, действуя телохранительницам на нервы. Ник успел дать только один — человек, получивший его, вгляделся в подпись, нахмурился и сказал: «Это не он». Уже успевшая собраться небольшая толпа тут же растаяла.

Внутри автомобиль походил на прохладную пещеру, освещенную десятками крохотных лампочек, словно бы снятых с рождественской елки. На огромном телеэкране прямо перед Ником созданный компьютером фейерверк сложился в слова: «Добро пожаловать в Лос-Анджелес, мистер Нейлор». В открытой микроволновой печи стояла чаша с нагретыми салфетками; в баре, тоже открытом, обнаружились свежевыжатые соки четырех видов и выпивка. На сиденье валялись последние номера «Лос-Анджелес таймс», «Верайети» и «Асахи симбун». Так, а где же махровый купальный халат? — удивился Ник.

Внезапно фейерверк исчез, смененный огромным лицом: дочерна загорелым, с зубами столь белыми, что на них больно было смотреть, с глазами, неразличимыми за тонированными очками авиатора. Ник попытался сообразить, почему телевизор переключился сам собой и ведущего какой именно телеигры он видит, но тут лицо сказало: «Ник!»

Ник вытаращил глаза.

— Джек Бейн. Все в порядке?

Вопрос прозвучал так настоятельно и тревожно, как если бы Джек ожидал, что Ник ответит: «Нет, Джек, не все. Все далеко не в порядке. И тебе, твоей семье и собаке придется за это дорого заплатить».

— Да, — придя в себя, сказал Ник, — все отлично. Спасибо.

— Поверить не могу, что не сумел лично встретить тебя в аэропорту. — Нику осталось лишь толковать эту фразу как ему заблагорассудится. — Джефф ждет не дождется встречи с тобой. Как только освобожусь, сразу подскочу к тебе в отель. Вот мой домашний номер, звони в любое время, хоть в полночь, хоть когда. Когда угодно. Я это серьезно — договорились?

— Договорились, — сказал Ник.

Полчаса спустя они остановились перед отелем. Не перед «Пенинсулой», где заказывала номер Гэзел, а перед «Энкомиумом» — обсаженным пальмами, воздушным, с бьющим внутри гигантским фонтаном работы Ицека Макклеллана. На тротуаре Ника поджидал заместитель управляющего.

— О, мистер Нейлор, а мы ждем вас, ждем. Управляющий просил передать вам искреннейшие сожаления, что ему не удалось встретить вас лично. А эти дамы, — спросил он, оглядев трех обступивших Ника крепких женщин, — с вами?

Ник сказал, что с ним.

— Вы все остановитесь в одном номере?

— О нет, — ответил Ник.

— Тогда прошу за мной.

Багаж Ника испарился. О том, чтобы зарегистрироваться в отеле, никто и не вспомнил. Заместитель управляющего вручил Нику магнитную карточку, позволявшую пользоваться его, Ника, личным лифтом, и поднялся с ним в этом лифте — наружном, стеклянном — в колоссальных размеров пентхауз с утопленной в пол мраморной ванной, камином, балконом, водопадом и необъятной, уже разобранной постелью. На стенах висели работы Хокни[1], подлинники. Посреди номера Ника ожидал его персональный лакей, молодой азиат в безупречном фраке, державший серебряный поднос с водкой «Негрони» в наполненном кубиками льда стаканчике «баккара». Ничего не скажешь, встретить умеют.

— Мы позволили себе, как только узнали, что вы прибываете, позвонить в ваш офис и навести кое-какие справки, — сообщил заместитель управляющего.

---

[1] Дэвид Хокни (род. в 1937 г.) — английский художник и фотограф.

— Разрешите наполнить для вас ванну? — спросил лакей.

Зазвонил телефон.

— Можно я? Номер мистера Нейлора. Да, пожалуйста. Это вас, сэр. Мистер Джек Бейн из АТД.

— Ник? Джек. Все нормально?

— Да, Джек. Все хорошо.

— Ты уверен?

— Да вроде бы.

— Ты там подписывай все подряд. И ни о чем не думай.

Так это что же — все задаром? Какой хороший город!

— Если тебе что не понравится, непременно позвони мне, — сказал Джек. — Что бы то ни было. Или если проснешься ночью и захочешь поговорить. Я буду здесь. Я знаю, что такое оказаться одному в чужом городе. Запиши номер, это телефон на столике у моей кровати. Он известен всего трем людям на свете. Майклу Эйзнеру, Майклу Овицу[1], ну и Джеффу, конечно, а теперь и тебе. Да, еще моей матери, выходит, всего пятерым. У тебя мать есть? Они просто чудо, верно? Увидимся за завтраком. Хайфон там?

— Кто?

— Лакей. Тебе что, не предоставили лакея? Иисус Христос на роликах, что там творится?

— Это вы Хайфон? — спросил Ник у лакея. — Да, Джек, он здесь.

— Дай-ка мне его.

— Он хочет с вами поговорить, — сказал Ник, протягивая трубку.

Хайфон, множество раз повторив отрывистое «да, сэр», положил трубку.

— Вы позволите прислать вам массажистку, сэр? Она очень хорошая. Превосходно обучена.

— Ну-у...

— Тогда я пришлю.

— Хайфон, — сказал Ник, — можно задать вам вопрос?

— Да, сэр.

— Мистер Бейн, он что, как-то связан с этим отелем?

— Все гости АТД и ее клиенты из других городов останавливаются в «Энкомиуме».

— Понятно, — сказал Ник.

— Так я пришлю Берни.

Ник сидел в шезлонге, потягивал водку «Негрони» и смотрел, как за Санта-Моникой опускается в океан солнце. «Кампари» и водка уже начали вливать в его члены приятную вялость, когда Хайфон стукнул в дверь и объявил о прибытии Берни. Она вошла с широкой калифорнийской улыбкой — «всем привет!» — миловидная, мускулистая блондинка лет двадцати пяти, в белом обтягивающем «боди» с треугольным вырезом.

Те несколько раз, что Ник подвергался массажу — это не были «массажные» салоны, — он неизменно чувствовал себя неуютно, но Берни с ее дружелюбием и непосредственностью быстро избавила его от ощущения неловкости, и вскоре он уже лежал в чем мать родила на наклонном столике, накрыв укромные места полотенцем. Она предъявила ему массажное меню — шведский, шиацу, с горячим маслом, тибетский и т.д., — настоятельно порекомендовав нечто, именуемое НМТ, то есть нервно-мышечную терапию, разработанную, по ее словам, израненным ветераном Вьетнама, который разочаровался в западной медицине и стал изучать восточные методы целительства. Приятного в этой терапии было мало, напротив, Ник испытывал резкую, до стона и зубовного скрежета, боль, пока Берни месила кулаками его позвоночник, сдавливала коленями шею и ягодицы, корежила локтями грудную клетку, исщипав под конец кожу так, что та начала гореть, — это чтобы вызвать приток крови к поверхности, пояснила она. Последнюю пытку она называла «bindegewebs», а изобрели ее немцы — natürlich[2].

---

[1] Майкл Эйзнер и Майкл Овиц — крупнейшие деятели кинопромышленности США.

[2] Естественно (*нем.*).

Берни вставила в магнитофон кассету под названием «Океанические адажио» — музон в стиле «нью-эйдж», состоящий из воплей горбатых китов и синтезированной музыкальной тарабарщины, в общем довольно приятный, поскольку он отвлекал Ника от боли. В конце концов, плотно прогладив большими пальцами ободы его глазниц, отчего в глазах полыхнул свет — оскорбленный отзыв зрительных нервов, — Берни подтянула Ника к краю стола, перевернула на живот и приладила к свесившейся вниз голове «лицевую повязку». Поскольку ноги Ника находились теперь выше головы, в пазухах носа вскоре начала застаиваться кровь и нос заложило, как при сильной простуде. Берни, склонившись над головой Ника, принялась за его ягодицы, груди девушки терлись о его затылок. Туда-сюда, туда-сюда. Спустя несколько минут Ник принялся отсчитывать числа назад от ста, каждый раз вычитая семерку, — метод отвлечения от неуместных мыслей, усвоенный им давным-давно. Он лежал, свесив лицо вниз, похрюкивая забитым носом, точно натасканная на трюфели свинья, и слушая, как орут, кувыркаясь в глубинах, киты.

— Тебе нравится музыка, Ник?

— Даррр.

— Люблю китов. Самые величественные из всех тварей, правда?

— Прррвд.

— Поверить не могу, что японцы собираются снова открыть на них охоту.

— Пидррры.

— Знаешь, здесь с этим словом следует быть поосторожнее.

— Прррвд?

— Ты когда-нибудь купался с дельфинами, Ник?

— Никрррд.

— А мы с моим дружком купались пару недель назад.

Ага. Дружок. Завуалированное предупреждение: «Не воображай лишнего. Я делаю свое дело, и только».

— К северу от Сан-Диего есть одно местечко, там можно за десять долларов поплавать с дельфинами. Мы с Марком съездили туда на его мотоцикле. У него «харлей-дэвидсон». Большой?

Берни имела обыкновение обращать в вопрос любую фразу, даже простейшее повествовательное предложение — вдруг собеседник чего-то не понял.

— Он служит здесь, во флоте. В «Морских львах»[1]? Чего он там делает, никогда не рассказывает. В общем, ему не хотелось плавать с дельфинами, а мне очень, так что мы все же поплавали. У них такая невероятно мягкая кожа, а дышат они, как будто поют? Вот так: «Пууууш». Такой примерно звук. Знаешь, это так чувственно? Кататься на них, держась за плавник? Почти как... — Берни вздохнула. — Марку они не понравились. Он все время от них отпихивался. А тамошний хозяин рассердился и говорит: «Шел бы ты отсюда», а Марк сказал, что закинет его прямо к дельфинам.

Еще одно предупреждение: «Дружок у меня вспыльчивый, хорошо обученный профессиональный убийца. Так что ты руки-то не распускай».

— А я все равно осталась в бассейне, — продолжала Берни. — Я бы навсегда там осталась, так это было чудесно? Позапрошлой ночью они мне приснились. Как будто я еду при лунном свете верхом на дельфине, мы скачем по волнам, вверх-вниз, вверх-вниз. На мне ни купальника, ничего, а его кожа трется об мою, так здорово! И он поет? «Пууш»... Я такая возбужденная проснулась? А рядом Марк храпит. Он *так* храпит!? А скажешь об этом, злится? Я купила ему на день рождения одну штуку. Вроде микрофона, крепишь его к пижаме, а от него проводок идет вроде как к наручным часам, только они при каждом всхрапе тебя бьют электричеством, правда несильно? Ух, как он разозлился? Весь вечер испортил. Гости сразу по домам разбежались. Марк иногда такой злой бывает? По-моему, «Морские львы» должны были бы всю злость на работе растрачивать, а по-твоему как?

— Нврррн.

---

[1] Диверсионно-разведывательные подразделения ВМС.

Берни уже разминала указательными и большими пальцами мышцы на шее Ника.

— У тебя связки слишком натянуты, Ник. Вообще ты весь какой-то зажатый.

— Рррrзв?

Груди Берни снова прижались к его затылку. 100... 93... 86...

— Хочешь, Ник, я сниму напряжение?

— Карррк? — Интересно, это она всерьез?

— Мистер Бейн сказал, чтобы я сделала для тебя все, что могу.

Ник отчетливо увидел здоровенного «Морского льва» — здоровенного, обозленного «Морского льва», мокрого, с зачерненной физиономией, заполнившего весь дверной проем, а в руках у него огромадный кинжалище... 79... 72... 65...

— Можно я разденусь? Мне вдруг стало так жарко?

... 65...

— О-ох, вот так лучше. Тебе так лучше, Ник?

— Ник! — с взрывной силой воскликнул Джек Бейн.

Они встретились следующим утром в холле отеля. Лицо, которое Ник видел вчера на огромном телеэкране, оказалось приделанным к приземистому, но мускулистому телу, облаченному в полотняный костюм. Из нагрудного кармана торчал уголок бирюзового носового платка — шелк, и очень не дешевый. На правой руке Бейна поблескивали надетые прямо поверх манжеты часы, стоимостью примерно в годовой заработок заводского рабочего.

— Здорово экономит время, — сказал Джек. — Не приходится отдергивать манжету. По моим прикидкам, я в течение жизни сберегу на этом сотни две рабочих часов.

Джек оглядел телохранительниц и состроил вопросительную гримасу. Пришлось Нику объяснить, откуда у него столь странный эскорт. На Джека его объяснения произвели сильное впечатление.

— Вот и у Джеффа были такие же два года назад. Помнишь тот случай?

Ник не помнил.

— Да вертелся тут один бывший инструктор по боевым искусствам. И в какой-то момент малость спятил. Втемяшил себе в голову, будто Джефф собирается сделать из него второго Стивена Сигала. Вообще-то, я думаю, Джефф и сам бы ему рыло начистил, но все же, когда имеешь дело с человеком весом под двести пятьдесят фунтов, корейцем, у которого черных поясов больше, чем у Лиз Тейлор, лучше не рисковать, верно? Ты как спал, хорошо? Массаж тебе сделали? Кто, Берни?

Ник смущенно пробормотал, что да, Берни.

— Хорошая девочка. А насчет дружка-десантника ты не тревожься. Он здоровенный, но безвредный. Был среди тех, кого во время «Бури в пустыне» посылали в Багдад, чтобы укокошить Саддама Хусейна. Они с ним разминулись всего на пять минут. Знаешь почему? Потому что он свою девку валял. Кругом бомбы сыпятся, а он никак с нее слезть не может. Вот же тупой подонок! Чего тогда удивляться, что он войну продул? Но только, Ник, считается, что об этом никто не знает. Даже я. Мы эти сведения из Берни вытянули. Тебе что, не нравится завтрак? Это у тебя из-за разницы во времени. В Ди-Си[1] сейчас десять. Попробуй принимать витамин В, Джефф от него без ума. Или хочешь, укольчик сделаем? Как там вообще жизнь, в Ди-Си? Нормально? Этот ваш новый справляется? — Ник решил, что речь, скорее всего, идет о президенте Соединенных Штатов. — По правде сказать, Джеффа он малость разочаровал. Джефф ради него из кожи лез, познакомил с кучей нужных людей. С той же Барброй. Теперь многие уверяют, будто это их рук дело, но, если честно, тут Джефф расстарался. Вообще-то мне не следовало бы тебе об этом рассказывать, но ты мне нравишься, вот я и рассказываю.

Они поехали в машине Джека, красном «додже-випере» — «сгустке мышц» и, пожалуй что, на стероидах. Джек пояснил, что купил его, желая оказать посильную помощь экономике США.

---

[1] D. C. — округ Колумбия (*англ.*).

— Джефф истово верит в Америку. Поэтому он так и увлекся вашим проектом. Увидел в нем шанс помочь истинно американской индустрии. Разве есть что-нибудь более американское, чем табак, верно?

— Абсолютно верно, — сказал Ник, обрадовавшись возможности поговорить наконец о табаке.

— Ну а как тебе наше новое здание?

Здание, смахивающее на Мормонский храм[1], остервенело лезло в небо, занимая на земле целый квартал, — хрустальный дворец кривых зеркал.

— Когда его только-только построили, у нас возникли проблемы. Зеркала отбрасывали солнечный свет прямо на улицу, да так, что пешеходы варились заживо. Двух даже свезли в «Сидарс-Синай», подлечить от перегрева. Не то чтобы в ЛА было уж больно много пешеходов. Но и тех, что есть, варить не стоит, верно? Пришлось переделывать фронтон, и, поверь, это было не дешево.

— Очень красиво, — сказал Ник, понимая, что от него ждут комплимента.

— Ты Джеффу об этом скажи. Он в этот домину всю душу вложил. И знаешь? В него можно смотреться.

Ник поднял взгляд и увидел на мерцающей стене штаб-квартиры АТД отражение «випера».

— Неплохо для человека, начинавшего в почтовом отделении, — сказал он.

— Я тебе вот что скажу. К нам теперь обращаются за помощью даже иностранные государства.

— Правда? Какие?

— Вообще-то, мне не следует тебе об этом рассказывать, Ник. Но ты прав — от почтовой конторы Джеффа отделяет долгий путь.

Миновали главный вход, по обеим сторонам которого стояли символические изваяния Наномако Яха.

— Здорово, — сказал Ник.

— Ты про этих? Подарок от Дики Кантрела, на новоселье.

— Щедрый подарок.

Джек рассмеялся

— Щедрый? Я тебя умоляю. «Мотыга» принесла Дики столько денег, что он мог бы и замороженный труп Наномако Яха купить. Нет, ты пойми меня правильно. Дики человек безумно талантливый и очень порядочный, что бы там о нем ни болтали, но факт остается фактом — до того как Джефф его взял, у Дики было только лицо. А теперь у него есть имя. Получает от десяти до двенадцати за фильм.

— И все-таки очень милый подарок.

— Важно не внимание. Важно, сколько подарок стоит, — Джек снова рассмеялся. — Через главный вход мы не пойдем. Он у нас называется «потемкинским входом». Им почти никто не пользуется. Хочешь знать почему? Другие агентства сняли комнаты в доме напротив, вон там. Понасажали туда людей с биноклями и телескопами, чтобы знать, кто к нам ходит. Иногда мы, чтоб запудрить им мозги, нанимаем двойников известных актеров, и они входят в эти двери. Си-эй-эй, «Вильям Моррис» и Ай-си-эм тут же начинают вертеться, как уж на сковороде. Думают, что их клиенты перебегают к нам. Вообще-то, мне не следовало бы тебе об этом рассказывать. Хотя теперь, когда мы консультируем иностранные правительства, за нами, наверное, следят и настоящие шпионы. У тебя есть в Вашингтоне знакомые шпионы?

— У нас в штате состоит несколько бывших тайных агентов, — сказал Ник, — но, вообще-то, мне не следует никому об этом рассказывать.

— Мы сейчас делаем фильм о ЦРУ, очень масштабный. Идея там такая: ЦРУ решает, что Франклин Рузвельт слишком мягок со Сталиным, и убивает его, Рузвельта то есть, чтобы Трумэн пришел к власти и сбросил на Японию бомбу. Колоссальное будет кино.

— Звучит впечатляюще. Только, по-моему, в сорок пятом ЦРУ еще не было.

---

[1] Одна из достопримечательностей столицы мормонского штата Юта, города Солт-Лейк-Сити.

— Не было?

— Ну, сколько я помню, его создали в сорок седьмом.

— Ладно, теперь уже поздно что-то менять. Через две недели основные съемки. Надо будет придумать какую-нибудь отмазку. Хотя какого черта: если верить опросам, половина наших студентов считает, что Черчилль был при Трумэне вице-президентом. И знаешь, мы как раз в связи с этим проектом подумывали о тебе.

— То есть?

— Да ведь Рузвельт курил, так?

— Курил, — сказал Ник. — Но я думаю, нам нужен кто-то посовременнее.

— Возможно, ты прав. Вряд ли найдется много девиц, которым захочется лечь с давно покойным дяденькой, да еще и калекой.

— Вот именно.

Оставив машину в подземном гараже, они поднялись наверх на лифте. Со времени приезда в Лос-Анджелес Ник пользовался исключительно личными лифтами.

— Кстати, — сказал Джек, — когда увидишь Джеффа, постарайся не нервничать. Ты удивишься, если я назову тебе людей, которых при знакомстве с Джеффом оторопь брала. — Джек понизил голос, заставив Ника заподозрить, что лифт прослушивается. — Том Сампсон, Куки Перетс... Рокко Сент-Анджело.

— Рокко Сент-Анджело? Да что ты?

— Этот вообще в коме был. Я думал, придется у него под носом петарды взрывать. Но ничего, обошлось. Джефф, вообще-то, добрейший человек, если к нему привыкнуть.

Двери лифта открылись прямиком в пруд с рыбками. Ник, следуя за Джеком, перешел его по плоским камушкам. Между ними лениво плавал большой белый с красным карп.

— Видишь его? — прошептал Джек. — Семь тысяч долларов.

— Семь тысяч? За рыбешку?

— Представь себе. Чего ж удивляться, что су́ши стоит здесь по сотне долларов за порцию? Ты любишь суши? А я вот червей боюсь. Они способны до самого мозга добраться. Теперь каждый раз, как мне приходится есть суши, — а людям вроде нас с тобой от этого никак не отвертеться, верно? — я думаю, что кончу на манер Джона Харта в «Чужом» — полезет из груди какая-нибудь мерзость. Кстати, эта рыбка — подарок от Фионы Фонтейн. Еще одно лицо, которое Джефф превратил в имя. А вон ту, в черных пятнышках, видишь? Двенадцать тысяч. От Кайла Кедмана. Джефф выбил ему роль в «Мунге», хотя «Коламбия» слышать ни о ком не хотела, кроме Тома Круза.

— А акул вы здесь не держите?

— Нет, — рассмеялся Джек. — Нам и без них хорошо.

У последнего камня их встретила замечательно милая женщина лет пятидесяти. Она пожала Нику руку, представилась: «Я работаю с Джеффом» — и что-то пошептала Джеку на ухо. Джек взял Ника под локоток и отвел его к краю бассейна.

— Джеффу звонит его светлость.

— Его светлость?

— Султан Глютана, — прошептал Джек, — новый клиент.

— А, — сказал Ник, — самый богатый человек в мире.

— Уже не самый, — ухмыльнулся Джек. — Да нет, шучу.

Огибая бассейн, он увлек Ника в подобие зала ожидания. Ник вгляделся в человека, сидевшего там, читая «Гольф дайджест». Нет, не может быть. Это же... о господи, он самый.

— Шон! — воскликнул Джек. — А ты чего же не в килте?

Джек представил Ника, и тот, впервые в жизни, ощутил почтительное до немоты благоговение, одолевающее человека при знакомстве с настоящей кинозвездой, да какой! Ник вырос на его фильмах. Некоторые из них он мог пересказать буквально наизусть. Он мечтал стать похожим на него. И вот они жмут друг другу руки. Шон оказался воплощением учтивости и сердечности; можно было подумать даже, что Ник чем-то ему интересен. А Ник только улыбался и старательно кивал в ответ на каждое его слово. Шон

и Джек поболтали немного о соревнованиях по гольфу, в которых участвовал Шон, а потом, обиняками, о новом проекте, ради обсуждения которого он, по-видимому, и пришел. Минут через двадцать вновь появилась приятная женщина— телефонный разговор закончился, Джефф готов их принять.

— То есть как же, — прошептал Ник Джеку, шагая следом за женщиной, — мы пойдем впереди *него*?

— Видел бы ты, кто тут вчера штаны протирал, — сказал Бейн. — Голди, Джек и Мэл.

Две украшенные резными иероглифами дверные створки из полированного бирманского тика распахнулись в огромное, точно в соборе, пространство с головокружительным видом на город и океан за ним. «В ясные дни отсюда Токио видать», — прошептал Джек. В центре пространства помещался стол со стеклянным верхом, совершенно пустой — вот это и есть власть: абсолютно пустой письменный стол, — за ним сидел человек лет сорока с небольшим, невысокий, загорелый, с редеющими волосами. Очень крепко сколоченный человек — грудные мышцы его выпирали под синей рубашкой, казавшейся маловатой на один размер. Приятное лицо, поблескивающие зубы, светлые лазерные глаза.

Человек этот улыбнулся во весь рот, поднялся со своего хрустального престола и, обойдя стол, подал Нику руку.

— Джефф Мегалл, — сказал он, вновь удивив Ника — большинство шишек, с которыми ему доводилось встречаться, представлением не утруждались. «Все мы знаем, кто я такой...»

— Как долетели? — спросил Джефф.

— Спасибо, хорошо.

— Джек, проследи, чтобы обратно в Вашингтон мистер Нейлор летел нашим самолетом. В каком отеле вы остановились?

— В «Энкомиуме», — поспешил сообщить Джек.

— Хороший отель, — сказал Джефф. — Если что-то понадобится, дайте нам знать.

Он приглашающе махнул рукой в сторону дивана.

— Что вам предложить? Кофе, чай, минеральную?

— Если не затруднит.

— В каком виде?

— Без молока.

— Минеральную без молока? — улыбнулся Джефф. — Найдется у нас черный кофе для мистера Нейлора?

Произнесено это было в пространство, поскольку в огромной комнате никого, кроме них троих, не было, однако через несколько секунд появилась женщина с дымящейся чашкой отличного черного кофе в руке, очень красивая женщина — длинные волосы, длинные ноги, короткая юбка.

— Пепельница понадобится? — спросил Джефф.

— Нет-нет, — сказал Ник, — не надо. Я...

— На меня внимания не обращайте. Мне даже нравится смотреть, как люди курят. Большая редкость в наши дни.

— Да, — сказал Ник. — Я, собственно, и приехал поговорить об этом.

— Кстати, вы замечательно проявили себя в истории с похищением. Я понимаю, вам пришлось пережить ужасные минуты. Но то, как вы потом говорили с журналистами, свидетельствует о силе вашего духа. Примите мои поздравления.

— Ну...

— После того как вы изъявили желание сотрудничать с нами, я поразмыслил о нынешнем состоянии табачной индустрии и пришел к выводу, что, если мы не вмешаемся, американские табачные фермеры скоро исчезнут, а вместе с ними и определенный уклад жизни.

— Да, — сказал Ник, — нас это тоже очень тревожит.

— Стало быть, — сказал Джефф, — давайте думать, чем мы можем помочь этим людям.

Поразительно. Джеффу хватило двух фраз, чтобы определить свою позицию: он вовсе не ради денег старается, он хочет спасти фермеров.

— А проблемы здоровья вас не волнуют? — Ник просто обязан был задать этот вопрос, хотя бы из профессионального уважения к Джеффу, — да и ответ обещал быть интересным.

Джефф ответил не задумываясь:

— Это вопрос не ко мне. Я не врач. Я всего лишь посредник. Мое дело — сводить друг с другом творческих людей. А разного рода привходящая информация меня не касается. Люди сами принимают решения. Я не вправе делать это за них. Не моя задача. Это было бы моральной бестактностью с моей стороны.

— Все правильно, — сказал совершенно очарованный Ник. Перед ним сидел настоящий титан двуличия. У этого человека есть чему поучиться.

— Итак, — сказал Джефф, — поговорим. Насколько я понимаю, вам необходима агрессивная подача вашей продукции.

— Джефф слишком скромен, чтобы распространяться об этом, — встрял Джек, — но именно он является движущей силой рекламы в кино.

— Джек, мистер Нейлор не для того прилетел к нам из Вашингтона, чтобы слушать, как ты пересказываешь мою биографию.

— Извини, Джефф, но, по-моему, мистеру Нейлору следует знать, что ты сказал в этом деле новое слово. Помнишь, Ник, раньше, когда в фильме кто-нибудь пил пиво или содовую, да что угодно, название напитка вообще было не разобрать. Потом постепенно начали показывать этикетку. А теперь ее дают таким крупным планом, что можно прочесть даже химический состав продукта. Это Джефф постарался. Все, я закончил.

— Собственно, потому мы и обратились к АТД, — сказал Ник. — Мы знаем, что мистер Мегалл лучший из лучших.

— А, тогда извини. Я не был в этом уверен.

— Ты разрешишь нам продолжить, Джек? — тоном снисходительного нетерпения поинтересовался Джефф. — Или тебе еще хочется рассказать Нику о моих успехах в университетской футбольной команде?

— Продолжайте, конечно.

— На самом деле, — сказал Джефф, — мы действительно первыми поняли важность показа конкретных продуктов. Тут, правда, есть одно обстоятельство, которое, стань оно широко известным, удивило бы многих. Дело в том, что в те времена мы старались не ради денег.

— Вот как? — удивился Ник.

— Уверяю вас. Мы пытались дать зрителю более полное представление о персонаже. Люди видят на экране своего героя. Они хотят знать о нем все. Возьмите того же Джеймса Бонда. Он пьет… что он там пьет, «сухой мартини с водкой, размешивать не надо»? Как, по-вашему, захочется зрителям узнать, какую именно водку предпочитает Бонд? Естественно, захочется, и они непременно узнают это из следующего фильма о нем.

— Ага, — произнес Ник.

— А уж когда это случится, производители той самой водки — все равно какой — будут только рады принять финансовое участие в творческом процессе. Но деньги все-таки остаются побочным продуктом творческого решения, не более того. — Джефф улыбнулся. — Хотя, когда они начинают сыпаться вам на голову, это довольно приятно.

Потрясающе. Просто потрясающе. Послушать его, так без рекламы того или иного продукта персонаж получится неполноценным. «Зовите меня просто Исмаилом и передайте, пожалуйста, кока-колу».

— Мы подумывали о Мэле Гибсоне, — выпалил, не в силах больше сдерживаться, Ник.

— Боюсь, это не просто, — сказал Джефф. — Он только что бросил курить. Вы же знаете, у него шестеро малышей. Не то чтобы он не мог курить и при этом жить вечно, но... а, постойте, я понял, откуда у вас эта мысль. Мэл был превосходным курильщиком. Красивее, чем он в «Смертельном оружии-1», на экране давно уже никто не курил. Мэл

так затягивался, что казалось, это вообще никогда не кончится. А уж выдыхая дым, он и вовсе становился похожим на дракона.

— Мне даже захотелось снова начать курить, — сказал Джек. — Да я чуть и не начал.

— Не забывайте, однако, — продолжал Джефф, — что Мэл играл полицейского на грани срыва, человека с тяжелыми психологическими проблемами. Что он еще засовывал в рот в этом фильме? Дуло собственного пистолета. Понимаете, сейчас, если персонаж фильма курит, значит, с ним не все в порядке. Это вам не Хэмфри Богарт в «Касабланке», — Ника передернуло, перед внутренним взором его снова мелькнул Питер Лорри. — Это Бобби де Ниро, играющий в «Мысе страха» высасывающего сигарету за сигаретой татуированного психопата, Энди Гарсия, курящий в «Снова мертвом» через дырочку в горле, это Тельма с Луизой, которые, накурившись, отправляются на паркинг, чтобы отстрелить яйца насильнику. В наши дни сигареты стали на экране едва ли не символом рока. Пат Хингл обнимает Анжелику с сигаретой в «Шулерах». Ник Кейдж с Лаурой Дерн прикуривают одну от другой в «Диких сердцем», беседуя о том, как их родители поумирали от рака легких и цирроза. Ник Нолте в «Повелителе приливов». Вот уж у кого проблем хоть отбавляй. Или тот же Харрисон Форд в «Относительно Генри» — он приходит в ночной магазинчик за пачкой сигарет, и в итоге мозги его разлетаются по всему магазину. А он даже предупреждение Главного врача прочитать не успел. Какую мысль, по-вашему, внушают эти фильмы? Что в курении присутствует некий шик? Сомневаюсь.

— В том-то и дело, — сказал Ник. — Нам нужен победитель. Курящая ролевая модель.

— Да. И действие должно происходить в 50-х, до того, как началась вся эта тягомотина со здоровьем.

— Мы предпочли бы современность, — сказал Ник. — Нужно, чтобы люди хорошо относились к курению *сейчас*. В пятидесятых к нему хорошо относился каждый, во всяком случае, пока не заглядывал в «Ридерс дайджест».

Джефф опустил подбородок на переплетенные пальцы.

— Придется действовать быстро. Основные съемки начнутся уже через две недели. Что вы скажете о Франклине Делано Рузвельте? Чем не ролевая модель? И *очень* элегантный курильщик. Этот его мундштук, почти женский...

— *Прекрасный* курильщик, — вставил Джек.

— Мы могли бы переделать сценарий. Собственно...

— Ты уже что-то придумал? — спросил Джек.

— Можно отвести сигаретам центральную роль. ЦРУ отравляет сигареты. Сигареты как решающий фактор истории.

— Блестяще! — воскликнул Джек.

— То есть ФДР умирает... от курения? — спросил Ник.

— Да, но не от рака.

— Боюсь, наши на это не пойдут.

— Пожалуй, — улыбнулся Джефф. — Тут могут возникнуть проблемы. Современность — вещь, конечно, хорошая, но у людей уже сложилась отрицательная установка по части курения. Вон и наш городской совет только что проголосовал за запрет курения в местных ресторанах.

— Я знаю, — печально кивнул Ник. — Семь тысяч ресторанов.

— Вот вам и Конституция. Пытаться изменить господствующую тенденцию уже поздно... Хотя постойте-ка, постойте...

— Что? Что? — встрепенулся Джек.

— Нашел.

— *Что?* — изнемогал Джек.

— Будущее.

— Блестяще! — сказал Джек.

Джефф повернулся к Нику.

— Мне, в общем-то, не следовало бы говорить вам об этом, но Ю-эф-эй собирается ставить очень, *очень* масштабную картину — фантастическую с элементом «жевопа».

— Жевопа?

— Женщина в опасности. «Чужой» плюс «Дюна», плюс «Звездные войны», плюс Дарт Вейдер в роли гея. Бока надорвете. Я видел сценарий. Уморительная главная роль, тянет на «Оскара». Герой — опальный космический барон, а его лучший друг — подросток-инопланетянин, способный превращаться во что угодно. Героиня — дочь императора, которая сбежала из дому и попала в чрезвычайно дурную компанию. Называется «Сообщение из сектора шесть». Эффекты будут изумительные. Полчаса «морфинга»[1]. Знаете, что такое «морфинг»? Его использовали в «Терминаторе-2». Обходится в миллион долларов за минуту. Они уже купили место для рекламы на фюзеляже «Шаттла». Бюджет — сто двадцать миллионов долларов. Самый дорогой из когда-либо сделанных фильмов. Даром что снимать будут в Мексике.

— Я слышал, бюджет уже вырос до ста сорока.

— Да, так что в их интересах сделать фильм получше. Ю-эф-эй понадобятся рекламодатели.

— Сигареты? — спросил Ник. — В космосе?

— Двадцать шестой век, — сказал Джефф. — Они больше никому не приносят вреда. На самом деле... на самом...

— Что? — насторожился Джек.

— Они приносят пользу. Как в «Спящем»[2]. Вот, хорошо вспомнил, надо бы позвонить Вуди, хотя что мне ему сказать — ума не приложу. Джек, свяжись с Биллом Хайманом, Джерри Горником и Волтаном Зейгом, во второй половине дня у нас совещание.

— Сделаю.

— Слушай, у меня провал в памяти. Пора женьшень принимать. Кто режиссер?

— Чик Декстор.

— А, ну он будет долго снимать.

— Это ты мне говоришь?

— Ну что же, Ник, — сказал Джефф, — может получиться очень интересно. Для всех нас.

— Я... но разве космический корабль не взорвется, если в нем закурить? Там же чистый кислород.

— Двадцать шестой век, Ник. Что-нибудь придумают. Лишняя строчка в сценарии — и порядок.

— Вообще, звучит как... хотя не знаю...

— Ник. В главных ролях Мейс Макквад и Фиона Фонтейн.

— Без шуток?

— Без шуток. Представляешь, как они, покувыркавшись в постели, курят одну сигарету на двоих — в космическом корабле, на круглой кровати с атласными простынями, под одеялом из прозрачных пузырьков? Галактики проносятся мимо, дым витками уходит к потолку. Это не подбросит угольку в вашу топку? Не поможет продать пару лишних блоков?

— Да, — сказал Ник, — пожалуй, поможет.

— И вот что еще. Я не охотник лезть в чужой огород, если меня не просят. Но на вашем месте я запустил бы в производство совершенно новую марку сигарет, запустил одновременно с фильмом. «Сектор шесть». Такого фокуса с сигаретами еще никто не проделывал.

Джефф встал. Встреча окончена. Обмен рукопожатиями.

— Знаете, вы добились от меня того, чему я всегда старался противиться. Эмоциональной вовлеченности.

Снаружи Шон корпел над кроссвордом. Уже в лифте Джек сказал:

— Можешь гордиться собой. Ты действительно понравился Джеффу.

---

[1] Компьютерная обработка фотоизображения, позволяющая менять его форму и размеры.

[2] Фильм Вуди Аллена (1973).

18

Лорн Латч жил в шестидесяти милях к западу от Лос-Анджелеса, на ферме, предназначенной для разведения авокадо. Ник, избавившись от Махмуда с его Великим Белым китом, поехал туда в наемном красном «мустанге». Телохранительницы, которым он доверил кейс с полумиллионом долларов, следовали за ним в бронзоватом «седане», тоже наемном. Быть может, старый ковбой усмотрит в «мустанге» нечто символическое и проникнется к Нику добрыми чувствами. А может быть, он выйдет из дому с двустволкой и снесет Ника с кожаного сиденья машины. Всяко может быть.

Ник загодя прочитал на редкость подробную справку Гомеса О'Нила, посвященную личным и финансовым обстоятельствам старика. Подробной она была настолько, что заставила бы покраснеть и лучших экспертов Совета национальной безопасности по прослушиванию телефонных разговоров, — и как только Гомес ухитряется добывать всю эту информацию? Так что Ник с точностью до пенни знал, сколько денег осталось у Лорна на «визе» и на «мастер-кард», а также какое содержание альбумина показал его последний анализ мочи. Подручные Гомеса совали свои носы в каждый анализ мочи всякого, кто так или иначе связан с табачной индустрией, надеясь отыскать в нем следы наркотиков.

Странное это было поручение — если б не Капитан, Ник нипочем не взялся бы за него. Прошлой ночью он позвонил Полли, единственному, кроме Бобби Джея, человеку, с которым можно было посоветоваться по такому щекотливому делу, как подкуп умирающего старика, когда-то рекламировавшего курево. Полли, выслушав его, присвистнула.

— Да, — сказала она, — я бы на твоем месте сунула в кейс карточку с пожеланием скорейшего выздоровления, поставила его на крыльцо, нажала кнопку звонка и унесла ноги подальше.

Пока он разговаривал с Полли, позвонила Дженнет, распаленная, бурно дышащая — ей не терпелось узнать, пора ли уже ревновать Ника к Фионе Фонтейн. И не успела она повесить трубку, как позвонила Хизер — на аппарате загорелась третья кнопка, отчего Ник ощутил себя авиасексдиспетчером.

Хизер звонила не из потребности пошептать ему на ухо междугородные нежности. Она звонила по делу и отвлеклась от него лишь для того, чтобы пожаловаться на вашингтонскую жару и вашингтонских таксистов. В большинстве своем они совсем недавно перебрались сюда из стран, в которых вождение автомобиля — национальный вид спорта, сильно смахивающий на корриду. Поэтому, когда в их зеркальце заднего вида объявляется красивая женщина с хорошей фигурой под тонким летним платьем, они напрочь забывают о дороге и начинают приставать к пассажирке с вкрадчивыми вопросами вроде: «Как вам нравится гаитянская кухня?» На сегодня Хизер по горло сыта потливыми тонтон-макутами. Ей желательно знать, что известно Нику о законопроекте, который, по слухам, собирается внести Ортолан К. Финистер. На Холме о нем помалкивают, что само по себе странно. «Сан» попросила ее взять несколько интервью, так что ей необходимо показать себя во всем блеске. Ник сказал, что здесь, в Голливуде, он несколько выбился из обычной колеи, но попытается выяснить что-нибудь через юридический отдел.

— А кстати, — сказала Хизер, — что ты вообще там делаешь?

— Да ничего особенного, — ответил Ник, — так, прочищаю мозги ребятам из нашего офиса на Западном побережье. Инспекция войск на предмет укрепления боевого духа.

— А, — молчание. Хизер была слишком хорошим репортером, чтобы проглотить это вранье. Сенат замышляет нечто серьезное, а он сидит в ЛА без особой на то причины? — И все же, чем ты занят?

— Не для печати?

— Ладно. — Похоже, она немного обиделась.

— Я здесь для того, чтобы подкупить умирающего от рака легких Перекати-Поле. Хватит ему позорить нас на телевидении и в газетах.

Хизер рассмеялась.

— Знаешь, такую чушь я все равно не смогла бы напечатать.

Подобное недоверие расстроило Ника. Он переключился на Полли, обозлившуюся оттого, что ей пришлось дожидаться целых пять минут.

— Я разговаривал с репортером, — пояснил Ник, прибегнув к оправданию, неизменно срабатывавшему в «Отряде ТС».

— С Хизер Холлуэй? — осведомилась Полли.

— Нет, — сказал Ник. — Просто с... в общем, с журналисткой.

— *Журналисткой?*

— Я и имя-то ее мимо ушей пропустил.

Почему, уже положив трубку, удивился Ник, он соврал Полли про Хизер?

Ферму Латча Гомес отнес к разряду «оползневых». Ник понял почему, когда увидел зияющий овраг, рассекший чахлые, обрамленные высохшими деревьями посадки авокадо перед домом.

Ник забрал у своих телохранительниц кейс и велел им не вылезать из машины. Они заспорили, не желая отпускать его за линию фронта безо всякой защиты. Мэйм, главная у них, резонно заметила, что Латч, пристрелив Ника, ничего не потеряет. На мгновение Ник задумался — не взять ли ее с собой? Но тут ему представился заголовок: «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ УБИТ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ С ОХРАНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТАБАЧНОГО ЛОББИ», и Ник, решив, что это, пожалуй, ни к чему, настоял на своем и один поднялся по ступенькам веранды. Посреди нее на самом припеке развалилась здоровенная родезийская овчарка, едва взглянувшая на приближавшегося Ника. Здесь также стояло множество стальных баллонов с надписью «Кислород».

Сделав глубокий вдох, Ник постучал по проволочной сетке двери. «Сегодня, — сказал он себе, — ты уж точно отработаешь свое жалованье».

Что-то уткнулось ему в спину, и каркающий голос сказал:

— Не шевелись, не то я сделаю в тебе дырку размером с грейпфрут. Подними руки так, чтобы я их видел.

Ник подчинился.

— Теперь повернись. *Медленно.*

Медленно повернувшись, Ник обнаружил прямо перед собой Лорна Латча собственной персоной. Он все еще оставался прежним Перекати-Полем, несмотря на потерянные пятьдесят фунтов веса и пожелтевшую кожу. Одетый в купальный халат и шлепанцы, он не выглядел бы сколько-нибудь опасным, если б не дробовик, нацеленный теперь Нику в живот.

Латч вгляделся в Ника.

— Ты ведь Ник Нейлор, так?

— Да, сэр. Я просто...

...шел тут мимо с полумиллионом долларов наличными...

— У вас найдется для меня минутка? Если вам сейчас неудобно, я мог бы, э-э, заглянуть попозже.

Латч с подозрением спросил:

— А зачем ты сюда явился?

— Да просто... поговорить.

— Ладно, — сказал Латч, опустив дробовик и толкнув дулом сетчатую дверь.

Они вошли в дом, сели.

— Я не хотел тебя пугать, — сказал Латч. — Но за мной тут кто-то следит.

Гомес?

— Роберта, зайди, — прокаркал Латч и закашлялся. Он кашлял, и кашлял, и кашлял.

Вошла миссис Латч. Кинув на Ника один взгляд, она заледенела, точно колба с жидким азотом. Латч продолжал кашлять, Ник стоял, дожидаясь, когда его представят. Неприятная, если честно сказать, сцена. Поскольку кашель Латча явно не собирался стихать, Ник решился на робкое «здравствуйте».

— Что вам нужно? — рявкнула миссис Латч со злостью, заставившей Ника пожалеть, что он оставил свою преторианскую гвардию в машине. Получить пулю от *жены* — это никак не входило в его расчеты.

— Тише, тише, Роберта, — прохрипел, утирая рот, Латч. — Не груби нашему гостю.

Не думаю, чтобы он притащился в такую даль без серьезной причины. И помни, это он отговорил компанию судиться со мной за нарушение контракта.

— Я бы скорее скормила его свиньям, чем пустила в дом, — и, напоследок пальнув в Ника взглядом, она направилась к выходу, но у двери остановилась и спросила: — Тебе морфию больше не нужно, милый?

— Нет, спасибо, — сказал Лорн, — пока справляюсь. Может, наш гость чего-нибудь хочет.

— Немного морфию, если не трудно, спасибо, — сказал Ник. Миссис Латч удалилась — пошла, верно, подмешивать к его морфию «Драно».

— Я тебе вот что скажу, — произнес Лорн, откидываясь в большом ободранном кресле, — единственное, чем может порадовать человека рак в последнем градусе, это наркотики. Какие мне снятся сны!.. И все цветные.

— Да, наверное, это здорово, — сказал Ник.

— Тебе известно, откуда взялось слово «героин»? Из немецкого языка. Это фрицы его сюда завезли, еще в прошлом веке. Лучшее, чем мир обязан Германии, можешь мне поверить. Heroisches. Такое чувство он внушал людям. Героическое. Знаешь, когда я в первый раз попал на химиотерапию, люди приезжали за многие мили, чтобы привезти мне печенья с марихуаной. Помогает от тошноты. Ее можно и в таблетках получить, но это надо черт-те как постараться, да они ее еще отмачивают в кунжутном масле, чтобы ты не очень балдел. Как тебе это нравится? Человек умирает в муках, а Бог, видишь ли, против того, чтобы он получил при этом хоть какое удовольствие. Кстати, у меня в холодильнике лежит фунтов десять печенья с гашишем.

Вот бы Гомес обрадовался, узнав об этом, подумал Ник. «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ АРЕСТОВАН ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ».

— Считай, до конца жизни кайфу хватит, — сказал Латч. — Не хочешь попробовать?

— Нет, спасибо, — сказал Ник. — Довольно будет и морфия. Не люблю смешивать.

Латч рассмеялся и оттого снова закашлялся. Этот приступ тянулся дольше предыдущего. Вбежала миссис Латч с аэрозольной прыскалкой.

— Извини, — сказал Латч, когда справился с кашлем. — Ты куришь?

— Нет, — сказал Ник. — После похищения не курю. Не получается.

— Да, я читал. Видел тебя... слушай, ты же был в шоу Лэрри Кинга? Роберта говорила — той же ночью, что и я. Странно, что мы не столкнулись в студии.

— Странно, — согласился Ник.

— Тебе, похоже, здорово досталось. Мой врач сказал, что ты везучий сукин сын, — Латч усмехнулся. — Он еще много чего наговорил, не буду при тебе повторять. Ты знаешь, что доктора когда-то рекламировали сигареты?

— Знаю, — ответил Ник. — «Двадцать тысяч шестьсот семьдесят девять врачей утверждают: от «Лаки» не так першит в горле».

— Интересно, что-то теперь утверждают те доктора? — не без сарказма поинтересовался Латч. — Занятный у нас бизнес. В начале пятидесятых они впервые испугались рака, ну и начали выпускать сигареты с фильтром. Потом забеспокоились, как бы мужики не решили, что такие сигареты годятся только для баб. Вот тогда-то и появился я.

— Вы были великолепны, — сказал Ник. — Мне хотелось стать таким, как вы. Ну, то есть когда вырасту. Мы все мечтали вырасти и стать ковбоями.

— А то я не знал? Помнишь песню Джорджа Джонса «В аду открыто всю ночь»? Я ее все время слушал.

— Вы себе особого спуску не давали, верно?

— В прошлом году, после диагноза, я полетел на Восток, на ежегодную встречу с акционерами «Тотал Тобакко». Встал посреди зала и сказал, что они могли бы хоть рекламу свою урезать. И знаешь, что ответил мне их президент?

Ник знал, но тем не менее покачал головой.

— Он сказал: «Мы с сожалением узнали, что у тебя проблемы со здоровьем. Но поскольку я не знаком с историей твоей болезни, от дальнейших комментариев воздержусь». А потом они прикинулись, будто я отродясь на них не работал. Я ушам своим не

поверил. Даже после того как я показал репортерам мои платежные ведомости, компания продолжала твердить, что это вовсе не я снимался для их рекламы. Ну а когда я поднял шум, мне пригрозили судом — за нарушение контракта! Насколько я знаю, это ты их остановил.

— Да, — сказал Ник. — Я сказал им, что это идиотская затея. Что ж, и у них не всегда башка варит, тут сомневаться не приходится.

— И знаешь, что еще? Я ведь это «Перекати-Поле» и не курил никогда. Я курил «Кулс».

Ник засмеялся.

— Ты вроде неплохой парень. Чего ради ты работаешь на таких сволочей?

Обычный ответ насчет закладной отчего-то показался Нику неуместным. Он оглядел комнату Лорна — награды за победы в родео на стенах, чучело форели, семейные фотографии на высокой, покрытой светлым лаком деревянной подставке — и сказал:

— У меня хорошо получается. Лучше, чем что-либо другое.

— Черт дери, сынок, у меня хорошо получалось палить в корейцев, но я не стал делать на этом карьеры.

Ник снова засмеялся. Некоторое время (долгое, показалось Нику) Латч разглядывал его, потом сказал:

— Я так понимаю: всем нам приходится вертеться, чтобы оплатить закладную.

Ника охватило желание расцеловать старика.

— Я неплохо играл свою роль. Люди узнавали меня, просили автографы. Не знаю, зачтется мне это у Жемчужных Врат или нет, но я был просто дураком-ковбоем, которому нравилось красоваться на обложках журналов. А тебе, судя по твоему виду, — Латч лукаво улыбнулся, — одно образование обошлось тысяч в двадцать.

Улыбка его погасла.

— Короче, зачем ты прикатил сюда из такой дали?

— Хороший вопрос, — сказал Ник, с ненавистью взглянув на кейс.

— Чтобы уговорить меня заткнуться? Так?

— Вроде бы, — сказал Ник. — Да нет, не «вроде». Именно так.

Латч смерил его стальным взглядом.

— Слушай, — сказал он, — я своей совестью не торгую.

— Дело не в этом, — сказал Ник, — все гораздо сложнее.

— Ну?

— Предполагается, что это подарок от чистого сердца, без всяких уловок. Налоги уже уплачены. Вы можете принять его и дальше поступать как вам вздумается. Можете наговорить о нас гадостей. Идея в том, что вы проникнетесь чувством вины за все прежние поношения в наш адрес, и когда вам снова позвонит режиссер Опры, вы ответите ему отказом.

Латч недоуменно смотрел на Ника.

— И ты должен был мне все это сказать?

— Нет. Просто извиниться, вручить деньги и откланяться.

— Тогда зачем ты мне это говоришь?

— Вообще-то и сам не знаю. Не по той причине, о которой вы, возможно, подумали. Я не верю ни в Жемчужные Врата, ни в ад, открытый круглые сутки. Мне нравится человек, на которого я работаю, — он-то все это и придумал, хоть я говорил ему, что лучше всего оставить вас в покое. Но он невменяем, как и вся наша шатия. А я, скорее всего, буду и дальше заниматься тем, чем занимаюсь. Даром что я и сам не знаю зачем. Хоть убейте.

— Странный ты парень, Ник.

— Я знаком с парой человек, которые согласились бы с вами. Нет, — перебил сам себя Ник, — попробую быть честным хотя бы разок. Я знаю, почему я вам это сказал.

— Почему?

— Потому что это заставит вас взять деньги.

— А почему я их возьму?

— Потому что вы сумасшедший. Первое, что вы сделаете, — позвоните в «Лос-Анджелес таймс» и на кабельное телевидение и скажете им, чтобы шеметом летели сюда.

— Тут ты чертовски прав.

— Да, про Си-эн-эн не забудьте. И затребуйте Бонни Долтон, она у них здесь самая лучшая. Помните прошлогоднюю историю с трещиной в плотине Гувера? Она мастер как раз по таким делам. Замечательно изображает сдержанный гнев, не впадая при этом в особый раж. И красивая к тому же. Скажите им: не будет Бонни — ничего не будет. Пусть смотрят вас по телевизору.

— Ладно, — сказал Латч. — Бонни Долтон.

— Дальше, на вашем месте, я бы открыл кейс и вывалил деньги на пол.

— Зачем?

— Это произведет сильное впечатление. Вот, посмотрите, — и Ник вывалил деньги на пол. — Да потрясите его как следует, чтобы выпало все, до последней бумажки. Хорошо бы еще кашлять при этом. И пока трясете кейс, костерите нас на чем свет стоит, а деньги называйте сребрениками. Помните, в Библии, тридцать сребреников, Иудина плата? А после скажите им, что вы намерены сделать с этими деньгами.

— И что же я намерен с ними сделать?

— Отдать их на постройку ракового ранчо. Естественно.

— Видишь ли, у меня семья...

— Бросьте, Лорн. Вы же не можете взять эти деньги себе.

— Почему это, черт возьми, не могу?

— Но как это будет выглядеть? Сначала вы обличаете нас, а после берете деньги, грязные деньги? Вы только взгляните на них.

Оба уставились на груду сотенных пачек, валяющихся на полу. На чертову пропасть деньжищ.

— Мне нужно обговорить все с Робертой, — сказал Латч, неуверенно поерзав в кресле.

Назад, в Лос-Анджелес, Ник ехал так быстро, как только мог. На девяноста двух милях в час. Первый же дорожный патруль оштрафовал его на полную катушку. Ник не стал спорить.

На следующее утро ему позвонил в «Энкомиум» Гомес О'Нил.

— Мы только что услышали, что Лорн Латч отказался участвовать в назначенном на следующую неделю ток-шоу. Неплохо проделано.

Пять минут спустя позвонил Капитан:

— Гомес О'Нил говорит, что наша идея сработала. Я так и знал. Отлично, сынок.

Позвонил и БР:

— Сколько я понимаю, дела там у тебя идут хорошо.

Повесив трубку, Ник, в свой черед, позвонил Латчу.

— Лорн, — раздраженно спросил он, — что происходит?

— Мы с Робертой все еще думаем.

— Послушайте, если вы нападете на нас неделю или месяц спустя, в этом не будет никакого смысла. Гнев как рыба, он должен быть свежим. Сделайте это сегодня. Хотя лучше было сделать вчера.

— А что, если я заявлю, будто вы предложили мне сто тысяч долларов? — спросил Латч. — Это вашу шатию-братию устроит?

19

Позвонил Джек Бейн: у Джеффа есть новости, он хотел бы встретиться с Ником завтра в семь утра.

— Это не слишком рано для тебя, нет?

Ник сказал, что в Вашингтоне деловая жизнь тоже начинается ни свет ни заря.

— Я поговорил со всеми, кто связан с «Сектором шесть», — сообщил Джефф, прихлебывая из чашки женьшеневый чай, — объяснил им, что нам требуется, а они, — Джефф

цинично улыбнулся, давая понять, что не услышал ничего нового, — сказали, что требуется им — куча денег, разумеется. Названная сумма, — тут Джефф негромко фыркнул, — удивила даже меня. А я привык тешиться мыслью, что удивить меня не просто.

— И что за сумма? — спросил Ник.

— Это картина о космосе. Соответственно и сумма затребована, я бы сказал, астрономическая.

— Ну, — сказал Ник, — моя индустрия делает сорок восемь миллиардов в год, так что, если вы назовете мне сумму, я вряд ли грохнусь в обморок. Так сколько?

— За курящего Мейса — десять. За курящих Фиону и Мейса — двадцать пять. Я им говорю, постойте, а пятерка-то лишняя откуда взялась? Обычно, если покупаешь что-нибудь парой, полагается скидка. За объединение усилий, говорят. Они не дураки. Отлично все понимают. Мейс с Фионой, курящие после космического перепиха в пузырьковой постели, способны здорово увеличить продажу сигарет.

Двадцать... пять?

— Но мы всего лишь хотели арендовать на пару часов их легкие, — сказал Ник. — Мы не просим их докуриваться до рака.

— Неплохо сказано, — одобрил Джек Бейн.

— Я бы не стал исходить из того, что эти цифры окончательные, — сказал Джефф. — На самом деле, они не прочь поторговаться. Фильм обойдется очень дорого, даже при дополнительном финансировании. Я не вправе говорить вам об этом, но султан Глютана изыскивает возможности вложить у нас здесь побольше денег и, в частности, протиснуться в кинобизнес.

— Самое верное слово — «протиснуться», — сказал Джек.

— Я упомянул об этом — конфиденциально, разумеется, — продолжал Джефф, — на тот случай, если вы сочтете для себя неудобным финансовое участие в одном проекте с султаном.

Понятно. Джефф Мегалл не трепач и просто так чужие тайны выбалтывать не станет. Недавно султан попал в заголовки газет. На одном из самых далеких островов его архипелага обнаружилась нефть. Остров населяли несколько тысяч дикарей, которые вполне резонно рассудили, что нефтедобытчики, втыкая свои буры в землю-мать, тем самым ее насилуют, — и порубили их в лапшу. Султан, будучи самым богатым человеком на планете, к любого рода помехам относился нетерпимо. Он приказал своей военной авиации бомбить остров до тех пор, пока на нем не останется ничего живого — ну разве что особо выносливые ящерицы вида Komodo terribilis. ООН осудила его действия, да и мировое общественное мнение обратилось против него — настолько, что с полдюжины международных знаменитостей отменили ежегодную увеселительную прогулку на яхтах до Коста-Сплендид.

— Должен, однако, добавить, — сказал Джефф, — что финансовое участие султана будет полностью анонимным. Мы воспользуемся услугами одной из его офф-оффшорных компаний.

Джефф развел руками: мол, что я могу поделать?

— Ну а что касается споров вокруг него — это не по моей части. Я стараюсь как можно меньше лезть в политику.

— Кстати, о политике, — сказал Джек, — ты решил наконец, поедешь ты на его день рождения или нет?

Речь, надо полагать, идет о дне рождения президента, подумал Ник. Хизер что-то такое рассказывала. Большой прием на южной лужайке Белого дома. Конечно, со сбором средств на нужды бездомных детишек. Просто пригласить гостей на свой праздник — это считается теперь неприличным.

— Не знаю, — устало сказал Джефф. — Пока просто не знаю.

— День рождения завтра, Джефф.

— Да, завтра. Может быть, съезжу. Не знаю пока. На мой взгляд, все это очень... печально.

И снова Ник был ослеплен. Смерть нескольких тысяч глютанийцев совершенно по-

блекла перед обсуждением темы столь важной, как посещение Джеффом приема, устраиваемого президентом, который обидел Джеффа, не пожелав остановиться на несколько дней в его доме лишь потому, что пресса твердила, будто президент помешался на голливудских звездах. И это при том, что Джефф — человек более чем разумный: взять хотя бы профессиональную учтивость, с которой он осведомился у Ника, как-никак массового убийцы, не возражает ли тот против участия в финансировании фильма, уже финансируемого другим массовым убийцей. В нашем путаном, свихнувшемся мире, подумал Ник, это равносильно проявлению хороших манер.

— Итак, — сказал Джефф, — вас здесь что-нибудь смущает?

«КРОВАВЫЙ СУЛТАН И ТАБАЧНЫЕ КОМПАНИИ РУКА ОБ РУКУ РАБОТАЮТ НАД ФИЛЬМОМ».

Ник вздохнул:

— Мне придется обсудить это с нашими людьми.

— Разумеется, — с легким разочарованием согласился Джефф.

Ник почувствовал, что Джефф не привык к фразе: «Я вам перезвоню».

— А названные мной цифры, — поинтересовался Джефф, снова берясь за чашку с чаем, — их вы тоже собираетесь обсуждать?

На сей раз в тоне его присутствовало мягкое, но несомненное пренебрежение.

Пожалуй, пора поставить его на место, решил Ник. В конце концов, зашибая по сорок восемь миллиардов в год, можно и не извиняться за размер своего пениса.

— Разумеется, — Ник улыбнулся. — Цифры решительно несусветные. Особенно если учесть, что нам придется участвовать в одном проекте с человеком, которого прозвали Гитлером южных морей. Хотя мы в политику не лезем.

Джефф, не говоря ни слова, смотрел на него. Подзатянувшуюся тишину в конце концов нарушил Джек:

— Пресса о многом умалчивает. Он с самого начала предложил им переселиться на другой остров. А чем они ответили? Проткнули копьем его посланца. Я так понимаю, если ты султан, ты просто не имеешь права спускать такое, иначе очень скоро каждый начнет плевать тебе в рожу. Это не то, что быть губернатором, ну, не знаю, Канзаса.

— По-моему, мы несколько отвлеклись от темы, — сказал Джефф. — Со своей стороны могу сказать одно: в переговорах со мной султан проявил себя как человек очень разумный и чуткий. А насчет цифр — цифры мы сможем уменьшить. Но при всем при том, Ник, надо быть реалистами. Речь идет о двух самых приметных звездах кинобизнеса, не просто суперзвездах — суперновых. А есть еще и чисто технические вопросы. Скажем, почему они не взрываются, закуривая в космическом корабле? Так что деньги все равно будут серьезные.

— Угу, — сказал Ник. — Конечно, нужно будет обговорить в контракте все детали. Одобрение сценария, сорт сигарет, число выкуренных, упоминание о них — в особенности о том, до чего их приятно курить. И так далее. Вообще говоря, за такие деньги мы наверняка потребуем определить даже число затяжек на каждую сигарету. Кольца Мейс Макквад пускать умеет?

— Не знаю, — сказал Джефф. — Не располагаю такой информацией.

— При таком гонораре придется научиться.

— В «Кракене» ему пришлось научиться плавать с аквалангом, — сказал Джек. — Думаю, и с кольцами проблем не будет.

— Хорошо, — сказал Ник. — Потому что при тех деньгах, о которых идет речь, мои коллеги наверняка захотят увидеть в «Секторе шесть» побольше табачного дыма.

— Посмотрим, что удастся сделать, — сказал Джефф. — Будем поддерживать связь.

На сей раз Джек Бейн остался в кабинете Джеффа. Переходя рыбий садок, Ник ощущал себя персонажем из фильма о Джеймсе Бонде — человеком, который навлек на себя недовольство Первого и вот-вот провалится сквозь потайной люк в бассейн, кишащий акулами. Впрочем, ему удалось достичь лифта не заеденным до́ смерти дорогостоящим карпом.

В «Энкомиуме» его ожидало несколько экстренных вызовов от Капитана, БР, Хизер, Полли, Дженнет и Джека Бейна. Какой из них важнее, трудно было сказать, однако в телефонных переговорах, как и в жизни, самое благоразумное — отдавать предпочтение человеку, который платит тебе жалованье.

Капитан уже вышел из больницы, но, судя по голосу, ненадолго. Настроение у него было паршивое.

— Полагаю, ты уже слышал эту... абсурдную новость, — сказал он.

Ник ответил, что все утро просовещался с Джеффом Мегаллом. Капитан даже не спросил, до чего они договорились.

— Финистер?

— Что означает по-французски «конец света», — сказал Капитан и замолчал, явно что-то глотая. Нитроглицерин? — Самое подходящее для него имя. Я получил вчера вечером отчет Гомеса О'Нила. Один из его людей в Сенате наконец докопался до истины. Что было и нелегко и недешево. В конце недели сукин сын намеревается внести законопроект, требующий, чтобы на каждой пачке сигарет изображался череп с костями.

— Ух ты! — сказал Ник. Ну конечно — испанская служанка. Предупреждение, которое поймут даже те, кто не умеет читать по-английски. Ему следовало бы давным-давно догадаться. Неужели он теряет нюх?

— Мы будем выглядеть производителями крысиного яда, — сказал Капитан. — Возвращайся-ка лучше домой первым же рейсом.

Ник позвонил БР. Этот его начальник воспринял новость не так эмоционально, как Капитан, но тоже сильно нервничал. В воздухе носился явственный запашок паранойи. Первым делом БР спросил у Ника, не по сотовому ли телефону тот говорит. И даже после того как Ник заверил его, что говорит по обычному, БР отказался объяснить, как именно Гомес добыл эти кошмарные сведения, сказав лишь, что источник надежный. Больше того, Финистер, сообщил он, заручился обещанием члена палаты представителей от Техаса, Ламонта К. Кинга — одного из самых консервативных «хлопковых долгоносиков»[1] в Конгрессе, — что тот поддержит законопроект. Странноватая парочка. Кинг на дух не переносил Финистера. Хотя, с другой стороны, последний заседал в комиссии по ликвидации военных баз.

— Мы тут прикинули на пальцах, — сказал БР. — Получается, что законопроект пройдет. Дон Стуки предсказывает двадцатипятипроцентное падение продаж за неделю.

— Ничего себе, — отозвался Ник.

— В общем, дела как сажа бела, — сказал БР. — Тебе лучше вернуться ближайшим же рейсом.

Ник перезвонил Хизер, надеясь, что хоть она-то искала его по другому поводу. И точно, по другому.

— Ко мне приходили агенты ФБР, — со странной интонацией сказала она. — Задавали всякие вопросы.

— Для того они и существуют, агенты ФБР, — сказал Ник. — Работа у них такая. Они пытаются найти людей, которые хотели меня убить.

— Они выясняли, насколько хорошо я тебя знаю.

— Вот как?

— И только что не спросили, спим ли мы с тобой. «Не могли бы вы точно сказать, насколько *хорошо* вы знаете мистера Нейлора?» Их было двое. Один плохой, другой хороший. Говорил все больше плохой. Монмани. Симпатичный такой, если тебя тянет к волкам. Желал узнать, цитирую, «что ты за человек».

— Ну, по-моему, вполне обычный вопрос, — сказал Ник.

— И еще он спросил, очень ли ты честолюбив.

— Честолюбив?

— Ага. Они спрашивали также, снова цитирую, «вполне ли ты оправился психологически» после того твоего заявления о смерти президента. Алло?

---

[1] Прозвище группировки консервативных южан-демократов в палате представителей.

— Что ты им сказала?

— Естественно, я отказалась с ними разговаривать.

— Отказалась? Почему?

— Потому что я журналист. А журналисты не делятся сведениями с агентами ФБР.

— Сведениями? Какими еще сведениями? Они просто задавали рутинные вопросы.

— По-твоему, рутинные?

— А теперь решат, что ты меня выгораживаешь и защищаешь.

— Я не тебя защищаю. Я защищаю принцип.

— Да почему было не сказать им правду? Тоже недурной принцип.

— Это кто же такой говорит? Человек, по словам которого, между курением и болезнями нет никакой связи? Подумать только! Алло?

— Я слушаю, — вздохнул Ник, разминая пальцами переносицу.

— А что ты так разволновался? И голос у тебя...

— Какой?

— Как будто ты в чем-то виноват.

— Виноват? В чем? В том, что я облепил себя никотиновыми пластырями? Да я от них чуть не сдох!

— Успокойся. Они пытаются изловить рыбку в мутной воде, только и всего. Ничего у них на тебя нет.

Пауза.

— Или есть?

— Хизер, — сказал Ник, — о чем мы с тобой говорим?

— Ну, я просто не понимаю, почему люди из ФБР задают такие вопросы.

— Тебе недостает скептицизма, Хизер. Господи, да большинство известных мне журналистов такие скептики, что вообще никому не верят. Кроме Матери Терезы. И то некоторые полагают, что у нее своя корысть.

— Постой. Какое отношение имеет Мать Тереза к разговору о поругании нравственных принципов табачным лоббистом?

— Большое спасибо, — обиженно сказал Ник. — Ты сегодня очень мне помогаешь.

— Я только еще собираюсь помочь. Написав об этом.

— Сделав *что*?

— Мы заставим ФБР оправдываться. Пусть объяснят, с какой стати они донимают жертву похищения. Это преследование под маской политической корректности. Эскалация обливания грязью всего, что связано с табаком. Табачная индустрия как новая империя зла. Удивляюсь, почему ты сам до этого не додумался. Получится отличная статья.

— Ты хочешь написать обо мне?

— Я просто обязана.

— И рассказать всем, что я, именно я, состою под подозрением у ФБР. Так-так. Нет уж, спасибо. Лучше не надо. Алло? Хизер? Хизер, этот разговор не предназначен для печати. Хизер?

— Ну что ты шарахаешься от каждого куста? Вам эта статья только на пользу пойдет. Слушай, а напрямую к тебе они еще не обращались? Алло?

Ник позвонил Полли. Голос у нее был встревоженный.

— Ник! — воскликнула она. — Слава богу! Я пыталась связаться с тобой. Слушай, ты не по сотовому говоришь? Ну хорошо, а то ко мне вчера из ФБР приходили. Они...

...задавали ей те же вопросы, что и Хизер. Вот теперь Ник и вправду готов был шарахаться от каждого куста. Он понимал, что ФБР свое дело знает, но как они пронюхали насчет Хизер и Полли? Откуда им известны все обстоятельства его личной жизни?

— Ты не волнуйся, — сказала Полли. — Я им ничего не сказала.

— То есть?

— Я могу тебе чем-то помочь? Марти Берлин говорит, что тебе нужен Джеф Аронов. Он работает у «Арнольда и Портера». Берет дорого, но адвокат действительно хороший.

— Полли...

Ник ощущал себя слишком усталым, чтобы каждые полчаса заявлять о своей невиновности. Но тут ему пришло в голову, что если ФБР прослушивает этот разговор — кто их знает, может, они и наземные линии умеют прослушивать? — ему стоит хотя бы изобразить гневный протест. Однако Полли, милая Полли только все испортила, раз за разом повторяя, что ей это все равно, что это совсем не важно, что она — его союзница на 110 процентов. Если что-то и способно приятно пощекотать воображение фэбээровских слухачей, так именно произносимая женщиной фраза: «Я твоя на 110 процентов».

Дженнет, слава богу, ФБР не допрашивало. Она звонила, чтобы «по-быстрому обменяться идеями» относительно мины, подложенной под них Финистером. Может, имеет смысл организовать утечку информации, чтобы опередить Финистера и обернуть все против него: *«Как это ни прискорбно, но сенатор Финистер, желая, видимо, отвлечь всеобщее внимание от своего очередного развода, вылезает с этой истеричной нелепицей. Не оскорбляет ли он мыслительные способности американцев, относясь к ним как к неграмотным олухам?»* Неплохо, подумал Ник. Дженнет умница. Он так ей и сказал. «У меня был хороший наставник», — промурлыкала она.

— Кстати, — с вкрадчивым безразличием сказал он (в нынешней ситуации БР лучше не знать, что один из его подчиненных попал под подозрение), — ФБР, похоже, принялось копать под меня, задавая разным людям дурацкие вопросы.

— Вот гниды! — сказала она.

— Согласен. Но сделай мне одолжение. Если они заявятся к тебе, расскажи им все.

— *Все?* — Дженнет рассмеялась.

— Ну, что касается фактов. Я ничего не хочу от них утаивать.

— Прилетай поскорее, — страстно прошептала Дженнет. — Ты мне нужен.

Ник застегивал молнию на сумке, когда позвонил Джек Бейн и посетовал, что прошел уже целый час, а Ник так и не ответил на его звонок. В городе, где все делается на века, сорок пять минут — это целая вечность.

— Джефф считает, что наше совещание прошло *очень* удачно, — поведал Джек тоном, каким обычно объявляют победителя лотереи. — Он хочет, чтобы ты сегодня вечером пообедал у него дома. Обычно Джефф не приглашает к себе новых клиентов. Он очень замкнутый человек. Так что это знак того, как высоко он тебя ценит. Будешь только ты, Фиона и Мейс. Ну, еще Джерри Горник и Волтан Зейг, продюсеры. Джефф собирается поразить вас особенным блюдом. Я так и не понял, как оно называется, не силен в японском — есть куда расти, верно? — но это точно суши, только прозрачное. Рыба на него идет аж из Марианского желоба. Сколько-то там тысяч футов глубины, так что твари в ней водятся странные. Кальмары юрского периода. И эти, знаешь, ну, чудища такие с глазами на антеннах. Если честно, я до них не большой любитель. Мне по вкусу рыба, которая не просвечивает, но то, что подает Джефф, страшная редкость, такое даже в лучших ресторанах не получишь. У Джеффа есть связи в «Сумитаси Интернэшнл», только учти, я тебе этого не говорил. Обычно Джефф кормит этой штукой людей вроде Овица или Эйзнера, так что сам понимаешь, как он к тебе относится.

Ник объяснил, что, сколь он ни польщен, но его сию минуту вызвали в Вашингтон по неотложному делу. Наступила долгая пауза. Наконец Джек произнес голосом смертельно обиженного человека:

— Ник, не знаю, как это правильнее сказать, но что же может быть важнее?

Коридорный уже стучал в дверь. Господи, через пятьдесят пять минут самолет.

— Поверь мне, Джек, дело очень серьезное. Я перезвоню тебе с нашего берега.

20

Разговор за столом у поддельного камина на сей раз велся вполголоса. Ник, Полли и Бобби Джей сидели, сдвинув головы, точно революционеры-бомбисты в парижском кафе.

Новость насчет Финистера разгневала Бобби. Еще будучи губернатором штата Вер-

монт, Финистер протолкнул очень жесткий — в той мере, в какой он задевал интересы «Общества по распространению», — закон, направленный против ручного оружия: покупатель обязывался извещать продавца о своих намерениях за сорок восемь часов до покупки и к тому же лишался права приобретать больше одной единицы оружия в неделю. Теперь Финистер, купив себе на семейные денежки место в Сенате, получил возможность насаждать неопуританизм в национальных масштабах.

— Этот сучий потрох с торчащими наружу зубами, — сказал Бобби Джей, вгрызаясь в крупный итальянский перец так, что сок брызнул на платье Полли, — не настолько дурен, чтобы его нельзя было исправить хорошим зарядом картечи.

Сколь ни согревало подобное сочувствие сердце Ника, все же реакция Бобби Джея показалась ему чересчур резкой, особенно для новообращенного христианина.

— Кроме покушения на его жизнь, тебе нечего предложить? — спросил Ник, извлекая из вазы гвоздику и внимательно вглядываясь в нее.

— Что это ты делаешь? — спросила Полли.

— Смотрю, нет ли жучков. Раз уж мы затеяли обсуждать планы убийства сенатора США...

Бобби Джей отобрал у него гвоздику и сказал прямо в нее:

— Я питаю глубочайшее уважение к сенатору Ор-то-лану К. Финистеру.

— У него просто плохое настроение, — пояснила Полли. — На этой неделе спятил очередной почтмейстер — учинил бойню прямо в своей конторе. Кстати, Бобби, все хотела спросить у тебя —возможно ли, не преступая закона, купить гранатомет?

— Слушай, я же не лезу к тебе с глупостями каждый раз, как пьяный подросток переезжает Нобелевского лауреата, — сказал Бобби Джей. — И тоже кстати — перечный сок не отстирывается.

— Мы вроде бы обсуждали мою проблему, — напомнил им Ник.

— Я так понимаю, вы поддерживаете противника Финистера? — спросила Полли.

— О да. Он у нас будет купаться в деньгах. И принимать душ из звонкой монеты. Но сейчас нам это не поможет. Выборы в ноябре, а законопроект — вот он.

— Ладно, — сказала Полли, — что у вас на него есть?

— Он блудодей, — сказал Бобби. — Три раза женился и разводился, а уж сколько девок отвалял в промежутках, одному богу известно.

— Сколь бы ужасным ни показалось это большинству американцев, я бы предпочла что-нибудь более, ну, не знаю, более сенсационное. Извращения — хлысты, наручники и все такое. О господи, — сказала она, выпустив длинную, философическую струю дыма, — слышал бы нас кто-нибудь! Быть мне государственным секретарем, не иначе.

— А что такое? — спросил Бобби Джей. — Нервишки сдают? Жизнь — грязная, поганая работа, но должен же и ее кто-то делать.

— Хватит трепаться, — и Полли спросила у Ника: — Вы подключили вашего, как его — Гарсиа?

— Гомеса. Разумеется. В эту минуту его ребята, скорее всего, роются у Финистера в бумажнике.

— Не забудьте о списке фильмов, которые он брал напрокат. Помнишь, что эти свиньи сделали с бедным судьей Томасом[1]?

— Я уверен, — сказал Ник, — что Гомес О'Нил ничего не упустит.

— Пустое дело. Они все теперь только вырезки смотрят. Или кто-нибудь из подчиненных берет для них в прокате грязные фильмы. Фарисеи.

— Он изображал плейбоя, когда был помоложе. И потоньше. Здорово пил. Один раз был остановлен за вождение в пьяном виде.

— Ой, ради бога, — сказала Полли, — если можно, обойдись без этого. К тому же это древняя история. А ведь это он, лицемерный ублюдок, понизил в Вермонте допусти-

---

[1] Кларенс Томас (род. в 1948 г.), в 1991 г. был выдвинут на пост члена Верховного суда США. Дело о его назначении долго слушалось сенатской комиссией (слушания транслировались на всю страну) в связи с заявлением одной из его бывших сотрудниц о имевших некогда место сексуальных домогательствах с его стороны.

мую норму содержания алкоголя в крови до 0,8. Вечно одно и то же. Только потому, что он когда-то, нарезавшись, гонял по дорогам, теперь всякий, кто позволит себе два глотка шардонне, на полгода теряет права. Интересно, как они там выкручиваются в Вермонте? Такси вызывают?

— Ты понимаешь, что следующие вы? — спросил Ник. — Если ему удастся посадить череп с костями на сигареты, через какое, по-твоему, время он пожелает налепить его на скотч, вино и пиво?

— Да на них уже места не осталось для наклеек, — с горечью сказала Полли. — Странно еще, что мы не предупреждаем людей, чтобы они не глотали бутылки.

— Скоро нам всем каюк, — мрачно изрек Ник.

— Уныние — смертный грех, — уведомил его Бобби Джей.

— Вся наша продукция того и гляди переедет от кассы на полку с домашними ядами. ФБР считает, что я сам облепил себя никотиновыми пластырями. Разве я не вправе немножко поунывать?

Полли накрыла его ладонь своей.

— Давай соблюдать очередность.

— Она права, — сказал Бобби Джей. — Существует только один способ съесть слона. Принимать его по чайной ложке.

— Это что, одно из ваших деревенских хокку? Может, все-таки вернемся к реальности?

Бобби Джей наклонился поближе к Нику.

— У нас есть друзья в доме, который построил Дж. Эдгар Гувер. Попробую нарыть там что-нибудь.

— Насчет моего расследования? Ну-ну.

— Ты еще удивишься. Наши с ними связи завязываются на стрельбище. А там всякие разговоры случаются.

— Ладно, — вздохнул Ник, — тогда не забудь, попроси их арестовать побольше исламских фундаменталистов.

— Видишь, — сказала Полли, — вот мы и сдвинулись с мертвой точки. Бобби Джей позаботится о твоих проблемах с ФБР. А тебе остается только придумать, как быть с Финистером. Должно же у него быть слабое место. Оно у каждого есть.

— И что мне, по-твоему, с ним делать? Объявить в выпуске новостей, что он смотрел «Студенточек в течке»?

— Эй! — Полли потрясла его за плечо. — Куда подевался наш старый истребитель неопуританских драконов? Где человек, которого я знала когда-то, — человек, способный встать посреди битком набитого зала и прокричать: «Между курением и болезнями нет никакой связи»?

Ник взглянул на Полли, и его вдруг вновь потянуло к ней, как прежде. Но сейчас, когда он наполовину увяз в романе с Хизер и уж точно увяз с Дженнет, думать об этом было не время. А жаль. Они с Полли могли бы... ладно, во всяком случае она права. Ищешь работу полегче? Устройся рекламным агентом в «Красный Крест».

Подошла официантка, чтобы рассказать, какой здесь нынче дежурный десерт. Новенькая. Берт еще не успел внушить ей, что у этого столика никогда, никогда не следует упоминать о дежурных блюдах.

— У нас сегодня яблочный пирог, — распространялась она, — с мороженым или с вермонтским чеддером, очень вкусно.

— Ну-с, — сказала Полли, когда от официантки удалось избавиться, — так что там за история произошла с волосами Фионы Фонтейн, а, Ник? Ник?

Нику казалось, что он сидит в герметичной камере, а ученые мужи наблюдают за ним с помощью телекамер. Он даже не видел на мониторе ни ведущего передачи, ни других приглашенных. Все, что у него было, это звуки да еще объективы, не мигая уставившиеся на него, подобно огромным циклопам-людоедам со стеклянистыми, рыбьими глазами.

Именно так предпочитал вести свое шоу Коппел[1]: сам он сидел в одной студии, интервьюируемые — в других. Телевизионный эквивалент полупрозрачного зеркала, какие устанавливают в полицейских участках. Коппелу так было удобнее — не приходилось отвлекаться на жесты своих терзаемых подопечных, на их нервные корчи, а стало быть, и на жалость к ним. Только особо избранным гостям разрешалось, да и то изредка, посидеть рядом с Коппелом — к примеру (несколько месяцев спустя), опозорившемуся кандидату в президенты, который выбрал программу «Вечерней строкой» для того, чтобы попробовать объяснить, почему, господи боже, он променял свою державу на минет.

— Тридцать секунд, — услышал в наушниках Ник. Он нервничал. Ему приходилось выступать в этой передаче и раньше, но никогда еще ставки не были так высоки. Он остро чувствовал, что за ним наблюдают, ощущал присутствие — по другую сторону объективов — Капитана, БР, Дженнет (сидевшей за несколько дверей отсюда, в артистической), Хизер, Лорна Латча, Джоя, гордящейся им матери (мой мальчик — главный представитель табачной индустрии), Джека Бейна и, может быть, даже Джеффа Мегалла, ожидающего, что Ник с треском провалится — в наказание за lèse majesté[2], содержавшееся в отказе отведать прозрачной сырой рыбки.

Спокойнее, сказал он себе. Обстановка сложная, и потому спокойствие — это все, ясность изложения — превыше всего, самое же главное — не ковырять в носу. Он проделал дыхательное упражнение: набрал полные легкие воздуха и выдохнул его в двенадцать десятисекундных приемов. Затем закрыл глаза и попытался очистить свой мозг от всех мыслей и образов. Ник где-то читал, что у японских монахов на очистку мозгов уходило лет двадцать молчания и поста (только зеленый чай и шелушеный рис). Однако сегодня он нуждался не в просветлении, а всего лишь в небольшом замедлении пульса.

Внезапно в наушниках послышался бурный кашель. Это кто же, звукоинженер?

О нет — следом донесся знакомый голос:

— Сигареты... по некоторым оценкам, в этом году от курения умрет до полумиллиона американцев.

Отлично, подумал Ник, начинаем просто отлично: с образа больного в последней стадии рака, выкашливающего ошметки альвеол.

— Тем не менее, — продолжал Коппел, — несмотря на федеральный закон 1965 года, требующий наличия неустранимых предупредительных надписей на каждой пачке сигарет, люди продолжают курить. И вот теперь сенатор США...

Еще одно дыхательное упражнение.

— Добрый вечер. Я Тед Коппел из Вашингтона, а это... передача «Вечерней строкой».

Пауза перед названием напомнила Нику перебивку, которую Эдвард Р. Марроу во времена блицкрига вставлял в свои выпуски радионовостей из Лондона. «Это... Лондон». Милый, старый, не выпускавший изо рта сигарету Эдвард Р. Марроу. Милый, милый старый Эдвард Р. Марроу.

— ...чуть позже к нам присоединятся автор этого законопроекта, сенатор от Вермонта Ортолан К. Финистер, и Ник Нейлор, главный общественный представитель табачного лобби. Но сначала — сообщение нашего корреспондента Криса Уоллеса...

Омерзительно подробное сообщение Уоллеса основывалось на результатах опубликованного в «Ланцете» исследования, предрекавшего, что к концу столетия в мире умрет от курения 250 миллионов человек — каждый пятый житель индустриально развитых стран. Интересно, какая сволочь его проводила? Ник мысленно сделал заметку, что надо бы попытаться облить грязью этот самый почтенный из медицинских журналов мира.

— Позвольте начать с вас, сенатор. На сигаретах уже имеются вполне отчетливые предупреждения. Зачем понадобился дополнительный ярлык?

— Видите ли, Тед, как вы уже отметили в вашем блестящем вступлении...

Подлизывается. И зря. Коппел слишком горд, чтобы купиться на вульгарную лесть, особенно на лесть политикана.

---

[1] Бессменный ведущий информационной программы «Вечерней строкой».

[2] Оскорбление монарха (*франц.*).

— Но ведь предупреждения и без того звучат достаточно грозно, — парировал Коппел. Ник мысленно крикнул «ура». — «Рак легких», «эмфизема», «сердечные заболевания», «асфиксия плода». Зачем же нам еще и череп с костями?

— К сожалению, Тед, многие американцы не умеют читать, во всяком случае по-английски, так что эта мера направлена на их благо. Я считаю, что мы несем ответственность за этих людей.

— Хорошо. Мистер Нейлор, прежде всего я хочу сказать, что, как бы люди ни относились к курению, вы определенно стоите на переднем фронте сражения за права вашей индустрии. Тем более что недавно вас похитила и едва не убила радикальная, сколько можно судить, группа противников курения...

— Мне тоже так показалось, — вставил Ник.

— Возможно, мне следует начать с такого вопроса: верите ли вы, что сигареты безвредны?

Ну, это подача из легких.

— Видите ли, Тед, я предпочитаю то, что мы называем научным подходом. Прежде чем составить сколько-нибудь ответственное суждение по этому вопросу, необходимо провести обширные исследования.

Хорошо, прекрасно. Всего одна фраза — и ты уже в рядах приверженцев Ответственной Науки.

— Несмотря на то что сегодня число исследований, указывающих на наличие связи между курением и одним только раком легких, уже перевалило за шестьдесят тысяч?

Ник утомленно покивал головой: да, он ожидал, что эту дряхлую газетную утку снова выволокут на свет божий.

— Мне кажется, Тед, я знаю, откуда взялась приведенная вами цифра. Если не ошибаюсь — из книги бывшего Главного врача Купа, той самой, за которую он получил столь аппетитный аванс.

— Не уверен, что понял суть сказанного вами.

— Суть в том, что мистер Куп, подобно многим иным политическим деятелям, преследует собственные цели.

Неуклюже, быть может, но, по крайности, ему удалось заляпать предположительной грязью сияющие туфли маститого доктора, еще и детского хирурга в придачу. Человека, спасающего жизни... маленьких детей. *Не думай об этом!* Слава богу, Куп с его кошмарной бородой как две капли воды походит на капитана Ахава.

Ник прямо-таки видел, как Ортолан К. Финистер в отчаянии всплескивает руками.

— Тед, могу я прокомментировать это высказывание?

Коппел, однако, не внял мольбе подхалима, обязанного своей политической карьерой психопату, который тридцать лет назад застрелил его дядюшку-президента.

— Не уверен, правильно ли я вас понял, мистер Нейлор. Вы утверждаете, что после проведения десятков тысяч исследований и сбора ошеломляющих, честно говоря, свидетельств вредоносности сигарет вопрос о том, вредны они или нет, *все еще* остается открытым?

— Тед, двадцать лет назад ученые уверяли нас, что все мы умрем от искусственных сластителей. Теперь они говорят: мы опростоволосились, не берите в голову. Чем больше цикламатов, тем лучше. Так вот, я думаю, что всякий ученый, который не даром ест свой хлеб — или в данном случае сахар, — скажет вам, что первейшим принципом науки является сомнение.

Коппел, похоже, развеселился, что не сулило ничего хорошего.

— Хорошо, давайте, чистоты аргументации ради, предположим, что вопрос остается открытым. Согласитесь, однако, что, пока не будут добыты убедительные доказательства вредоносности табака, нам следует проявить пусть и излишнюю, но осторожность и защитить общество от возможности — я использую наиболее нейтральное из имеющихся в моем распоряжении слово — ущерба, который способно причинить нам курение. Быть может, именно поэтому сенатор Финистер и предлагает поместить на сигареты новый ярлык?

Вот же изворотливый гад!

— Ну что ж, — Ник издал негромкий всепрощающий смешок, — в таком случае согласитесь и вы, что нам следовало бы отпечатать как можно больше предупредительных ярлыков, чтобы налепить их на всякую вещь, которая не является стопроцентно безопасной.

Ладно, хватит трепаться попусту. Пора выдернуть чеку из гранаты, которую поднесла ему официантка.

— И самое смешное во всем этом, Тед, что подлинным, стопроцентно доказанным убийцей номер один является в Америке холестерин. Я не знаю ни одного ученого, который бы этого не подтвердил. И вот на сцене появляется сенатор Финистер, замечательный, прекрасный штат которого, мне больно говорить об этом, буквально забивает артерии американцев вермонтским чеддером. Появляется и предлагает налепить на нас ту же бирку, что и на крысиный яд.

— Это полный абсурд! Тед, разрешите...

— Вы позволите мне закончить? — Ник покрепче ухватился за микрофон. — Я лишь хотел сказать, что мы готовы налепить эти его ярлыки на *нашу* продукцию, если сенатор признает *трагическую* роль, которую играет *его* продукция, и налепит такие же ярлыки на смертоносные, плотные, с низким уровнем липопротеинов глыбы того, что известно нам под именем вермонтского чеддера.

— Те-ед!..

21

По окончании передачи Ник заскочил в артистическую, чтобы забрать Дженнет. Вокруг нее уже вертелось несколько типов, норовивших получить номер ее телефона. Сегодня она выглядела особенно элегантно. По отношению к Нику проявила профессиональную сдержанность: ограничилась парой дежурных фраз, поздравив его с тем, что он «отыграл несколько очень важных очков». И лишь когда они оказались в лифте, одни, обвила руками шею Ника и запечатала его уста поцелуем, который и НАСА могла бы взять на вооружение — для герметизации воздушных шлюзов.

— Ты был бесподобен. Сегодня я заставлю тебя стонать.

Дженнет определенно умела внушить мужчине чувство, что он честно отработал свой день. В машине, по дороге к Нику, она то и дело набрасывалась на него. Дезинформация явно действовала на нее как афродизиак. Едва успев ввалиться в квартиру, они уже оказались в постели. Свет, как обычно, погас, и Дженнет снова произвела все свои причудливые манипуляции с резиновыми перчатками и презервативами.

Стоило им заняться делом всерьез, как зазвонил телефон. Из динамика автоответчика донесся голос Полли. Обладать одной женщиной, слушая другую, — это, оказывается, возбуждает.

— Сыр-убийца? — Полли хохотнула. — Лихо. У Финистера был такой вид, точно его опоясывающий лишай прихватил. Бобби Джей просил передать, что сегодня ты дал «Отряду ТС» повод гордиться собой. Мои поздравления. Перезвони мне, как вернешься. У меня завтра своя говорильня по ящику, так что я копаюсь тут в данных насчет воздействия алкоголя на функции нервной системы. Известно ли тебе, что спиртное увеличивает поток ионов через клеточные каналы и вызывает успокоительный эффект, примерно как валиум? Разумеется, в *умеренных* дозах, но это обстоятельство я смогу обойти. Если «Альянс за умеренность» и ненавидит что-нибудь всей душой, так это умеренность. Как бы там ни было, малыш, ты был бесподобен. Мои ионные каналы так и загудели. До скорого.

— Кто это? — спросила Дженнет.

— Не останавливайся. О-ох!

— Судя по голосу, она к тебе неравнодушна.

— Полли Бейли. Мы с ней друзья.

— А что такое «Отряд ТС»?

— «Торговцы смертью». Обедаем вместе. О, да, вот так. О-о-ох!

Снова зазвонил телефон.

— Привет, Ник, это Хизер. Сыр? Ну ты даешь! По сравнению с тобой сербы — просто кроткие, гуманные люди. Позвони мне, ладно? Нужно поговорить о той статье. Может, поужинаем завтра вечером?

— Это Хизер Холлуэй?

— О-о-о-о-о-ох! Да-а!

— Ага! Я так и знала, что она — твоя Глубокая глотка[1]. Ах ты прохвост! По тебе розга плачет. Хочешь, я тебя высеку?

— Нет.

— Так ты и ей вставляешь?

— Кому?

— Хизер Холлуэй.

— Давай поговорим об этом позже. У-уй! Потише!

Следующим позвонил Капитан.

— Ник, сынок. Ты был великолепен. Этот саблезубый ублюдок с прыщавым задом разве что полные штаны не наложил. А может, и наложил, вроде был похожий звук. Отлично проделано, сэр! Ты — лучшее приобретение табачной индустрии за последние десять лет. И не думай, что я не найду способа продемонстрировать свою благодарность.

— Это кто же... Капитан?

— Ох-ох-ох-ох...

— Ни-ик!

— Что?! Да, он.

— У него был радостный голос.

— Угррр. Милая, милая...

— Что он имел в виду под проявлением благодарности?

— Рррмм. О-о-о! Да-да-да-да-да-да!

Она ушла, по обыкновению, еще до того, как Ник проснулся, в очередной раз избавив его от необходимости прибираться в своем гнездышке. Очень аккуратная женщина. Наверное, это следствие ее садомазохизма. Какой помойкой могла бы выглядеть нынче утром его спальня — пакетики, обертки, маленькие, обмякшие цеппелины любви, разбросанные по всему полу. Пять раз! Перевалив за четвертый десяток, приятно сознавать, что старая кобра еще способна подняться и пустить шип пять раз за одну ночь.

Снова звонок. На этот раз Гэзел, впавшая в панику из-за того, что времени всего-навсего 9.15 (Ник заснул лишь после четырех), а его телефон уже раскалился от гневных звонков, все больше из Вермонта, в том числе и из губернаторского офиса.

— Скажи своим охранницам, пусть будут настороже, — предупредила Гэзел. — Судя по голосам этих типов, они собираются прикатить сюда и запарковать грузовики с сыром на твоей заднице.

В Академии его встретили приветственными кликами — герой вернулся с войны. Табак, может, и горит синим огнем, но копье его паладина не притупилось.

Впрочем, БР показался Нику немного подавленным. И даже холодным.

— Мне только что позвонил губернатор Вермонта, — сообщил он. — Не сказал бы, что он был очень мил и любезен.

— Будет знать, как запрещать курение в тюрьмах, — пожал плечами Ник, наливая себе кофе. После горячих внутренних дебатов Академия табачных исследований решила не затевать тяжбы в защиту права убийц, насильников и воров штата Зеленых гор на курение.

— Юридический отдел считает, что каждый вермонтский производитель чеддера подаст на нас в суд, — сказал БР. — «Трагическая роль сыра», надо же!

— И пусть подают, — сказал Ник. — Головка сыра на месте свидетеля — все какое-

---

[1] Имеется в виду нашумевший в 70-х гг. порнофильм с тем же названием.

то разнообразие. В первый раз на моей памяти мы нападаем, вместо того чтобы отстреливаться из-за опрокинутых фургонов.

— Так-то оно так. Но я предпочел бы, чтобы у нас под ногами была почва потверже сыра.

— Это какая же? Здоровье?

БР нахмурился.

— Ты же любишь разрешать сложные проблемы. Поставь под ружье наших ученых дармоедов. Да и разведка пусть повертится. А что искать, ты без меня знаешь.

— Сыроварни?

— Данные насчет атеросклероза у населения Вермонта. Не вижу причин, по которым мы не можем сопоставить показатели производства сыра в Вермонте с показателями по сердечным заболеваниям в стране. До кучи сгодятся любые расстройства, связанные с холестерином. Черт, да мы, скорее всего, сможем прицепить к вермонтскому чеддеру каждый сердечный приступ, какой только случился в Америке. Подключи к этому Эрхарда. Эрхард способен и овсяные отруби изобразить смертоносной отравой.

— На твоем месте я не ездил бы в этом году в Вермонт любоваться осенней листвой. Разве что отрастив бороду и разжившись фальшивыми документами.

— Ну что же, у меня еще остается в запасе Нью-Хэмпшир, — сказал Ник, направляясь к двери.

— Ник, — неуверенно произнес ему вслед БР, — тут заваривается непонятная каша, о которой я хочу с тобой поговорить. Вчера вечером ко мне приходила эта парочка, Монмани и Олман, и... только давай скажем им, что мы с тобой эту тему не обсуждали.

— А что такое?

— Они хотели получить регистрационные записи по твоим телефонным разговорам.

— Вот как, — сказал Ник. — И зачем?

— Не знаю. Но мне дали ясно понять, что, если я не отдам записи добровольно, они вернутся с ордером. По-моему, ни мне, ни тебе это не нужно. Однако я решил сначала переговорить с тобой, — БР бросил на него страдальческий взгляд. — Как ты думаешь, что мне делать?

— Да я вообще не понимаю, что происходит, БР. Меня в чем-то подозревают?

— Именно этот вопрос я им и задал.

— И?

— И получил дерьмовый стереотипный набор слов из учебника для агентов ФБР. Я, естественно, рассвирепел и, можешь мне поверить, не скрыл от них этого. Но они явно, э-э... интересуются тобой.

— Да, но что у них на уме? Что я сам себя похитил и едва не убил с помощью... с помощью никотиновых пластырей?

— Мне кажется, я понимаю, в чем дело. Ты же помнишь, какую прессу мы получили. Я еще сказал тебе тогда: жаль, что я сам не додумался тебя похитить. Видимо, они усмотрели здесь некий мотив.

— Ну так и отдай им записи. Мне скрывать нечего. Могу еще приложить к ним счета из прачечной.

— Ник, — отеческим тоном сказал БР, — по-моему, тебе пора обзавестись адвокатом. Просто... на всякий случай.

— На какой такой случай? Я ничего не сделал. Едва ли не первый раз в жизни могу с полной уверенностью сказать — я невиновен.

— Ник, меня тебе убеждать не нужно. Я на твоей стороне. Но давай, по крайности, заручимся юридической поддержкой.

— Замечательно! «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАБАЧНОГО ЛОББИ НАНИМАЕТ ЗАКОННИКА».

БР поморщился.

— Я тебя хорошо понимаю. И все же, если так будет продолжаться, я сам позвоню Стиву Карлински.

— Карлински? Защитнику этого прохвоста «Садись-и-светись» — как его, Скарпарилло?

— Лучшего нам не найти. Скарпарилло-то он вытащил, а если учесть, что тот перепаковывал радиоактивные отходы и продавал их под видом средства для снятия лака с мебели, это был правовой триумф. Том Салли сказал мне, что более блестящего защитника он не видел, а Том работал у Эдварда Беннета Уильямса[1]. Постой, куда ты?

— Пойду взорву туннель Холланд.

— Что?

— Раз уж меня все равно загребут, — с суровой мрачностью ответил Ник, — так хоть повеселюсь напоследок.

Ник сидел у себя в кабинете, глядя на доктора с «Лаки страйк» и растравляя свои раны, когда позвонил Джек Бейн.

— Ник! Ну ты им и дал!

— А ты разве видел? — удивленно спросил Ник. Джек не произвел на него впечатления человека, смотрящего «Вечерней строкой».

— Не видел. Но ты был неподражаем. А я, между прочим, голосовал за дядюшку этого прохиндея, так что сам понимаешь, откуда я родом. Знаешь, мне теперь никакой сыр в горло не лезет. Сразу голова начинает болеть. Да, послушай, я только что от Джеффа, он не в обиде на тебя из-за обеда, так что не волнуйся.

— Просто гора с плеч.

— Так вот, у нас для тебя потрясающая новость. Джерри и Волтан — продюсеры, помнишь? — согласились снизить процент, который они получат с Мейса и Фионы за подачу вашей продукции в выгодном свете, а значит, и Мейс с Фионой вам встанут дешевле.

— Тут еще есть над чем поработать, Джек. Я сообщил ваши цифры коллегам, и всех их сразу же свезли в кардиологию.

— Ник, Джефф хочет, чтобы сделка состоялась, значит, она состоится. Насчет цифр не беспокойся. Цифры мы согласуем. Ты послушай, Джефф тут встречался с агентами Фионы и Мейса, побеседовал с ними тет-на-тет...

Ник глядел в камин Берта, следя за кружением изображающих пламя алых и желтых световых пятен. Бобби Джей так ничего и не выяснил через свои контакты в ФБР. А Полли заявила, что ему следует сию же минуту нанять Стива Карлински, чем раздражила Ника до такой степени, что он поспешил сменить тему.

— Мейс Макквад и Фиона Фонтейн, цитирую, «питают сомнения» насчет того, стоит ли им, снова цитирую, «восхвалять курение».

Бобби Джей покачал головой, одновременно размешивая стальным крюком свой кофе — привычка, которую Полли находила вульгарной.

— «Сомнения», — всхрапнул он, — и это говорят люди, которые зарабатывают на жизнь, восхваляя секс и насилие.

— Можно подумать, будто вашу рекламу делает не Дарк Фрейзер, — возмутилась Полли. — Он-то и вовсе заработал миллионы, играя живодера-полицейского. А теперь красуется на ваших плакатах: «За моей спиной Общество...»

— Дарк Фрейзер — высоконравственный человек, — заявил Бобби Джей, — всегда стоявший за красоту и справедливость.

— Ну да, особенно когда пытал негров и мексиканцев.

— Всего в одном фильме, к тому же факт остается фактом — большинство преступлений совершается представителями национальных меньшинств. Только отдельные мягкотелые либералы никак не желают это признать.

— Оттого что Дарк Фрейзер кажется мне омерзительным — в том числе и как актер, — я еще не становлюсь либералом.

---

[1] Э.Б. Уильямс (1920—1988) — адвокат, известный тем, что брался за любое дело. В годы маккартизма защищал как двух голливудских сценаристов, обвинявшихся в принадлежности к коммунистическим организациям, так и сенатора Дж. Маккарти, когда Сенат вознамерился вынести ему порицание.

— Как актер, — сказал Бобби Джей, — Дарк Фрейзер в пять раз лучше Мейса Макквада. Он никогда не стал бы вилять на экране голым задом. На месте Ника я бы послал сопляка вместе с его агентом к чертям собачьим. Что же до этой Раав...

— До кого?

— До размалеванной блудницы вавилонской... — Бобби Джею хватило двух «эспрессо», чтобы обратиться в пламенного ветхозаветного моралиста, — я видел все шедевры Фионы Фонтейн и, не отрицая того, что Господь наделил ее красотой — каковую она изгадила, накачавши пластика в титьки, — все-таки не понимаю, почему вокруг нее подняли столько шума. Если баба не носит трусов, это еще не делает ее актрисой.

— Так что же, — спросила Полли, — курить в «Секторе шесть» не будут?

— Ну нет, — сказал Ник. — Два миллиона долларов на брата способны усыпить любые сомнения. Надо отдать должное Джеффу Мегаллу — для человека, питающегося прозрачным суши, он очень умен. Джефф нашел блестящий выход: сцены будут сниматься в двух вариантах. Один, в котором Фиона с Мейсом курят, предназначается для зарубежного проката. Так что здесь никто их курящими не увидит. Зато увидят миллиарды азиатов, которые стремятся во всем походить на Фиону и Мейса. Джефф называет это «целевым продвижением продукта». Вроде целевого изготовления бомб.

— Умно. Стало быть, Мейс с Фионой не против того, чтобы, цитирую, «восхвалять курение», пока их хвалы предназначаются для...

— Косоглазых, — встрял Бобби.

— Терпеть не могу этого слова, — сказала Полли.

Бобби воздел свой крюк.

— Я оставил там двадцать пинт крови и половину руки, — сказал он, — и уж позволь, я буду называть их так, как мне хочется.

— Резонно, — согласился Ник. — Мегалл предложил и еще кое-что: использовать при съемках сигаретные пачки из белого картона. Тогда можно будет цифровым способом превращать их в сигареты разных сортов, в зависимости от страны.

— Здорово! — восхитилась Полли.

— То есть если картину показывают в Японии, в ней курят поставляемый туда сорт, в Индонезии — индонезийский, а в Венгрии — что-нибудь вроде «Горлодера». Он действительно так называется. В Восточной Европе любят, чтобы смол и никотина было побольше.

— Очень умно.

— Не понимаю, — продолжал Ник, — как мы сами до этого не додумались. За границей такие штуки проделывают давным-давно — используют ретрансляторы спутникового телевидения для наложения рекламных текстов. Мадонна может выступать в Испании, а по ящику это будет выглядеть спонсируемым фирмой «Сейлем» концертом в Гонконге. Там вообще дозволяется то, что не дозволено здесь. Лаура Брениган, Тиффани, Стиви Уандер, Роберта Флэк, Хью Льюис, Лучано Паваротти, Том Береджер, Роджер Мур, Джеймс Кобурн, Джимми Коннорс и Джон Макинрой — все они так или иначе рекламируют за океаном сигареты, а здесь и горя не знают, потому что никто этого не видит.

— Да, но как же вы здесь-то обойдетесь? Основная идея состояла в том, чтобы разрекламировать сигареты, разве не так?

— Джефф говорит: нет проблем. Такую роскошь, как «сомнения» по поводу сигарет, могут позволить себе только известные актеры, огребающие по восемь—десять миллионов за картину. Он обещает разместить наш товар в трех рождественских фильмах. И уже в это Рождество.

— Слушай, а как бы мне познакомиться с Джеффом Мегаллом? — спросила Полли.

Ник решил, что в сложившихся обстоятельствах разумнее будет встретиться с Хизер не в «Иль Пеккаторе», а в каком-нибудь месте понеприметней. Он выбрал кафе «Ривер» в Фогги-Боттом. Ник явился туда первым. День выдался утомительный, ему пришлось выслушать немало угроз, включая и угрозы губернатора Вермонта. Ник заказал водку

«Негрони» со льдом и, пока она понемногу протискивалась ему в мозги, все напоминал себе о необходимости сохранить ясную голову. Задача сегодня состояла не в том, чтобы затащить Хизер в постель, а в том, чтобы не позволить ей затащить туда его. В настоящей момент ее, похоже, возбуждал не столько Ник, сколько перспектива произвести впечатление на своих вероятных работодателей из «Сан».

Хизер пришла вовремя, улыбающаяся, в платье, которое она явно надела ради этого свидания, заскочив после работы домой. Появись она в таком платье в редакции, ни о какой работе там уже и речи не было бы.

— Привет! — сказала она. — Не опоздала? Я прямо с работы.

Сначала они поболтали о том о сем, потом обратились к главной теме, которая волновала ныне прессу, — слухам о том, кому предстоит заменить Мортона Кондрейка в «Маклоклин груп». Господи, думал Ник, ну и заботы у нас в Вашингтоне...

В конце концов, после того как оба отказались от десерта и занялись обескофеиненным капучино, Хизер решилась:

— Знаешь, чем больше я думаю о расследовании ФБР по твоему делу, тем сильнее злюсь.

— Кошмар, верно?

— Поэтому я и считаю, что нам необходимо о нем рассказать. Пусть люди знают, на что идут собираемые с них налоги. Думаю, как только эти сведения попадут в печать, ФБР от тебя мигом отцепится.

— А они попадут в печать?

— Да, — с некоторой неуверенностью в голосе подтвердила она. — Мне удалось получить из независимых источников информацию о том, что они занимаются тобой. Так что твоим доверием я не злоупотреблю.

Ник подавил желание поздравить Хизер с тем, что ей удалось спуститься на его — почитай, подземный — нравственный уровень. Он лишь кивнул:

— Что же, это достаточно честно.

Его уступчивость озадачила Хизер.

— Ты не злишься?

— Нет. В сущности, я думаю, что ты права. Возможно, они и отцепятся. Пиши что хочешь. Хотя я буду очень благодарен, если ты не станешь меня цитировать.

— Нет, конечно. Но ты правда не против?

— Правда. Более того, — он склонился к ней, ссутулясь, как завзятый революционер, и прошептал, — говоря решительно, целиком и полностью не для печати, так оно будет... лучше.

— То есть?

Клюнула.

— Пойдем отсюда, — сказал Ник.

Они прошлись по И-стрит в сторону «Уотергейта». Самое подходящее направление, с учетом того, что он задумал.

— Что ты хотел сказать этим «лучше»? — спросила Хизер.

— Тебе очень хочется, чтобы ФБР принялось рыться в *твоих* платяных шкафах? — ухмыльнулся Ник.

— Ник, что ты пытаешься мне внушить?

Еще одна ухмылка.

— Только то, что при достаточно крупных ставках люди порой совершают удивительные поступки.

— Так ты сам себя похитил?

— Я этого не говорил.

Он довел Хизер до ее дверей, целомудренно поцеловал на прощание и отправился восвояси, уверенный, что никакой статьи не будет. Теперь Хизер попытается раскопать сведения куда более сенсационные, а их просто-напросто не существует. В итоге она просто завязнет.

22

Вообще говоря, Ник с удовольствием выступал перед сенатскими подкомитетами. Эти выступления внушали ему чувство, что он на краткий, но блистательный миг становится участником великого драматического сериала, именуемого «Историей Америки». Яркие софиты телевизионщиков, графин и стакан с водой, зеленое сукно, покрывающее стол, гул и гомон публики, сенаторы, старающиеся походить на древнеримские бюсты, крабьи пробежки их помощников, притворно избегающих телекамер, а теперь еще и новое слово в стенографии — Ник обнаружил вдруг, что стенографистки нынче не пишут, а что-то бормочут в конусовидные маски, закрывающие им рты.

Однако сегодня Нику выпала в этом сериале незавидная роль. Сегодня ему пришлось упражняться в терпении, участвуя в некоем подобии отбора присяжных в диснеевском мультфильме. Шел уже четвертый час, а возможности дать показания Ник дожидался с десяти утра. То была мелкая месть со стороны Финистера. Поначалу он и вовсе отказался предоставить Нику возможность выступить перед своим подкомитетом, но затем смилостивился — когда сенатор Джордан в частной беседе пригрозил, что урежет фонды, выделенные штату Финистера для ремонта автострад. (А это случилось после того, как Капитан пригрозил Джордану отлучением от своего самолета.)

Все это время Ник выслушивал обличения в адрес табака — и свой собственный, — произносимые как давними, так и новыми неприятелями: «Матерями против курения», «Подростками против эксплуатации юношества» (то еще стадо баранов), главой Государственного наркологического института (Финистер, тонкий интриган, надумал представить табак еще одним наркотиком, вроде крэка) и Коалицией за нравственную и ответственную рекламу (пять с половиной человек). К исходу четвертого часа, после того как слезливая дама испанских кровей завершила зловещий рассказ о гибели ее мужа Рамона от злодейского зелья: «Он не умел читать и не знал, как это вредно», Финистер предпринял попытку перенести слушания на следующий день. Но тут уж вмешался внедренный в подкомитет табачниками сенатор Плам Рудебейкер от Северной Каролины. Он прорычал в микрофон, что «это линчевание» зашло слишком далеко, и потребовал дать слово Нику.

Ник не без изящества поблагодарил сенатора Финистера за возможность высказать свои воззрения перед столь высоким подкомитетом. Отцы-основатели преисполнились бы гордости, узрев сидящих перед ним сенаторов — мало того что на всех на них скопом приходилось больше двух тысяч опротестованных банками чеков, среди этих государственных мужей числились: совратитель несовершеннолетних сенатских посыльных; три субъекта, задержанных за вождение в пьяном виде; один, пойманный на мухлеже при уплате подоходного налога; еще один, уличенный в избиении жены и выставивший в качестве единственного своего оправдания то обстоятельство, что она его первая побила; и плагиатор, позаимствовавший произносимые им перед избирателями речи у Бенито Муссолини, ни больше ни меньше (и впоследствии сваливший всю вину на «чересчур старательного помощника»).

Стоило Нику приступить к произнесению заготовленной им белиберды — полной риторических красот мольбе не обращать американских табачных фермеров в «оуки»[1] девяностых годов, напичканной душераздирающими цитатами из «Гроздьев гнева», — как двое сенаторов демонстративно встали и покинули зал, даже не утрудив себя ритуальными заверениями, что интересы государственной безопасности требуют их неотложного присутствия в другом месте. Нику пришлось замолчать — на срок, достаточный, чтобы поразмыслить о прискорбности ситуации, в которой совратитель отроков и поклонник Муссолини ощущают над тобой моральное превосходство. Он завершил выступление гордой ссылкой на развернутую Академией кампанию против курения среди подростков. Теперь, по сценарию, слово было за Рудебейкером.

— Я благодарю миста Найлара, — зарокотал сенатор с каролинскими баритональ-

---

[1] Прозвище оклахомских и арканзасских фермеров, разоренных в начале 30-х гг. пыльными бурями. Слово введено в употребление Дж. Стейнбеком в романе «Гроздья гнева».

ными раскатами, — за атвагу, с каторой он явился на нынешние слушания. Я гаварю не только а маральной атваге, но и а прастой человеческой храбрасти.

Ник скромно потупился — реакция более чем уместная, если учесть, что каждое произносимое сенатором слово сам же Ник и написал.

— Патаму как я знаю, — продолжал Рудебейкер, — что он палучил множество угроз ат избирателей маего выдающивася вермантскава каллеги.

— К чему, — залаял Финистер, — клонятся смутные намеки джентльмена из табачного штата?

— В маих славах нет никаких «смутных намеков». — Плам, опять-таки по сценарию, поднял кулак с зажатой в нем пачкой бумажных листков и разжал его, осыпав листками стол. Фотографы, уже впавшие в оторопь от скуки, защелкали камерами, наполнив зал стрекотом автоматически перематываемой пленки. — Как нет их и в смертельных угрозах, на каждай из каторых стаит пачтовый штампель великава штата Вермант.

Ропот, ропот — стук, стук.

— Я очень надеюсь, что мой выдающийся коллега... — изумительная сенаторская учтивость, — не пытается убедить нас в том, что эти не внушающие никакого доверия письма являются результатом каких-либо скоординированных усилий...

— Я не утверждаю, не внушаю и никоим образам не намекаю на что-либо падобное. Я проста гаварю, что мы дожили до прискорбнава дня, кагда на человека, единственный грех каторава состоит в том, что он атстаивает совершенно законный прадукт, абъявляется настаящая ахота. В этой связи я хател бы указать, что миста Найлар уже претерпел, испалняя свой долг, пахищение и пытки. Теперь еще и это. Мне не известно, кто спустил на него этих абъевшихся сыра сабак, я лишь предлагаю их законному представителю прадемонстрировать хоть какую-то спасобность справиться с ними и атазвать своих псов вайны, пака они никаго не абратили в калеку.

— В чьего коллегу? — переспросил сидевший рядом с Ником репортер.

— Плам, безусловно, справился со своей ролью, — сказал на следующий день БР, просматривая вместе с Ником газеты. «ФИНИСТЕР ОТРИЦАЕТ НАЛИЧИЕ УГРОЗ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТАБАЧНОГО ЛОББИ».

— Не думай, что это не влетит нам в копеечку, — сказал в динамике голос Капитана.

В кабинете БР не хватало света. Установленные Карлтоном «антиураганные» жалюзи были опущены. Предполагалось, что они служат защитой от электронного прослушивания. Расследование, ведомое ФБР по делу Ника, и лобовая атака табачного лобби на сенатора США привели к тому, что уровень параноидальности, обуявшей Академию, возрастал с каждым днем, точно уровень паводка в Миссисипи порою дождей.

— И все же, — продолжал Капитан, которому явно не хватало дыхания, — мы заставили сукина сына обороняться. Блестящая идея, сынок.

Ник, снова прокувыркавшийся с Дженнет до ранних утренних часов, зевнул.

— Победить нам все равно не удастся, Капитан. Юридический отдел предсказывает, что законопроект пройдет через комитет двенадцатью голосами против пяти. Конечно, его еще должны утвердить законодатели. Но нам следует приготовиться к худшему.

— Не говори южанину о поражении, — сказал Капитан.

— Я лишь пытаюсь быть реалистом.

— Что там с медицинским отчетом Краута?

Возглавляемый Эрхардом Институт здорового образа жизни состряпал документ, озаглавленный «Безмолвный убийца». По его оценкам, вермонтский чеддер приводил к закупорке артерий, уносившей жизни двух миллионов американцев в год. (В основе оценок лежало, разумеется, предположение, что всякий, кто хоть раз отведал этого сыра, в конечном итоге из-за него и загнулся.) Ник не советовал публиковать этот отчет. Более того, он посоветовал немедля уничтожить все его копии.

— Что у Гомеса? — негромко спросил Капитан.

— Мы совершенно уверены, что пару лет назад Финистер увивался за an pair.

— За кем?

— Иностранной нянькой. Исландкой по имени Харпа Иоханнсдоттир, двадцати одного года. Сейчас проживает в Исландии. Я послал туда человека. Однако поиски займут какое-то время. Телефоны в исландских справочниках указываются не по фамилии, а по имени, так что...

— Позвольте, я вас прерву, — сказал Ник. — Мне неприятно об этом говорить, но, по-моему, нам следует хотя бы прикинуть, как мы будем жить с этими их наклейками. Я имею в виду череп.

— Это пораженчество, — Капитан закашлялся. Судя по голосу, он был совсем плох. Поговаривали, что ему собираются вставить новый поросячий клапан.

Ник испытывал жалость к старику. Увы, но ничего приятного для Капитана он придумать не смог.

— Может быть, — сказал он, — нам как-то удастся облагородить этот череп.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Капитан.

— Пока не знаю. Давайте я переговорю с нашими дизайнерами и мы попробуем что-нибудь придумать. А тем временем человек Гомеса, глядишь, и отыщет в Рейкьявике дитя любви с торчащими наружу зубами.

У выхода из кабинета БР Ника поджидала встревоженная Гэзел.

— Они пришли, — прошептала бедняжка.

— Кто «они»?

— ФБР.

— Ну так прими не столь виноватый вид, — сердито сказал Ник.

Агенты ожидали в его кабинете. Монмани просматривал бумаги на письменном столе, чем вызвал у Ника вспышку раздражения. Олман, больше похожий на человека, с так и не ослабевшим удивлением разглядывал «доктора Лаки».

Ник закрыл за собой дверь и сказал:

— Значит, все-таки поймали?

— Кого? — любезно осведомился Олман.

— Моих похитителей.

— А, — сказал Олман.

— Вы уезжать никуда не собираетесь, мистер Нейлор? — спросил Монмани.

— Что?

— Уезжать.

— Нет.

Агент Монмани зачитал вслух пришпиленную к авиабилету записку:

— «Даллес»—ЛА. Махмуд встретит Вас у выхода с поля».

— А, вон вы о чем. Это по делу. Я думал, вы об отдыхе.

Агент Монмани уставился на Ника волчьим взглядом.

— Почему вы об этом спрашиваете?

— Да вы не волнуйтесь, — сказал Олман. — Это у него привычка такая. Мы не могли бы осмотреть вашу квартиру?

— Квартиру?

— Да.

— Ну... а вы что-нибудь ищете?

— В делах вроде вашего многие теряют память вследствие психологической травмы, поэтому мы стараемся не оставлять обвисших концов.

— Это просьба, понимаете? — сказал агент Монмани. — Соглашаться вы не обязаны.

— Не обязан?

— Нет. Другое дело, если вам предъявят ордер на обыск.

— Верно, — сказал Олман. — А ордера у нас нет.

«Есть у меня в квартире что-нибудь, чего им лучше не видеть? — задумался Ник. — Что-нибудь... интимное? Нет... Любовные цеппелины Дженнет педантично утаскивала с собой... О господи! *Печенья с гашишем, в морозилке!*» Та стюардесса, как ее звали? — Паола — притащила их как-то ночью, два года назад. Его уборщица однажды съела одно по ошибке и потом долго чистила унитаз пылесосом. Он все собирался их

выбросить. Что тебе мешало? Дурак! Идиотина! Сесть в тюрьму из-за заплесневелых печений!

Агенты Монмани и Олман безмолвно взирали на него.

— Э-э... Да, разумеется. Когда вам будет удобно зайти?

— Лучше бы прямо сейчас.

— Сейчас? — промямлил Ник, глядя в ежедневник. — Сейчас... то есть сегодня... мне не очень... Как насчет завтра?

Еще один неприятный взгляд.

— Завтра вы летите в Лос-Анджелес, — сказал Монмани.

— Верно, — он вытащил и протянул им ключи. — Ладно, валяйте.

Монмани покачал головой.

— Мы предпочли бы сделать это в вашем присутствии.

— Я готов вам помочь, но у меня сегодня совещание с сотрудниками, два интервью и надо еще подготовиться к выступлению насчет пассивного курения... Впрочем, ладно.

Ник позвонил Дженнет и попросил заменить его. Он ехал на заднем сиденье фэбээровского «седана», представляя, как поедет обратно, в наручниках, обвиненный в хранении наркотиков. Он уже слышал их вопросы: «Так, говорите, ее звали Паола? На какую компанию она работала?» Олман, свинья улыбчивая, все заговаривал с ним о разных пустяках. Человеку нужно обдумать предстоящий допрос, а к нему лезут с глупостями.

Минутку-минутку, это не мой холодильник!

— Не понимаю, чего ты так разволновался? — удивлялась Полли.

Ник созвал «Отряд ТС» на чрезвычайное совещание. Бобби Джея оно не обрадовало — новообращенные устраивали сегодня вечеринку с игрой в кегли, пиццей и общей молитвой, — однако, услышав в голосе Ника нотки паники, он пришел.

Ник приканчивал уже третью водку «Негрони».

— Так и спиться недолго, — сказала Полли.

— Ты все еще не объяснил нам, в чем дело, — сказал Бобби. — Наркотики-то они не нашли.

— Да тише ты! — прошипел Ник. — Господи Иисусе!

— Иисуса ты сюда лучше не впутывай.

— Он уже притронулся к ним, — сказал Ник, заново переживая недавний ужас: агент Монмани открывает морозилку, перебирает обледенелые пакеты, брикеты мороженого и концентрата для «пинья-колада»[1]. — Я совсем было собрался вырвать их у него и попробовать сжевать, но тут в кухню вошел второй, Олман, и на физиономии у него было написано: «Нашел!»

— Да что нашел-то? Что он мог найти?

— Не знаю. Эти типы понимают друг друга без слов. Во всяком случае, Монмани все понял. Морозильник мой его больше не интересовал. Они попрощались и ушли.

— И все-таки, что они могли найти?

— Ни-че-го.

— Ты уверен, что никуда больше наркотики не запихивал?

— Бобби, сделай милость, заткнись. Тебе, между прочим, следовало бы на стрельбище торчать, обзаводиться связями. А ты чем занимался? Именем Иисусовым кегли сшибал?

— Я продолжаю работать над твоей проблемой.

— Так работай поактивнее, ладно? Если на большее ты не способен, чего ж удивляться, что сторонники запрета оружия делают вас как хотят?

---

[1] Напиток из рома, кокосового масла и ананасового сока.

23

На следующий вечер Ник, катя с Махмудом в его Белом ките из аэропорта в «Энкомиум» и глядя в окно на небоскребы Лос-Анджелеса, увидел большой рекламный щит, такой же наглый, как его собственное вранье. На щите был изображен огромный череп со скрещенными костями. Надпись под ним гласила: «НЕ КУРИТЕ «СМЕРТЕЛЬНЫЕ».

Об этих сигаретах Ник знал все. Хотя бы по одной пачке «Смертельных» имелось у каждого работника Академии, при том что официально индустрия относилась к ним с прохладцей. Самые подходящие сигареты для нашего циничного века. Картинка на пачке говорила — да нет, вопила: «ЭТА ШТУКА ТЕБЯ УГРОБИТ!» Вот она, честная реклама — честнее некуда. Предупреждения Главного врача на другой стороне пачки выглядели просто смехотворно. И шли эти сигареты нарасхват, хотя предназначались преимущественно для совсем юных горожан, тех, что считают харканье кровью признаком мужественности.

В Миннеаполисе стояла поздняя ночь, однако рекламному агенту, получающему от вас тридцать миллионов долларов в год, надлежит отвечать на ваши звонки во всякое время. Ник поведал сонному Свену об осенившей его идее, и Свен сказал, что прямо сейчас переговорит с разработчиками, а в пятницу сам прилетит в Вашингтон.

Ранним утром следующего дня Ник уже сидел в приемной Джеффа Мегалла бок о бок с Кевином Костнером. Он только-только начал рассказывать, до чего ему понравились «Танцы с волками», как его уже повели в кабинет Джеффа.

Вокруг малахитового стола для совещаний расположилось несколько человек.

— Ник, — тепло произнес Джефф.

Джек Бейн знаком показал Нику, что он просто-таки обязан обрадоваться столь теплому приему.

— Ник, это Джерри Горник и Волтан Зейг, ты о них уже слышал. А это Харви Грасон. Харви занимается окончательной доводкой «Сектора шесть». Поскольку договоренности, выработанные нашими юристами, касаются содержания дополнительных сцен, имеет смысл обсудить их совместно. Давай, Харви.

— Значит, так, — сказал Харви, почти совершенно лысый, грузноватый, усталый человек лет тридцати с лишним. — У нас запланировано десять эпизодов с курением. Они там занимаются своими делами — управляют кораблем, едят, переодеваются и так далее — и при этом курят. Кроме того, мы думаем добавить еще несколько. Пока что готовы два, оба посткоитальные, примерно по минуте каждый.

— Это где он проделывает тот фокус с кольцами? — спросил Джефф.

— Нет. Это где *она* проделывает тот фокус. Учит его выпускать табачный дым колечками. Эпизодик получился зажигательный. У моего компьютера чуть экран не оплавился.

— Вы позволите? — спросил Ник, потянувшись к сценарию.

Крупный план через плечо Слейда.

Слейд. Прямое попадание. Где ты этому научилась?

Зина. Мой программист увлекался метанием подков.

— То есть это что же? — спросил Ник. — Она нанизывает кольца на его...

— Ну, а я о чем? Эпизодик — с пылу с жару.

— Жаль, нельзя оставить его в местном варианте, — сказал Джефф. — Отличный эпизод.

— Так нам же требуется Пи-Джей-13[1], — пожал плечами Волтан.

— А кого играет Фиона, робота? — спросил Ник.

— Не робота. Гинорга седьмого формата. Мозг Эйнштейна и тело Джейми Ли Кертис.

— Девушка моей мечты, — сказал Джерри.

— Но не моей, — сообщил Волтан и загоготал.

---

[1] Присваемая фильму категория, разрешающая его просмотр зрителями, достигшими определенного возраста, в данном случае — 13 лет.

— Что еще ты для нас приготовил? — спросил Джефф у Харви.

— Мы переделали эпизод, в котором Мейс бежит из тюрьмы на Аларе. В местной версии он выкалывает охраннику глаз сосулькой. А в этой — выжигает сигаретой. У алариан всего по одному глазу, так что созерцание красот родной природы охраннику больше не светит.

— Не уверен, что выжигание глаз производимым нами продуктом... Да нет, уверен — это не то, что нам нужно.

Харви повернулся к продюсерам.

— Мне было сказано, что сигареты должны стать органичной частью фильма. Чего ж вам еще органичнее? Мейс с помощью сигареты обретает свободу. По-моему, очень сильный образ.

— Возможно, — сказал Джефф, — но Нику он не по душе.

— Ладно, — сказал Волтан, — глаз побоку.

Харви пожал плечами.

— Кстати, — спросил Ник, — как вы объясняете, что кислород в их корабле не взрывается каждый раз, когда они закуривают?

— Так ведь двадцать шестой век, — сказал Волтан. — К тому времени чего-нибудь да придумают.

— Можно вскользь упомянуть, что они примешивают к кислороду фреон, — сказал Харви.

— Неплохо, — сказал Джек. — А язык у них от фреона заплетаться не будет?

— Как у педиков, — сказал Волтан.

— Нет, — сказал Джерри, — те все больше по гелию ударяют.

Капитан настиг Ника в Белом ките по дороге в аэропорт. Голос у него был слабый, к тому же в трубке все время трещало.

— Я звоню с моей рыбачьей посудины, — Капитан закашлялся. — Уехал на несколько дней на озеро над Ревущим ущельем. Решил подышать свежим воздухом и доказать этим идиотам-докторам, что у меня нет со здоровьем никаких проблем, которые не могла бы разрешить консультация у *знающего* врача. Я начинаю подозревать, что все они получили свои дипломы в Гренаде. Им, видишь ли, угодно вскрыть меня и вшить еще одно свинячье сердце. А в нем только то и хорошо, что донора ждать не приходится. Выходишь на заднее крыльцо с топором — и готово. Хо-па, клюет! Сейчас перезвоню.

Телефон зазвонил несколько минут спустя, как раз когда Махмуд сворачивал с бульвара Сенчури в сторону аэропорта.

— Вот зараза, обмотала лесу о корягу. Похоже, фунтов на шесть тянула. Да, так вот, сынок, БР сказал мне, что ФБР, э-э, роет под тебя, задает разные вопросы. Ты бы не мог слегка просветить меня на этот счет?

Тон, которым это было произнесено, насторожил Ника. Он рассказал Капитану все, опустив лишь историю с печеньями.

— Ха! — хмыкнул Капитан. — Скорее всего, они просто удят рыбку в мутной воде, совсем как я сейчас. Но мне это не нравится. Мало нам Финистера, так еще эта история.

Пауза.

— Ты рассказал все, о чем мне следует знать, а?

— Что вы имеете в виду?

— Да ничего, просто голос у БР был какой-то странный.

— А что, собственно, он вам сказал?

— Похоже, он считает, что нам следует нанять тебе адвоката. Такая еврейская фамилия. Ну, того, что вытянул парня, у которого клиенты светились в темноте. Да, Карлински.

— Я не вполне понимаю, зачем нанимать для меня адвоката по уголовным делам.

— Ты, главное, не паникуй. Стресс — штука опасная. Рыбу ловить любишь?

— Ловлю иногда.

— Если тебе нужен отпуск, бери его прямо сейчас.

— Отпуск? Когда на нас столько всего навалилось?

— Знаешь, что сказал Уинстон Черчилль? Он сказал: времени, удобного для отпуска, не бывает, так что самое верное — уходить, когда хочется.

Ник сидел в первом классе, скрежеща зубами и чувствуя, как шейные мышцы стягиваются в тугие узлы. Он позвонил Дженнет. И у нее голос звучал как-то странно. Точь-в-точь как у прежней Дженнет, той, что не выказывала никакого желания провести с ним всю ночь и заставить его стонать.

— В шесть я приземляюсь в «Даллесе», — сказал Ник. — Ты не могла бы меня встретить? Нам нужно поговорить.

— Знаешь, я страшно занята, — сказала она. — О чем ты хочешь поговорить?

— БР рассказал Капитану о моей ситуации, ну, ты понимаешь, об этой парочке, которая меня навещает...

— ФБР?

На тебе. Половина радиолюбителей Америки радостно навострила уши.

— Я знаю лишь одно: БР рассказал обо мне Капитану, а Капитан только что предложил мне уйти в отпуск.

— Хорошо бы он *мне* это предложил.

— Не в том дело. Ты, случаем, не знаешь, что наговорил ему БР?

— Нет.

— Может, встретимся попозже?

— Нет.

Послышался щелчок, и записанный на пленку голос уведомил Ника, что, если он хочет произвести еще один дорогостоящий вызов с высоты в тридцать пять тысяч футов, достаточно нажать кнопку 2.

Он позвонил БР. Ответа пришлось ждать восемь минут.

— Да, Ник? — и у этого тон изменился. Что они там, в Академии, фреона все надышались?

— Меня интересует, что ты сказал Капитану. Он предложил мне нанять адвоката и уйти в отпуск.

БР откашлялся.

— Я счел себя обязанным посвятить его в эту историю с ФБР.

— Понятно. Что-нибудь еще ты ему рассказал?

— Только то, что я знаю.

— А что ты знаешь?

— Что ФБР проявляет к тебе горячий интерес. По правде сказать, я уже нанял для тебя Стива Карлински...

— О господи!

— Слушай, Ник, они сегодня опять приходили. В Академии начались разговоры. Я считаю, что в такой ситуации нам не помешают советы хорошего адвоката.

— Чего они на сей раз хотели?

— Ник, я не уверен, что имею право обсуждать это с тобой.

— Как это?

— Для твоей же безопасности. И, если честно, я обязан также думать о добром имени Академии.

Ник нажал кнопку вызова стюардессы.

— Вы умеете смешивать водку «Негрони»?

— Разумеется, нет! — радостно отрапортовала она.

— Чего я решительно не понимаю, — сказал на следующее утро Стив Карлински (Ник сидел в его кабинете, по стенам которого висело множество фотографий, изображающих Стива в обществе разного рода знаменитостей), — так это почему вы прождали столько времени, прежде чем обратиться ко мне.

Карлински был высок, сухопар, в близко посаженных глазах его, казалось, навек застыло изумление. Все в нем было серо, за вычетом яркого, небрежно завязанного шел-

кового галстука, какой в его мире почитается, наверное, атрибутом беспутного гуляки. Говорили, что единственной его страстью, если не считать почасовой оплаты, были вина, которые он, впрочем, не пил, а коллекционировал.

— В отношении адвокатов люди совершают ту же ошибку, — продолжал Карлински, — что и в отношении докторов. Тянут до последнего. А тем временем опухоль...

— Я к вам вообще не обращался, — сказал Ник. — И при чем тут опухоль?

— Простите. Я был бестактен. При вашей работе вы наверняка слышите об опухолях куда больше, чем вам хотелось бы. Итак, расскажите мне все. Чем больше я буду знать, тем больше от меня будет проку.

Это походило на сеанс психотерапии, только подороже, 450 долларов в час. Психоаналитиком Карлински оказался первоклассным. Сам он не произнес ни единого слова. И лишь когда Ник закончил, сказал:

— Хоть я ни за что не позволил бы вам впустить к себе агентов ФБР без ордера на обыск, я, в определенном смысле, рад, что вы так поступили. Теперь, когда придет время, мы сможем использовать это против них.

— Какое еще время? — спросил Ник.

— Черные дни. Хотите закурить? Сам я никогда не курил, но, честно говоря, считаю, что в последнее время антитабачное лобби слишком много себе позволяет.

— После того случая я курить не могу, — сказал Ник.

— И это мы тоже сумеем использовать. С учетом ваших служебных обязанностей, это равносильно утрате трудоспособности. Так, а теперь возвращайтесь на работу и, если к вам снова нагрянут агенты ФБР, сделайте милость, тут же позвоните мне. Я тем временем тоже позвоню в два-три места и попытаюсь кое-что выяснить.

Ну что же, неплохо, думал Ник, шагая к Академии, отделенной от офиса Карлински тремя кварталами. Вполне порядочный, разумный человек.

Едва он вошел в свой кабинет, как туда же влетела Гэзел, держа в руках листок с телефонным номером.

— Хизер Холлуэй, «Мун», СРОЧНО!!!

— Хизер? Ник.

— Ник, у тебя есть время? Хорошо, насколько я понимаю, ты нанял Стива Карлински? Алло?

— Я слушаю.

— Мне нужен твой комментарий. Ник?

— Я слушаю, слушаю.

— По-твоему, это комментарий?

Думай, думай.

— Почему ты так решила?

Здорово придумал...

—Ты провел в его офисе целый час.

Ах он сукин сын!

— Да, — сказал Ник, поняв, что отвертеться ему не удастся, — провел, но мы обсуждали вопросы, связанные с АТИ, говорить о которых я с тобой не вправе.

Он услышал, как пальцы Хизер — которым могло бы найтись и лучшее применение — защелкали по клавишам, записывая его слова.

— То есть о расследовании, которое ведет ФБР? — спросила Хизер.

— Ты имеешь в виду столь бездарно затянувшееся следствие по делу о моем похищении и пытках?

Щелк-щелк-щелк-щелк.

— То есть ты отрицаешь, что Стива Карлински наняли, чтобы он представлял тебя в деле о твоем недавнем исчезновении и появлении на Эспланаде обклеенным никотиновыми пластырями?

— Браво, очень умело составленный вопрос.

— Ну брось, Ник, это же я.

— Я полагаю, за всем этим стоит Ортолан Финистер.

— Что?

— Честно говоря, — голосом уставшего от жизни человека произнес Ник, — я не думал, что он падет так низко.

— Господи боже, о чем ты?

— О том, что он использует ФБР для сведения личных счетов, одновременно пытаясь отвлечь внимание общества от подлинной проблемы, каковой является вермонтский сыр. Я нахожу все это очень печальным. Печальным для Вермонта, печальным для Сената США, печальным для всех приверженцев истины.

Ник разглядывал «доктора Лаки», гадая, каким боком выйдет ему только что запущенная утка, когда появился Свен с набросками нового предупредительного ярлыка. Хоть от дурных мыслей отвлек, и на том спасибо.

— Задача нам была поставлена сложная, — сказал Свен, расстегивая молнию бордово-черной замшевой папки, — но такие нам по душе. С тобой все в порядке? Ты какой-то бледный.

— Все нормально. Ну, так что ты принес?

— Давай начнем с самого начала, — Свен извлек на свет увеличенное фото пачки «Смертельных». — Концепция, как ты правильно сказал, блестящая. И дальновидная. Сомневаюсь, что изготовителям «Смертельных» серьезно угрожает законопроект Финистера. Ну ладно. Мы попробовали два разных подхода, приняв во внимание содержащиеся в законопроекте требования к размерам ярлыка, его расположению на пачке и так далее и тому подобное. Чтобы не путаться, мы присвоили им имена. Первый называется «Зеленым Роджером».

Свен вытащил пачку «Мальборо», на узкой стороне которой красовался светло-зеленый череп с костями.

— Наши специалисты по ПТЦ...

— По чему?

— По психологической теории цвета. Это нынче далеко не последние люди. Так вот, известно, что зеленый цвет успокаивает, — знаешь, лужайки, деньги, мята, карточные столы...

— Хирургические халаты, нагноения...

— Цвет черепа в законопроекте не оговаривается, так что с юридической точки зрения тут все в порядке. Мы быстренько прокатали «Зеленого Роджера» на выборочной группе потребителей, результаты получились вполне приемлемые. Только сорок процентов сказали: «Я ни при каких обстоятельствах не стал бы курить сигареты из такой пачки».

— Сорок процентов, — вздохнул Ник.

— Шестьдесят остается за нами. Что ты об этом думаешь?

— Думаю, что это похоже на зеленый череп с костями.

— Ладно, тогда следующий, — сказал Свен. — Называется «Желаем приятной смерти». Мы взяли за основу физиономию с плаката «Желаем приятного дня», увеличили глаза, добавили зубы, челюсть очертили порезче, а кости представили как бы руками, сложенными на груди.

— Господи Иисусе! Кошмар! Волосы дыбом.

— Вот и выборочная группа говорит то же самое, в один голос. Крайне отрицательная реакция. А теперь, внимание... *вот!*

Ну и что, подумал Ник. Череп как череп, только улыбается. И все же, чем дольше Ник вглядывался в него, тем более располагающим он казался. Почти... почти дружелюбным.

— Кто у нас, — спросил Свен, — самый приятный человек на свете?

— Я таких вообще не встречал, — ответил Ник.

— Тогда познакомься со своим новым другом — «Соседом госпожи Смерти».

Ник снова пригляделся к черепу. «ЧТО ЗА ЧУДНЫЙ ДЕНЕК В ОКРУГЕ, СКОЛЬКО РАДОСТИ У СОСЕДА, НО КОГДА ЖЕ ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ?»

— Так это *он*?

— Во плоти. Вернее, без плоти. Компьютер точно показывает, как выглядит череп любого человека. Собственно говоря, эту программу разработали для судебных антропологов, пытающихся определить, чьи это кости обнаружились в твоем подвале, а мы лишь запустили ее задом наперед.

— Здорово!

— Программа называется «КИРОЙ». «Йорик» наоборот, помнишь, череп в «Гамлете»?

— Помню-помню.

— Ему только джемпера не хватает. Не осталось мёста. Выборочной группе он понравился. Даже некурящим захотелось купить такую пачку. Я оттащил его домой, испытал на моих ребятишках. Так они в него просто влюбились.

— Да-а, — сказал Ник. — Надо будет показать эту штуку моему сыну.

24

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ,
СТАВШИЙ ОСНОВНЫМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ
В ПРОВОДИМОМ ФБР СЛЕДСТВИИ,
НАНИМАЕТ АДВОКАТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Ник Нейлор обвиняет сенатора Финистера
в организации федерального расследования

Хизер Холлуэй;
корреспондент «Мун»

— По-моему, — сказала Полли понижая голос, что стало уже привычным на ленчах «Отряда ТС», — твоя стратегия по отношению к Хизер Холлуэй оказалась не очень удачной.

— Я думал, — ответил Ник, помешивая пальцем уже вторую за сегодня водку «Негрони», — что, если внушить ей, будто я сам себя похитил, она притормозит публикацию статьи о том, что ФБР занимается мною. И в конце концов завязнет, пытаясь найти доказательства, что это моих рук дело, поскольку я тут решительно ни при чем. Понимаете?

— Любовь молодых вашингтонцев, — фыркнул Бобби Джей. — Какая прелесть!

— Для чудака во Христе ты слишком циничен, Бобби, — сказала Полли.

— Это должно было сработать, — заверил их Ник, — потому что я себя *не* похищал.

— Ч-ш-ш, — шикнула Полли и сжала его руку.

— Почему мне все время кажется, — спросил Ник, — будто я проповедую перед неверующими?

— Мы тебе верим, — сказала Полли с некоторой, впрочем, натугой.

— А потом этот козел Карлински якобы ненароком сообщил ей, что представляет мои интересы, ну и — вот, полюбуйтесь, — Ник шлепнул ладонью по газете.

— Почему ты считаешь, что это сделал Карлински?

— Потому что он уверяет, будто тут ни при чем. Ты бы поверила адвокату, который добился оправдательного приговора для человека, продававшего радиоактивные отходы под видом средства для снятия с мебели старого лака? И не для него одного — Карлински ухитрился еще отмазать главу профсоюза водителей грузовиков и того немца, которого поймали на перепродаже подводной лодки Ираку.

— Понятно.

— Я навел о нем справки. Он не пьет, не курит, не путается с женщинами, и с мужчинами тоже. У него одна страсть — самореклама. Известно вам, что всякий раз, как его цитируют в прессе, он выставляет счет мистеру «Садись-и-светись»?

— Да что ты?

— После того как он появился в «Вечерней строкой», его клиент получил счет за получасовую работу, 225 долларов. Плюс оплата лимузина, на котором Карлински прикатил в студию. И это при том, что он в тот раз ни словом о мистере «Садись-и-светись» не обмолвился. Они там дискутировали на тему «Не слишком ли много у нас адвокатов?».

— Ну что ж, — сказала Полли, — на твоем деле он заработает немалые деньги. Сдается мне, пресса будет частенько тебя поминать.

— По крайности, он толковый адвокат, — сказал Бобби Джей. — И, вероятно, сможет тебя вытащить.

— Мне пока не предъявили никаких обвинений, Бобби.

— Я имел в виду — если предъявят.

— Мы тебе верим, — повторила, снова сжав его руку, Полли.

— Ты не могла бы говорить со мной не столь утешительным тоном? Крыша у меня еще не поехала.

Ник сокрушенно вгляделся в заголовок «Мун». Первая полоса, хорошо хоть не вверху.

— Она все же процитировала мои слова насчет того, что это Финистер натравил на меня ФБР, — сказал он.

Полли зачитала вслух:

— «Лесли Дэч, помощник сенатора Финистера, отверг заявление мистера Нейлора, как «сравнимое по нечистоплотности со слизистым подбрюшьем угря», добавив при этом, что «одиозные инсинуации подобного рода становятся все более типичными для табачного лобби, предпринимающего все более отчаянные попытки вцепиться мертвой хваткой как в легкие, так и в бумажники простых американцев». Я бы сказала, что она отвела Финистеру и компании столько же места, сколько тебе.

— Говорил я, что эта бабенка принесет тебе одни неприятности, — напомнил Бобби.

— Спасибо, Бобби, — сказал Ник. — Вот именно сейчас мне это очень поможет. Теперь я смогу продержаться, пока ты не доставишь мне данные, с таким усердием собираемые тобой на стрельбище ФБР.

— От того, что ты нарежешься до изумления, тоже пользы большой не будет.

— Мальчики, мальчики! — сказала Полли.

— Раз уж я не способен курить, так хоть пить буду, — сказал Ник. — Это единственный известный мне способ избегнуть «кароси».

— Избегнуть чего?

— Так японцы называют смерть от переутомления. Обычный конец их бизнесменов. Эта публика работает по двадцать три часа в сутки, и вот, в один прекрасный день идет себе такой человек часиков в десять вечера по Гиндзе, возвращаясь в свой офис после делового обеда, и вдруг — хлоп! — падает на тротуар и умирает. Только что он был менеджером среднего звена, а миг спустя уже валяется на асфальте лапками кверху, точно дохлый майский жук.

Затренькал сотовый телефон Ника. Звонила Гэзел, и говорила она шепотом:

— Ник, опять фэбээровцы. Они едут к тебе.

— Это каким же образом?

— Ник, мне пришлось сказать им, где ты.

— Почему? Тебя лупили резиновыми дубинками? А, черт! Ладно, свяжись с Карлински. Хотя нет, я сам с ним свяжусь.

— А как быть с сегодняшними дебатами?

— С какими дебатами?

— «Здоровое сердце — 2000».

— Позвони Дженнет. Нет, лучше Тайлеру. И скажи ему, что придется отвечать на множество вопросов, связанных со статьей о тромбозе, неделю назад напечатанной в ЖАМА[1]. *О тромбозе*. Эрхард кое-что нарыл на этот счет. Материалы лежат у меня на столе.

---

[1] «Журнал американской медицинской ассоциации».

Ник отключил телефон и в один глоток прикончил свою водку «Негрони».

— Ну-с, не угодно ли вам познакомиться с агентами ФБР?

Агенты Монмани и Олман появились через несколько минут — спешили, стало быть, что не особенно обнадеживало. За ними следовал одетый по всей форме вашингтонский полицейский, что обнадеживало еще меньше. Троица телохранительниц Ника, мгновенно оценив ситуацию, предпочла не связываться с людьми, носящими оружие на куда более законных, чем у них, основаниях.

— Мистер Нейлор, — с обычным его шармом сказал агент Монмани, — будьте любезны встать и отойти к камину.

— С чего бы это? — поинтересовался Ник.

— Эй, погодите минутку, — встряла Полли.

— Мэм! — грозно рявкнул полицейский. Отчаянной храбрости мужик, женщин и тех не боится, особенно миниатюрных.

Так, а это что? Зачем Монмани положил руку на свой револьвер?

— Давайте, мистер Нейлор, встаньте, держите руки так, чтобы я их видел, и отойдите к камину.

Секунду спустя Ник стоял у камина, растопырив руки и глядя вниз, на поддельное пламя, а агент Монмани обыскивал его. Затем на его руках защелкнулись наручники. Как сквозь туман, до него донеслось слово «арестованы» и хорошо знакомая фраза насчет того, что он имеет право хранить молчание и т. д.

— Я хотел бы увидеть какие-нибудь документы, — сказал Бобби Джей.

— Сэр! — грянул полицейский.

— Да-да, вы не ослышались.

— Встаньте, сэр!

Вот уже и Бобби Джей стоит, растопыря руки — вернее, крюки, только обыскивает его не агент ФБР, а полицейский.

— Что это? — полицейский обнаружил близ правой лодыжки Бобби нечто интересное. Припухлость. Шум-гам, полицейский вытаскивает револьвер и не без мелодраматичности, как показалось Нику, наставляет его на Бобби Джея.

— А... — говорит Бобби Джей, — Это... знаете, я и забыл, что он при мне. Я, видите ли, живу в Виргинии и вообще-то не собирался сегодня в Вашингтон, ну вот и...

— Вы арестованы за тайное ношение заряженного пистолета.

— Да бросьте, в этом нет необходимости. Я старший вице-президент Общества по распространению огнестрельного оружия.

— Вы имеете право хранить молчание...

Полицейский тупо пытается защелкнуть наручник на крюке Бобби Джея.

Когда Ника с Бобби повели, Полли, выглядевшая так, словно она упадет сейчас в обморок, сказала им вслед:

— Я... я заплачу... по счету.

ФБР АРЕСТОВЫВАЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ,
ПРЕДЪЯВИВ ЕМУ ОБВИНЕНИЕ В ЗАГОВОРЕ С ЦЕЛЬЮ ПОХИЩЕНИЯ

В одном из виргинских коттеджей обнаружены коробки никотиновых пластырей с отпечатками пальцев Ника Нейлора

Вместе с ним арестован за незаконное ношение пистолета оружейный лоббист

Хизер Холлуэй,
корреспондент «Мун»

— Чего я решительно не понимаю, — сказал Стив Карлински, — так это почему вы раньше не сказали мне об этих упаковках.

Принесенные Полли 10 миллиграммов валиума позволили Нику взирать на мир с несколько большим спокойствием. Вообще-то он предпочел бы пару стопок водки «Негрони» или даже печеньице с гашишем, но воздержался от соответствующих просьб — как-никак было всего лишь десять утра. Последние восемнадцать часов выдались до крайности неприятными. От пальцев Ника все еще несло какой-то дрянью, выданной ему, чтобы смыть мастику, используемую для снятия отпечатков, да и весь он казался себе затхлым и липким, несмотря даже на чистое белье, рубашку и носки, которые принесла все та же Полли, милая Полли. Всю ночь она просновала между зданием ФБР, куда отвезли Ника агенты Монмани и Олман, и городской тюрьмой, где пришлось заночевать Бобби Джею, успевшему обзавестись там уймой новых друзей, многие из которых разделяли его взгляды на закон о контроле над оружием. Единственным утешением Нику служила надежда, что личные качества людей, сидящих в федеральной кутузке, быть может, несколько выше тех, коими обладают завсегдатаи муниципальной тюрьмы. Пока ему официально предъявляли обвинение, Полли успела рассказать, что Бобби Джею пришлось всадить свой крюк в чувствительную часть тела одного из его сокамерников, вознамерившегося поинтимничать с ним в уборной. Теперь к обвинению в ношении пистолета грозило прибавиться обвинение в нападении с использованием смертоносного оружия; впрочем, адвокат Бобби не терял оптимизма. Что касается Ника, Карлински убедил судью, что, сколь ни серьезны предъявленные ему обвинения — заговор с целью совершения уголовно наказуемого мошенничества, дача ложных показаний федеральным служащим плюс еще кое-какие мелочи, о которых Карлински сказал, что их просто-напросто «навалили, чтобы добро не пропадало», — вряд ли можно ожидать, что Ник удерет на своем «БМВ» в Канаду. В итоге Ника освободили под залог в 100 000 долларов, который лежащий в больнице Капитан приказал БР внести. И вот теперь Ник, пытаясь совладать со своими растрепанными чувствами, маялся в кабинете человека, от которого зависело, сядет ли он на срок от десяти до пятнадцати лет или останется на свободе.

— Не сказал что?

И без того близко посаженные глаза Карлински съехались так, что Нику показалось, будто они сию минуту сольются в один большой глаз — такой же, как у тюремного стража на планете Алар.

— Ник, как я смогу помочь вам, если вы мне не помогаете?

— Стив, я не знаю, как мои отпечатки оказались на тех упаковках.

Карлински задумчиво свел перед собой кончики пальцев.

— Давайте еще раз пройдемся по фактам.

— Опять?

— Они обнаружили десять усеянных вашими отпечатками упаковок никотиновых пластырей в каком-то сдаваемом внаем коттедже в Виргинии. Коттедж был снят по телефону неизвестным лицом. У них имеется регистрационная запись двух звонков туда, сделанных из вашего кабинета. Второй приходится на утро того дня, когда вас похитили. Имеется также найденный в вашей квартире клочок бумаги с телефоном коттеджа. Ладно, эту улику любой практикант из моей конторы в два счета отведет как полученную в результате незаконного обыска, а позвонить из вашего кабинета мог кто угодно — придется, правда, доказать, что вас там в то время не было. Но вот упаковки... Упаковки все осложняют. Отпечатки — улика серьезная, очень серьезная. Я предпочел бы скорее опровергать совпадение анализов ДНК, чем отпечатки пальцев. Знаете почему?

Карлински принадлежал к разновидности людей, дожидающихся, когда вы переспросите: «Почему?»

— Потому что рядовой присяжный округа Колумбия ничего в ДНК не понимает. А когда начинаешь читать ему лекцию о ДНК, ощущает себя школьником, только что завалившим экзамен по биологии. Только говорить нужно медленно, с нарочитой старательностью подбирая слова, чтобы присяжные почувствовали себя окончательными кретинами. Они проникаются ненавистью к тебе и в то же время ощущают свою некомпетен-

тность, а это уже хорошо. Но вот отпечатки пальцев — понять, что тут к чему, способен и последний дурак. С ними все проще, чем с ДНК или, скажем, с такими замечательными штуками, как кровь, моча либо сперма.

— Вы хотите сказать, что вам было бы легче, если б они нашли упаковки никотиновых пластырей, заляпанные моей кровью или спер...

— Ник, что с вами? Постойте, мы же еще не кончили. Куда вы?

— Срочное дело. Мне нужно кое-кого убить.

Ник вылетел из глядящего на Фэррагат-сквер Хилл-билдинг и понесся по И-стрит к Академии в состоянии, которое встречные пешеходы безошибочно опознавали как неудержимую ярость. Единственное, чего он никак не мог для себя решить, это каким способом ему лучше прикончить Дженнет. Первое побуждение состояло в том, чтобы выволочь ее за волосы на свой балкон и спустить с десятого этажа прямиком в фонтан. Потом в голову полезли другие способы убийства, не столь театральные, но не менее действенные. Впрочем, строгий научный факт — нимало не родственный тем, которыми манипулировал Эрхард, — гласил, что в минуты, подобные этой, Ник терял четверть своей способности к трезвому мышлению, и потому, когда первый порыв гнева утих, на смену фантазиям насчет того, как он станет, стискивая руками прелестную шейку Дженнет, вслушиваться в ее предсмертную икоту, пришли другие картины: люди в белом выносили его из Академии и отвозили за реку, в больницу Св. Елизаветы, где Джон Хинкли[1], новый его корешок по камере со стегаными стенами, час за часом и день за днем, не закрывая рта, поносил бездарную игру Джоди Фостер в «Молчании ягнят».

25

На сей раз шедшего по Академии Ника не встречали криками «ура!», как воротившегося с победой героя. Чувство неловкости охватило его. Встречные говорили: «А... Ник» и проходили мимо. Один только Гомес О'Нил, с которым Ник столкнулся у кофейного автомата, поздоровался с ним дружелюбно.

— Как ты, Ник?

— Замечательно, — ответил Ник, домалывая коренные зубы.

Гомес положил ему руку на плечо.

— Держись.

Со стаканчиком кофе в руке Ник сквозь поток людей, торопливо отводивших глаза, направился к кабинету БР.

— А... Ник... — сказала секретарша БР. — Он занят. У него Дженнет.

Последняя информация явно избыточна, подумал Ник. Он протиснулся в дверь кабинета, смутно надеясь, что застанет БР и Дженнет лупцующими друг дружку хлыстами, но нет, они всего-навсего просматривали документы.

— С добрым утром, — поздоровался Ник.

БР и Дженнет удивленно уставились на него.

— С тобой все в порядке? — спросил БР.

— Все прекрасно. Оказывается, если не спать всю ночь, доказывая фэбээровцам свою невиновность, к утру получаешь отличный заряд энергии.

— Ты нас не оставишь? — сказал БР, обращаясь к Дженнет.

— Не надо, зачем? — сказал Ник. — Уж от кого мне нечего скрывать, так это от Дженнет.

БР откинулся на спинку своего черного кожаного кресла.

— Ну, и что нам, по-твоему, делать дальше?

— Ты о чем?

— О положении, в котором ты оказался.

— А, об этом. Так ты же сам говорил, что лучше Стива Карлински нам никого не найти. Потому ты и платишь ему четыреста пятьдесят в час.

---

[1] Человек, совершивший в марте 1981 г. покушение на президента Рональда Рейгана. Состоявшийся в 1982 г. суд признал его невменяемым.

— Я имел в виду ближайшие наши шаги. Полагаю, тебе не нужно рассказывать, что пишут о нас в газетах. Я, хочешь не хочешь, а вынужден думать о добром имени нашей организации. Дженнет считает, что самое разумное в такой ситуации — это уйти в отпуск.

— Если Дженнет хочется в отпуск, я возражений не имею.

— Я, собственно, о *твоем* отпуске говорил.

— Слишком много дел. Финистер, «Сосед Веселого Роджера», проект «Голливуд». Надо готовиться к решительной схватке, — Ник улыбнулся. — Новые пуритане не дремлют.

— Я не уверен, что в данной ситуации это разумно. Ты стал чем-то вроде...

— Обузы?

— Во всяком случае, проблемы, — БР взял со стола несколько утренних газет. — Твоя мисс Холлуэй, похоже, спит и видит Пулицеровскую премию. К тому же у нее хорошие источники.

— Не такие хорошие, как у ФБР. Вот у кого источники так источники.

— Нам непрерывно звонят по этому поводу. Очень, очень сердитые люди.

— Да, я представляю, какая каша у них в голове.

— За одно только нынешнее утро в кабинет Дженнет поступило сто восемьдесят семь звонков.

— В кабинет Дженнет?

— Не можем же мы переводить касающиеся тебя звонки в *твой* кабинет.

— Нет-нет. Естественно. Что ж, Дженнет вполне способна с этим справиться. По правде сказать, я что ни день все больше убеждаюсь в ее разносторонности. И все-таки я не уверен, что уход в отпуск — это хорошая мысль.

— Почему же?

— Да потому, — Ник улыбнулся, — что он будет свидетельствовать о вашей уверенности в моей вине. Каковой вы, разумеется, не испытываете. Так?

БР с Дженнет переглянулись.

— Вы же не верите, будто я облепил себя никотиновыми пластырями, чтобы пару сотен раз блевануть и насладиться несколькими сердечными приступами, а после оставил пустые упаковки от пластырей валяться по всему коттеджу, дабы ФБР знало, где их искать, когда ему подскажут? Да еще и позвонил в этот коттедж из собственного кабинета именно в то утро, когда сам себя похитил? Да еще и оставил бумажку с телефоном коттеджа валяться в моей квартире? Кто бы поверил, что умник вроде меня окажется таким РАСПРОДОЛБАННЫМ ИДИОТОМ?!

Дженнет испугано дернулась.

— Извини, — сказал Ник. — Не знаю, что на меня нашло. Как бы там ни было, я верю — мои коллеги, мои фронтовые друзья, братья и сестры по оружию, никогда не поверят, что я способен на подобную глупость. А потому, — весело закончил он, — будем сражаться и доведем дело до Верховного суда.

— Да, но имеется ли у нас стратегия защиты? — спросил БР.

— Это уж будь уверен. Мы отыщем людей, которые искупали меня в дерьме.

— У тебя есть какие-нибудь идеи на этот счет?

— Ну, — задумчиво сказал Ник, — скорее всего, это люди, которые меня терпеть не могут. Правда, в моем случае к таковым можно отнести четыре пятых населения США. Двести миллионов человек. Некоторый перебор подозреваемых, не так ли? Все они обрадуются, если меня лет на десять-пятнадцать отдадут истинным арийцам на предмет любовных утех.

— Не думаю, что дело зайдет так далеко, — сказал БР. — Мы наверняка сумеем добиться, чтобы тебя поместили в какое-нибудь место с режимом минимальной строгости.

— О, — сказал Ник, — я бы на это рассчитывать не стал. Карлински говорит, что таких обозленных представителей обвинения он еще не видал. Для них я — гнусный мерзавец, выдумавший дешевый фокус, чтобы разрекламировать себя, а заодно и рак легких. По его словам, они жаждут крови, — Ник улыбнулся. — Моей.

— Ладно, — сказал БР, придвигаясь к столу и всем своим видом давая понять, что ему прискучил этот веселенький треп о том, как Ник проведет ближайшие десять лет за

решеткой, насилуемый оравой украшенных нататуированными свастиками мужиков. — Карлински — лучший из адвокатов, да и мы целиком на твоей стороне. И все же я думаю, что в нынешних обстоятельствах тебе лучше уйти в отпуск.

— Почему бы не посоветоваться с Капитаном?

— Я бы не стал его сейчас беспокоить. Вся эта история здорово подшибла старика. Он не очень хорошо себя чувствует.

— Не очень? — переспросил Ник.

— Нет, — с отдаленнейшим подобием улыбки подтвердил БР. — Боюсь, что не очень.

Едва закрыв за собой дверь кабинета БР, Ник помчался в свой собственный и обнаружил, что вход в него перекрыт желтой лентой с надписью: «Место преступления». За лентой бродило несколько спецов из ФБР в комбинезонах с грозным уведомлением «ФБР. Группа обследования места преступления» на спине. Спецы были в резиновых перчатках и, похоже, обшаривали каждый квадратный дюйм кабинета, постепенно превращая его в подобие комнаты, которую Ник когда-то давно занимал в университетском общежитии. Бог их знает, что они надеялись отыскать — может быть, текстовой файл, начинающийся словами: «План моего похищения. Что нужно привезти в коттедж: 10 упаковок никотиновых пластырей, веревку, наручники...»

— Это действительно необходимо? — спросил Ник у одного из спецов, но тот лишь взглянул на него, как на пустое место.

Ник отвел Гэзел в сторонку.

— Добудь мне билет на следующий рейс до Уинстон-Сейлема.

— Они же сказали, что тебе нельзя покидать город. Это условие твоего освобождения под залог.

— *Гэзел!*

— Ты хочешь обратить меня в сообщницу?

— Ну ладно, ладно. Узнай хотя бы, когда ближайший рейс. Это бремя твоя совесть осилит? Билет я возьму сам.

Он спустился лифтом на И-стрит. У панели притулилось такси, водитель, ближневосточного вида мужчина в короткой черной бородке, стоя у лотка уличного торговца, уплетал пирожок с мясом. Ник помахал ему и забрался на заднее сиденье.

— Аэропорт «Нэшнл». И поскорее.

Последнего он мог бы и не говорить, поскольку все недавно натурализовавшиеся таксисты Вашингтона умеют ездить только на двух скоростях — опасной и смертельно опасной.

Ник глянул в заднее окно и увидел коричневатый «седан» с двумя крепко сколоченными типами в темных очках. Федералы. Перед мысленным взором его мелькнул заголовок:

НЕЙЛОР, НАРУШИВШИЙ УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОД ЗАЛОГ, СНОВА СИДИТ В ТЮРЬМЕ

Водительская лицензия, прилепленная к щитку, сообщала, что водителя зовут Акмаль Ибрагим.

— Мистер Ибрагим, — спросил Ник, — у вас какие-нибудь неприятности с ФБР?

— С чего вы взяли?

— За вами следят. Вон тот коричневый «седан». В нем сидят агенты ФБР. Я видел, как они наблюдали за вами, когда вы стояли у бордюра.

Акмаль нервно глянул в зеркальце заднего вида.

— Я с ФБР никаких дел не имею.

— Похоже, они с вами имеют.

— После взрыва в Центре международной торговли[1] ФБР считает, что все мусульмане плохие. А это неправда. У меня семья в Рестоне.

---

[1] Деловой и административный центр, расположенный в двух небоскребах Манхэттена. В 1993 г. исламские фундаменталисты взорвали в его подземном гараже мощную бомбу, отчего погибли шесть человек и около тысячи получили ранения.

— Понимаю, — сказал Ник. — Ужасно, когда людей преследуют за их религиозные убеждения. Хотел бы я знать, что им от вас нужно.

— Мне беспокоиться не о чем.

— Попробуйте резко свернуть, не посигналив. Посмотрим, поедут они за вами или нет.

Акмаль, выбрав момент, круто поворотил на Виргиния авеню. «Седан» метнулся следом, едва не врезавшись в машину, принадлежащую, судя по номеру, Госдепартаменту.

— Поехали! — испуганно воскликнул Акмаль.

— М-да. Знаете, я еще видел, как один из них, пока вы ели, что-то засунул вам в багажник.

— *Как?!*

— Может, это всего лишь подслушивающее устройство, а может, и что похуже, к примеру взрывчатка. Которая позволит арестовать вас как террориста. Я вообще-то журналист, работаю в «Сан». До нас дошли слухи, что ФБР планирует большую облаву на мусульман. Им нужны заложники, чтобы торговаться с Саддамом Хусейном — если мы вдруг надумаем с ним воевать.

— Но у меня же вид на жительство!

— А, ну тогда желаю удачи.

— ФБР то и дело арестовывает не тех, кого надо. Вон в Нью-Йорке похватали людей, будто это они подложили ту бомбу, а они и не подкладывали ничего. Это все израильская тайная полиция старается, чтобы настроить американцев против мусульман.

— Да, я знаю. Ужасно. Я как раз пишу об этом большую статью. Но когда они остановят вас, Акмаль, и найдут то, что сами же подсунули, вам несдобровать. Точно так же они взяли шейха Омара, помните? И сидеть ему теперь в тюрьме аж до двадцать второго столетия.

— Шейх Омар — святой человек.

— Может, они посадят вас с ним. Глядишь, еще и подружитесь.

Ускорение вдавило Ника в спинку сиденья, заставив его усомниться в разумности содеянного. Следующие несколько минут он слышал лишь рев клаксонов да визг покрышек. Когда он открыл глаза и оглянулся, их отделяло от «седана» уже ярдов пятьдесят. Даже состоящим на государственной службе специально обученным водителям трудненько тягаться с рядовым уроженцем Ближнего Востока.

К моменту, когда они оказались на арлингтонском конце Мемориал-бридж, Акмаль отыграл у федералов еще с десяток ярдов. Затем он без предупреждения произвел чистейший бутлегерский разворот и влез во встречный поток машин, сердито взревевших клаксонами и тормозами. Ника снова вдавило в сиденье.

— Ушли! — торжествующе воскликнул Акмаль.

Опасливо глянув сквозь заднее стекло, Ник увидел фэбээровский «седан», пытающийся набрать скорость на кольцевой развязке у кладбища. Но теперь Акмаль оторвался от него уже на пару сотен ярдов. Совершив, в нарушение всех правил, несколько захватывающих дух поворотов — на юг к Рок-крик и Индепендент авеню, — Акмаль еще разок крутанул машину на 180 градусов. Снова к Рок-крик, направо к Виргиния авеню, налево к 66-й автостраде, мимо мемориала Иводзима, налево на 50-ю и на юг, по магистрали Джорджа Вашингтона. У аэропорта Ник дал Акмалю пятьдесят долларов чаевых, покивал, соглашаясь с тем, что Аллах действительно велик, и вылетел в Шарлотт, а оттуда в Уинстон-Сейлем. До медицинского центра Боумана—Грея он добрался, когда время, отведенное для посещения кардиологического отделения, уже истекло. Пришлось, не вполне убедительно изображая южный акцент, уверить старшую сестру, что он Доук Бойкин III и что ему позарез нужно повидаться с любимым дедушкой.

— Вы его внук? — с некоторым сомнением спросила старшая сестра.

— Да-а, — сказал Ник голосом Мотылька Маккуина[1].

---

[1] Стив Маккуин (1930—1980) — американский актер, игравший «антигероев» в вестернах и приключенческих фильмах, в частности в фильме «Мотылек» (1973).

Сестра вгляделась в его лицо.

— Я вас где-то видела.

Еще бы не видеть — физиономия Ника то и дело красовалась на первой полосе «Тар-интеллидженсер».

— Говорят, я похож на него как две капли воды. Так что́, можно мне его повидать? А то я очень волнуюсь.

— Хорошо, — сказала она. — Но только на десять минут. Он очень слаб.

— Он поправится?

— О, ему просто нравится нас пугать. Поправится. Если будет хорошо себя вести.

Кардиологическое отделение было здесь первоклассное. Табачные деньги — еще один пример того, как табак и прогресс рука об руку идут в будущее. Капитан лежал, подключенный ко множеству самых разных приборов, экраны которых отбрасывали в полутьме холодноватый свет на его лицо, показавшееся Нику бледным и осунувшимся. Ник немного постоял у койки.

— Капитан?

Глаза старика приоткрылись, поморгали.

— Я вам уже говорил, — произнес он, — хватит с меня поросят. Мне нужны *человеческие* органы, черт бы вас побрал.

— Капитан. Это я, Ник.

Старик поднял на него взгляд.

— А, сынок. Присаживайся. Кислороду хочешь глотнуть?

— Я приехал, чтобы все объяснить. Насчет ареста.

— Да, — сказал Капитан и закашлялся. — Объяснения не помешают. БР позвонил мне среди ночи, сказал, что ты в кутузке.

— Спасибо за залог.

— Ничего, не разоримся. Разве что этот еврейский адвокат, которого вы наняли, подсобит. Четыреста пятьдесят в час...

— Возможно, это покажется странным, — сказал Ник, — но, по-моему, произошло следующее...

И, набрав побольше воздуху в грудь, Ник выложил все, что знал: БР хотел уволить его, заменить своей обжималкой, Дженнет, однако выступление Ника в шоу Опры сделало его любимчиком Капитана, отчего БР только озверел. Угроза, прозвучавшая в шоу Лэрри Кинга, вероятно, навела БР на мысль убить сразу двух зайцев: устранить Ника и, обратив его в мученика, пробудить сочувствие к табачникам. Работая в торговле автоматами, БР имел дело с мафией, видимо, у него сохранились связи, позволившие ему найти профессиональных убийц. Однако, судя по плакатику «Казнен за преступления против человечности», похитители лопухнулись, выбросив Ника на Эспланаду еще живым. Тогда БР и Дженнет надумали взвалить вину за похищение на него. Дженнет влезла к нему в постель, получила отпечатки его пальцев на упаковках «презервативов» и вместе с другими компрометирующими уликами подбросила их в виргинский коттедж. Нику, опозоренному, предстояло сесть в тюрьму, подтвердив подозрения БР и сделав из него едва ли не героя. А расхлебывать все это пришлось бы табачной индустрии...

Ник умолк. Капитан, все это время насупившись глядевший на него, тяжело вздохнул и сказал:

— Напоминает рассказы людей, которые в тот день в Далласе насчитали на Травяном холме целых пять человек с винтовками.

— Я знаю, — сказал Ник, — скорее всего, и у суда сложится такое же впечатление.

— С другой стороны, — сказал Капитан, приподнимаясь в постели, — как ни нелепо звучит твой рассказ, кое-какие его подробности определенно отзываются у меня болью в печени.

Он вздохнул:

— БР уже через неделю после похищения говорил мне, что ему кажется, будто там не обошлось без твоего участия.

— Вот как? — откликнулся Ник.

— А от моего человека у вас я знаю, что он и эта блондиночка, Джемель...

— Дженнет.

— ...перепихиваются в рабочее время. Все это укладывается в твою теорию заговора. БР ничего не стоит съесть человека заживо. Знаешь, он хотел во всеуслышание объявить, что твой дружок Лорн Латч принял от нас деньги.

— Зачем?

— Чтобы Лорн выглядел публичной девкой и чтобы не было никакого ранчо «Канцерозо». При этом БР вообще не хотел давать ему ни цента. Был у нас один разговор, когда он сказал: «Есть и другие способы угомонить людей вроде него». Интересно, что он имел в виду? Знаешь, когда я его взял из Ассоциации торговли автоматами, мы были по уши в исках о возмещении убытков, и я сказал, что буду платить ему наградные за каждый из них, какой удастся не довести до суда. Так вот, три самых крупных до суда не дошли, потому что, ну, ты помнишь, истцы померли из-за курения в постели. И БР заставил меня заплатить за каждый из этих несчастных случаев. Сказал, что уговор есть уговор. Обошлось мне это недешево, хоть и много дешевле, чем проигрыш в суде.

— Капитан, — сказал Ник, — по-моему, тут очень и очень нечисто.

— Ну, ты же не думаешь, что он... да нет. Вот в том, что его зависть брала из-за моего к тебе отношения, я не сомневаюсь. Но хотя ребята из торговли автоматами и вправду вынуждены отираться среди очень серьезных личностей, я все же не думаю... Боже милостивый, неужто такое возможно?

Голова Капитана утонула в подушке. Он прикрыл ладонью глаза.

— Надо будет попросить моего человека заняться этим.

— Вашего человека? Кто он?

— Нет, *этого* я тебе не скажу — пока.

Капитан снял ладонь с глаз.

— Так вот, Ник, если чудеса, о которых ты мне рассказал, окажутся правдой, чем это обернется для табачной индустрии, тебе, наверное, можно не объяснять.

— В общем, нет, но...

— Конечно, сейчас главное не это. Если предположить, что с тобой действительно обошлись так гнусно, мы должны будем возместить тебе ущерб. Но позволь, я тебе нарисую картинку — гипотетическую. Предположим, только предположим, мы установили, что ты прав, в чем я почти не сомневаюсь, предположим, что я прогнал эту несчастную сволочь, БР, вместе с его цыпочкой Джемель — прогнал, не подымая шума, но так, что он будет рыдать от счастья, если сумеет получить работу продавца лотерейных билетов где-нибудь на Гуаме. И предположим, что ты признал себя виновным по предъявленным тебе обвинениям.

— Виновным?

— Не горячись. Виновным, но со смягчающими вину обстоятельствами. То есть виновным в грехе молодости и опрометчивости, присущем многим из тех, кто работает в Вашингтоне. Черт возьми, ты уже приобрел репутацию опрометчивого человека, когда объявил, что президент подавился и помер. За четыреста пятьдесят в час Карлински вполне способен добиться для тебя недолгой отсидки в какой-нибудь тюрьме для избранных, где заключенные бунтуют, только когда их coq au vin[1] передерживают в духовке, а вино им подносят недостаточно охлажденное...

— Но...

— Нет, ты послушай дальше. Мы тихо-мирно открываем для тебя на Каймановых островах небольшой банковский счет, скажем... миллионов на пять. Хотя, какого черта, на десять. Даже с учетом инфляции и налогов десять миллионов, сынок, — это деньги немалые. Тебе не придется работать до конца твоих дней. Ты же любишь рыбачить, так? Ну вот, купишь где-нибудь небольшой островок и лови себе рыбку, а смуглые женщины, отродясь не носившие никакой одежды, будут потчевать тебя манго. По-моему, звучит неплохо, а? А захочешь поработать на нас, пожалуйста, я поставлю тебя во главе нашего

---

[1] Тетерев в вине (*франц.*).

Гонконгского представительства. Станешь заправлять всем табачным бизнесом на Дальнем Востоке. Будущее-то все равно за ним. Азиатов там пруд пруди, работа спокойная...

Ник задумался.

— Что касается изгнания БР и Дженнет, мне понравилось. А вот остальное — не уверен.

— Послушай, давай двигаться не торопясь. Начнем с БР, а там посмотрим, может, тебе и придется по сердцу мысль пораньше уйти на покой.

— Я...

— Ты сейчас не в той форме, чтобы принять правильное решение. Тебя заездили. Посмотреть на тебя, так ты уже целую неделю не спал. Круги вон темные под глазами. Ты хороший табачник, Ник. — Голос Капитана звучал все тише.

— Хорошо, — сказал Ник. — Не торопясь так не торопясь.

— Ну вот, я знал, что ты человек разумный. Понял это, как только увидел тебя тогда, в клубе. Помнишь? Как бы мне хотелось сейчас хлебнуть их джулепа.

Вошла, храня на лице суровое выражение, старшая сестра.

— Мы еще поговорим, — сказал Ник. — А сейчас вам надо отдохнуть.

— Если в следующий раз я буду хрюкать, — сказал Капитан, — знай, они меня снова надули.

Ник повернулся к двери. И услышал, как Капитан сказал ему в спину:

— Табак сам о себе заботится.

26

На следующее утро, когда Ник, насвистывая «C'est fumée, c'est fumée!», приводил в порядок свой кабинет после учиненного ФБР погрома, Гэзел просунула голову в дверь и уже привычным параноидальным шепотом сообщила: «ФБР!»

— Введите, — сказал Ник.

Разумеется, это были агенты Монмани и Олман. Оба, похоже, явно полагали, что теперь, когда они приперли Ника к стене, можно обойтись без обычных учтивых приветствий.

— Вы вчера уезжали из города? — пролаял Монмани.

— Как можно? — не прерывая уборки, ответил Ник. — Чтобы я да нарушил условия освобождения под залог.

— Вы сели в машину прямо у этого здания. Водитель явно старался оторваться от слежки, нарушал правила движения. За что и был задержан. И допрошен.

— Так вы, значит, снова взялись за мусульман?

Агент Монмани стиснул кулаки.

— Он показал, что вы уверили его, будто мы что-то подсунули к нему в багажник.

— Ну, вы, наверное, заметили, что у него нелады с английским. Видимо, он неправильно меня понял. Я лишь спросил, засовывали ли когда-нибудь в багажник его самого.

— А вы нынче веселы, Ник, — сказал агент Олман.

— Что да, то да, — ухмыльнулся Ник, — знаете, как-то вдруг отлегло от души.

— Вы купили билет до Уинстон-Сейлема в Северной Каролине.

— Неужто?

— Хотите добавить к списку обвинений лжесвидетельство? Вы воспользовались дорожным чеком. У нас есть квитанция. А в Уинстон-Сейлеме вы остановились в мотеле «Восьмерка». Вот квитанция.

— А, вон оно что!

— Что?

— Да я вчера бумажник где-то посеял. Видимо, некто воспользовался моей кредитной карточкой, чтобы слетать в Уинстон-Сейлем. Странный, должен сказать, выбор. Я бы поехал в какое-нибудь место повеселее. Я только сегодня обнаружил пропажу и сразу же позвонил в стол находок, — Ник улыбнулся. — Можете проверить.

— Ловко, Ник. Кстати, все, что вы нам рассказали, непременно будет использовано против вас.

— Так я, что же, опять арестован?

— Нет, — сказал агент Монмани. — Пока нет.

— Знаете, — сказал Ник, — я понимаю, какие чувства вы ко мне питаете. Но хотите верьте, хотите нет, я себя не похищал. Вам еще предстоит убедиться в этом. И когда вы в этом убедитесь, давайте выпьем все вместе и скажем: ну и херней же мы занимались!

Агенты скептически уставились на него.

— Вы, похоже, ждете хороших вестей?

— О да, — согласился Ник. — Очень.

— Они как-то связаны с вашей поездкой в Уинстон-Сейлем?

— Разве я что-нибудь о ней говорил?

— Ладно, пошли отсюда, — сказал агент Олман.

— Послушайте, — сказал Ник, — отпустили бы вы Акмаля. Не его вина, что он так перетрухал. Уж больно круто вы, братцы, обходитесь с бедными мусульманами.

— Пошли, — сказал агент Монмани.

— Спасибочки, что заглянули, — сказал Ник.

— Сволочь, — откликнулся, выходя, агент Монмани.

Визит «неприкасаемых» вкупе с решением не принимать предложенную Капитаном плату за молчание привел к тому, что настроение Ника стало подниматься как на дрожжах. Он уже не мог заставить себя дождаться, когда Капитан сделает следующий ход. Он направился к кабинету БР и, не обращая внимания на протесты секретарши, распахнул дверь. БР совещался с Дженнет.

— Ага, — сказал Ник, — усилия объединяете. Для этого мы все здесь и собрались, верно?

БР нахмурился.

— Что тебе нужно, Ник? Тебя вообще здесь быть не должно.

— Да я тут вроде как работаю.

— Ты в отпуске. С сегодняшнего дня.

— О нет, — Ник улыбнулся. — Не думаю. Вот тебе, сдается, предстоит скоро уйти в отпуск, и надолго. Как и твоей Мата Хари. Не забудь прихватить резиновые перчатки, Дженнет.

— Ты ничего не сможешь дока...

БР шикнул на нее и жестами показал, что Ник, возможно, записывает их разговор. Проделано все было так сноровисто, что Нику осталось лишь гадать, в который по счету раз БР прибегает к этой пантомиме.

Ник погрозил Дженнет пальцем.

— «О-о-ох, Ник, о-о-ох! Вот, возьми, это презервативы. Самого большого размера...» То-то будет смеху в зале суда. А ты, мой чудесный, заботливый босс, ты не мог бы мне кое-что объяснить? Никак не пойму, почему нанятые тобой похитители оставили меня в живых? Может, просто напортачили? Я прав?

БР молча смотрел на него.

— И потому тебе с твоей пожирательницей мужчин пришлось разработать план «Презервативы в упаковках от пластырей»? Задумано было неплохо.

— Ник, — исполненным терпения тоном произнес БР, — ты столько всего пережил. Мне кажется, тебе следует обратиться к врачу.

— Да, — согласился Ник, — я много чего пережил. И все из-за вас, СУКИ ВЫ ПОДЗАБОРНЫЕ!!!

БР и Дженнет испуганно дернулись.

— Прошу прощения, — сказал Ник, — Это у меня от переживаний. Ну ладно, до встречи в тюрьме.

Захлопывая за собой дверь, Ник испытывал еще больший душевный подъем. У себя в кабинете он увидел Гэзел, с пришибленным видом сидевшую за столом.

— Не горюй, — сказал Ник. — Наша берет.

— Ты еще не слышал?

— Что именно?

— Капитан умер сегодня утром.

— Чего я решительно не понимаю, — сказал Карлински, — так это почему вы мне раньше этого не рассказали.

— Раньше я этого не знал. И не могли бы вы не прибегать больше к этому обороту? Очень действует на нервы.

— Стало быть, вы считаете, что похищение организовал БР. Успехом оно не увенчалось. Тогда они с Дженнет подставили вас, раздобыв ваши отпечатки на коробочках, которые вы приняли в темноте за упаковки презервативов, между тем как в действительности это были упаковки от никотиновых пластырей.

— Именно так.

— Но доказательств у вас нет.

— Нет, — сказал Ник, — я не записываю на видео то, что происходит в моей спальне.

— И в ночь перед смертью мистера Бойкина вы поделились с ним своими соображениями.

— Да. Он собирался уволить БР и Дженнет, а после...

— Прошу вас, ничего не утаивайте. Это вам лишь повредит.

— Но он же умер. Какой смысл говорить теперь, что он собирался сделать?

— Смысл есть во всем.

— Он попросил меня подумать о том, чтобы принять вину на себя и тем самым избавить индустрию от позора. Предложил очень щедрую компенсацию. Я решил не делать этого, драться до конца. Но тут он умер.

— Ваш разговор записывался?

— Нет.

— Очень жаль. В качестве доказательства суд этой записи, конечно, не принял бы, но мы могли б передать ее прессе. Поднялся бы шум, сильно затрудняющий подбор присяжных. В итоге мы получили бы тех, что поглупее. Вы, наверное, уже поняли, что я предпочитаю глупых присяжных. Чем глупее, тем лучше. Так, теперь относительно предположения мистера Бойкина о причастности БР к кончинам людей, судившихся с табачной индустрией. Вот это уже попахивает большими неприятностями.

— Правильно.

— С другой стороны, доказательств опять-таки никаких.

— Значит, нам придется расследовать обстоятельства их смерти, — сказал Ник. — Дадим информацию прессе, начнем шарить по кустам, рыться в каждом дупле. Что-нибудь да обнаружится. Весело будет.

Ник возбужденно потер руки.

— Возможно. Но прежде чем тыкать обвиняющим перстом в больших людей, необходимо продумать возможные последствия. Это очень рискованная стратегия. Потому что, если мы ничего не найдем, а просто будем плясать на могилах, крича о заговорах, в которые Оливер Стоун и тот не поверит, мы кончим тем, что до смерти обозлим всех и вся, и особенно судью, и вы получите срок даже больше максимального. Когда дойдет до вынесения приговора, судья может решить, что вам следует отсиживать по каждому пункту обвинения отдельно, а не одновременно по всем. Кроме того, он может отправить вас в тюрьму особо строгого режима. Не уверен, что вам в ней понравится. Но, разумеется, решение за вами. Лично я люблю хорошую грызню в зале суда. Однако на кону стоит, так сказать, ваша задница, а не моя.

Ник еще размышлял о сказанном, явственно слыша, как за ним захлопываются, одна за другой, стальные двери, когда из динамика донесся голос секретарши Стива Карлински.

— Звонит мистер Рорабачер из Академии табачных исследований. Говорит, очень срочно. Я сказала, что вы заняты с клиентом.

— Пожалуй, стоит послушать, — сказал Нику Карлински и снял трубку.

— Да. Да. Да, здесь. Понимаю. Он уже знает? Понятно, — Карлински взглянул на

Ника и приподнял дугою брови. — Да. Все? Ну, в общем, да. Справимся. Разумеется. У нас крупная фирма. Понятно. Я переговорю с партнерами и в конце дня дам вам ответ.

Карлински положил трубку. Откашлялся.

— Боюсь, ситуация несколько усложнилась. Мне сообщили, что вы больше не работаете в Академии табачных исследований.

Обычное дело в Вашингтоне — о том, что тебя уволили, ты узнаешь со стороны. Как правило, из новостей Си-эн-эн или от репортера, который звонит в надежде услышать подтверждение, что, пока тебя носило в химчистку, на дверях твоего кабинета поменяли замки. Ник не удивился, тем более что он уже получил от БР выдержанный в ледяных тонах меморандум, извещавший о нежелательности его присутствия на похоронах Капитана.

— Да и черт с ним. Мы его еще прижмем.

Карлински выпятил губы и собрал чело в складки.

— Это может оказаться весьма затруднительным.

— Я знаю, вы стоите дорого. Но я уверен, мы сумеем что-нибудь придумать. Будете, пока я жив, получать часть моих заработков.

— Дело не в этом. Дело в столкновении интересов.

— Это каких же?

— Я не вправе защищать одного клиента, действуя во вред другому.

— Да какому «другому»?

— Наша фирма только что получила предложение стать юрисконсультом Академии табачных исследований.

— «Только что» означает «минуту назад»?

— Да. Такой клиент, как Академия, позволил бы значительно расширить нашу практику. Одни иски курильщиков чего стоят. Хотя зачем мне вам-то об этом рассказывать?

— Да уж, — сказал Ник, — мне рассказывать не надо.

— Если бы решение зависело только от меня, это было бы одно дело. Но я скован фидуциарными обязательствами и должен сообщить об этом предложении моим партнерам. Впрочем, как знать? Может быть, они ответят отказом.

— Чего я решительно не понимаю, — сказал Ник, — так это почему вы не сказали мне раньше, что вы такое говно?

— Я думал, вы в курсе, — ответил Карлински.

Ник вышел из лифта в приемную Академии. Его поджидал Карлтон.

— Ники, — покраснев, сказал Карлтон, — можно тебя на два слова?

— Конечно, — ответил Ник. — Давай поговорим в моем кабинете.

— Я... я, собственно, об этом и хотел, — промямлил, почему-то шепотом, Карлтон. — БР сказал... а, черт! Ники, я чувствую себя последним дерьмом...

— Мне кажется, Карлтон, в последние дни мы все себя именно так и чувствуем.

— Точно. Хочешь, я привезу твои вещи прямо к тебе на квартиру — или?..

— Это будет неплохо. Могу я попрощаться с сотрудниками? Или у нас теперь сталинский режим и мне надлежит сгинуть бесследно?

Карлтон покраснел еще гуще.

— Моя бы воля...

Мимо них, цокая каблучками, прошествовала Дженнет, чрезвычайно элегантная в новом замшевом костюме.

— Ник! — она улыбнулась. — Уже уходишь?

И перевела взгляд на Карлтона:

— Я же тебе сказала, мне нужны бюджетные показатели, и поскорее.

Дженнет развернулась и удалилась в сторону кабинета БР.

— Наш новый исполнительный вице-президент, — сказал Карлтон. — Вот же гребаный геморрой, а?

ТАБАЧНОЕ ЛОББИ ИЗГОНЯЕТ НИКА НЕЙЛОРА

Рорабачер заявил, что он «шокирован» доказательствами, предъявленными ФБР

Хизер Холлуэй,
корреспондент «Мун»

«Торговцы смертью» встречались теперь не у Берта, а в темном углу расположенного в виргинском пригороде ресторанчика «Сербский князь». Они решили, что так будет безопаснее — число желающих посещать сербские рестораны в последнее время изрядно подсократилось. По правде сказать, тут было так пусто, что оставалось только гадать, каким образом ресторан все еще ухитряется держаться на плаву. Бобби Джей заявил, что он наверняка является крышей сербских торговцев оружием. Как бы там ни было, для «Торговцев смертью» это было самое подходящее место, и по двум причинам. Во-первых, журналисты вряд ли стали бы искать их здесь. Во-вторых, то же самое можно было сказать и о мусульманах. ФБР, желая отомстить Нику за его бегство в такси, похоже, убедило Акмаля, что Ник не кто иной, как агент-провокатор, работающий на израильтян, и сообщило ему телефон и адрес Ника, девичью фамилию его матери, в общем, все. Теперь та небольшая часть магнитной ленты автоответчика Ника, какая оставалась незанятой звонками репортеров, заполнялась оскорблениями и угрозами неведомых личностей, говоривших с разнообразными ближневосточными акцентами.

— Они аннулировали мою медицинскую страховку, — сказал Ник в чашку черного кофе. — Известно ли вам, как трудно получить медицинскую страховку человеку, последним местом работы которого была Академия табачных исследований?

— На что тебе медицинская страховка, если ты будешь сидеть в федеральной тюрьме? — спросила Полли. Полли, тоже скрывавшаяся от репортеров, ходила теперь в элегантном платье, темных очках и платочке. Этакая помесь Жаклин О. с Россией-матушкой. В ресторане было темно, и Полли, очков так и не снявшая, то и дело сшибала что-нибудь со стола.

— Действительно, — сказал, помешивая крюком кофе, Бобби Джей. — В тюрьмах свои врачи. Естественно, очень опытные, все до одного из медицинских школ «Лиги плюща»[1].

— А другой темы для разговора у нас не найдется? — хмуро поинтересовался Ник.

— Ну брось, я уверена, до этого не дойдет, — сказала Полли, погладив его по руке.

— Вот и все остальные говорят примерно то же. Мне-де может еще повезти, и я проведу ближайшие десять лет на переделанной под тюрьму военной базе в пустыне. Очень утешительная мысль.

— Все лучше, чем «Лортон», — всхрапнул Бобби Джей.

«Лортоном» называлась тюрьма в Виргинии, в которую из округа Колумбия сплавляли излишки закоренелых рецидивистов. Репутация у нее была весьма скверная — особенно туго приходилось там белым.

— Да никто тебя в «Лортон» не пошлет, — сказал Ник, раздраженный попыткой Бобби сравняться с ним. — Ты ветеран Вьетнама, инвалид, это твой первый срок. Получишь шесть месяцев условно. Так что, ради бога, не надо пересказывать мне своими словами «Балладу Редингской тюрьмы».

— Да? А почему же мои адвокаты твердят, что у обвинения руки чешутся упрятать меня за решетку? Во-первых, я белый, во-вторых, работаю на самое ненавидимое лобби Америки...

— Ах, неужели? Оружейное лобби — самое ненавидимое в Америке? Мне что же, каждый день напоминать тебе, что я несу личную ответственность за гибель более полумиллиона людей в год, между тем как на твоей совести от силы тридцать тысяч...

— О господи, — вздохнула Полли.

---

[1] Общее название самых престижных университетов и колледжей США. В духе английской традиции, стены их увиты плющом.

— Простите, — сказал Ник. — Я нынче не в своей тарелке.

— Странно, с чего бы это? — откликнулась Полли.

— Завтра похороны Капитана. Мне совершенно ясно дали понять, что мое присутствие на них нежелательно. И угадайте, кто будет произносить надгробное слово? — Ник покачал головой. — БР.

Ощущая, как под накладным носом и фальшивой бородой скапливается пот, Ник думал о том, что Капитан правильно поступил, завещав похоронить себя в Ревущем ущелье. Все-таки здесь не такая адская жара, как в Уинстон-Сейлеме. В битком набитой баптистской церкви было не продохнуть. Резиновый нос Ника грозил в любую минуту отвалиться. Сидевшая рядом с ним тощая старуха уже начала странно на него поглядывать.

В задних рядах теснились репортеры, кое-кто даже из национальной прессы. Кончина Капитана в самый разгар связанного с похищением скандала истолковывалась как «конец эпохи». «ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ, ТАБАК?»

БР только что взгромоздился на кафедру.

— Доук Бойкин, — начал он, — вошел в мир табака как гигант. Да он и был гигантом. Он был человеком, готовым отдать ближнему последнюю рубаху. Он был, если говорить правду, солью земли.

Боже ты мой, кто состряпал для него эти помои? (Дженнет.) Мало того что последние годы Капитана были омрачены клеветой, мало того что в сердце ему вшили кусок свинины, так еще и над прахом его словоблудствует Иуда, питающий сердечное пристрастие к штампам. Капитан, пусть он и был массовым убийцей, все же заслуживал лучшего.

— Он был человеком, верившим в Конституцию Соединенных Штатов, особенно в ту ее часть, где говорится о неотъемлемом праве людей на стремление к счастью.

Вообще-то, об этом говорится в Декларации независимости, ну да ладно...

— Я думаю, все, кто собрался здесь, согласятся со мною, что в наши дни требуется немалая отвага, чтобы противостоять политической корректности и ханжеству, противостоять тем, кто норовит уничтожить совершенно законный продукт, производимый Америкой.

Молодец, и себя похвалил, даже не без ловкости. Одобрительный гомон.

— И Капитан обладал этой отвагой в высшей степени. Я знаю также — многие из вас согласятся с тем, что недавние события, разыгравшиеся на нашем с вами заднем дворе, глубоко опечалили бы Капитана. Если и есть нечто, способное послужить нам утешением перед лицом его безвременной кончины, так это то, что ему не придется сносить огнепращи и стрелы злой судьбы, обрушенные на наш с вами дом его запутавшимся, чрезмерно честолюбивым и, возможно, душевнобольным протеже.

На передних скамьях восседал табачный истеблишмент в полном составе, главы Большой Шестерки, ставшие теперь, когда БР завершил свое восхождение из мира торговых автоматов, равными ему по положению. Вот он и норовит отгородиться от Ника высоким забором, изобразив его сотворенным Капитаном чудищем на манер Франкенштейна.

— Ч-ш-ш! Ч-ш-ш!

Старуха, сидевшая рядом, прошипела:

— Вы не могли бы не бормотать? И что происходит с вашим носом?

Капитан был кремирован — отважный выбор, думал Ник, особенно для табачника: пресса еще повеселится на этот счет. Пепел его предстояло развеять над озером, с которого он так часто звонил Нику по сотовому, тратя на эти звонки немалые тыщи.

На берегу озера собралась изрядная толпа, но Нику, благодаря его росту, все было видно и из задних рядов. Семья Капитана стояла на деревянном причале: жена, Мэйлин, и семь дочерей — Энди, Томми, Бобби, Крис, Донни, Скотти и Дейв, все в шляпах, все с кружевными платочками у глаз. Пепел Капитана помещался в большой серебряной шкатулке, изображавшей сигаретную пачку, — хороший штрих.

Священник, коренастый, розоволицый мужчина в широком одеянии, зачитал то, что, по уверению программки, являлось любимым местом Капитана в Ветхом Завете.

— И пошел Нахар в город, где жил Гант, человек нечестивый, рассекший камнем язык Рехава, брата Нахарова. И сказал ему: «Ты есть язва гнойная», и ударил кремнем о скалу, и высек пламя, коим поджег он край одеяния Гантова, и загорелся Гант, и побежал, спеша прочь из той земли, ибо он *был* охвачен огнем. И сказал Нахар брату своему, Рехаву: «Ныне узрел ты, что дым и огонь это *хорошо*, ибо и у них есть свое назначение». И Рехав ответил: «Истинно так».

— Аминь, — подтвердила толпа.

— Теперь же, — продолжал священник, — мы предадим пепел глубинам...

Стоявший рядом с Ником мужчина сказал, обращаясь к жене:

— Здесь и глубины-то всего фута четыре.

— Тихо ты, — сказала жена.

— ...в коих будет лежать он в надежде на воскрешение вечное...

Пока священник говорил, сигаретная шкатулка с пеплом Капитана переходила из рук одной его дочери в руки другой. Каждая, зачерпнув чайную ложку папиного праха, опрокидывала ее над озером и передавала следующей по порядку. Все это выглядело очень трогательно.

Чья-то рука цепко взяла Ника за бицепс. Он обернулся и увидел помощника шерифа, молодого, мясистого, с выглядывающей из кобуры рукояткой здоровенного полуавтоматического пистолета. За спиной его маячила, тыча в Ника пальцем, все та же тощая старуха.

— Вы Ник Нейлор?

— Э-э...

— Сэр, мы получили из ФБР просьбу задержать вас. Будьте добры, пройдите со мной. — И он потянул Ника за руку.

Вот я и влип, подумал Ник. «ОПАЛЬНЫЙ ПРОТЕЖЕ АРЕСТОВАН НА ПОХОРОНАХ СВОЕГО БЛАГОДЕТЕЛЯ. К СПИСКУ ОБВИНЕНИЙ ДОБАВЛЕНО НОВОЕ: НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОД ЗАЛОГ».

Он тащился за полицейским, предвкушая ставший привычным стальной щелчок наручников на запястьях.

Внезапно рядом возник еще один человек.

— Офицер, — произнес он начальственным тоном и помахал бляхой. — Я из управления ФБР в Роли. Хорошая работа, помощник. Дальше я его повезу.

Помощник шерифа разулыбался и выпустил руку Ника, передав его в лапы Гомеса О'Нила.

Гомес произвел все положенные в таких случаях манипуляции, вплоть до надевания наручников, чего, по мнению Ника, на глазах у всех скорбящих можно было и не делать. Он даже положил Нику ладонь на затылок, когда заталкивал его на заднее сиденье машины, совсем как настоящий коп.

— Я так и думал, что ты выкинешь глупость и появишься на похоронах, — сказал Гомес, — вот и прихватил с собой бляху из моей коллекции. Чего это ради ты вторично нарушил правила освобождения под залог?

— Да вот, понимаешь, полюбил я Северную Каролину. Наручники-то, может, снимешь? Ты слишком туго их затянул. Кровь не проходит.

— Это я еще подумаю, снимать их или оставить.

Странный все-таки у Гомеса юмор.

Около часа они, почти не переговариваясь, ехали в направлении, противоположном Роли, затем поворотили на проселки и в конце концов остановились у придорожной забегаловки под названием «Лужа». Меню здесь исчерпывалось жареной зубаткой и чаем со льдом. Зубатку подавали на обрывке газеты, а чай — в стеклянных банках с притертой крышкой.

— Капитан говорил мне, что у него есть в Академии свой человек, — сказал Ник. — Я так и думал, что это ты.

— Наш новый *председатель*, — последнее слово Гомес, вытиравший о газету жирные пальцы, произнес с отвращением, — похоже, тоже успел додуматься до этого. А может. и с самого начала знал. Потому, вероятно, у нас с ним и испортились отношения.

— Я виделся с Капитаном в его последний вечер.

— Знаю. Он позвонил мне утром, в 11.45. А умер в 12.05. Я еще сказал ему, что голос у него больной, — Гомес отхлебнул чаю и погремел льдом в банке. — Он просил присмотреть за тобой, если что случится. Вот оно и случилось.

Ник склонился к нему над газетой.

— Он ничего не говорил тебе о БР и скончавшихся истцах?

Гомес отвел взгляд к окну.

— А тут неплохо, — взгляд вернулся к лицу Ника. — Ты мне нравишься, малыш. У тебя есть сердце. Но если ты когда-нибудь, кому-нибудь — адвокату, прокурору, судье, твоим приятелям «Торговцам смертью», даже сыну — скажешь, что услышал об этом от меня, тогда уже у нас с тобой испортятся отношения, что бы я там ни пообещал Капитану. Так что́, будем петь по одним нотам?

— Договорились, — сказал Ник.

— Ладно, тогда давай посмотрим, что у нас есть. После того как умерла, задохнувшись в дыму, миссис Каппозалло, третья, если помнишь, из упокоившихся раковых больных, которые с нами судились, мне начало казаться, что все эти смерти скроены на один манер. И я провел частное расследование. Не спрашивай, как и с чьей помощью. Важно одно: БР, как я выяснил, воспользовался своими связями времен автоматической торговли и сколотил небольшую ударную группу.

— Группу?

— Этакий отряд целевого назначения, занимавшийся нашими истцами.

— Что-то вроде эскадрона смерти?

— Капитан, видишь ли, пообещал ему награду, четверть миллиона, за каждое дело, которое не дойдет до суда. Разумеется, он не думал, что БР станет убивать этих людей. Он просто давал ему финансовый стимул, чтобы БР как следует насел на адвокатов, работавших по делам, о которых вся табачная индустрия уже слышать спокойно не могла. Так вот, БР, получивший воспитание в мире торговых автоматов — а там о маркизе Куинсберри[1] и слыхом не слыхивали, — решил управиться с истцами на свой манер. Никто даже ахнуть не успел, как они начали один за другим загибаться от удушья, засыпая и роняя сигареты в постель, — Гомес пожал плечами. — Надо отдать ему должное. Во всем этом есть своего рода высшая справедливость. Да и работы всего ничего. Пробрался в спальню, бросил на подушку зажженную сигарету, и дело с концом.

— Мы сможем это доказать?

— А чего тут доказывать? Истцы мертвы. Капитан мертв. БР на седьмом небе от счастья. А ты — мелкая служивая сошка, которую ждут от десяти до пятнадцати лет за дурацкий рекламный трюк. Кто тебе поверит? — Гомес хмыкнул. — Ты же тот самый малый, который объявил на весь мир, будто наш президент умер.

— Спасибо, что напомнил. Я уж было начал об этом забывать.

— Пошевели извилинами, малыш. Люди, которые все это провернули, никуда не делись, они по-прежнему тут, рядом. И дело свое знают. Конечно, с тобой они малость промазали, но с тремя истцами у них все прошло как по маслу. Если ты пойдешь в ФБР и расскажешь эту историю, произойдут две вещи. Сначала фэбээровцы надорвут бока от хохота. А потом ты окочуришься во сне от удушья.

— Так что же мы в итоге имеем?

— Я в порядке. Ты — по уши в дерьме.

— Звучит обнадеживающе.

— Да уж, — хмыкнул Гомес. — Кое-что я все-таки могу тебе дать. Имя и адрес. Я знаю, оба они изменили внешность, когда тебя похищали, но одного ты признаешь. В свободное от убийств время он играет.

---

[1] Джон Солто Дуглас Куинсберри (1844—1900) — британский аристократ, разработавший в 1867 г. правила проведения боксерских поединков.

— На бегах?

— В театре. Актер. Думаю, не из лучших, иначе не стал бы зарабатывать на жизнь убийствами. Любительские постановки, водевильчики и прочая хрень в этом роде.

— Питер Лорри, — сказал Ник.

— Он самый.

— Так меня похитил, пытал и едва не убил паршивый актеришка?

— Паршивый актер, но хороший убийца. До того как прикончить трех истцов, он... ладно, это тебе знать не обязательно. Но запомни, что я тебе сейчас скажу. Когда займешься им, действуй поаккуратнее.

— Займусь? Чем это я займусь?

— Тебе решать, — Гомес выпрямился, выковыривая из зубов застрявший кусочек рыбы.

— Я же всего-навсего мелкая служивая сошка. Что я могу, по-твоему, сделать — вызвать его к Донахью на дебаты о том, как нехорошо быть наемным убийцей? «В следующем нашем шоу вы увидите убийцу и человека, который ушел от него живым», так, что ли?

— Нет, не так, — загадочно улыбаясь, ответил Гомес. — Насколько я тебя знаю, ты способен придумать что-нибудь поумнее.

Он пододвинул к Нику листок бумаги с отпечатанными именем и адресом.

— Запомнить сможешь?

— Да.

— Тогда запоминай, — Гомес взял листок и, держа его над банкой, поджег. Пепел осыпался на остатки льда. — Это тебе пригодится. «Команда Б».

— «Команда Б»? Группа советников президента по вопросам разведки?

Гомес кивнул.

— Соображаешь. То-то мне все мерещилось нечто знакомое. БР, скорее всего, оттуда название и позаимствовал.

— Но что это за «Команда Б»?

— Кодовое имя того самого небольшого отряда для выполнения специальных заданий. Однако есть и «Команда А», о ней тоже забывать не след.

— А это кто?

— Пораскинь умом, малыш.

— Перестань ты называть меня малышом. Я не Лорен Баколл, а ты не Хэмфри Богарт.

— «Команда А» это, понятное дело, БР.

Ник пораскинул умом.

— И все равно, я не понимаю, что мне делать.

— В твоем положении, Ник, ты непременно что-нибудь да придумаешь. Необходимость — затраханная мать изобретательности.

Уже в машине, на пути в аэропорт, большей частью проведенном в молчании, Ник спросил:

— Почему ты решил помочь мне?

Гомес помолчал, подумал.

— Я мог бы сказать, что помогаю тебе в память о Капитане. Но поскольку ты мне по душе, я не стану пудрить тебе мозги. Мне нравится моя работа в Академии. Я верю в полезность сигарет. По-моему, нас расплодилось слишком много. Планете невредно передохнуть, ты понимаешь, о чем я? Я рад, что мы завоевываем азиатский рынок. Я много времени провел в Азии — Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Китай — и должен тебе сказать, мысль о том, что мы малость проредим эти орды, не мешает мне спать спокойно. Хотя кухня у них неплохая. Кухня мне всегда нравилась.

— То есть ты как бы борешься с *демографическим взрывом*?

— Точно, хотя, если честно... Мне и работа нравится, сама по себе. Времени она отнимает всего ничего. Занимаюсь я все больше тем, что выясняю то да се о разных людях, а это я могу делать даже во сне. Хорошая работа, хорошее пенсионное страхование, хорошее медицинское обслуживание, отпуска. Все это мне нравится. За исключением БР.

Теперь, когда он стал председателем правления, он мне нравится еще меньше. И уж совсем не нравится мне портовая шлюха, которую он только что произвел в вице-президенты. Теперь придется отчитываться перед ней, а я, — Гомес фыркнул, — отродясь перед бабами не отчитывался. Стало быть, жди неприятностей. Мне сейчас нужно только одно — спокойно отработать несколько лет и пораньше уйти на покой. А эта парочка способна поломать все мои планы.

Портовая шлюха?

— Ты служил во флоте? — спросил Ник.

— Тебе это обязательно знать?

— Нет, — ответил Ник.

28

— Не понимаю, почему ты не можешь назвать нам человека, который рассказал тебе все это? — спросила Полли голосом, в котором с той минуты, как она увидела в «Мун» статью, озаглавленную:

НЕЙЛОР, ОРУЖЕЙНЫЙ ЛОББИСТ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ВИННОГО ЛОББИ
СОСТОЯТ В КЛУБЕ, НАЗЫВАЕМОМ «ОТРЯД ТС»,
ТО ЕСТЬ «ТОРГОВЦЫ СМЕРТЬЮ»

Три общественных представителя «яппикалипсиса»?

Хизер Холлуэй,
корреспондент «Мун»,

постоянно присутствовала звенящая нота. Босса Полли это прискорбное открытие привело отнюдь не в восторг; как и Стоктона Драма, босса Бобби Джея, державшегося до сей поры молодцом и даже гордившегося тем, что его служащий стал одним из вывалянных в грязи окопников, сражающихся за Вторую поправку. Пожалуй, единственным, кого открытие обрадовало, хоть он того и не показывал, был Берт, поскольку теперь его ресторан оказался включенным в «Турне скандалов», популярный у посещающих Вашингтон туристов автобусный маршрут, в число остановок которого входили «Уотергейт», «Приливный пруд»[1] и отель, в котором ФБР застукало курящего крэк мэра Барри.

— Потому что мне еще пожить хочется, — ответил Ник. — А человек этот дал ясно понять, что, если я его рассекречу, такой возможности мне не представится.

— Ну и отраву они тут варят, — сказал Бобби Джей, стряхивая с крюка густую кофейную пену, — того и гляди крюк разъест.

— Будь добр, прекрати, — сказала Полли.

Едва успел выйти номер «Мун» со статьей об «Отряде ТС», как команда телевизионщиков выследила Полли, заявилась на симпозиум «Трезвый водитель — 2000» и, когда пришел ее черед отвечать на вопросы, задала несколько весьма неприятных. Крыть Полли было нечем — кроме дежурного напоминания о том, что владельцем «Мун» является кореец, объявивший себя Мессией. Самые разные люди вспоминали об этом всякий раз, как «Мун», неплохая в общем и целом газетка, печатала неприятную им правду.

Крепкий сербский кофе не угомонил расходившиеся нервы Полли. Она постукивала ноготками по столу — клик-клик-клик.

— Тогда расскажи, откуда у мисс «Лучшие Титьки Вселенной» взялись эти сведения.

— Я полагаю, — скорбно ответил Ник, — она получила их от Дженнет.

— Да? — вскинулась Полли. — А откуда Дженнет узнала об «Отряде ТС»?

Ник вздохнул.

— Тебе это не понравится.

---

[1] Пруд в Саду Конституции (залив реки Потомак), по берегам которого расположены монумент Вашингтона и мемориалы Джефферсона и Линкольна.

— Мой день начался хуже некуда, так что не бойся его испортить.

— Дженнет узнала о нем от тебя.

— Ты спятил?

— Помнишь, после моего появления в «Вечерней строкой» ты оставила на моем автоответчике поздравление с находкой насчет сыра-убийцы?

— И что же? — подозрительно осведомилась Полли.

— Ну, ты, э-э... упомянула, э-э... об «Отряде ТС» и...

— Ну, упомянула, ну и что? Почему бы мне не упомянуть о повторном показе телесериала?

— Да, но, э-э...

— Может, хватит экать и мекать? Я уже перебрала на сегодня «Прозака», больше в меня не полезет, так что давай колись наконец!

— Ну, в общем, у меня была Дженнет, мы с ней, э-э... и она спросила у меня, что это значит, а я...

Хорошо, что Полли была в темных очках, потому что Нику вовсе не хотелось видеть сейчас ее взгляд.

— Стало быть, — произнесла наконец Полли, — сначала ты поимел эту потаскуху. А потом с ее помощью поимел нас.

— Думаешь, меня это радует?

— Ах, тебя это не радует?

— Совсем наоборот.

— Ну, тогда ладно, тогда все в порядке, — сказал Бобби Джей и добавил: — Блудодей.

— Может быть, я после всего этого обрету веру, — сказал Ник.

— В большинстве тюрем есть отделения Содружества заключенных-христиан.

— Говнюк, — бросила, уходя, Полли.

Ник и Бобби смотрели ей вслед.

— Чистая работа, сынок, — сказал Бобби Джей. — Перед тем как ты пришел, она как раз говорила, что собирается снять со счета все свои сбережения, чтобы помочь тебе заплатить адвокатам.

— Зачем ей это?

Бобби Джей покачал головой:

— Мальчик, а у тебя, похоже, мозгов в голове не больше, чем в первом попавшемся мусорном баке.

И Бобби тоже ушел.

— Я заплачу по счету, — сказал в пустое пространство Ник.

Поначалу он никак не мог сообразить ни где находится, ни отчего во рту у него такой мерзопакостный вкус. Впрочем, где бы он ни находился, вид на Вашингтон отсюда открывался прекрасный. Ну да, конечно, он на арлингтонском берегу. А несколько запоздалое открытие, что его окружают тысячи одинаковых надгробий, свидетельствует, надо полагать, что находится он на Арлингтонском национальном кладбище. Далее ему удалось определить и происхождение покрывавшего язык отвратного налета. Сливовица. Стаканами. Да, теперь он вспомнил: вечер закончился пением боевых сербских песен, плечом к плечу с официантами и кухонной обслугой. Потом он каким-то образом прикатил к Арлингтонскому кладбищу и перелез туда через забор. Порванные брюки и острая боль в правом колене свидетельствовали, что последнее предприятие прошло не совсем гладко.

Но зачем его понесло в Арлингтон?

Ага, вспомнил. Он забрался на кладбище, чтобы свести счеты с жизнью.

Он любил Арлингтон и иногда приезжал сюда в ясный день — побродить, посмотреть, кто тут есть кто. Здесь лежало больше двухсот тысяч людей, число немалое, хотя оно, с неуютным чувством припомнил Ник, не составляет и половины ежегодных жертв курения. Ник вспомнил, как он решил не кончать с собой дома, где его первой обнару-

жит уборщица. Вспомнил стрелку спидометра, перевалившую за 110 миль в час, вспомнил, как нацелился в бетонную опору эстакады, но успел в последний миг отвернуть, сообразив, что машина у него оборудована предохранительной подушкой и что ему, вероятно, придется провести остаток своих горестных дней полным паралитиком. Тут-то он и приметил указатель «К Арлингтонскому национальному кладбищу». Почему бы и нет? Веревки у него в багажнике не нашлось, и он решил повеситься на аккумуляторном кабеле. Вон он, валяется прямо под ногами.

Ник поднял кабель. Оплетка резиновая. Мало радости вешаться на подобии резинового жгута, обвязавшись которым лихие ребята сигают с мостов. Он представил, как дергается вверх-вниз, колотясь башкой о ветку.

Что еще? Рядом с кладбищем есть станция метро. Можно подцепить кабель к третьему рельсу. Семисот пятидесяти вольт ему за глаза хватит. Будет на чем поупражняться ублюдкам, сочиняющим газетные заголовки.

Часы показывали 4.23 утра. Метро еще не ходит. Ник постоял, морщась от боли в колене, затем полез вверх по холму. Что-то мерцало невдалеке, ну да, вечный огонь на могиле президента Кеннеди.

Вот человек, более чем достойный того, чтобы разделить с ним последние минуты. Две юные жертвы, жизни коих оборвались в самом расцвете...

Экая гадость!

Врать самому себе на кладбище как-то не получается.

«Давай будем честными, малыш, — услышал он голос Гомеса О'Нила, обращающегося к тому, что еще уцелело от его, Ника, совести, — ты неудачник, сорокалетний шарлатан, которому платят за торговлю вредоносным зельем. В кармической пищевой цепи ты стоишь где-то между голожаберным моллюском и испражнениями угря. Ты угробил две карьеры, один брак и две дружбы. Подумай, что еще ты сумеешь наворотить, если дотянешь до старости».

Итак, трагическая карьера Ника Нейлора, по счастью, оборвалась.

Он стоял у могилы Кеннеди, со страхом ожидая, что из темноты вот-вот выскочат парковые полицейские.

НЕЙЛОР АРЕСТОВАН С АККУМУЛЯТОРНЫМ КАБЕЛЕМ У МОГИЛЫ КЕННЕДИ

Он заявил, что в его машине сел аккумулятор и он пришел сюда в поисках «вдохновения», которое позволило бы ему понять, как следует поступить в столь трудную минуту

Судья распорядился провести психиатрическое обследование Нейлора

Увы, никакой полиции, ни слуху ни духу. Ник подошел поближе к огню, дышащему теплом в предрассветной прохладе.

Что-то шуркнуло в кустах. Кто это? О господи — может, патрульные по ночам спускают своих доберманов с цепи?

ОБГЛОДАННЫЕ КОСТИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ НА МОГИЛЕ КЕННЕДИ, ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ КАК ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ НЕЙЛОРУ

Для человека, собравшегося умереть, он что-то слишком испугался. Ник одним прыжком достиг кустов по другую сторону могилы, пал наземь и затаился.

Из кустов вылез бродяга. Ник вгляделся в него. Бродяга, обмотанный несколькими слоями тряпья, казался огромным, горбатым — ни дать ни взять привидение из сказки братьев Гримм. Кашляет. Глубокий, гулкий баритон, вулканический кашель — один из наших клиентов, сомневаться не приходится. Откашлявшись, бродяга плюнул в сторону Ника. Плевок шмякнулся оземь с противным, жидким плюхом.

Очистив таким образом легкие, бродяга принялся рыться по карманам и рылся, пока не отыскал согнутый сигаретный бычок. Сунув бычок в рот, он снова обшарил карманы, на сей раз в поисках спичек. Эти поиски оказались еще более долгими, поскольку карманов у бродяги было не меньше сотни.

Спички так и не нашлись.

Бродяга доковылял до вечного огня, опустился на четвереньки и прикурил.

Если это знамение свыше, то какое-то путаное.

29

Исключительно для «Мун»

НЕЙЛОР ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРИЗНАЕТ СЕБЯ «ВИНОВНЫМ» В ПЛАНИРОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ПОХИЩЕНИЯ

Он снял всякую вину со своих друзей по «Отряду ТС», сказав, что название «Торговцы смертью» использовалось «им, и только им»

Хизер Холлуэй

— А обслуживать здесь стали лучше, — сказала Полли.

— Да, — согласился Ник. — Я теперь числюсь у них старым корешком. Мне даже сказали, что, если я пожелаю удрать к ним и помочь в истреблении остатков боснийских мусульман, они с удовольствием это устроят. Я, правда, ответил, что предпочитаю не ссориться с мусульманами. Тем более что в наших тюрьмах их хватает.

Бобби Джей сказал:

— Возможно, судья... черт, должен же он как-то учесть твое чистосердечное признание.

— Тебе следовало переговорить с нами, прежде чем решаться на это, — удрученно сказала Полли.

— Так вы же со мной не разговаривали.

— Можно было найти более простой способ вытащить нас из истории с «Торговцами смертью».

— Поздновато для альтернативных предложений. И вообще, вы не очень-то заноситесь. Может, я сделал это не только ради вас двоих.

— Но зачем признавать себя виновным, если ты невиновен? — спросила Полли. — Если предположить...

— Я виновен, — ответил Ник. — Только не в этом.

— А это что еще за чертовщина? — удивился Бобби Джей.

— В преступлениях против человечности. Возможно, у меня кризис середины жизни. Не знаю. Я устал врать ради заработка.

Бобби Джей и Полли молча уставились на него.

— Это ты из-за нас так размяк? — спросил наконец Бобби.

— Нет, просто давайте рассуждать здраво. Кто бы поверил на суде такому, как я?

— Тоже верно, — сказал Бобби.

— И откуда бы я взял полтора миллиона на оплату судебных издержек? Что же мне, весь остаток жизни пахать на адвокатскую фирму?

— Выходит, — сказал Бобби Джей, — БР с Дженнет так и сойдет с рук все, что они с тобой сотворили?

— Ну, — сказал Ник, — это, что называется, зависит.

— От чего?

Ник усмехнулся.

— От того, насколько размякли *вы*.

— Мне отмщение, говорит Господь. Аз воздам. «Послание к римлянам», глава двенадцатая, стих девятнадцатый.

— А что скажешь ты, рыбонька? — спросил Ник. — Ты готова поработать сознательным водителем?

— Рыбонька? — переспросила Полли.

— Не уверена, что гожусь для таких дел, — сказала Полли.

Они с Ником сидели в прокатном «седане», запаркованном в пятидесяти ярдах от перестроенного из старого склада театрика «Двухгрошовая опера», расположенного в той части Манхэттена, где еще не понаоткрывали художественных галерей и кофеен. Полли курила сигарету за сигаретой и так надымила в машине, что Нику пришлось открыть все окна. Лучше было бы включить кондиционер, потому что жара снаружи стояла парна́я.

— Ты отлично справляешься, — успокоил ее Ник. — Зря только куришь так много, губишь здоровье.

Полли молча взглянула на него. С заднего сиденья доносилось посапывание Бобби Джея. Бобби заснул. Ник с Полли слышали, как из его портативного магнитофончика изливаются библейские тексты.

— Как он может спать? — раздраженно поинтересовалась Полли.

— Он же служил во Вьетнаме, — глотнув кофе, ответил Ник.

— Да, но нас ожидает встреча с наемным убийцей.

— А вьетконговцы кем, по-твоему, были? — Ник взглянул на часы. — Что-то они нынче долго.

— Генеральная репетиция, — сказала Полли. — Может, режиссер решил, что они паршиво играют, и заставил их пройти все с начала.

Она закурила новую сигарету. Ник со стоном опустил стекло пониже. Полли сказала:

— Почему бы нам не скрутить его сегодня, и дело с концом?

— Полли, — сказал Ник, коснувшись ее руки, — расслабься.

— Расслабься, — она пожала плечами, — мы две недели таскаемся за этим... субъектом по всему Нью-Йорку, а ты говоришь «расслабься».

— Хочешь, я тебе шею помассирую?

— Да, — сказала Полли. — Вот здесь. О-ох.

— Что там? — спросил с заднего сиденья Бобби Джей.

— Да ничего, — сказал Ник. — Они сегодня припозднились.

— Слава богу, завтра премьера, — сказал Бобби Джей. — Еще одной такой ночи мне не выдержать. Господь явно невзлюбил этот город.

— И кто только пойдет смотреть «Фрегат Его Величества «Пинафор», перенесенный в двадцать седьмой век, на борт космического корабля «Энтерпрайз»? — сказала Полли.

— Понятия не имею, — отозвался Ник, — но роль у него вполне подходящая. Дик Мертвый Глаз.

— Думаешь, он хороший актер?

— Как он может быть хорошим актером, если зарабатывает на жизнь убийствами? — фыркнул Бобби Джей.

На следующую ночь «седан» сменился прокатным же грузовым фургончиком. Полли сидела за рулем, нервно постукивая ножкой и жуя резинку, поскольку Ник запретил ей курить до конца операции. Она нарядилась нью-йоркской уличной шлюшкой — золотистые шортики, высокие каблуки, тесная, основательно открывающая грудь безрукавочка и такое количество косметики, что ее и родная мать не узнала бы, а если б узнала, то облилась бы слезами. «По правде сказать, — думал Ник, — она выглядит, пожалуй... хорошо выглядит». Сам он потел под натянутым на голову капроновым чулком. Бобби Джей тоже нервничал, но, имея за плечами немало ночей, проведенных в засадах в куда более жарком климате, казался спокойнее Ника. Бобби решал кроссворд, посвечивая себе крошечным фонариком.

— Выходят, — сказала Полли.

Двери театра распахнулись, поклонники оперного искусства высыпали на замусоренный тротуар.

— Как публика, довольна? — спросил Бобби Джей.

— Скорее, испытывает облегчение, — ответил Ник.

Бобби Джей взглянул на часы и вернулся к кроссворду.

— Слово из четырех букв, загрязнитель атмосферы, начинается на «Э».

— ЭВТД, — сказал Ник. — «Экологически вредный табачный дым».

— Подходит.

Около того времени, к которому, по их прикидкам, Питер Лорри должен был снять грим и переодеться, Полли вылезла из грузовичка и одернула шортики, задравшиеся от сидения в машине так высоко, что половина ее южных полушарий торчала наружу. Очень симпатичных полушарий, отметил про себя Ник. Бобби Джей зарядил ружье, позаимствованное им из музейной коллекции Общества.

— Однако и пули у него, — сказал Ник.

— Англичане пользуются такими, когда разгоняют ирландских католиков, — ухмыльнулся Бобби. — По правилам, стрелять положено только в ноги. Но майор из СВВП[1], который как-то раз завтракал со мной и Стоктоном, сказал: «Иногда мы промахиваемся».

Ник поморщился, представив, как резиновый снаряд размером с вибратор на скорости пятьсот футов в секунду врезается ему в брюхо.

Питер Лорри вышел из боковой двери театра и направился в их сторону.

— Один, хорошо, — за последние две недели они убедились в том, что других актеров к Лорри не больно-то тянет. И прекрасно. Не придется тащиться за ним следом.

Когда Питер Лорри миновал фургончик, Ник приоткрыл задние двери — ровно настолько, чтобы Бобби Джей смог прицелиться.

Как оно и было задумано, Полли остановила Лорри на тротуаре.

— Спичек не найдется? — спросила она.

Лорри оглядел ее с головы до ног. Улыбнулся.

— Ты разве не знаешь, что курить вредно?

— Стреляй, — прошипел Ник.

Бобби Джей прицелился.

— Поразвлечься не хочешь? — спросила Полли.

— Я не привык платить за развлечения.

— Знаешь, — сказала Полли, — ты выглядишь таким жеребцом, что я готова обслужить тебя задаром.

— И со шлюхами я не сплю, — сказал Лорри.

— Жаль, — отходя, вздохнула Полли, — ты даже не знаешь, что теряешь.

Бобби выстрелил. Ружье грохнуло, десять унций резины ударили Питера Лорри в солнечное сплетение, выбив из его легких весь воздух до последнего кубического сантиметра. Он грохнулся на спину. Ник и Бобби выскочили из кузова и втащили бесчувственное тело вовнутрь — Бобби тянул, продев крюк под брючный ремень Лорри. Полли запрыгнула на водительское сиденье, сорвала парик, запустила двигатель.

— Парень вырубился, — сказал Бобби Джей, ощупывая тело.

Ник двинул лежащего ногой по ребрам.

— Вот теперь он точно вырубился.

— Мы вроде не собирались его убивать, — сказал Бобби Джей.

— Не бойся, не помрет.

Клейкой лентой, которая в ходу у полиции, они стянули запястья Питера Лорри за спиной и надели ему на голову черный мешок.

Они уже проскочили под рекой и углубились в Нью-Джерси, когда из кузова донесся стон и Лорри пошевелился, ощущая, как от всей души надеялся Ник, изрядную боль. Подождали еще минут пять — он поднял голову, пытаясь понять, что с ним происходит. Пора было приступать ко второй фазе операции. Убедившись, что сознание полностью

---

[1] Специальный военно-воздушный полк — авиадесантное подразделение, созданное в годы второй мировой войны. В настоящее время используется для подавления волнений среди населения.

вернулось к похищенному, Ник надавил кнопку магнитофона, и из динамика поплыли их измененные голоса. Ник с Бобби провели несколько репетиций, пока не убедились, что в кузове, у самых дверей, где они свалили тело, их будет хорошо слышно.

Первый голос. Потише ты, нам только штрафа за превышение скорости не хватает.

Второй голос. Да уж, было бы весело.

Первый голос. Он все еще в отключке?

Второй голос. Похоже на то.

Первый голос. Будет дергаться, влепи ему пулю.

Второй голос. Ты че, это ж прокатная машина. Я не хочу всю ночь кровищу отмывать.

Первый голос. Слышь, это там не «Международный дом блинов»[1]? Я бы не отказался от блинчиков с беконом.

Второй голос С беконом? Ты знаешь, во что он превращает артерии?

Первый голос. Фрэнк, все одно когда-нибудь помирать.

Второй голос. Ну, меня так лучше пусть бабы затрахают. Вот будем проезжать «Международный дом блядей», ты мне свистни.

Первый голос. А я вот себе лыжный тренажер завел. Двадцать минут, и ты весь мокрый как мышь. Знаешь, у кого еще такой есть? У Джоя Два Пуза.

Второй голос. Не заливай.

Первый голос. Да не, точно. Он записался в одно из этих заведений, где с человека дерут по десять кусков в день, а кормят одними сорняками. Фунтов двадцать пять сбросил. И кстати, он теперь не любит, когда его называют Джоем Два Пуза.

Второй голос. Психопат гребаный. Я бы тебе мог о нем много чего порассказать.

Первый голос. Так что я его больше Двумя Пузами не зову.

Второй голос. Сэр Джой.

Смех.

Первый голос. Сколько еще?

Второй голос. Миль десять.

Первый голос. И какого хера мы его тащим в Нью-Джерси на какой-то занюханный причал? Сунули бы, бля, в мешок с камнями да закинули в первое попавшееся болото. Никто бы и не узнал.

Второй голос. Я тебе уже говорил какого. Такого, что «Команда А» сказал: сбросить с причала. А он нам бабки платит, усек?

Первый голос. Ну и он бы ни хера не узнал.

Второй голос. Да в чем проблема, мать твою?

Первый голос. Жрать охота. Может, тут где «Макдоналдс» есть?

Второй голос. Ни в какие долбаные «Макдоналдсы» мы заезжать не будем, понял?

Первый голос. Ну давай в закусочную заедем, и из машины вылезать не придется.

Второй голос. А если этот очухается да стонать начнет?

Первый голос. Ткну ему пушку в его долбаное сердце. Будет стонать — его проблема, не наша.

Второй голос. Ты глушитель-то прикрутил?

Первый голос. Да, сэр, прикрутил. «Ты... глушитель...» Иисусе! Я, по-твоему, кто — любитель задроченный?

Второй голос. Скоро уж приедем.

Первый голос. Слушай, а кто такой «Команда А»?

Второй голос. Да хмырь один из Вашингтона.

Первый голос. Из Вашингтона? Вона что. Это у нас чего же, правительственный субподряд получается? Наш жмурик — какая-нибудь шишка?

Второй голос. Уже нет.

Смех.

---

[1] Название сети экспресс-блинных, принадлежашей одноименной компании.

Первый голос. Так кто этот «Команда А»?

Второй голос. Лоббист.

Первый голос. А че такое лоббист?

Второй голос. Говнюк, но с охеренными бабками.

Первый голос. Слушай, хочешь знать мое мнение о Вашингтоне? Все они там говнюки. Меня уже блевать от этого дерьма тянет. Проверну еще пару дел, и кранты. Открою ресторан.

Второй голос. Чем мочить людей, будешь их травить?

Первый голос. Не, я серьезно.

Второй голос. Ладно, тогда закрепи за мной столик.

Несколько секунд проходит в молчании.

Первый голос. Выходит, нас потому и назвали «Команда Б»? Потому что он — «Команда А»?

Второй голос. Ну, вроде того. Кодовое название. В Вашингтоне это любят.

Первый голос. «Команда Б», надо же. Будто мы третьеклашки какие. Назвали бы уж «Дети грома».

Второй голос. Ладно, пусть будет «Дети грома». По-моему, тут где-то был поворот...

Первый голос. Зенки раззявь! Грузовик!!

Полли целую неделю тренировалась в выполнении бутлегерского разворота. И вот теперь, на скорости чуть ниже сорока, она слегка крутнула руль влево, одновременно вдавив в пол педаль тормоза, блокирующий механизм которого был нарочно ослаблен. Фургончик развернуло на 180 градусов. При этом Питер Лорри вылетел через задние дверцы, оставленные незапертыми и державшиеся на одном лишь куске клейкой ленты. Он воспарил над пустынным проселком и с глухим ударом приложился о землю.

Остаток диалога был воспроизведен на полном усилении.

Первый голос. Ну его на хер!! Рвем когти!! Жми!!

И они рванули когти.

— Ты слышал, с каким звуком он грохнулся? — ликуя, спросил Ник.

— С хлюпающим, — сказал Бобби Джей.

— Как по-твоему, он жив? — спросила Полли.

Ник обернулся, поднес к глазам бинокль. Питер Лорри перекатился за обочину дороги.

— Увы. Позор на мою голову.

— Я бы сейчас выпила, — сказала Полли.

— А знаешь, от чего я бы не отказался? — спросил Ник.

— От чего?

— От сигаретки.

30

НОВЫЙ ГЛАВА ТАБАЧНОГО ЛОББИ
НАЙДЕН ЗАДОХНУВШИМСЯ ДЫМОМ
В КВАРТИРЕ СВОЕЙ ПОДЧИНЕННОЙ

Друзья говорят, что Рорабачер
был «помешан на здоровье» и не курил.
Полиция разыскивает для допроса Дженнет Дантайн,
исполнительного вице-президента АТИ

Хизер Холлуэй,
штатная сотрудница «Вашингтон сан»

ЭПИЛОГ

— Добрый вечер, я Лэрри Кинг. Сегодня у нас в гостях Ник Нейлор, который уже бывал здесь несколько раз. Впрочем, сегодня он пришел не для того, чтобы убеждать нас, будто курение никак не связано с болезнями. Верно?

— Верно, Лэрри.

— Эта книга, которую вы написали, «Здесь курят»... Странное название. Что оно означает?

— Название ироническое, Лэрри. Хотя прежние мои работодатели из табачного лобби, от имени которого мне приходилось врать на разных шоу, включая и ваше, действительно отпечатали таблички с такой надписью.

— Вы написали очень спорную книгу. Она разозлила кучу народа.

— Да, Лэрри, это так.

— Давайте пройдемся по списку. Джефф Мегалл, глава крупнейшего в Голливуде актерского агентства, сказал, что она «не заслуживает оценки».

— Я счел это комплиментом, Лэрри. Вы, возможно, знаете — прежний его помощник, Джек Бейн, купил права на экранизацию моей книги. А Джек и Мегалл разошлись.

— Сенатор Ортолан К. Финистер, очень влиятельный в Вашингтоне человек, сказал, что вы написали эту книгу, я цитирую, «чтобы очистить свою встревоженную совесть».

— На самом деле, Лэрри, мою совесть очистила тюрьма.

— Тогда зачем вам понадобилась книга?

— Деньги, Лэрри. Я написал ее ради денег.

— Знаете, когда слышишь такое, это как-то освежает.

— Мы с женой, с Полли, ждем ребенка, ну и, сами понимаете, воспитание, то да се...

— Поздравляю. А что второй ваш друг по «Отряду ТС» — это ведь означает «Торговцы смертью», верно?

— Верно.

— Так что же случилось с Бобби Джеем, бывшим общественным представителем оружейного лобби?

— Он занимает важный пост в Содружестве заключенных-христиан. Знаете, это такая организация, созданная Чаком Колсоном. У Бобби все хорошо. Он по-прежнему увлекается стрельбой. Мы часто с ним видимся. Разумеется, мы больше не называем себя «торговцами смертью», поскольку осознали порочность прежних наших занятий.

— А Полли, она где-нибудь работает?

— Да, забеременев, она очень заинтересовалась проблемой здорового потомства. Теперь она работает в Фонде заботы о воскресных детях, здесь, в Вашингтоне. ФОЗАВОД.

— Вы говорите в своей книге, которую я, кстати, настоятельно рекомендую нашим зрителям — очень хорошая книга...

— Спасибо, Лэрри.

— ...вы говорите, что признали себя виновным, хотя вовсе не похищали себя и не обклеивали никотиновыми пластырями. Вопрос — почему?

— По двум причинам, Лэрри. Во-первых, мне объяснили, что одни только гонорары адвокатов могут составить около полутора миллионов, а у меня таких денег не было. Во-вторых, я пришел к выводу, что заслуживаю отсидки за все те ужасные поступки, которые я совершал, работая на табачную индустрию. И кстати, если кто-то из наших зрителей заболел вследствие курения раком легких или если у них есть заболевшие родственники, я хотел бы попросить у них прощения. А если нас видят дети, им я скажу следующее: послушайте, ребята, не курите. Курение вас убьет. Да и зубы у вас пожелтеют, а что в этом хорошего?

— И все-таки, есть у вас какие-нибудь догадки насчет того, кто вас похитил?

— Решительно никаких, Лэрри. Скорее всего, я так и сойду в могилу, гадая об этом.

— Как вам жилось в заключении?

— О, совсем неплохо. Я сидел в тюрьме с режимом минимальной строгости, это в

Плизантоне, штат Калифорния. Там отсиживают свое проштрафившиеся служащие и тому подобная публика. Главный недостаток — там скучно. Очень скучно, очень.

— Вы провели в тюрьме два с половиной года.

— Да. И познакомился с множеством занятных людей. С кучей банковских служащих, например.

— А чем вы занимаетесь теперь, когда закончили книгу?

— Работаю в организации, которая называется «Чистые легкие — 2000», Лэрри. Очень хорошая организация, пытающаяся отвратить людей от курения.

— Интересная работа?

— О да. Очень расширяет кругозор. К примеру, известно ли вам, что курение приводит к импотенции?

— Нет.

— Научный факт, Лэрри. Вот прямо сейчас проводятся интереснейшие исследования по этой части. Разумеется, табачное лобби не хочет, чтобы мы с вами об этом узнали.

— Вы описали в книге вашего прежнего босса, БР, человека крайне неискреннего.

— Да покоится он в мире, Лэрри, хоть он и был последней скотиной.

— А что случилось с его помощницей, с Дженнет, которую полиция подозревает в причастности к его кончине от удушья?

— Один бывший... ну, в общем, мне сказали, что она, похоже, перебралась куда-то на Ближний Восток. Работает в бюро найма ночных спутниц, обслуживающем клиентов с особыми вкусами.

— Вы думаете, это она его убила?

— Кто знает, Лэрри? В общем-то, всякое случается. Люди порой бывают так неосторожны с сигаретами. Хотя, конечно, самое неосторожное, что можно сделать с сигаретой, — это ее закурить.

— Что означает подзаголовок вашей книги — «Приемы джиу-джитсу, полезные при общении с новыми пуританами»?

— Ну, как вы знаете, джиу-джитсу — это искусство самообороны, позволяющее вам использовать вес и силу вашего противника. Именно этим мне и приходилось заниматься. Я вовсе не хочу защищать курение, однако среди его противников встречаются изрядные лицемеры. Поэтому все, что мне приходилось делать, — это слегка подталкивать их, подставив сзади ногу, чтобы они полетели на пол. У меня это хорошо получалось. Собственно, только это я и умел делать по-настоящему хорошо. С другой стороны, и нацистские преступники тоже были вполне нормальными людьми. Известно же, что у многих из них имелись семьи, по воскресеньям они водили детишек в зоопарк. А по понедельникам, возвращаясь на работу, уничтожали тысячи людей, вторгались в чужие страны, маршировали гусиным шагом. Ну вот, к примеру, новый глава Академии табачных исследований был когда-то приметной фигурой в движении бойскаутов, потом в «Киванис»[1] в «Ротари интернэшнл»[2], в «Ордене лосей»[3]. Если вы встретитесь с ним и не будете знать, чем он занимается, вы, скорее всего, подумаете: приятный, правильный человек.

— Вы посвятили вашу книгу двум людям — Доуку Бойкину, Капитану, бывшему председателю совета директоров табачного лобби, и Лорну Латчу, человеку, ставшему олицетворением сигарет «Перекати-Поле».

— Это были замечательные люди, Лэрри. Думаю, им следует простить ту роль, которую они играли в табачном бизнесе, поскольку оба принадлежали к прежнему поколению, в сущности, не понимавшему, насколько страшен табак. И под конец каждый из них

---

[1] «Киванис интернэшнл» — основанная в 1915 г. организация «клубов на службе общества», содействующая развитию профессиональной и деловой этики и занимающаяся также благотворительностью.

[2] Элитарная общественная организация, объединяющая представителей деловых кругов. Среди ее целей — укрепление международного мира, сотрудничества и взаимопонимания, пропаганда высоких этических норм в предпринимательской деятельности.

[3] «Благотворительный и покровительствующий орден лосей» — основанная в 1868 г. мужская благотворительная организация.

узрел, так сказать, свет и пожалел о своем... ну, то есть они пожалели о содеянном ими. Я разговаривал с Капитаном в ночь перед его кончиной, и он сам мне об этом сказал. Что касается Лорна, умершего пару лет назад, — БР ведь послал меня к нему с кейсом, в котором лежало пятьсот тысяч долларов, я должен был подкупить его, заткнуть ему рот, и знаете, как он поступил? Я написал об этом в книге — он спустил меня с крыльца.

— Пятьсот тысяч — это большой соблазн.

— Еще бы, Лэрри. Лорн был мужественным человеком.

— Давайте примем несколько звонков. Уинстон-Сейлем, Северная Каролина, вы звоните в шоу Лэрри Кинга.

— Лэрри, я хотел бы сказать, что, по-моему, этот человек хуже слизи на брюхе зубатки. Перед зубаткой я готов извиниться.

— У вас есть что ответить, Ник?

— А что тут можно ответить, Лэрри?

— Да, весьма эмоционально.

БЛАГОДАРНОСТИ

Я чрезвычайно признателен герру профессору, доктору Патрику Куки из «Чистых легких — 2000», Лесли Дэчу, Мишель Лаксальт, Робину Клементсу, доктору Дэвиду Уильямсу, Дэвиду Тейлору, Бобу Форбсу, Полу Слански, Джефри Норману, Ллойду Грову, Тому Селли, Грегори Коннолли, а также моей жене, матери и отцу — все трое замечательные редакторы, от которых ничто не укроется. И, разумеется, особую благодарность мне хочется выразить всем работающим в Институте табака, в Национальной стрелковой ассоциации, в Институте пива и в Совете по спиртным напиткам Соединенных Штатов — отважным противникам нового пуританизма, которых я, что лишь естественно, называть поименно не стану. Огромное спасибо лучшему в мире литературному агенту Аманде Урбан. И последнее — по порядку, но не по значению — спасибо Гарри Эвансу и Джонатану Карпу за их искусную и всегда забавную помощь.

Разумеется, все ошибки, какие есть в этой книге, сделаны ими.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

Псалом

С немецкого

Джазовая импровизация на тему псалма для философа и девяти переводчиков

Нынешнее обращение к творчеству Пауля Целана (1920—1970) продолжает обширную публикацию, помещенную в двенадцатом номере «ИЛ» за 1996 г. в рубрике «Портрет в зеркалах». Ее составитель Б. Дубин отмечал тогда «странное недобытие, руинное на-три-четверти-отсутствие крупнейшего и, несомненно, поворотного лирика второй половины уходящего века» в нашем отечественном литературном пространстве. С тех пор положение сильно изменилось. Фигура Целана обретает плоть, его присутствие в русском поэтическом и философском контексте становится все более ощутимым. В 1998 году в Киеве вышел первый сборник Целана на русском языке в переводе Марка Белорусца. В 1999 году в московском журнале «Контекст—9» (№ 4) опубликованы 11 стихотворений Целана в переводе Ольги Седаковой. Пауль Целан, немецкоязычный еврей из Буковины, переживший заключение в гетто, принудительные работы и гибель родителей в концлагере, вечный беженец, блестящий переводчик русской и французской поэзии, покончил с собой в Париже. Его судьба вобрала в себя трагедию XX века, его голос — голос пережившей эту трагедию европейской поэзии. Стало общим местом вспоминать в связи с Целаном вопрос немецкого философа Адорно: «Возможна ли поэзия после Освенцима?»

В начале посвященной поэтике Целана книги «Поэзия как опыт», отрывок из которой приведен ниже, видный французский философ, переводчик и исследователь Гёльдерлина и Ницше Филипп Лаку-Лабарт пишет:

«Массовое уничтожение людей — невозможная возможность, невыносимая, потрясающая будничность нашего времени. Сколько ни посыпай голову пеплом, нам от этого не уйти. Этот темный фон затопил весь мир, превратив жизнь в несусветную мерзость. Ничто не может вырваться из этой черной тени времени, избежать раковой опухоли, пожирающей все живущее: личности и народы... Вопрос, которым я задаюсь, таков: смог ли Целан поставить не себя, а *нас* перед лицом «всего этого»? Способна ли вообще на это поэзия и если да, то какая, какого рода поэзия?»

© Н. Мавлевич. Вступление, 1999

Целан — лучший переводчик на немецкий язык Мандельштама, глубокое родство с которым он неоднократно подчеркивал. Название одного из сборников Целана «Роза Никому» — прямая цитата из Мандельштама. В этом сборнике есть стихотворение, всегда привлекавшее особое внимание читателей, переводчиков, истолкователей. Это знаменитый «Псалом», гениальная попытка нового осмысления триады Бог — Мир — Человек. Вся поэзия Целана и «Псалом» как ее чистая квинтэссенция — это всеобъемлющий вопрос о смысле. Вопрос без ответа (если таким ответом не становится молитва). Да и смысл вопроса одновременно предельно ясен и предельно невыразим. Ассоциативная ткань стихов, синтаксическая и даже грамматическая недоговоренность, похожие на сжатые пружины паузы — все это заставляет переводчика, если он не хочет сделать мертвую ксерокопию, пользоваться собственными ассоциациями, наполнять пустоты по собственному «подразумению». Вот почему перевод Целана — огромное искушение.

На сегодняшний день, насколько нам известно, существует девять русских переводов «Псалма», предлагающих разные и подчас исключающие друг друга прочтения. Вслед за поэтическими вариациями помещен философский комментарий Филиппа Лаку-Лабарта. Впрочем, не столько комментарий, сколько импровизация на тему ... Говоря о манере Лаку-Лабарта, О. Аронсон называет ее «непрямой коммуникацией», когда «некоторые образы и темы провоцируют философа даже не на рассуждения, а на предъявление собственных образов»[1]. Иначе говоря, это джазовая манера. Так что текст Лаку-Лабарта нельзя рассматривать как расшифровку, разъяснение Целана, это тоже поэтическая интерпретация, с которой можно соглашаться или не соглашаться.

Н. МАВЛЕВИЧ

Psalm

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand.

Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.

Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
die Nichts, — die
Niemandsrose.

Mit
dem Griffel seelenhell,
dem Staubfaden himmelswüst,
der Krone rot
vom Purpurwort, das wir sangen
über, o über
dem Dorn.

(«Die Niemandsrose», 1963)

[1] См. диалог Е. П. Петровской и О. В. Аронсона «Пути импровизации. Лаку-Лабарт — Пазолини» в журнале «Киноведческие записки», 1996/1997, № 32.

Псалом

Никто нас не вылепит больше из глины, никто.
Никто не хранит наш прах.
Никто.

Благословен будь, никто.
Тебе на счастье
цветем мы,
тебе
навстречу.

Никто
были мы, и остались, и будем,
расцветая, ничем;
розой никому, розой
никому.

Наш
светлый грифель души
в пыльных пустых небесах
выводит
пурпурную нить песни
над терниями,
над шипами.

Перевод ВИКТОРА ТОПОРОВА
(«Иностранная литература», 1974, № 5)

Псалом

Никто не вылепит нас вновь из земли и глины.
Никто не станет хранить наш прах.
Никто.

Храни же свято заветы, Никто.
Ради тебя
распускается
алый бутон.
Навстречу тебе.

Ничто
мы есть, были и будем,
Мы, сущие и цветущие:
Роза-Никто, Роза-
Ничто.

Это поет
светлое сердце —
пестик, опыленный пустынным небом,
багряный цветок

с лепестками пурпуровых слов,
поет и всегда
над, о, над
шипами.

Перевод ИГОРЯ БОЛЫЧЕВА
(В кн.: «Золотое сечение». Австрийская поэзия XIX — XX веков в русских переводах». М., 1988)

Псалом

Никто нас не лепит вновь из глины.
Никто наш прах не осудит.
Никто.

Так слава тебе, Никто!
Во имя твоей любви
мы расцветаем
тебе навстречу.

Ничто
были мы, есть и будем.
Мы вечно цветем.
Мы Ничто,
дикая роза.

Мы —
с пестиком светлой души,
с тычинками смутного неба,
с пурпурными лепестками
сло́ва.
Его мы поем
о наших шипах — о! —
о терниях наших.

Перевод ВЛАДИМИРА ЛЕВАНСКОГО
(В кн.: «Золотое сечение». Австрийская поэзия XIX — XX веков в русских переводах. М., 1988)

Псалом

Никто не замесит нас вновь из земли и глины,
никто не прославит наш прах.
Никто.

© Г. Ратгауз. Перевод, 1999

Благословен будь, Никто.
Тебя ради мы расцветаем,
в ожиданье
встречи с тобой.

Ничем
Мы были, стали и будем.
Пребудем мы, расцветая:
розой небытия,
ничейною розой.

С пестиком,
светлым, как дух,
с тычинкой, яростной, как гроза,
с венчиком, алым
от пурпурного слова,
что мы запели
над купиною,
над купиной.

Перевод ГРЕЙНЕМА РАТГАУЗА (1990)

Псалом

Кто лепит нас вновь из земли и глины? Никто.
Кто слово свое произносит над нашей перстью?
Никто.

Славься, Никто.
Ради тебя мы
цветем.
Тебе
в ответ.

Ничто —
вот чем были мы, чем
пребываем, чем будем, цветя:
роза ничто, роза
твоя, Никто.

Роза,
чей пестик светится светом души,
тычинка пуста пустотой небес,
венчик ал
от̀ багряного слова, пропетого нами
над — о, над
шипом.

Перевод МАРКА ГРИНБЕРГА
(«Иностранная литература», 1996, № 12)

Псалом

Никто не вылепит нас больше из земли и глины,
никто не скажет о нас, пыли.
Никто.

Восславлен будь, Никто.
Ради тебя мы
хотим расцветать.
Навстречу
тебе.

Ничто были мы, есть мы и будем
всегда, расцветая:
розой-Ничто, розой-
Никому.

За-
вязью душевно светлой,
пыльцою небесно пустынной,
венчиком рдяным
от слова-раны, что возвещали мы
над, о, над
тернием.

Перевод МАРКА БЕЛОРУСЦА
(В кн.: Пауль Целан. «Стихотворения». Киев, 1998)

Псалом

Некому замесить нас опять из земли и глины,
некому заклясть наш прах.
Некому.

Слава тебе, Никто.
Ради тебя мы хотим
цвести.
Тебе
навстречу.

Ничем
были мы, останемся, будем
и впредь, расцветая:
Из Ничего —
Никому — роза.

Вот
пестик ее сердечно-святой,
тычинки небесно-пустые,
красный венец

из пурпурного слова, которое мы пропели
поверх, о, поверх
терний.

Перевод ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ
(«Контекст —9», 1999, №4)

Псалом

Никто не замесит нас вновь из глины и праха,
никто не заговорит сосуд.
Никто.

Так славься же ты, Никто!
Из любви к тебе
мы цветем.
Тянемся
тебе навстречу.

Ничем
были мы, есть и будем,
отцветая:
как дикая роза.

С пестиком тонкой души,
небесной бесприютностью тычинок,
алой короной
из пурпурных слов, которые пели мы
над шипами,
о, над шипами.

Перевод СЕРГЕЯ МОРЕЙНО (1999)

Псалом

Нас вновь из глины и из праха не вылепит Никто,
и не благословит земную персть —
Никто!

Хвала Тебе, Никто!
Тебя возлюбим
И да предстанем
пред Тобой
в цвету.

© С. Морейно. Перевод, 1999
© Н. Мавлевич. Перевод, 1999

Вот мы — ничто —
так было, есть и будет, —
цветок небытия.
Вот —
роза Никому.

В ней пестик —
светлый перст души,
тычинок прах из пуст-небесья
и красный венчик —
пурпур слова, что мы пропели,
о, над самым
над острием шипа.

Перевод НАТАЛЬИ МАВЛЕВИЧ (1999)

ФИЛИПП ЛАКУ-ЛАБАРТ

Молитва

Перевод с французского Н. МАВЛЕВИЧ

Что я подразумевал, когда назвал «Псалом» из сборника «Роза Никому» настоящей молитвой?

Наверно, я имел в виду три соображения (ответить с ходу было трудно, и даже сейчас я могу объяснить это лишь приблизительно):

1. Прежде всего, я просто хотел заметить, что «Псалом» или, во всяком случае, его вторая строфа бесспорно имеет классическую форму молитвы:

Gelobt seist du, Niemand.	Будь прославлен, Никто.
Dir zulieb wollen	Из любви к Тебе хотим
wir blühn.	мы цвести.
Dir	Тебе
entgegen.	навстречу.

Классическая форма — это в данном случае призывание и прославление. В отличие, например, от известного стихотворения Тракля, название «Псалом» формально оправдано — перед нами действительно песнь или гимн в честь... Никого. Из приведенной цитаты ясно, что Никто призван вместо библейского Бога, Бога, к которому обращена иудаистская (а затем и христианская) литургия. Вместо Бога-Творца, на которого намекает первая строфа:

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,	Никто не вылепит нас снова из земли и глины,
niemand bespricht unsern Staub.	никто не заговорит наш прах.
Niemand.	Никто.

Это эссе представляет собой главу из книги «Поэзия как опыт» (Philippe Lacoue-Labarthe. «Poésie comme expérience». Christian Bourgois, 1986). Печатается с сокращениями. Книга готовится к публикации в издательстве «Ad Marginem».

© Christian Bourgois, 1986
© Н. Мавлевич. Перевод, 1999

Вполне логично, что человек (приносящие молитву «мы»), признавая себя созданием такого «Бога», обозначает себя: роза, сотворенная Никем.

Можно было бы счесть такую замену Бога Никем и превращение местоимения в имя собственное иронией, своего рода сарказмом на грани кощунственной пародии. Слово «Никто» никогда не было именем, если не считать уловки, с помощью которой хитроумный Улисс спасся от Полифема. Однако в тоне стихотворения ничто не указывает на иронию. Разве что назвать иронией полную, абсолютную безнадежность:

Ein Nichts	Ничто —
waren wir, sind wir, werden	вот чем мы были, есть и будем
wir bleiben, blühend...	пребывать — цветущее [ничто]...

В таком случае возникает второе соображение: может быть, это антимолитва, молитва наизнанку, так сказать, «отрицательная» молитва, утверждающая бессмысленность молитвы вообще. Точнее, не самой молитвы, коль скоро сохранена ее форма — форма призывания. Кажется, что, назвав адресата «Никем», она уничтожает самое себя как обращение. В действительности же это «Никто» означает лишь, что данный адресат отсутствует или не существует, но остается адресатом. В этом высказывании нет ничего абсурдного. Смысл его прост: если молитва *не* обращена ни к кому, она в самом деле становится бессмысленной; если же она обращена к Никому, то не перестает быть молитвой. Иначе говоря, парадоксальное именование адресата делает ее одновременно возможной (формально) и невозможной. Но и в невозможности она остается молитвой, причем молитвой *настоящей.* Здесь мы сталкиваемся с парадоксом, который лежит в основе неизменной напряженности всей поэзии (и мысли) Целана.

2. Заменить Бога Никем — значит с потрясающей силой заявить, что слово «Бог» — это не имя и, быть может, не было именем и прежде. Нечто апокалипсическое есть в этом стихотворении.

Если же «Бог» не имя — не всем именам имя, не набольшее из имен, как принято было считать, — то обращение становится безличным. «Бог» — не имя, а простое слово, понятие, означающее «не человек, а *Некто Другой*»; «Бог» — не в большей и не в меньшей степени имя, чем «человек». (Бывает, что к кому-нибудь обращаются: «Человек!» Но только если не знают имени или по какой-то причине не хотят или не могут его произнести.) Уместно вспомнить, что говорил Хайдеггер: перед таким Богом (Богом-понятием) невозможно преклонить колена, ему не принесешь ни жертв, ни молитв. Таким образом, призывать божество, называя его именем «Бог», не более парадоксально, чем призывать Никого. (Ведь у подлинного божества всегда есть определенное имя: Аполлон, Иисус или титулование: Христос. Бог Ветхого Завета имеет несколько имен или одно, которое нельзя произнести, но можно написать.)

Разумеется, то, что Бог не имя, и даже то, что это известно называющим его этим «именем», можно понимать и так: у Бога нет имени или Бог — всем именам имя, выше и вне всякого именования. Каждый знает, хотя бы в самом общем виде, положения апофатической теологии: Бог в своем бесконечном могуществе (то есть в бесконечной вездесущности), превосходит всякое определение. Наш ограниченный человеческий язык не может охватить Его безмерности. Или не может выразить того, что человеку недоступно. Однако не это подразумевает стихотворная молитва Целана. Здесь напрямую сказано другое: Бог, раз он просто Бог, — это «никто». Бог как таковой не существует. Его «имя» — ничье, его синоним — никто. И если есть в этом разоблачении некий подспудный укор — а я думаю, есть, и очень горький, — то он обращен к теологии, а значит, и к философии: ведь Платон не только был «провозвестником христианства», именно на языке Платона, на нашем языке, было впервые выражено учение о божественном. (Этот упрек ничуть не отменяет удивительной легкости, свободы всего стихотворения.)

Целановское «Бога нет» не означает атеизма. Ибо это не то же самое, что «Бога никогда не было». В «Псалме» слышится совсем иное: Бог предстал «никем».

Niemand knetet uns wieder... *Никто не вылепит нас* снова.

Ясно читается, что однажды кто-то это уже сделал; кто-то — некое божество, Бог-создатель — вылепил нас из земли и глины и благословил земной прах. Или, по крайней мере, мы, люди, верили в это, верили, что мы созданы Богом-творцом, который и в смерти не оставит нас своею милостью. Сочтя себя смертными созданиями Божьими, мы могли взывать к этому Богу, от которого зависят наше начало и конец. Однако, в силу той же логики, как только мы перестаем считать себя таковыми, оказывается, что никто нас не сотворил и сами мы — ничто или, скорее, «Ничто» (ein Nichts), ne-ens (не-сущее), единственная же молитва, которую мы еще вправе возносить, эхом откликаясь тем, что звучали встарь, это молитва Никому. Нам открывается, что Откровение подошло к концу. И мы можем говорить, как в этой молитве, не о том, что Бога никогда не было, а о том, что мы, люди, всегда были «ничем» и никогда ничем иным не будем.

Возможность Откровения теснейшим образом, как, впрочем, и всегда, связана здесь с проблемой человека, с его сутью. Раз человек есть ни-что, не-сущее и может, следовательно, назвать себя — по аналогии с «розой из бездны» Ангелуса Силезиуса — «розой из ничего», или «розой из небытия» (вещь, ничем не хуже прочих), то так называемый «Бог», ens summum (верховное существо) отныне перестает быть сущим. И это выражается в том, что он теряет имя — словом «Бог» не именуется никто, во всяком случае, никто, обладающий бытием, более того — высшим, бесконечным и т. д. бытием.

Огромный, непомерный подвиг Целана в том, что он поднимает и оставляет открытым вопрос «Кто?», даже если он касается Бога и даже если, как сказал Хайдеггер, этот вопрос («Кто такой Бог?») «возможно, слишком труден для человека и слишком рано поставлен».

Кого вопрошает Целан? Очевидно, что Бог — тот, кого *именуют* Богом, — стал для него безымянным. Открытие безымянности Бога — это грандиозное историческое свершение (сравнимое с Откровением). Или даже завершение истории. Растворение Бога (явленного в Откровении) в безымянности — это целый этап истории, переворот в религиозных представлениях. Нечто очень близкое мы находим у Гёльдерлина, с его «отступлением» или «отстранением — отвращением» божества, или у Ницше, с его «Бог умер».

Однако в тезисе «Бог умер» (не следует забывать, что это *мы* его убили) происходит предельное возвышение человека как субъекта — субъекта Всемогущей Воли, — являющееся закономерной кульминацией того, что я назвал «помешательством субъекта»: Бог — это я, Дионис.

Идея «отдаления» Бога, «категорического отстранения» (Бога-Отца, «отца времени»), возникшая у Гёльдерлина из осмысления греческой трагедии, не имеет ничего общего ни с одним из представлений о гибели Бога. «Отдаление» — вовсе не смерть, наоборот, это скорее способ уберечь божество, соблюсти дистанцию между ним и человеком, между конечным и бесконечным, поскольку «непосредственное соприкосновение для смертных так же невозможно, как и для бессмертных». То есть неопосредованное богоявление в чистом виде, как свидетельствуют трагедии, ведет к смерти или безумию человека. При таком чудовищном слиянии и сам Бог тонет в человеческом исступлении. Вот почему, дабы уберечь «святость» божества, необходимо «отдаление». Потому же закон требует, чтобы человек терпел «отсутствие» Бога, ибо только оно помогает и спасает. Для «катастрофически»[1] отброшенного на землю человека такое «отступничество» есть верх «благочестия». По этой логике богоявление мыслится каждый раз как преддверие богоотдаления или как испытание на пороге конечного: поскóльку конечная природа человека *без-божна*. Однако это же рассуждение предполагает наличие божественного начала в той самой истории, которую открывает богоявление (богоотдаление): боги отвернулись от мира — не грядет ли новый Бог?

Целану ближе именно такая идея. Он, несомненно, не может оплакивать «исчезновение священных имен». Бог, им подразумеваемый, — еврейский Бог, и Целан по собственному страшному опыту знает, к чему привели Германию (и всю Европу) носталь-

[1] «Катастрофа» по-гречески означает «переворот», так назывался момент развязки в греческой трагедии. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

гия по мифу и неистовое мифотворчество (оно не затронуло Гёльдерлина, но скомпрометировало Хайдеггера). Однако он прямо продолжает гёльдерлиновскую тему «последних времен» и чаяния новой религии. Или по меньшей мере сочувствует ей.

И даже если после «Розы Никому» упоминание о Боге становится все реже, даже если в том или ином стихотворении из этого сборника говорится о Боге, который «не приходит», все-таки сам Целан никогда не произносит того, что мне, читая его, хочется если не услышать, то хотя бы сказать за него: все кончено, Бог окончательно утратил имя. Нет, Целан все-таки оставляет возможность для молитвы.

3. И наконец: если эта возможность молитвы, пусть самая слабая, удерживается в стихах так настойчиво, не означает ли это, что между поэзией и молитвой существует некая, быть может необходимая, связь? Что поэзия по сути своей есть молитва и, наоборот, любая молитва есть поэзия?

Со второй частью этого предположения согласиться нетрудно: в конце концов, все божественные книги суть собрания стихов, и, главное, при обращении к Богу употребляется особый регистр языка. Не случайно Целан напоминает определение Мальбранша: «Внимание — это естественная молитва души». Рассуждение о сути поэзии потому притягивается к идее молитвы, что изначальной формой поэзии представляется призывание. Сама же молитва — что-то вроде истока поэзии. Но это и значит, что поэзия по сути своей есть молитва. Поясним эту мысль.

В «Меридиане»[1] сказано: «...я думаю, извечное чаяние поэзии — говорить <...> как бы *от другого имени* — или, как знать, может быть, *от имени Другого*»,— и трудно не догадаться, что в этой фразе подразумевается Бог. Бог, к которому обращено извечное чаяние, то есть к которому исконно устремлена поэзия. Тем самым поэзия посвящается Богу, суть ее определяется как слово, произнесенное во имя или ради Господа. Иначе говоря, как молитва.

Это относится ко всему творчеству Целана, исключая разве что последнее написанное им стихотворение, из сборника «Световолие» («Lichtzwang»), где есть такие слова: «со стержнем из Ничто, без бремени молитвы».

Впрочем, это «без бремени молитвы» — тоже молитва или ссылка на молитву. Перефразируя молитву Майстера Экхарта: «Будем молить Господа о том, чтобы пребывать свободными от Него и ничего Ему не должными», — Целан в другом стихотворении того же сборника, «Время неводов», просит Бога, чтобы *Он сам* положил конец страданию, сплошному страданию, каким является Он в нас и среди нас. Или даже так: чтобы Он положил конец той муке, которая тоже есть Он, муке смерти, и сделал нас «*свободными от смерти, свободными от Бога*».

Но у Целана «свободные от смерти» не может означать «смерть смерти», то есть, в гегелевской трактовке — смерть Бога (отмена Воскресения), а именно таково спекулятивное толкование этого высказывания. Целан хочет сказать другое: ничем более не обязанные смерти, не имея более перед ней долгов или уплатив ей сполна (намек вполне прозрачен), мы фактически квиты с Богом, «который <...> всего этого хотел, который <...> все это знал». «Без бремени молитвы» — это цитата из молитвы. Чья роль перешла теперь к стихам, которые произносит обездоленный, поверженный, низвергнутый, свидетельствуя тем самым, что «Бога больше нет», а не просто «Бога нет».

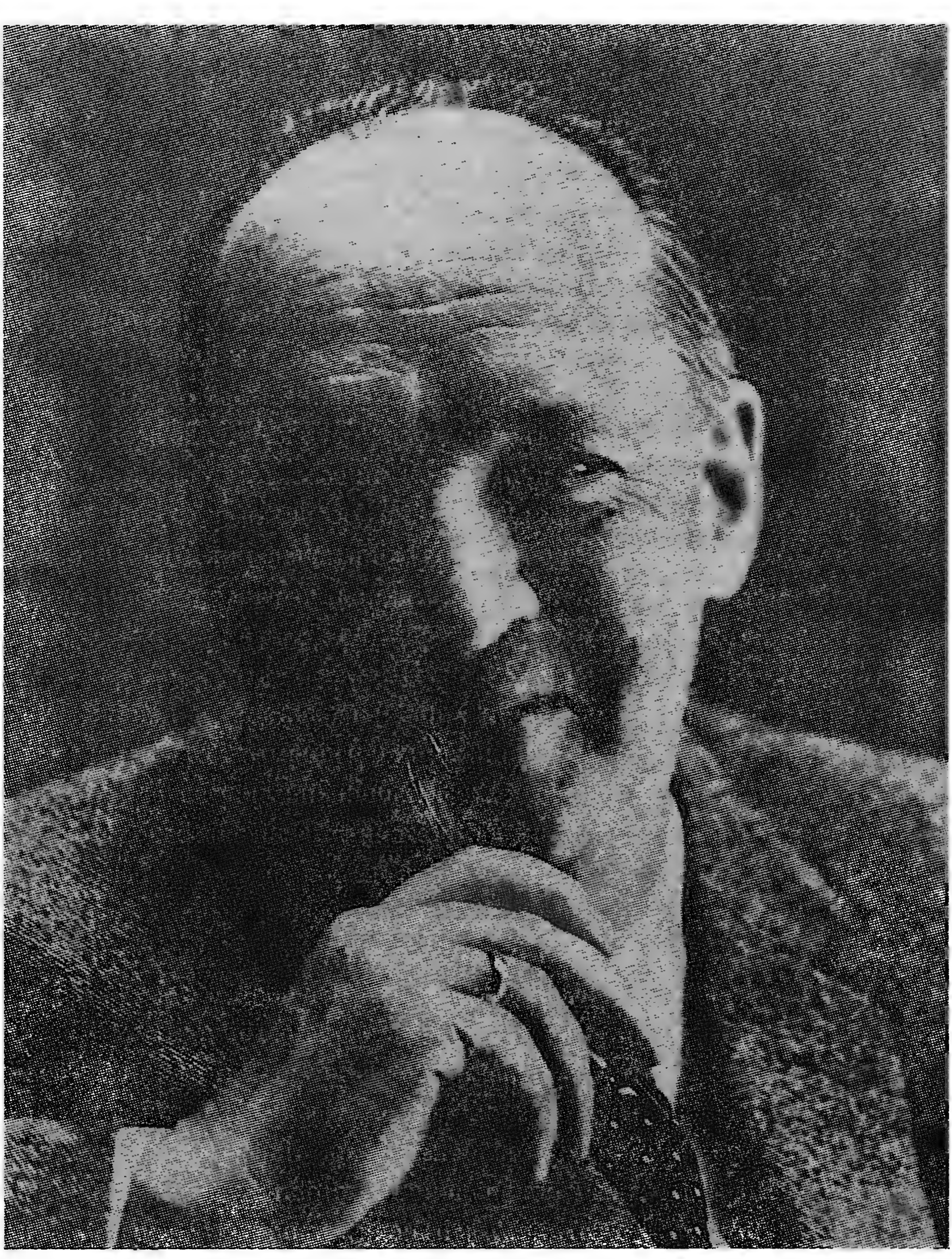
Если так, то можно сказать, что поэзия Целана — та точка, в которой поэзия перестала быть молитвой по сути. Или точнее: отреклась от молитвы.

---

[1] Одна из программных речей Целана.

ЛИТературный ГИД

Тень Набокова



Искусство, как известно, игра. Глубинное осознание зачинщиком игры, художником этого непреложного факта не всегда проходит безболезненно. Кто он, человек искусства, в конце-то концов: демиург или фокусник? Холод гордыни и жар самоуничижения, в которые время от времени бросает художника, объясняются в первую очередь двусмысленностью избранного им поприща. И бывает, что автор из лучших побуждений — будь то забота об общественном благополучии или страсть к объективной истине, к тому, «как оно есть на самом деле», — ополчается на свой же несерьезный род деятельности, на его условности и приемы и с неизбежностью впадает «в неслыханную простоту». Общество лишается художника, приобретая взамен моралиста, религиозного проповедника, политического агитатора. Но с другой стороны, творчество писателя, которому совершенно не в тягость постоянное пребывание в башне из слоновой кости, как правило, теряет насущность и, следовательно, обречено на поверхностное и даже снисходительное внимание ценителей литературы. Конфликт между жизнью понарошку и собственно жизнью неразрешим и чрезвычайно плодотворен. Многими шедеврами искусства человечество обязано дерзким — на грани безрассудства — игровым попыткам художественного вымысла освоить неокультуренную целину реальности.

Вопреки сказанному выше, герой нынешнего литературного гида «ИЛ», русско-американский писатель Владимир Набоков, искренне, последовательно и даже с вызовом не признавал конфликта поэзии и правды, «ересь» простоты не соблазняла его. И не потому, что Набоков неглубок, легковесен или олимпийски равнодушен, как иногда думают. Само противоречие между игрой искусства и тем, «как оно есть на самом деле», писатель счел несущественным и надуманным: его осенила догадка, что мир не бессмысленное движение материи, и не громоздкое воплощение запредельных истин, и не «пустая и глупая шутка», а *блистательный розыгрыш*. Опыт художника и натуралиста раз за разом утверждал Набокова в справедливости такого предположения. Особый склад таланта позволял Набокову с воодушевлением узнавать стихию игры — и в природе, и в личной судьбе, и в творчестве любимых писателей — и, разумеется, сделать игру первотолчком собственной художественной вселенной. Убеждение, что космос и сонет заведены одним и тем же ключом и «при всех ошибках и промахах внутреннее устройство жизни», как и устройство «точно выверенного произведения искусства <...> тоже определяется вдохновением и точностью», избавило Набокова от тоски по проклятым вопросам и почтения к ним, внушило уверенность в том, что, занимаясь творчеством, он зани-

мается очень насущным делом, имеющим непосредственное отношение к тайне мироздания, к механизму великой игры. Речь идет, говоря напрямую, о сокровенной перекличке творца с Творцом. Естественным образом в такой эстетизированной вселенной главное зло — пошлость во всех ее проявлениях: безвкусный поступок, расхожая фраза, плоская мысль, примитивная идеология или скудоумие массового энтузиазма равно грешат против мировой гармонии и поэтому отвратительны.

Именно максимализм артистических притязаний делает Набокова «своим» в русской литературе, как бы ни дорожил писатель собственной исключительностью и выстраданным одиночеством. Посмотрите, как расширительно и человечно толкует он понятие эстетического наслаждения: «... особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (то есть любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма». От пафоса этого и подобных ему набоковских высказываний не очень далеко и до затасканного до неприличия афоризма «Красота спасет мир». Еще ближе — к мечтательно-меланхолическому возгласу пушкинского Моцарта: «Когда бы все так чувствовали силу / Гармонии...». Можно назвать такой взгляд на вещи эстетическим гуманизмом.

Для Набокова творчество, эстетика, игровое начало не приправа к бытию, а суть его. Набоков не столько обнажает частные приемы своего искусства, сколько главный, на авторский взгляд, *всеобщий прием*, обнаруживает пружину, приводящую мир в движение. Таково мировоззрение писателя. Так Набоков против своей воли и вопреки темпераменту становится идеологом. Но его идеология предполагает наличие у прозелитов искры Божьей, подобному «учению» не грозит овладеть массами: «тогда б не мог и мир существовать», — продолжим цитату из «Маленьких трагедий».

Тексты, предлагаемые вниманию читателя, объединяет то, что все они, за исключением собственно набоковского эссе-мистификации, написаны под влиянием и обаянием игрового гения писателя. Влияние лестное, но неуютное: сопоставление с первоисточником неизбежно. Творчество Набокова отбросило на настоящее и будущее искусства густую и обширную тень. Кому-то она придется кстати, кому-то вконец заслонит белый свет. Набоков, как и всякий большой писатель, не дает рецептов творческой удачи — но показывает, каким надо быть, чтобы уметь сочинять такие рецепты самому.

С. ГАНДЛЕВСКИЙ

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

«Убедительное доказательство»

Последняя глава
из книги воспоминаний[1]

Две лежащие передо мной книги воспоминаний, из которых одна написана русским по рождению автором, ныне гражданином нашей страны, а другая внучкой великого американского педагога, представляют собой сочинения весьма хитросплетенные. Редко случается, чтобы два достижения подобного уровня попали на стол рецензента в один, практически, день.

Издание новой книги мистера Набокова приведет малую горстку его почитателей в небезосновательный восторг. При том, что слово «воспоминания» в ее подзаголовке выглядит вполне оправданным, «Убедительное доказательство» (называвшееся изначально «Память, говори») обладает некоторыми особенностями — не обязательно достоинствами, — которые отличают эту книгу от прочих известных нам автобиографий, вполне правдивых, правдивых более или менее и нарочито лживых. И если оригинальность ее не столь притягательна, как человеческое тепло, излучаемое каждой страницей книги мисс Браун «Когда цвела сирень», в ней, с другой стороны, сокрыты источники особого рода удовольствия, от которого не захочет отказаться ни один интеллигентный читатель.

Странного монстра, каким выглядит в ряду автобиографий книга мистера Набокова, легче описать, указав на то, чего в ней нет, нежели на то, что в ней есть. Она не содержит, к примеру, ни одного из тех многословных, бесформенных, хаотичных, тяжко опирающихся на дневниковые записи построений, которые с такой охотой возводят специалисты в иных областях искусства и люди, ведающие нашей общественной жизнью («Среда, около 11.40 вечера, позвонил генерал Имярек. Я сказал ему, что...»). Нет в ней и профессиональной писательской кухни, кусочков неиспользованного материала, плавающих в тепловатом взваре литературных и личных отходов. И что особо следует подчеркнуть, она не имеет ничего общего с широко распространенными гладкими воспоминаниями, авторы коих, овладев высоким слогом третьеразрядной беллетристики, с тихим бесстыдством скармливают читателю охапки диалогов (Молли и соседка, Молли и детки, Билл и Пол, Билл и Пикассо), которых ни единый человеческий мозг не способен сохранять в виде, хоть сколько-нибудь близком к тому, что нам подсовывают.

Автору этой рецензии представляется, что неотъемлемым достоинством «Убедительного доказательства» является происходящая в этой книге встреча безличной формы искусства с более чем личным повествованием о жизни писателя. Метод Набокова — это исследование отдаленнейших областей прошлой его жизни, проводимое в поисках того, что можно назвать тематическими тропами или течениями. Однажды обнаруженная, та или иная тема прослеживается на протяжении многих лет. И развитие ее приводит автора в иные, новые области существования. Ромбоидальный орнамент искусст-

---

[1] Стоит напомнить читателю, что воспоминания Владимира Набокова существуют в трех вариантах. Первый, вышедший в США в 1961 г., назывался «Убедительное доказательство. Мемуары» («Conclusive Evidence. A Memoir». В 1954 г. Набоков перевел эту книгу, значительно ее переработав, на русский язык — это «Другие берега». И наконец в 1965 г. появляется подвергшийся основательной переделке окончательный вариант книги — «Память, говори. Окончательный вариант автобиографии» («Speak, Memory. An Autobiography Revisited»). Публикуемая здесь в переводе «последняя глава» предназначалась Набоковым для «Убедительного доказательства», но по каким-то причинам не попала ни в одну из версий автобиографии и была напечатана в журнале «Нью-Йоркер» (со значительными, впрочем, сокращениями) лишь в конце 1998 г. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

© 1998 by Dmitri Nabokov
© С. Ильин. Перевод, 1999

ва и мускулы жилистой памяти создают, сочетаясь, сильное и гибкое движение, порождают стиль, зримо скользящий между цветов и травинок к теплому, плоскому камню, на котором он и сворачивается наконец во всей своей красе.

Ясно, что метод Набокова утратил бы все присущие ему достоинства, если бы материал, к которому он применяется, не был настолько точным отчетом о личных переживаниях, насколько то дозволяется памятью. Средства отбора предоставляет искусство, однако сам отбор производится из гущи подлинной жизни. Память Набокова, особенно в отношении первых двадцати лет его жизни, почти аномально крепка, и, вероятно, он столкнулся с меньшими трудностями, чем большинство мемуаристов, исполняя задачу, которую сам же перед собой и поставил: придерживаться истины, чего бы это ни стоило, одолевая искушение заполнить пробелы логически оправданными выдумками, выдаваемыми за любовно сохраненные воспоминания. В одном-двух случаях специально проводимое расследование показывало, что какие-то вещи были с самого начала запомнены неверно; порою память могла сбиваться с пути и, не сознавая того, почти уже сдаваться на милость надуманного оправдания, мгновенно высылаемого ей на помощь; так, внезапная вспышка фактической памяти позволила отказаться в настоящем издании от приведенного в «нью-йоркеровском» варианте двенадцатой главы туманного описания способа, которым достигло автора некое письмо, — внесение в эту главу кое-каких новых, никчемных на вид сведений попутно позволило памяти не без изящества отыскать в самом неожиданном месте то, что она потеряла. В другой же главе (в седьмой) Набоков вносит в свой рассказ, в качестве составной его части, затруднение, действительно им испытанное, — невозможность припомнить имя собачонки, имя, которое вдруг выбирается из тайной келейки разума в самом процессе письма.

Читатель, конечно, испытает немалое наслаждение, самостоятельно отыскивая изгибы, подспорья, разнообразные улыбчивые личины той или иной сквозящей в книге тематической линии. Среди них есть основные, но есть и множество подчиненных, и все они соединяются, заставляя вспомнить шахматные задачи и разного рода головоломки и стремясь в то же время раскрыться в некоем шахматном апофеозе, в единой теме, проступающей едва ли не в каждой главе: разрезные картинки; шашечница в фамильном гербе; определенные «ритмические узоры»; «контрапунктическая» природа судьбы; жизнь, «спутывающая в пьесе все роли»; шахматная партия, играемая на борту судна, пока Россия уменьшается вдали; романы Сирина; его увлеченность шахматным композиторством; «эмблематика» осколков древней глиняной посуды и финальная загадочная картинка, завершающая тематическую спираль.

Весьма обаятельна и тема «радуги», тема, которая начинается со случайного набора красок — цветных стекол, праздничной иллюминации, акварельных красок, драгоценных камней и тому подобного, а затем обретает самостоятельность, становясь самоцветной составляющей горного ландшафта или таясь за роняющими капли деревьями, под которыми отрока-поэта обуревает первый приступ отроческой версификации. Читатель получит удовольствие и прослеживая тему прогулок и тропок в усадебных парках и наследственных лесах, которая, зарождаясь в дубовой аллее, приводит к странным видениям Америки среди русских боров и торфяных болот и наконец удаляется в общественные парки и сады, чтобы из них выйти в море, к иным горизонтам. Быть может, самой трогательной темой книги является тема изгнания, к которой мне еще придется вернуться. В каком-то смысле Набоков прошел через все уныние и упоение ностальгии задолго до того, как революция разобрала декорации его юных лет. Он пытается показать нам, что детство его содержало, пусть и в уменьшенном масштабе, основные ингредиенты его творческой зрелости — примерно так же сквозь тонкий покров созревшей хризалиды различаешь в ее малых надкрыльях зачатки рисунка и красок, миниатюрное открове-

ние бабочки, которая явится вскоре на свет и расправит рдяные, узорчатые крылья, гораздо большие зачаточных.

Распутывание головоломок есть чистейшее, исконнейшее занятие человеческого разума. Все упомянутые мной тематические линии постепенно сходятся, зримо сплетаясь и сливаясь в изящном, но естественном соприкасании, в такой же мере являющемся функцией искусства, в какой и поддающимся проверке процессом в эволюции личной судьбы. Таким образом, к концу книги тема мимикрии, «защитного обмана», изучавшаяся Набоковым как энтомологом, в точно назначенный срок является на свидание с темой головоломок, с замаскированным решением шахматной задачи, со складыванием воедино орнамента на ивернях глиняной посудины и с загадочной картинкой, на которой глаз различает очертания новой земли. К этой же точке слияния сбегаются в спешке и прочие линии, как бы сознательно жаждая блаженного анастомоза, приготовляемого общими усилиями судьбы и искусства. Разрешение темы головоломок есть также и разрешение пронизывающей всю книгу темы изгнания, коренной утраты, и эти линии в свой черед сливаются с кульминацией темы радуги («спираль жизни в агате»), сходясь в не оставляющем желать ничего лучшего rond-point[1] с садовыми стежками, парковыми аллеями и лесными тропинками, вьющимися по всей книге. Ничего, кроме уважения, не способны внушить та ретроспективная проницательность, то напряжение творческой воли, которые потребовались от автора, чтобы спланировать книгу в точном соответствии с созданным неведомыми нам игроками планом его жизни, и ни в чем не уклониться от этого плана.

Владимир Набоков родился в Петербурге в 1899 году. Отец его, также Владимир, был человеком высокой европейской культуры, ученым и государственным деятелем, мужественным и бесстрашным бунтарем — братья и зятья отца представляли собой в лучшем случае покладистых консерваторов, а в худшем ярых реакционеров, он же присоединился к либеральной партии, противившейся и в Думе, и в повсеместно читаемых периодических изданиях самодержавным устремлениям и беззакониям, творимым царским режимом. Нынешние американские читатели, знания которых о царской России насквозь пропитаны советской пропагандой и просоветскими россказнями, распространявшимися здесь в двадцатые годы, пожалуй, удивятся, узнав из «Убедительного доказательства», насколько широкой была в предреволюционной России свобода слова и сколь многое удавалось сделать в ней цивилизованным людям.

Жизнь богатых землевладельцев, к которым принадлежали Набоковы, обладала определенным сходством с жизнью изобильного Юга нашей страны и даже бóльшим — с жизнью в поместьях Англии и Франции. Летние месяцы, которые автор еще ребенком проводил в деревне, по-видимому, наложили на него наиболее значительный отпечаток. Те места с их разбросанными среди необъятных лесов и топей деревнями, населены были довольно скудно, но бесчисленные стародавние тропы (таинственные пути, с незапамятной поры паутиной опутавшие всю Империю) не давали охотникам до лесной ягоды, бродягам и прелестным помещичьим детям заблудиться в лесу. И поскольку дороги, как и пустоши, к которым они вели и которыми проходили, большей частью оставались безымянными, помещичьи семьи, поколение за поколением, давали им прозвища, которые, благодаря французским гувернанткам и учителям, естественным образом закреплялись в детском сознании во время ежедневных прогулок и частых пикников — Chemin du Pendu, Pont de Vaches, Amerique[2] и тому подобное.

---

[1] Место пересечения двух и более тропинок (*франц.*).
[2] Тропа висельника, Коровий мосток, Америка (*франц.*).

Автор «Убедительного доказательства» и, по приятному совпадению, автор книги «Когда цвела сирень», были старшими из пяти детей. Однако, в отличие от мисс Браун, Набоков говорит о двух своих братьях и двух сестрах, родившихся соответственно в 1900, 1911, 1903 и 1906-м, совсем мало. Могучая сосредоточенность на собственной личности, этот акт неутомимой и несгибаемой художнической воли, неизбежно влечет за собой определенные последствия, и названное мной обстоятельство является, несомненно, одним из них.

С разрешения автора я позволю себе упомянуть здесь некоторые из моих случайных встреч с членами его семьи. Двоюродный брат его, также ставший гражданином нашей страны, рассказывал мне, что в юности младшие братья и сестры Набокова со сверхъестественной легкостью (общей для бесчисленных молодых россиян того поколения) писали лирические стихи. Вспоминаю, как на одном литературном вечере в Праге, где-то в начале двадцатых (вероятно, в 1923-м), друг Франца Кафки, ————, талантливый чешский переводчик Достоевского и Розанова, указал мне на мать Набокова, маленькую седую женщину в черном, которую сопровождала юная девушка с влажными глазами и лучезарной кожей, то была сестра Набокова, Елена. В тридцатых мне, жившему уже в Париже, довелось встречаться с братом Набокова, Сергеем; несмотря на меньшую года разницу в возрасте, эти двое, судя по всему, с раннего отрочества жили каждый своей, особливой жизнью — учились в разных школах, дружили с разными людьми. Когда я узнал Сергея, он уже с головой погрузился в гедонистический туман, окутывавший монпарнасскую толпу, которую так любят описывать американские авторы определенного толка. Лингвистическая и музыкальная одаренность его разжижалась вялостью натуры. У меня есть основания полагать, что детство Сергея было далеко не таким счастливым, как детство любимого сына его родителей. Обвиненный в англосаксонских симпатиях, Сергей, человек при всей женственности его обличия прямой и бесстрашный, был арестован немцами и в 1944 году умер в концентрационном лагере.

На прекрасных страницах книги «Когда цвела сирень», повествующих о самых ранних воспоминаниях мисс Браун, она говорит о надежной устойчивости мира, в котором процеживание кленового сиропа или мамин именинный пирог были столь же обычными и вечными, столь привычными и милыми сердцам нынешних новоанглийских патрициев и филадельфийских князьков, сколь и сердцам их простых, трудолюбивых пращуров, живших за два-три поколения до них. Напротив, мир набоковского прошлого отличался странной, светозарной хрупкостью, также ставшей одной из тем его книги. Набоков с редкостной проникновенностью подчеркивает удивительные предвидения дальнейших утрат, которые томили его в детстве при всех чарующих радостях оного. В его петербургской детской висела на видном месте картинка «в ярком английском стиле, используемом для охотничьих сцен и тому подобного и столь идущем разрезным картинкам»; на ней с оправданным юмором изображалась семья французского дворянина в изгнании: покрытый ромашками луг, корова где-то поодаль, синее небо и толстый старый вельможа в камзоле с искрой и сургучного тона штанах, сокрушенно сидящий на доярочьей скамеечке, между тем как жена и дочери его развешивают по бельевой веревке изысканных цветов постирушку. В сельском поместье Набоковых родители автора, словно бы воротившись домой после многолетней отлучки, показывали ему то там, то сям милые вехи давних событий, скрывшихся в складках неощутимого, но почему-то вечно присутствующего прошлого. В кипарисовых аллеях крымских парков (где за сто лет до него прогуливался Пушкин) молодой Набоков дразнил и развлекал свою подружку, комментируя собственные слова и поступки в отчасти жеманной манере, которую спутнице его предположительно предстояло усвоить многие годы спустя, когда она уся-

дется за свои мемуары (выдержанные в духе воспоминаний о Пушкине): «Набоков любил вишни, особенно спелые», или «Ему было присуще обыкновение щуриться, глядя на заходящее солнце», или «Помню, как-то ночью мы с ним возлежали на муравчатом бережку» и так далее; игра, разумеется, глупая, но отчего-то кажущаяся менее глупой теперь, когда и ей нашлось место в узоре предсказанных утрат, — трогательная попытка удержать обреченную, уходящую, обаятельно умирающую жизнь, отчаянно пытающуюся помышлять о себе на языке будущих воспоминаний.

Когда весной 1917-го разразилась революция, Набоков-старший вошел во Временное правительство, а затем, после установления большевицкой диктатуры, стал на хрупком, но еще свободном Юге членом другого правительства, протянувшего совсем уж недолго. Группа, к которой принадлежали образовавшие его русские интеллигенты — либералы и некоммунистического толка социалисты, — разделяла основные воззрения западных демократов. Впрочем, сегодняшние американские интеллектуалы, получившие сведения о русской истории от коммунистов и из подкармливаемых ими изданий, не знают о том периоде практически ничего. Большевицкие историки, естественно, принижают предреволюционную борьбу демократов, почти не упоминая о ней, грубо ее искажая и осыпая пропагандистской бранью («реакционеры», «лакеи», «рептилии» и т. п.), — примерно так же нынешние советские журналисты аттестуют удивленных американских чиновников «фашистами». Удивление это запоздало лет на тридцать.

Читатели книги Набокова, конечно, заметят разительное сходство между нынешним отношением к Советской России былых ленинистов и огорченных сталинистов нашей страны и непопулярными воззрениями, излагавшимися в эмигрантской печати русскими интеллигентами в течение трех последовавших за большевицким переворотом десятков лет — как раз в то время, когда наши восторженные радикалы радостно раболепствовали перед Советами. Приходится признать, что политические авторы эмиграции либо на много лет опередили свое время в понимании истинного духа и неизбежной эволюции советского режима, либо обладали интуицией и даром предвидения, граничащими с чудотворством.

Мы живо представляем себе университетские годы мисс Браун. Не то с автором «Убедительного доказательства», ибо Набоков решительно ничего не говорит о занятиях, которые он должен же был посещать. Покинув Россию на самой заре советской эры, Набоков завершил образование в Кембриджском университете. С 1922 по 1940-й он жил в разных частях Европы, преимущественно в Берлине и в Париже. Кстати, любопытно сравнить жутковатые впечатления, оставленные Берлином, каким он был между двумя войнами, в Набокове, с современными, но гораздо более лиричными воспоминаниями мистера Спендера[1] (пару лет назад напечатанными в журнале «Partisan») — в особенности с тем их местом, где говорится о «безжалостно красивых германских юношах».

Описывая свою литературную деятельность в годы европейского изгнания, мистер Набоков использует отчасти раздражающую манеру говорить о себе в третьем лице, как о «Сирине» — это литературный псевдоним, под которым он был, да и остается, известным в ограниченном, но весьма образованном и разборчивом мире русских экспатриантов. Разумеется, верно, что Набоков, практически распрощавшийся с русской литературой, волен обсуждать сочинения Сирина отдельно от своих собственных. И все же невольно начинаешь думать, что истинная его цель состоит в попытке спроецировать свою личность или по меньшей мере заветнейшую часть ее на создаваемое им полотно. Все это напоминает о тех проблемах «объективности», которые ставит перед нами фило-

[1] Воспоминания поэта и литературного критика Стивена Спендера (1909—1995) «Мир в мире» вышли отдельным изданием в том же 1951 г., что и «Убедительное доказательство».

софская наука. Наблюдатель выстраивает детальную картину Вселенной как целого, но, завершив ее, осознает, что в ней все же кое-чего не хватает: его собственного «я». Он вставляет в картину и себя самого. И тем не менее «я» остается внешним по отношению к картине — и так далее, в бесконечной последовательности проекций, как на рекламных картинках, изображающих девушку, держащую в руке свой портрет, на котором она держит в руке свой портрет, на котором она держит в руке картинку, которую лишь крупнозернистость печати не позволяет нам разглядеть.

На самом деле Набоков пошел на шаг дальше и под личиной Сирина спроецировал персону третьего порядка, названную им Василием Шишковым. Поступок этот стал итогом десятилетней распри между ним и самым даровитым из эмигрантских критиков Георгием Адамовичем, поначалу отвергавшим, затем неохотно принявшим и наконец полюбившим, подобно многим иным, увлекательно красочную прозу Сирина, продолжая, впрочем, осмеивать его стихи. Набоков-Сирин при задорной поддержке редактора журнала укрылся под именем Шишкова. В августе 1939 года Адамович, рецензируя в русской газете «Последние новости» (издававшейся в Париже) шестьдесят девятый номер ежеквартальника «Современные записки» (также издававшегося в Париже), осыпал непомерными хвалами стихотворение Шишкова «Поэты» и заявил, что русская эмиграция хоть и с запозданием, но породила наконец великого поэта. Осенью того же года в той же самой газете Сирин подробно описал воображаемый разговор между ним и «Василием Шишковым». Адамович в своем неуклюжем, но задиристом ответе усомнился в том, что стихотворение было подделкой, добавив, впрочем, что Сирин, судя по всему, достаточно изобретателен, чтобы подделать вдохновение и одаренность, намного превосходящие его, Сирина, возможности. Вскоре после этого вторая мировая война положила конец русской литературе в Париже. Боюсь, мне не всегда удается поверить автору «Убедительного доказательства», когда он, вспоминая о своей литературной карьере, подчеркивает совершенное безразличие, которое неизменно питал к критике — и враждебной, и хвалебной. Во всяком случае, в собственных его критических статьях проступает порою нечто неприятное, мстительное, а то и попросту глупое.

Как узнаем мы скрытую в словах великую тайну? Мы видим, что иностранцу обычно не удается обрести совершенное, прирожденное чувство их сущностного значения. Жизнь его не протекала с младенчества в тихом, бессознательном усвоении их, он не ощущает того, как один мир втекает в другой, как один век — с его письменностью, его внеписьменной традицией и общим стилем ведения беседы — сливается с другим. Мисс Браун в прекрасных, сострадательных, напряженно женственных поисках, ведомых ею в королевстве утраченных вещей, приходится одолевать на одно препятствие меньше, чем Набокову. Да, разумеется, у русского автора были в детстве английские гувернантки, да, он провел три университетских года в Англии. Вспоминать Конрада в связи с написанными по-английски романами Набокова («Подлинной жизнью Себастьяна Найта» и «Под знаком незаконнорожденных») значит упускать истинную суть достижений последнего. Конрад, английский слог которого, что бы о нем ни говорили, представляет собой собрание высокочтимых штампов, начиная свою английскую карьеру, не имел за спиной двадцати лет напряженной работы в польской литературе. С другой стороны, Набоков, когда он перешел на английский, был автором нескольких романов и изрядного количества рассказов, написанных им по-русски, автором, завоевавшим прочное место в русской литературе, даром что на родине книги его запрещались. Пожалуй, единственное сходство между Конрадом и Набоковым состоит в том, что оба могли с одинаковым успехом избрать не английский язык, а французский. И в самом деле, первой, предпринятой в середине тридцатых, попыткой оригинальной прозы на чужом для Набокова языке стал

написанный им по-французски рассказ («Мадемуазель О»), напечатанный Поланом в «Мезюр». (Английский его вариант, из которого автор выполол большую часть литературного вымысла, появился в «Атлантик мансли» и был затем перепечатан в сборнике «Девять рассказов». В новой, отредактированной и расширенной версии, из которой устранились и последние вымыслы, рассказ этот, приняв окончательный вид, обосновался в обсуждаемой книге в виде пятой ее главы).

У рецензента сохранились смутные воспоминания о лекции, прочитанной Набоковым на блестящем французском в ходе одного soirée littéraire[1] — то был 1937-й, по-моему, год — в парижском концертном зале. Венгерская писательница — ныне забытая, но в ту пору бывшая модной авторессой французского бестселлера (что-то про кота-рыболова), которой предстояло выступить на том вечере, за несколько часов до его начала прислала телеграмму с извещением, что прийти не сможет, и Габриель Марсель, один из организаторов этих вечеров, уломал Набокова прочитать в виде подмены французский доклад о Пушкине[2] (впоследствии опубликованном в «Нувель ревю франсез» («Nouvelle revue française»). Acte gratuite[3] (если повторить очаровательную ошибку мистера Одена) докладчика предварилась бурным движением, своего рода водоворотом в публике. Билеты на вечер купила вся венгерская колония; некоторые из ее представителей, узнав о перемене в программе, покинули зал. Другие венгры, храня блаженное неведение, остались. Большая часть французского контингента также удалилась. За кулисами венгерский посланник с силой тряс руку Набокова, приняв его за мужа писательницы. Наспех призванные русские эмигранты старались как могли залатать зияющие в зале прорехи. Верные друзья Набокова Поль и Люси Леон привели с собой в качестве особого сюрприза Джеймса Джойса. Первый ряд оккупировала венгерская футбольная команда.

Ныне мистеру Набокову странно, я думаю, вспоминать причудливые литературные события его молодых лет. Теперь он живет с женой и сыном в нашей стране, как ее гражданин, живет, сколько я знаю, счастливо, приняв простую личину неприметного профессора литературы и посвящая долгие отпуска охоте на бабочек в западных штатах. В кругах лепидоптерологов он известен как отчасти эксцентричный систематик с устремлениями более аналитическими, нежели систематологическими. Он опубликовал в американских научных журналах несколько статей, описывающих сделанные им открытия новых видов и типов бабочек, и в соответствии с научной традицией, производящей столь сильное впечатление на несведущих репортеров, другие энтомологи называют бабочек, дневных и ночных, в его честь. Образчики набоковских типов бабочек хранятся в нью-йоркском Американском музее естественной истории и в гарвардском Музее сравнительной зоологии. При моем посещении последнего мне показали несколько крохотных ночниц, открытых Набоковым в 1943-м в горах Уосатч, штат Юта. Одной из них Макданнах дал имя Eupithecia nabokovi — восхитительно приятное разрешение тематической линии «Убедительного доказательства», связанной с рассказом Набокова о том, как страстно мечтал он в отрочестве открыть нового представителя именно этой группы.

Возможно, стоит упомянуть и о некоторых чисто технических особенностях этой книги. Транслитерирование русских слов доставило Набокову определенные хлопоты. Чтобы не противоречить самому себе, ему следовало бы писать «Tolstoj» (что рифмуется с «домой»), «Dostoevskij», «Nevskij» и т. д. — как и «Chehov» вместо «Chekhov», — однако он предпочел сохранить за хорошо известными именами их привычную форму (постоянно, впрочем, используя в окончаниях «i»). Для весьма специфического звука —

---

[1] Литературный вечер (*франц.*).
[2] Имеется в виду эссе Набокова «Пушкин, или Правда и правдоподобие».
[3] Здесь букв.: «неожиданная выступления» (*франц.*) Оден ошибочно употребил второе слово в женском роде, переведя в него и первое. Набоков еще раз припомнил эту ошибку в «Аде» (I.39).

наполовину «i», наполовину «u», — не имеющего в западноевропейских языках точного соответствия, повсюду, где «i» или «j» могли бы вступить в противоречие с привычным написанием, используется «y» (единственное исключение составляет «Yalta»).

Двенадцать глав «Убедительного доказательства» были напечатаны в журнале «Нью-Йоркер», и здесь рецензент, осведомленный о том, как это происходило, хотел бы кое-что объяснить. Прежде всего, сравнивая настоящий текст с опубликованным в «Нью-Йоркере», замечаешь, что во многих случаях (особенно приметные примеры дают главы 3, 6, 10 и 12) Набоков, работая над книгой, добавил новые куски — экскурсы в историю своих предков, описание невзгод, испытанных им во время охоты на бабочек в Европе, вставки, содержащие упоминания о Поленьке, множество новых подробностей касательно жизни в Петербурге и на Крымской Ривьере. Сверх того, во всех этих главах присутствует и множество иных изменений, порожденных где более, где менее основательной их переработкой.

Засим, имеют место куда менее важные расхождения между настоящим текстом и тем, что напечатан в «Нью-Йоркере», объясняющиеся тем, что автор восстановил несколько отдельных слов и словосочетаний, исключенных — с его неохотного согласия — «Нью-Йоркером» либо по причине «семейного характера» этого журнала (речь идет о завершении 3-й главки десятой главы), либо потому, что «Нью-Йоркер» пессимистически полагал, будто непривычное слово может вызвать досаду у его наименее мозговитого читателя. В последнем случае мистер Набоков сдавался далеко не всегда, что имело следствием некоторое количество пылких сражений. Кое-какие из них, к примеру Битву Пальпебральной Ночи, Набоков проиграл. В других победил он.

И наконец, существует вопрос грамматической правильности. Редактирование этого рода, да, собственно, и какого угодно другого Набоков воспринял бы как чудовищное оскорбление, если бы «Современные записки» — в былые дни — попросили у Сирина разрешения внести какие-нибудь изменения в любое из предложений его русской прозы. Но в качестве англоязычного писателя Набоков всегда чувствовал себя неуверенно. При всей энергии и живости его английского языка, он допускает порою солецизмы, некоторые из которых способны изумить всякого, кому известна общая его изощренность. Вследствие этого незначительные усовершенствования, предлагавшиеся «Нью-Йоркером»: исправленье инверсии, подпорки для какого-нибудь опасно провисшего термина, разбивка слишком длинного предложения на два, ритуальное преобразование «which» в «that», принимались мистером Набоковым со смиренной благодарностью. И однако ж какие перепалки возникали обычно, если редактор по недосмотру нарушал драгоценный ритм фразы, или неверно истолковывал аллюзию, или старался заменить собственными именами каждое из «он», «она» и «мы», забредавших в следующий абзац, заставляя читателя скрести свой некрупный затылок. И если нужен пример более специфический, укажем на синдром Опущенного Антецедента[1], возникавший снова и снова и приводивший к потасовкам, в ходе которых мистер Набоков, анти-антецедентонист с большим стажем, нередко терпел поражения, но также и одержал несколько славных побед.

Создается впечатление, что в самом начале сотрудничества Набокова с «Нью-Йоркером» редакторские попытки прояснить кажущиеся двусмысленности и причесать его прозу знаменовались большей частотой и беспечностью, чем на последних этапах. Автор испускал страдальческие вопли и что-то бубнил о презренности стараний приладиться ко вкусам журнала. Но постепенно редакционный отдел осознал, что труды, затрачиваемые им на возведение прочного моста, соединяющего две мысли, лежащие, как представлялось поначалу, в разных пригородах сознания, оказываются, при всей их благонамеренности, не-

[1] Антецедент — существительное или его эквивалент, к которому относится последующее местоимение.

нужными, поскольку автор лишь предпринимает еще пущие усилия, чтобы разрушить либо раскамуфлировать упомянутый мост, который только портит общий пейзаж.

Однако пора показать читателю и оборотную сторону описанного. Замечательная благожелательность, нежная и любовная заботливость — вот чем отмечались все редакторские запросы. В нескольких случаях, когда от автора твердо требовали произвести болезненные для него изменения фразировки, ему предлагались на рассмотрение словесные «подмены», но при этом идея состояла в том, что Набоков сам найдет чем заменить слова, вызвавшие возражения редактора. Впрочем, после того как глава принималась журналом, автор получал право отвергать любые предлагаемые ему подстановки и изъятия. Объяснения и дополнения, о которых время от времени просил мистер Росс («Сколько все-таки ванных комнат было в доме?»), нередко предоставлялись мистером Набоковым, что приводило к появлению новых восхитительных абзацев. Кэтрин Уайт, которая переписывалась с автором по всем этим вопросам, взяла на себя бесконечные хлопоты по выверке каждого апострофа, каждой запятой, по разглаживанию складок на помятом самолюбии автора, по сохранению набоковской прозы в неприкосновенности. Прекрасным доказательством гармонического согласия между автором и редактором является тот факт, что Набоков с алчностью усвоил как большинство поправок, относящихся до его норовистого синтаксиса, так и принятую в «Нью-Йоркере» прекрасную «замкнутую» систему пунктуации. И последнее, но далеко не самое малое — восхитительный справочный отдел «Нью-Йоркера» несколько раз спасал мистера Набокова, который, по всей видимости, сочетает со своим педантизмом развитую рассеянность, от разного рода ошибок по части имен, дат, названий книг и тому подобного. Время от времени возникали сопровождавшиеся забавной перепиской препирательства относительно сведений, полученных этим отделом. Одно из них касалось трубы атлантического лайнера «Шампелен». Набоков отчетливо помнил, что труба была белая. Сотрудник «Нью-Йоркера» связался с Французскими пароходными линиями: ему сказали, что в 1940 году «Шампелен» еще не получил защитной окраски и труба его была, как и полагалось на этих линиях, черно-красной. Набоков ответил, что готов вообще опустить эпитет, но ничто не заставит его изменить столь ясно запомнившийся цвет. Быть может, военные власти Сен-Назера, предположил он, перекрасили эту штуковину, не известив о том нью-йоркский офис Французских линий.

Я уделил столько места обсуждению отношений Набокова с «Нью-Йоркером» потому, что, на мой взгляд, читателю следует знать, как обстоит дело, и сделать собственные выводы. Основной вопрос — вопрос о честности автора — навряд ли может ставиться вообще, если редактор в состоянии доказать, что любимое предложение автора проникнуто дурной грамматикой и должно быть исправлено до того, как журнал приобретет его сочинение. С другой стороны, и журнал может недооценивать средние возможности своего потребителя, позволяющие тому усваивать аллюзивную, уклончивую, завуалированную прозу, — и в этом случае автор, как мне представляется, уступать не вправе, какие бы финансовые разочарования его неуступчивость за собой ни влекла.

Грациозность и вкус Барбары Браун, чистота и простота ее слога, искристого, как новоанглийский ручеек, суть качества, решительно не присущие автору «Убедительного доказательства». Некоторые особенности манеры Набокова не могут не внушать раздражения, я говорю о беззаботном использовании названий, присвоенных малоизвестными учеными малоизвестным недугам, об общей его тенденции углубляться в эзотерические переживания, о его способе транслитерирования (он использует вполне приемлемую систему передачи русской речи и совершенно иную, обезображенную

компромиссами систему передачи имен) или о таких причудах, как внезапное цитирование шахматной задачи (без указания решающего ее хода, а именно — слон на ...). Впрочем, поклонники Набокова могут возразить мне, что автор «Алисы в Зазеркалье» поместил на фронтисписе этой книги восхитительную шахматную задачу, которой навряд ли смогли насладиться многие из *его* маленьких читателей.

И еще одно несомненно уязвит определенной разновидности читателя (принадлежащего, в культурном смысле, к вышесреднему классу) — позиция, занятая Набоковым по отношению к таким писателям, как Фрейд, Манн и Элиот, коих традиция и хорошие манеры учат нас уважать не меньше, чем Ленина и Генри Джеймса. Еще с двадцатых годов Набоков упражняется в грубых шуточках по адресу онейромантии и мифотворчества психоанализа. Томаса Манна он помещает в подсемейство Жюля-Ромена-Роллана-Галсворти, где-то между Эптоном и Льюисом: «Ромен, — как он неуважительно выражается, — математически равен Синклеру». При виде вышесреднего критика, ставящего гипсовых Манна и Элиота в один ряд с мраморными Прустом и Джойсом, Набоков буквально заходится в припадке саркастического веселья. Немного найдется людей, которые согласятся с ним в том, что поэзия Элиота по существу своему банальна. Как замечательно говорит где-то мистер Клинт Брук, «обратил ли мистер Элиот внимание на этот пассаж или нет (речь идет о каком-то месте в труде бедной мисс Уэстон), собирался ли он ответить на него или не собирался, надругательство над женщиной есть *превосходный символ* (курсив мой) процесса секуляризации». Мне кажется, Набоков попросту упражняется в остроумии, когда говорит, что широкий успех последней пьесы Элиота принадлежит к тому же порядку вещей, что и «зоотизм, экзистенциализм и Тито», и разумеется, всякий, чья муза, урожденная Элиотович, столь звонко звучит в тощих журналах, истово согласится со мною в том, что отзываться о Т.С.Э. как о «Уолли Симпсоне[1] американской литературы» значит проявлять на редкость дурной вкус. Я не говорю уже о презрении Набокова к Достоевскому, вызывающем содрогание во всяком русском и неодобрение в академических кругах величайших наших университетов. Возможно, невосприимчивость Набокова к сентиментальным культам американской критики вынесена им еще из двадцатых и тридцатых годов и связана с тем, что в ту пору Zeitgeist[2], никак не затрагивал аскетического мира русских изгнанников, далекого от «Века джаза» и модных течений эпохи, предшествовавших Депрессии.

И все же при всех его недостатках «Убедительное доказательство» остается значительным вкладом в нашу литературу. Это «доказательство», являющееся «убедительным» в отношении множества вещей, и наиболее очевидна из них мысль о том, что мир наш не так уж и плох, как кажется. Нам следует поздравить мистера Набокова с тем, что он проделал работу столь же основательную, сколь и необходимую. Его мемуарам предстоит занять на книжных полках знатоков постоянное место в одном ряду с «Детством» Льва Толстого, «Молельным углом» Т.С. Элманна и «Когда цвела сирень» Барбары Браун, которой я теперь и займусь.

Перевод с английского С. ИЛЬИНА

■

[1] Отсылка к эссе Элиота «Идеальный критик», в котором Элиот говорит об «импрессионистской критике» Уоллеса Симпсона. Не исключена также отсылка к дважды разведенной вдове Уоллис Симпсон (Элиот, родившийся в Америке, перебрался в Англию и стал знаменитым поэтом, которого Америка числит среди своих выдающихся людей), ради женитьбы на которой король Англии Эдуард VIII отрекся в 1936 г. от трона.

[2] Дух времени (*нем.*).

ЧАРЛЬЗ КИНБОТ

Серебристый свет

Подлинная жизнь Владимира Набокова[1]

НАЧАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ РОМАНА

Перевод с английского и послесловие С. ИЛЬИНА

Обычай требует, чтобы труд подобного рода предварялся «благодарностями», то есть ученой версией luche-culisme *(или похлопывания по плечу — поясняю для читателей, обладающих чрезмерной ранимостью или не владеющих французским), когда автор, неуклюже изображая смирение, перечисляет людей и организации, с коими ему пришлось консультироваться, и дает понять, а зачастую и прямо указывает, что, хотя все эти милые люди сыграли немалую роль в придании книге ее окончательного вида, никто из них не несет ответственности за какие бы то ни было промахи и глупости, в ней присутствующие, — за таковые надлежит отвечать одному только автору.*

Я предпочитаю, вопреки протестам моего издателя, мистера Эдмундса, воздержаться от исполнения этого утомительного обряда.

Каждое слово, каждая мысль, каждый знак препинания, содержащиеся в этом труде, принадлежат исключительно мне, за вычетом тех случаев, в которых веления скрупулезной учености заставляют меня оговорить иное. Разумеется, доводя мое сочинение до окончательного совершенства, я руководствовался замечаниями (как прошеными, так и непрошеными) немалого числа людей, но лишь в той мере, в какой замечания эти способны были послужить симптомами

---

[1] Автор романа «Серебристый свет» Чарльз Кинбот (настоящее имя Карл-Ксаверий-Всеслав) родился в Онгаве, столице Земблы (некоторыми называемой также «Зембля»), в 1915 году. Родителями его были король Альфин (1873—1918) и королева Бленда (1878—1936). Маленький Карл-Ксаверий получил домашнее воспитание, которому влияние дяди его, Конмаля, блистательного переводчика Шекспира и Киплинга, придало отчетливую гуманитарную окраску. Довольно сказать, что, уже вступив на трон (в 1936-м), Карл-Ксаверий инкогнито преподавал в Онгавском университете мировую литературу.
Земблянская революция, разразившаяся в 1958 г. не без содействия раскинувшегося на два материка южного соседа Земблы, лишила Карла-Ксаверия трона. Он был арестован, но смог бежать из-под стражи и в конце концов осел под новым именем (Чарльз Кинбот) в США, в университетском городке Нью-Вай, где продолжил преподавательскую деятельность. Этот период его жизни ознаменовался теплой дружбой с выдающимся американским поэтом Джоном Шейдом, также преподававшим в Нью-Вайском университете. Дружба, продлившаяся всего около полугода (в июле 1959-го посланный земблянским правительством убийца стрелял в Кинбота на пороге его дома, но промахнулся и убил Шейда), оставила, однако же, значительный след в современной литературе — благодаря случайному стечению обстоятельств, Кинбот стал обладателем рукописи последней, только-только завершенной Шейдом поэмы «Бледное пламя», которую и издал со своими интереснейшими комментариями.
В дальнейшем след Кинбота, небезосновательно опасавшегося новых покушений на свою жизнь, на несколько лет теряется. Судя по всему, он не оставил литературных трудов. Он по-прежнему полон сил (о чем определенно свидетельствует первая глава романа) и планов. Обо всем остальном лучше нас расскажут публикуемые ниже главы его нового романа, являющегося одновременно научной монографией.
Стоит также сказать, к сведению тех, кто еще не знаком с творчеством Чарльза Кинбота, что он, подобно многим эстетам, придерживается не вполне стандартной сексуальной ориентации, отдавая дань тому, что сам он называет «нашими мужественными земблянскими обычаями». Говорю это не в осуждение ему, но для осведомления читателей, которых могут озадачить некоторые пассажи предлагаемого их вниманию произведения.
И наконец, о системе ссылок, использованной при данной публикации романа. Число в квадратных скобках отсылает нас к комментариям автора, расположенным в конце соответствующей главы. Число в круглых скобках — к странице обсуждаемой книги. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

© Jeff Edmunds, 1999
© С. Ильин. Перевод и послесловие, 1999

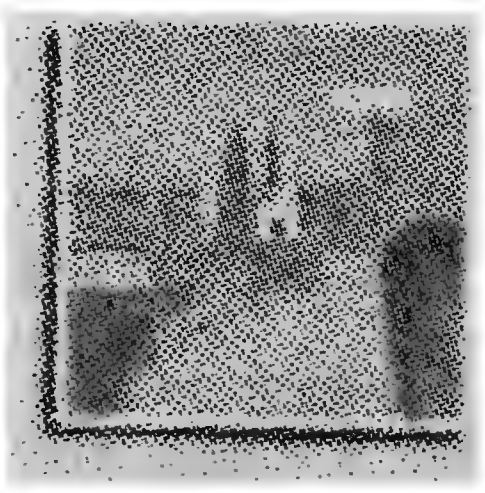
того именно тягостного вздора, какого я старился избежать. Наиболее распространенным средь них оказалось чопорное «Это непозволительно» — произносимое с таким видом, точно моя книга нарушает некий существующий с незапамятных времен закон Вселенной. При всем их брюзжании относительно институционных ограничений свободы мысли и деятельности, мои коллеги-ученые (и даже многие из вас, самозваные «набоковеды») обнаруживают, столкнувшись с причудливыми плодами моих изысканий, замашки завзятого цензора.

Немного существует на свете вещей, наводящих на интеллигентного человека тоску пущую той, какую испытываешь, обнаружив, что сообщество предположительно просвещенных эрудитов является, в сущности говоря, оравой вздорных скудоумцев.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

При посещенье могилы Набокова

Написание биографии есть разновидность убийства.
Дж. Тенье



Кладбище в Монтре
Фотография Г. Барабтарло

Погост, именуемый *Centre Funéraire St. Martin,* ограничен с трех сторон кованой решеткой (черные прутья которой расставлены достаточно широко для того, чтобы меж ними пролез некрупный ребенок), а с четвертой — сосновым и березовым лесом, простирающимся до вершины холма и уходящим с нее на шесть с половиной километров к северу, к правому берегу озера Леман[1]. Калитка, как правило незапертая, перегораживает гравистую дорожку, что начинается от верхней площадки лестницы, состоящей из нескольких смежающихся маршей (равных в ширину, но розных в высоту) цементных ступеней, и после вьется по подъему холма между и вкруг фигурно остриженных вечнозеленых кустарников и подроста карликовых сосен. За калиткой дорожка разделяется надвое и каждое ее ответвление тянется меж надгробий, мавзолеев, увядших букетов, крошечных красных с белым флажков над ничем иным не отмеченными участками. Ночами белые камушки ее, кажется, источают призрачное свечение. Светляки летят, перемигиваясь, вдоль смутного, черного задника леса. Некий мучимый бессонницей сверчок испускает вдруг одинокий стрекот.

21 июля 1977 года небо, набитое бесформенными облаками, нависало низко, но лунного света за ними хватало и для создания смутных теней, и для тусклого посверка золотого перстня с печаткой на одном из моих пальцев. Под левой мышкой я нес завернутые в дерюгу орудия упыря: лопату, киркомотыгу и вагу. Я шел беззвучно и споро. Из близкого леса тянуло бодрящей прохладцей. Преклонив колена на влажноватой земле, я развернул сверток и рядком разложил инструменты. Выбранный мною участок (выбор основывался на ответах, полученных на вопросы, заданные кое-кому из не ведавших кто я такой друзей Мастера, и на сложноватых манипуляциях, включавших в себя отсчет шагов и попытки постоянно держать луну за спиною, за левым моим плечом) граничил с другим, занятым относительно недавно — травинки, которыми порос его низкий холмик, были пореже, подлиннее и посветлее оттенком, нежели на окружавшем его лужку. Сгор-

[1] Французское название Женевского озера. *(Здесь и далее, если не оговорено специально, — прим. перев.)*

бясь над лопатой, я услышал и ощутил загривком пушистый, кожистый трепет совершающего разворот нетопыря и резко пригнулся. (Для взрослого человека я на редкость чувствителен к некоторым вещам: к нетопырям, к слизистым днам бассейнов, к порезам, которые наносишь себе, настругивая перчики для овощного салата, и к объектам самой ранней моей, самой пронзительной фобии — ихневмонам-наездникам, этим косноватым, гаргантюанским лжекомарам, ухитряющимся порой забираться в жилые комнаты и беззвучно сновать по белым стенам вверх и вниз — и вкось, когда ни вверху ни внизу выхода им найти не удается.)

Могила, как мне сказали, оставалась еще не обозначенной. Я начал копать в изножье участка. Верхний слой дерна следовало оставить более или менее нетронутым (разрезав его на три-четыре квадрата), чтобы затем косметически замаскировать вновь засыпанную землей яму. Куски дерна я сложил слева от участка и туда же переместил лом и мотыгу, сняв их с дерюги, дабы ровно расстелить ее справа.

Обычный гроб захоранивают, если могильщики добросовестно исполняют свою работу, под сорока восемью кубическими футами, или девятью с одной третьей кубическими ярдами земли. Чем новее могила, тем рыхлее земля, тем легче ее разрывать. С соседней, к примеру, особенно возиться не пришлось бы. Но Владимира Набокова похоронили больше двух недель назад, и я полагал, что работа мне предстоит нелегкая. Хоть и необязательно неприятная: вообразите затхловатый запах свежераскопанной земли, столь резкий, что его, кажется, ощущаешь на вкус; отдающие мгновенным покалыванием в пальцах размеренные вонзания тусклого штыка лопаты в плотную землю; дробный перестук комьев, опадающих назад во все углубляющуюся, все темнеющую яму; тесноту могильных стен; приглушенность шорохов, проникающих за пределы прямоугольного порога; короб неба над головой; нечастые звуки (уханье филина, шепоток березовых сучьев, стрепет встревоженного сверчка), порой прорывающие напряженную плеву безмолвия.

Гроб оказался изукрашенным с необъяснимой затейливостью — резной багет, бронзовая пластина с награвированным на ней латиницей именем усопшего, которое я попытался на ощупь прочесть в темноте: V..A.....M.N..K. Что ж, похоже. Выбравшись из ямы, я отложил лопату в сторону и на несколько мгновений присел, перекрестив ноги, тяжело отдуваясь и отирая со лба пот выбившимся из-под брючного ремня подолом рубашки. Очень хотелось курить, но я не решался — из опасения привлечь тлеющим глазком сигареты внимание седовласого кладбищенского стража, может статься, вооруженного. Небо начало расчищаться. Светозарный серпик восходил над верхушками древес. Повеял тихий ветерок. Я задумался о своей монструозной дотошности и вдруг рассмеялся, пусть и не очень убедительно. Горло мое сжалось, точно сдавленный пожарный рукав, смех обратился в икоту, икота — в кашель. «*Nabo-cough*»[1] — так мог бы назвать его Мастер! Я прикрыл рот ладонью, успев поймать полную пригоршню мокроты, которую и размазал по траве у колена.

Тою же рукою я ткнул в яму вагой, пятифутовой железной палкой с одним уплощенным концом и крепким крюком на другом. Вага ударила в крышку гроба, отскочила и замерла, припав к земляной стене, крюк выступал из могилы дюймов на шесть-семь. Упершись одною ногой в грудь ВН, а другой в чресла его, я поддевал бронзовые запоры, расположенные вдоль левого края гроба, поднимая и опуская плоский вагин конец (точно крестьянин, устанавливающий столб нового забора). Замысловатая крышка, созданная для противостояния постепенному проседанию влажной земли и прилежным подточкам ретивых грызунов, но не орудиям склонного к вампиризму вандала, в коего обратился не в меру усердный биограф, подалась после нескольких нажимов. Стойком

[1] Каламбур. Дословно: набоковский кашель.

вытянув лом из ямы, я совсем спустился в могилу, оседлав гроб так, что ноги мои втиснулись в прощелины между его плоскостями и земляными стенами.

Я потянул крышку, потянул еще, гроб раскрылся. В ушах моих прогремел согласный рев множества голосов, словно бы ангельских.

Но никакого Владимира Владимировича там не было[1].

ГЛАВА ВТОРАЯ

Пресный приступ

Выпрясть фунт шерсти полезнее, нежели написать роман.

И. А. Балда

Владимир Набоков был рожден. Хотя бы это я вправе вывести из того факта, что он жил. Сказать на столь раннем этапе большее значило бы проявить ненужную смелость, сказать меньшее значило бы не сказать почти ничего. Если, конечно, не выправить первую фразу так: Владимир Набоков был. *Voilà*[2]. Думаю, это улучшить уже не удастся.

Будь на то моя, а не издательская воля, эта глава уподобилась бы предварительному наброску живописца, своего рода *ébauche*[3] — широкие мазки, сургучные и черные либо сиреневые и изжелта-белые, лишь намекающие на те живые картины, которые еще только воспоследуют. Вспомните, как в начале каждой песни «Божественной комедии» Данте, изданной в серии «Harvard Classics», приводится краткое ее изложение. Вот и мы имели бы следующее: Пустота — Рождение Набокова — Детство и отрочество в России — Школьные годы — Первые стихи — Изгнание — Кембридж — Берлин — Друзья и знакомые — Ранние сочинения — Зрелость — Безумие — Смерть — Etc, etc... Подобная форма имеет то преимущество, что дает читателю, а если правду сказать, то и автору, призрачное предчувствие предстоящего. Главный же изъян ее в том, что она внушает мысль, будто жизнь, прожитая героем, прожита была последовательно и просто, отличаясь в целом опрятностью, присущей рассказику из детской книжки. Но жизнь никогда не бывает ни простой, ни опрятной, да к тому же Набоков представляет собой выдающийся экземпляр описанного Робертом Музилем человека *ohne Eigenschaften*[4]. Он был замечательным человеком, прожившим непримечательную жизнь, однако непримечательную лишь во внятном черни смысле существования, не отмеченного такими мелодраматическими взлетами и падениями, как, скажем, бурный роман со склонным к извращениям стригальщиком пуделей или повторяющиеся раз за разом покушения на самоубийство, которые так по душе читающей публике (что бы это ни было). Даже его парафилия, столь чреватая мелодраматическими возможностями, в конечном счете отчаянно скучна, в ней решительно нет того блеска, какой мы связываем, скажем, с Чарльзом Доджсоном или Винсентом Ван Гогом. С самого начала скажу: жизнь Владимира Набокова не способна дать материал для фильмовых фантазий или дешевого чтива. Моя книга — это научный труд, и как таковой она имеет своим основанием не сенсационные домыслы, но главенство истины.

Все началось весною 1962 года в университете Олд-Экс[5], где я только что с блеском защитил вторую мою докторскую диссертацию (озаглавленную «*Quelques considérations*

---

[1] Парафраз последнего предложения «Защиты Лужина»: «Но никакого Александра Ивановича не было».
[2] Вот (*франц.*).
[3] Эскиз, набросок, черновой проект (*франц.*).
[4] Без свойств (*нем.*).
[5] Old Ex (или Old X — Старый Икс; сравни Нью-Вай, New Y — Новый Игрек, возможно также New Why — Новое Почему) — описанное в «Бледном пламени» академическое пристанище Чарльза Кинбота. Впрочем, Old Ex может подразумевать и Old Exodus — Старый Исход или «Исход» Старого Завета.

sur l'histoire de l'histoire de la littérature»[1]), — там-то профессор искусств Фриц Бертауд и познакомил меня с сочинениями Набокова. Я хотел написать литературную биографию и все не мог отыскать достойного персонажа. Прихлебывая горячий, но жидкий кофе, коим в ту пору можно было разжиться у помещавшегося во внутреннем дворике университета темпераментного торгового автомата, мы обсуждали недавнее открытие, согласно которому Наджиб Антон Альбина основательно потрудился над исходными негативами «Свитков Мертвого моря», прежде чем вернуть их израильтянам для публикации. Откинувшийся в кресле Фриц был не более чем темным, резко очерченным силуэтом на фоне обрамленного высоким окном сияющего майского утра, лицо его казалось сгустком теней, из которого исходил мягкий голос. Наш разговор обратился к Маккиаоли, бывшему специальностью Фрица. Я мимоходом посетовал на раннюю смерть Джованни Фортунари (1823—1856). Профессор умолк — в безмолвном одобрении, как мне показалось. Пыль уже осела, единственным, что двигалось в комнате, был уходящий, виясь, к потолку парок нашего кофе. (Упомяну — без тени неуважения к моему покойному учителю, хоть, впрочем, его оголтелая гомофобия и без того широко известна, — что при общении с ним мне временами казалось, будто он думает обо мне, между тем как он если и думал обо мне вообще — к чему никакой решительно склонности не имел, даже когда я сидел перед ним, — то лишь как о словоохотливом докучнике.) В конце концов я заподозрил, что профессор заснул (он нередко проделывал этот номер на семинарах, к восхищению студентов) и что поток горячей жидкости вот-вот извергнется через навощенный край бумажного стаканчика на доверчивое профессорское лоно, но тут он вдруг поставил стаканчик на стол и развернулся вместе с креслом, так что я мог видеть лишь черную спинку последнего да профессорскую макушку. Затем исчезла и макушка. Я услышал звук выдвигаемого из шкафчика с документами ящика, шуршание перебираемых папок, скрип пластика, рокот, с которым ящик вернулся назад, и щелчок, с которым он встал на место. Я сощипнул со складки моих черных брюк комочек серого пуха. Кресло вновь повернулось, как поворачивается в готическом романе ложная стена библиотеки, явив моему взору смутный облик Фрица. Отодвинув кофе в сторонку, он выложил на середину стола папку белого пластика и извлек из нее бумажный сверток, похожий на сложенную в прачечной простыню. Профессор разворачивал бумагу, снова сгибая ее, с нарочитой медлительностью, с элегантными манипуляциями объясняющего фокус престидижитатора, пока не извлек на свет стопку из трех среднего размера тетрадей. Фриц включил настольную лампу, и оба мы, на миг ослепленные, замигали. Осторожно разделив тетрадки, каждая из которых несла на обложке желтую бирку с написанным от руки кириллицей «В. Сирин», профессор разложил их по промокательной бумаге лицевой стороною ко мне. Опустив наполовину пустой стаканчик на пол, я склонился к столу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Машенька»

Три года мысленный образ этих тетрадей, разложенных бок о бок на Бертаудовой промокательной бумаге, пылал в моем мозгу, подобно неоновому фантому. Я видел перед собой чистовую копию первого романа В. Сирина. Странно, но, как заметил однажды Мастер, книгу нельзя читать, ее можно лишь перечитывать. Этим я и занимался множество раз, смакуя повороты фраз и тени слов, сохраняя стойкую веру в то, что тщатель-

[1] «Разнообразные мысли об истории истории литературы» (*франц.*).

ный перечитыватель, вооруженный знанием того, что ждет его впереди, способен уловить больше отблесков будущего величия, чем то позволяет сама проза первой книги.

Обдумав и забраковав одно за одним целый ряд недурных, но неловких названий этой главы, я остановился на предъявленном выше простеньком выборе. Когда говоришь о Набокове, упражнения в словесных вывертах есть занятие и опасное и, может быть, безрассудное, особенно если учесть собственное его владение многоязычным словом, — занятие это можно уподобить лекции о Нижинском, в начале которой лектор сходит с кафедры, чтобы натужно изобразить пару-другую jeté[1].

В то время как об английских романах Набокова написано многое, пожалуй что слишком многое, о ранней его русской прозе сказано куда меньше. К ней я и собираюсь теперь обратиться. Издатель мой пожурил меня за слишком частые, слишком далекие отступления от избранной темы, но что есть жизнь, как не череда отступлений от некоей темы — потаенной, неизъяснимой?

«Машенька» открывается непроизносимым именем-отчеством ее героя, Ганина: Лев Глебович — «язык вывихнуть можно» (7), жалуется другой персонаж, Алферов. Мгновенно осознаем мы потенциальное вероломство слов. А сделанное Алферовым несколько абзацев спустя заявление «всякое имя обязывает» напоминает нам о скрытой в них мощи. Первый стилистический проблеск зрелого Набокова, появляющийся вслед за кратким разговором Ганина с Алферовым, из которого только и состоит начальная глава, обнаруживается в словесном ряду «и бублики, и бриллиантин, и просто бриллианты» (17, 18) — это предвестник таких позднейших аллитеративных рядов, как «*the brook and the boughs and the beauty of the Beyond*»[2] [1] и «*glacial drifts, drumlins, and gremlins, and kremlins*»[3] [2]. В предложении «Так мешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека, способного в другое время на всякие творческие подвиги, на всякий труд и принимающегося за этот труд жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь» (33) нас поражает музыкальность фразировки и в особенности уместность финального «достичь» — предпочтенного альтернативной совершенной форме «достигнуть, достигать» (вычеркнутых в чистовой копии), метрически менее совершенной. Ясно, что молодой Набоков с самого начала был неутомим в поисках *mot juste*[4]. Искренне ценивший Флоберову «Мадам Бовари» (о которой он тридцать лет спустя скажет: «Стилистически это проза, занимающаяся тем, чего ждут от поэзии»), Набоков, страдающий (или благословенный) *audition colorée*[5], Набоков, первой изданной книгой которого стал, о чем я, кажется, уже упомянул или должен был упомянуть, сборник стихотворений [3], уже в 1925-м, в год создания «Машеньки», начал курс ученичества в науке слияния звука и смысла, не требующего, на поверхностный взгляд, никаких усилий.

За три года до появления «Машеньки» двадцатичетырехлетний в ту пору Набоков опубликовал в Берлине русский перевод «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла — первое настоящее соприкосновение Мастера с прискорбным недугом, который благонравно замалчивают комментаторы. Известно, что и в задних комнатах, и в фотолаборатории создателя «Алисы» хватало припрятанных скелетов. И, как говорится в замечаниях издателя, предваряющих осуществленную в 1976-м перепечатку первого издания, Набокову удалось перенести в русский текст многие из каламбуров и языковых фокусов Кэрролла; одним из приведенных там примеров является набоковская Чепупаха, «сплав «черепахи» (*tortoise*) с «чепухой» (*nonsense*)», отвечающий кэрролловой «*Mock Turtle*»[6].

---

[1] Балетное па (*франц.*).
[2] И бухта, и боль, и блаженство Безвременья (*англ.*).
[3] Дрейфование льдов, друмлины, гремлины, кремлины (*англ.*).
[4] Здесь: точное слово (*франц.*).
[5] Цветовой слух (*франц.*).
[6] Черепаха Квази в наиболее известном у нас переводе Н. Демуровой (М., 1991).

(Кстати, это «слово-саквояж» хорошо передается и по-земблянски: «*karuglee*» + «*utsyonee*» дают певучее «*karutsyonee*»). Подобная же языковая игра находит себе место и в «Машеньке». Опрятным (и не менее обманным) аналогом «чепупахи» является ганинская принститутка, смесь «институтки» и «принцессы». Математик Алферов, многословно вспоминающий свою ожидаемую вскоре жену, рассказывает: «Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать-и-мачеха». На что скучающий Ганин отвечает: «Одним словом: цифра и цветок» (28). Такого рода игра слов, и забавная, и исполненная глубокого смысла, с ее символическим противопоставлением Алферовской цифры Машенькину цветку (неравнодушный к ботанике Набоков должен был знать, что листья мать-и-мачехи имеют форму сердца) и очевидной омофоничностью «мачехи» и «Машеньки», являет нам наиважнейший пример набоковских словесных перетасовок. Их потомка по линии ученого подшучивания мы впоследствии обнаружим, к примеру, в «Лолите» — в беседе между Гумбертом Гумбертом и Клэром Куильти.

В отличие от девочки Лолиты, осязаемо присутствующей уже в первых трех слогах самой бесславной из набоковских книг, заглавной героини «Машеньки» мы так никогда и не встретим. Правильнее сказать, мы встретим ее лишь отраженной в речах и воспоминаниях других персонажей: Алферова, Ганина. Помимо того что предвкушаемое появление Машеньки позволяет Набокову любовно задержаться на теме памяти (о которой см. ниже), оно изящно иллюстрирует определение эстетического феномена, данное одним слепым аргентинским библиофилом: «неминуемое откровение, которое так и не происходит». Разумеется, гоголевский «Ревизор» есть первое в русской литературе явление этого приема, к которому часто обращается и Набоков: в «Подвиге» (где «*nothing much happens at the very end*»[1] [4]); в «Даре» (где так и не осуществляется давно ожидаемое воссоединение Федора с пропавшим отцом); в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» (где рассказчик уверен, что прославленный брат его знает «*some momentous truth he would impart to me before dying*»[2] [5] — но брат не поделился). Будь «Машенька» написана двумя десятилетиями позже, на языке третьего (после Кембриджа и Берлина) дома, выбранного Набоковым, она могла б называться «*En attendant Marie*»[3].

«Память, говори», заклинает Набоков самую верную свою музу в названии автобиографии, впервые изданной в 1951 году. В «Машеньке» Мнемозина если и не выходит на авансцену, то всегда маячит за ближней кулисой. Декорации сцены создаются эпиграфом из Пушкина: «Воспомня прежних лет романы, / Воспомня прежнюю любовь» [6]. И впрямь, только в первых двух главах глагол «вспоминать» в разных его обличиях появляется не меньше восьми раз. Празднества памяти окрашены в «Машеньке» теми же настроениями, что и страстное взывание Гумберта Гумберта к его «poor doomed darling»[4] или предпринятая девяностолетним Ваном Вином монументальная реконструкция его долгой совместной жизни с Адой. Память — вот тема Набокова, изгнанного не только из обожаемой им России, но, подобно каждому из нас, и из исполненного невозвратного волшебства королевства нашего детства. О Изгнание!

Наиважнейшим проявлением всевластности памяти является в «Машеньке» принятое Ганиным решение покинуть город, так и не повидавшись со своей первой любовью. Его подробные воспоминания, разворачивающиеся и выявляющиеся между концом второй главы, в которой он узнает, кто такая супруга Алферова [7], и последним абзацем книги, постепенно утверждают существование лишь *его* Машеньки, образа, ве-

---

[1] «Ничего особенного в самом конце не происходит» *(англ.)*.
[2] «Некую важную истину, которой он поделился бы со мной перед смертью» *(англ.)*.
[3] «В ожидании Мари» (*франц.*).
[4] «Бедная обреченная милочка» *(англ.)* — цитата явно выдуманная либо переведенная по памяти обратно с русского. В русском переводе «Лолиты» встречаются «милая обреченная бедняжка», чему в английском тексте отвечает «*the doomed dear*», и «логичная, хоть и обреченная голубка» — «*logical doomed dear*»; однако все это относится к Шарлотте Гейз и, следовательно, исполнено иронии.

щественного более в его голове и сердце, чем во плоти чужого ему человека, жены другого, приезжающей в следующую субботу. Под конец именно этот плод воображения приобретает власть над тусклой реальностью, неизбежно разочаровывающей, когда ее сравниваешь с вневременным, искристым, бесконечно податливым царством вымысла:

...эти четыре дня были, быть может, счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем.

И кроме этого образа, другой Машеньки нет и быть не может (168).

Это осознание первичности искусства не так уж и отлично от содержащегося в последних строках Гумберта:

I am thinking of aurochs and angels, the secret of durable pigments, Zemblan sonnets, the refuge of art. And this is the only immortality you and I may share, my Lolita[1] *(311).*

Две Машеньки, реальная и живущая в памяти, как бы отражаются в двух Ганиных: один — полный сил молодой человек, способный ходить на руках, зубами поднимать стул и рвать веревку на тугом бицепсе [8], другой, по выражению его домохозяйки, «вял и угрюм»[2]. В лишенной любви интрижке с Людмилой Ганин нехотя пытается сохранять подобие романтического интереса к ней, но апатичное второе «я» то и дело срывает его усилия. Вот он только что предался любви с Людмилой: «И Ганину становилось скучно опять, он шагал вдоль комнаты от окна к двери и обратно, до слез позевывал, и она, надевая шляпу, искоса в зеркало наблюдала за ним» (22). Важно отметить, что Людмила наблюдает за ним в зеркало. Тема двойников и отражений, знакомая каждому читателю английских сочинений Набокова, присутствует в «Машеньке» повсеместно. Несколько страниц спустя Ганин украдкой зевает, смотря фильм, и узнает в толпе статистов себя. Для описания его потусторонней кинематографической тени Набоков прибегает к слову «двойник». Уважая неоднократно высказанную Мастером неприязнь к определенному автору, я воздержусь здесь от упоминания о Достоевском.

Наиболее неудачными и безвкусными двойниками, несомненно вдохновленными недавним переводом «Алисы», являются в «Машеньке» напудренные, жеманные танцовщики Колин и Горноцветов, которые, подобно Траляля и Труляля, до самого конца книги отличаются один от другого лишь именами.

Множественность уровней так называемой описываемой реальности стала ныне общим местом в том, что приобрело в узкородственных ученых кругах название «постмодернистской литературы», между тем шедевры Набокова изобиловали подобного рода построениями за десятилетия до обретения ими статуса приемлемых, да, собственно, и ожидаемых от любой литературной методы: биография в «Даре», пугающее (и по тем временам революционное в обоих смыслах этого слова) окончание «Под знаком незаконнорожденных», в котором «Круг возвращается в лоно его создателя», это лишь два примера. В «Машеньке» присутствуют два пассажа, которые могут рассматриваться в качестве прототипов того, что позже стало интерпретироваться как расслоение смысла. Я уже упоминал о том, что в начале романа Ганин идет в кинематограф (где он сидит между уютной Кларой и более или менее банально похотливой Людмилой — еще одна

---

[1] Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о земблянских сонетах, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита. Кинбот лукавит. Гумберт Гумберт не упоминает здесь никаких «земблянских сонетов», у него стоит «о пророчестве в сонетах» («prophetic sonnets»).

[2] «Выражение» это принадлежит вовсе не домохозяйке, а автору.

чета взаимоотражений). Картина, которую они смотрят, это история примадонны, играющей перед изысканной публикой (на деле — толпой потертых русских статистов, между которыми Ганин признает и себя) роль убийцы и вдруг вспоминающей о смерти, причиной которой она невольно стала. Примадонна падает в обморок, публика принимает оный за обдуманное, превосходно сыгранное завершение действия, и театр взрывается громовой овацией. Все это передается нам на нескольких повествовательных уровнях — мы видим Ганина (которого я, по причинам вполне очевидным, продолжаю считать персонажем книги; первый уровень), смотрящего фильм (второй уровень) об опере (третий уровень), в котором подлинные страдания дивы (четвертый уровень) ошибочно принимаются публикой за составную часть оперы, которую публика пришла послушать [9].

Этот прием теснейшим образом связан с тем, что Андре Жид называл *mise en abime,* — вариационное повторение во все уменьшающемся масштабе определенных событий либо образов, извлеченных из основного уровня действия (если, конечно, мы можем утверждать, что таковой существует), разворачивающегося в тексте; повторение, родственное по форме и функции семейству матрешек, каждая из которых ничем, кроме размера, не отличается от непосредственной своей предшественницы, в каковую она уютно вставляется.

Всякая набоковская книга есть гобелен, сотканный из нитей столь густоцветных и разновидных, что чтение ее требует усердия, по крайней мере не меньшего, чем тканье. От «Машеньки», несомненно представляющей собой наименее часто обсуждаемую книгу Набокова, критика отмахивается — что нередко случается с первыми произведениями художника — как от создания юношески несовершенного. Разумеется, пестрая бабочка, которая, ярко биясь, опускается на качливый клеверный стебель и замирает на нем, медленно помавая крылами, пробуждает в бессмысленном созерцателе больше бессловесного обожания, нежели медленная, косная гусеница или дремлющая в своем коконе хризалида, но лепидотеристу известно, что самые-то бесцветные букашки и порождают пышнейших из взрослых представителей рода: провансальских перламутровок, корсиканских парусников, роскошно опоясанных сатирид и даже исключительно редкую *Plebejus (Lysandra) cormion Nabokov.*

КОММЕНТАРИИ

Ссылки на страницы «Машеньки» даются в тексте в круглых скобках. При этом подразумевается первое издание — Берлин, Слово, 1926.

1. *Look at the Harlequins! (New York, McGraw-Hill, 1974) p. 16.*

2. *Lolita (New York, Perigree Books, 1980), pp. 35, 36.*

3. Раз уж мы коснулись стихотворений, я не могу удержаться от того, чтобы не отметить, что в «Машеньке» старый поэт Подтягин жалуется, оплакивая свои обескураживающие попытки получить выездную визу у кафкианского пошиба немецких чинуш: «папки, папки, без конца!», что отзывает строкой из «Двенадцати» Блока: «Эх, эх, без креста!»

4. См. предисловие автора к первому английскому изданию романа «Glory» (New York, McGraw-Hill, 1971), p. xiv.

5. *The Real Life of Sebastian Knight (New York, New Directions, 1959), p. 202.*

6. Для ленивых тупиц среди тех из вас, кто не позаботился изучить родной язык Мастера, укажу, что по-русски (да и по-французски) слово «роман» может обозначать и книгу, и любовную связь. В Набокове, самом интертекстуальном из интертекстуалов, эти стихи Пушкина вызывали, надо полагать, особенный отзвук — наравне с подзаголовком «роман», способным обозначить и роман писаный, и роман любовный. Самозваным

же «набоковедам» даю *un conseil*[1] — на манер нынешних швейцарских пограничников, учтиво рекомендующих обзавестись правильной *carte de séjour*[2]: прежде чем слишком надолго уезжать во Францию, — учите русский язык. Самонадеянные толкования Набокова равносильны без знания русского толкованиям Ван Гога без представления о желтом, оранжевом и синем цветах.

7. По меньшей мере один беззаботный комментатор предположил, что Машенька Ганина и Машенька Алферова суть разные женщины, что все ганинские грезы есть результат ошибки, проистекшей из краткого взгляда на один-единственный снимок. Набоков позволяет легко опровергнуть это утверждение. В первой главе, когда в застрявшем лифте вспыхивает свет, мы узнаем, что Алферов — странноватого вида господин в «золотистой бородке». В главе тринадцатой Ганин, просматривая давние письма Машеньки к нему, натыкается на то место, где она описывает бал, на котором за ней ухаживал «очень смешной господин с желтой бородкой». Разумеется, это ее будущий муж.

8. Предшественник Васко да Гама![3]

9. Бестолковость людей, самодовольно уверенных в своей толковости — вот точный образ мира литературной критики.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ночь бродит по полям[4]

Признаюсь, я верю в привиденья. Какой бы ни была религия человека, кому бы или чему бы он ни поклонялся — речным духам, Великой Матери, пустынной купине, распятым пастухам или лысому и тучному мудрецу, безмятежно восседающему под древом Бо, — неверие в потустороннюю жизнь остается за гранью его человеческих возможностей. Подозреваю, что даже завзятый атеист сознает — интуитивно, имплицитно, — что существует нечто еще. Существует ли Бог с прописной Б или нет его вовсе, вероятие того, что жизнь человека, которая есть занимающая дух бездна смеха и слез, чайных листьев и древесной коры, мимолетных улыбок и летучих облаков, несказанного блаженства и неутешного горя, заканчивается раз и навсегда всего только вследствие внезапного обрыва мелкой череды механических событий (биений сердца, расширения легких), вероятие это является попросту и начисто немыслимым — в буквальном значении этого слова.

Как говаривал покойный мой друг, сталкиваясь с особенно близорукой разновидностью живущего одним днем гедониста: жизнь — не генеральная репетиция, но и не последний акт.

Леди и джентльмены, я обязан сделать признание: с самого начала этой книги нечто повадилось навещать меня. Я не хочу сказать этим, будто я стал одержим моей темой, или обморочен ароматом литературной славы, или, наконец, пал жертвой *idée fixe*[5]. Я имею в виду томительные преследования в духе английского «*haunted*», происходящего, кстати сказать, от ста́ро-земблянского «*heimte*» — внушать, притягивать, захватывать, притязать. Кто-то или что-то преследовало меня, плетясь по пятам моих размышлений, пряча от меня карандаши и справочные карточки, стуча бесплотными пальцами в окна моей лачуги, нашептывая мне между порывами мартовского ветра соблазнительную участь и всеми мыслимыми способами заманивая меня в зазеркалье.

Мне кажется, я знаю, кто это был.

---

[1] Совет (*франц.*).
[2] Вид на жительство (*франц.*).
[3] Кинбота подводит память: подразумевается Маско да Гама, сценический псевдоним Вана Вина.
[4] Позаимствовано из начальной строки стихотворения В. Набокова «Ночь бродит по полям и каждую былинку...» (1922).
[5] Навязчивая идея (*франц.*).

* * *

Коллега, перед которым я открыл душу наутро после одной особенно жуткой из описанных выше ночей, несколько позже по ходу нашей беседы сообщил ненароком, что у него есть в Омахе приятельница (назовем ее ЛН), которая не так давно консультировалась у экстрасенса в надежде связаться с супругом, скоропалительно скончавшимся за несколько лет до того. Упомянутый экстрасенс, костлявая дама азиатских кровей со странным именем «мадам Тук», уверяла, будто она является «канализатором», то есть медиумом, способным создавать каналы связи с бестелесными духами, включая, конечно, и духов умерших людей, которых она называла, демонстрируя удивительное пристрастие к невнятным эвфемизмам, «другими». Приятельница моего коллеги, служившая профессором французской литературы и бывшая до того времени закоренелым скептиком во всем, что касается паранормальных явлений, была потрясена этой встречей и потому поделилась с моим коллегой жутковатыми результатами своей консультации с мадам Тук: последняя, отхлебнув пахнувшего лепестками роз чаю и несколько минут просидев — неподвижно, с закрытыми глазами — в полосатом полумраке своей маленькой, затемненной бамбуковыми жалюзи комнатки, вдруг вылетела из кресла, будто вышибленная ударом незримой ноги, но тут же уселась обратно, широко распахнув глаза. Маленький накрашенный ротик ее также открылся, не испустив, впрочем, ни звука. Затем, по прошествии еще минуты неестественной неподвижности, она произнесла нижеследующее голосом, который, как утверждала ЛН, несомненно принадлежал ее мужу, хоть и был пропущен чрез женские голосовые связки:

— Твой красный шелковый шарф лежит за диваном.

Л., раздираемая сложными чувствами и в то же время ошеломленная прозаичностью полученного ею сообщения, только и могла что глядеть во все глаза да затрудненно сглатывать. Когда дар речи вернулся к ней, она спросила:

— Как?

И вновь тот же голос, равнодушный, хоть отчасти и тоскливый, сказал:

— Твой красный шелковый шарф лежит за диваном.

Тут мой коллега взглянул на часы и, обнаружив, что запаздывает на совещание, не то на занятия — или притворясь запаздывающим на совещание либо занятия, — поспешил завершить свой рассказ. Вроде бы в ночь перед тем, как муж его подруги погиб, поехав велосипедом на работу, она и он поздно вернулись домой с некоего приема и, будучи несколько хмельными и к тому же возбужденными бесплодным флиртом, коему оба предавались на этом приеме, занялись любовью «прямо в гостиной, ну то есть на диване». Наутро Л. пробудил телефон: звонили из полиции кампуса, чтобы сообщить о случившемся с мужем несчастье. В последовавшей полной страдания и страха сумятохе, в безумной пробежке к больнице — в одном лишь плаще поверх помятой пижамы, — в ошеломленном осознании смерти, в тяготах похорон и исполнении сопутствующих им странно неотвязных житейских обязанностей, в огромном холодном разрастании горя и чувства утраты, коротко говоря, во все эти страшные месяцы красный шелковый шарф ее, тот, в котором она отправилась на прием и который муж в игривом порыве сорвал с ее шеи перед тем, как они, полураздетые, рухнули на диван, куда-то запропастился. Бедная женщина несколько месяцев не вспоминала о нем, пока не сообразила вдруг, что шарф исчез и — почти одновременно — что он был на ней в последнюю ночь жизни мужа. С тех пор шарфик прочно связался в ее сознании с мужем, а утрата его — с утратой любимого человека. Подсознательно она наделила его пропажу мистическим смыслом.

Как бы там ни было, воротясь от мадам Тук домой, она тут же полезла за диван и обнаружила шарфик — запыленный, но в прочем не изменившийся. «Ну, и что бы вы об этом сказали? По-моему, тут есть нечто странное». И с этим коллега, не внемля моим расспросам, поспешил по своим предположительным делам.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Кафка

Какое, может спросить ошеломленный читатель, все это имеет отношение к Сириусу? Терпение, дорогие друзья: в моем безумии есть система.

Кафка

В последние свои годы Франц Кафка проводил немалое время на водах и в санаториумах, включая сюда и Кислинг, расположенный на побережье Черного моря, километрах в пятнадцати к югу от Сочи. Именно здесь на белом песчаном пляже и встретился с умиравшим писателем Набоков. Если верить нашему герою, он приехал в Кислинг поездом, чтобы навестить друга, обозначенного в его дневнике всего одной буквой — М. (Жан-Жак Моляр, сведший знакомство с Набоковым еще в 1922 году в Кембридже, считает, что М. — это Мария Островская, приемная дочь галицийского лесоторговца, о котором нам еще предстоит услышать попозже.) Стояла середина июня. Кафка, по обыкновению, коротал утро в шезлонге на выходившей к морю террасе. Набоков, который, валяясь на пляже, набрасывал на полях своей тетради тучные телеса купальщиков, сунул в рот «галуазку» и вдруг сообразил, что оставил спички в «*Pension des Hébrides*», стоявший от него в пятистах метрах. Сев — в виде прелюдии к заимствованию потребного, — молодой писатель увидел облаченного в черное, озирающего береговую полосу писателя постарше, шестифутовое тело которого весило к тому времени меньше девяти стоунов. Набоков встал, закрыл тетрадь и, не обув эспадрилий, побрел по песку к инвалиду. Он попросил спичек сперва по-французски — и получил в ответ лишь вопросительный взгляд, — затем по-русски (*même jeu*[1]) и, наконец, по-немецки, на что элегантный чахоточный ответил: «*Schade, Mein Herr, Ich rauche nicht*»[2]. Простившись с мыслью о сигарете, Набоков вернулся к своему одеялу. Волны, шурша, накатывали на влажную, ноздреватую гальку, чайки мяукали и ныряли в воду за мелкой рыбешкой или остатками чьего-то завтрака, лысый мужчина с усами мандарина неторопливо прошествовал мимо в обществе дамы с оливковой кожей, переговариваясь с нею на неведомом языке (грузинском? армянском? греческом?).

Набоков сообщает, что под конец той недели, после того как «друг» уехал в Париж, он нередко беседовал на веранде с тощим человеком о болезни его и о разного рода бессмысленных «курсах», которые тому приходилось сносить по настоянью врачей. Человек этот, сославшись на религиозные соображения, отказался позировать Набокову для эскизного портрета. Разумеется, в то время Набоков и понятия не имел, с кем разговаривает. Он узнал об этом через десять лет, после того как в 1933 году Александр Вайалет перевел «*Der Prozess*»[3], сделав имя и сочинения Кафки известными за пределами немецкоязычной Европы. Когда Набокову еще несколько лет спустя показали портрет Кафки, он в суеверном ужасе узнавания записал: «*Le même visage, les mêmes yeux creux et cernés de noir-un visage guetté par la mort*»[4].

Кое-кто из друзей Набокова, и Моляр среди них, уверяют, будто история о беседах с Кафкой на морском берегу есть позднейшая фабрикация. Другие, оставаясь скептиками и допуская ее неправдоподобие, признают, однако ж, что все могло быть так, как о том сообщается. Мы знаем, что весной и летом 1923 года Набоков много разъезжал, однако пути его остаются для нас загадкой, несмотря на детальные, но расплывчатые по результатам исследования прежних его биографов: он мог посетить Кислинг, или Венский Лес,

---

[1] Здесь: с тем же эффектом *(франц.)*.
[2] Простите, сударь, я не курю *(нем.)*.
[3] «Процесс» *(нем.)*.
[4] «То же лицо, те же глаза, пустые, окольцованные тьмой, — лицо человека в ожидании смерти» *(франц.)*.

или даже Прагу. Увы, подобно многим иным анекдотам, связанным с жизнью Набокова, апокрифическим оставался и этот, пока я не наткнулся на следующее место из его дневника, датированное «*13 juillet 1923*»[1] (копию оригинальной рукописи великодушно предоставил мне близкий друг, работающий в Библиотеке Конгресса, — перевожу с русского[2]):

В воскресенье К. пересказал мне написанный им много лет назад рассказ о человеке, который, проснувшись, обнаруживает, что превратился в гигантское насекомое. Воспоминание это, похоже, развеселило его, он закашлялся с такой силой, что я испугался за сохранность его изможденного остова. Я спросил, как ему явилась такая мысль. К. ответил сразу, с трудом сглатывая между фразами, но по-прежнему очень весело, что вдохновение посетило его во сне — ему приснились экскременты и мухи. «Хорошо быть мухой», — мечтательно произнес он. Но почему же в таком случае герой его не обратился в муху? — спросил я. «Чересчур много свободы, — ответил он. — Муха ведь может и улететь. А мой Грегор не мог. Он был, как в ловушке, заперт в своей семье, слишком испуганной, чтобы любить его. А вы над чем сейчас работаете?»

Я рассказал о моих стихах, о книгах, о том, сколько стоит квартирка в Париже, о Фонтенбло, о ритмической гимнастике, о жизни эмигранта в Берлине. Он слушал меня увлеченно, словно старался запомнить каждое слово. Последним, что он сказал мне сегодня, было: «Искусство вещь трудная. Я устал. Пора возвращаться к себе. Завтра приедет Дора».

Усталого, но довольного писателя отвезли в его номер. Он попросил, чтобы кресло его поставили у окна. Проведя долгое время в размышлениях над пустой страницей дневника, он потянулся к перу, обмакнул кончик его в чернила и медленно вывел всего одно предложение:

«Wer sucht, findet nicht»[3].

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Медовый реющий туман

Я уверен — читатель получает удовольствие от наших с ним небольших отступлений. Ныне нам надлежит вернуться к мадам Тук, с которой меня познакомил тот самый коллега, что столь непредусмотрительно сбежал в одной из предшествующих глав, так и не завершив своего рассказа. На следующий день я сказал ему, что у меня недавно скончалась тетушка, с которой мы никогда особенно близки не были, что между нами сохранилось остаточное взаимонепонимание, касающееся пустячных невзгод, много лет тому постигших ее недоросля-внука, а моего племянника, и что мне не дает покоя желание снестись с нею. Он странно взглянул на меня, заподозрив, я думаю, розыгрыш, но не стал задавать лишних вопросов и открыл имя своей подруги из Омахи. Скрытность — качество редкое.

Я позвонил профессору французского языка, она подтвердила слышанную мною историю о красном шарфе и с энтузиазмом снабдила меня адресом мадам Тук. Послед-

---

[1] 13 июля 1923 (*франц.*).

[2] Поскольку местонахождение Ч. Кинбота остается в настоящее время не известным и мне, и его издателю мистеру Эдмундсу, а Библиотека Конгресса весьма неохотно предоставляет исследователям документы из Набоковского фонда, я вынужден привести этот пассаж в обратном переводе с английского, за что приношу читателю извинения.

[3] Кто ищет, не найдет (*нем.*).

няя перебралась к тому времени в Линкольн, куда я следующим утром и выехал на автомобиле. (Для тех из читателей, кто питает слабость к пророческим датам, сообщаю, что случилось это 2 июля[1].) Я езжу теперь в мощном фургоне «Вольво», так что путь из Кедров в Линкольн, приятный путь под безоблачным небом, не подпорченный ни дорожными патрулями, ни норовящими сложиться вдвое полутрейлерами, занял всего пять часов.

Как и подразумевалось ее фамилией — в противность полученному мною описанию скелетоподобной особы, — мадам Тук была тучна. Когда она отворила дверь, это обстоятельство породило во мне диссонанс сознания, мгновенно лишивший меня дара речи: я не затруднился бы назвать «мадам Тук» костлявую азиатку, но произнести «Тук» прямо в лицо женщине тучной — это было бы непосильным испытанием для присущего мне чувства приличия. Я начал лихорадочно перебирать возможности альтернативного произношения: Ток, Тик, Тюк, но тут она разулыбалась и сказала:

— А-а, докта Киинбут! Входиить, входиить, пожалста!

В выговоре ее присутствовала причудливая смесь протяжных американских гласных и бритвенно-острых «и», крививших ее просторное, янтарного оттенка лицо странными гримасами.

Я понял, что это, скорее всего, та особа, которая мне нужна, и остановился, хоть и стал оттого казаться себе неким нелепым *grandee*[2], на незатейливом «мадам». Мадам провела меня, бесцеремонно подталкивая, в гостиную, такую же, как в Омахе, если судить по бамбуковым жалюзи и дешевому восточному антуражу.

— Садиитесь, садиитесь, — сказала она, похлопывая по спинке стоявшего у круглого столика тростникового стула, выглядевшего слабоватым для моего немалого остова. Сопровождаемый хором потрескиваний, я неуверенно опустился на стул. Солнце уже час как село, комната, освещаемая лишь несколькими чадившими свечьми да свисавшей над столом узорчатой лампой из лакированного красного дерева, накрытой полупрозрачным бумажным абажуром, казалась темноватой. Ночница билась о задымленный потолок, описывая вывернутые наизнанку параболы, точно некое упругое тело, пойманное в западню иного, проникшего в наш, мира с обращенной вспять силой тяготения.

Мадам Тук уселась насупротив меня, вызвав в *своем* стуле протест еще более громкий. Безмятежно улыбаясь, она выложила на столик пухлые ладони, растопырила ничем не украшенные туповатые пальцы и спросила: «Чего вы хотиите? Сиирина?» Имя это прозвучало в ее устах как названье прописанной доктором микстуры. Я кивнул. «Ну, начнем».

Несколько времени мы просидели в молчании, я все отчетливее слышал собственное дыхание и присущий мне запашок, смесь пряностей с расплавленным воском. Я машинально закрыл глаза, полагая, что так оно приличествует процедурам подобного рода, и тьма — признаюсь с некоторой робостью — напугала меня.

Скрипнул чей-то стул — мой или ее.

Да, я знаю, знаю без всяких сомнений, что многие из вас, основываясь единственно на непристойном вздоре, распространяемом обо мне завистливыми коллегами, считают меня если не сумасшедшим, то лишенным ума. Уверяю вас, я не страдаю ни тем, ни другим. И самое главное, о мои досточтимые, скептические читатели, чтобы в вашем отношении ко мне присутствовала, так сказать, презумпция невиновности, пусть даже только сейчас, только до конца этой чрезвычайно важной главы. Умоляю вас, будьте внимательны, не судите меня, пока не прочтете всего, всего, до конца.

Внезапно послышался некий шум, начавшийся как негромкое трепетное бормотание, расплывчатый шепоток вентилятора, вращающегося в какой-то соседней комнате. Поначалу я принял его за биенья ночницы о потолок, но нет, то было нечто иное. Вернее,

---

[1] Владимир Набоков скончался 2 июля 1977 г.
[2] Вельможа *(франц.)*.

нечто помимо него. Пока я усиливался, не открывая глаз, не снимая напряженных рук со стола, за которым сидел, вновь обрести способность ориентироваться в пространстве на слух, в унисон первому звуку стал возвышаться второй, родственный первому, но в большей мере человеческий, далекий и вроде бы близкий шепечущий звук, подобный вздоху во сне. Он вылился в звучное «Аааах», и мадам Тук произнесла:

— Виин.

Не уверенный, что мне стоит встревать, я ждал продолжения.

— Да? — произнесено это было все той же мадам Тук, но голос решительно не походил на ее. Как надлежит обращаться к призраку? Сэр? Господин? Мистер? Ваше превосходительство? Полностью утратив обыкновенно присущее мне самообладание, я, запинаясь, пролепетал:

— А, э, м-м, я хотел бы задать вам несколько вопросов, прошу вас, сэр, если позволите, — голос мой звучал, против обычного, сипловато. Я откашлялся. В глазах защипало, слезы наполнили их.

Пауза. Дробное «фррр» повторилось.

— Да.

Я проглотил ту каплю слюны, какая еще оставалась во рту, и втянул в себя пряный воздух.

— Не могли бы вы сказать мне, на что похожа та, другая сторона.

Я произнес это буднично, без знака вопроса, без возвышения голоса в конце фразы. По причинам, мне не известным, говорил я совсем медленно, мелочно артикулируя каждый слог, как говоришь в незнакомом городе с туземцем, выпытывая у него направление, в котором следует идти: «Не... могли... бы... вы... сказать... мне...»

Я и закончить еще не успел, как голос пропел по-русски — музыкально, ликующе:

> ...и смерть мне кажется не грозною загадкой, —
> а этим реющим туманом медовым[1].

Тут уж ни о какой мадам Тук и речи идти не могло. Я жаждал открыть глаза, но не решался. Внезапный всплеск русской речи в сочетании с моей временной слепотой совсем сбил меня с толку, прошло несколько мгновений, прежде чем я осознал услышанное. Слова казались знакомыми, но ни установить происхождение их, ни усвоить всю полноту их смысла я был не в силах. На земблянском я описал бы себя как *forblöffet* или даже *lyudatuprusket*, но ни то, ни другое не передает ни глубины, ни остроты моего изумления с той сотрясающей щеки раскатистостью, с какой делает это английское слово, происхождение коего остается и поныне неведомым: *flabbergasted*[2].

Вновь наступило судорожное безмолвие. Я ждал, сердце мое скакало. Нечто холодное размеренно постукивало по моей окоченелой ладони, стараясь вырвать из груди моей вопль презренного страха, пока я в конце концов не понял, что это не прикосновения призрака, но удары моих же льдистых слез. Мадам Тук тоже молчала, и мне оставалось только гадать, не унесло ль и ее в некие сопредельные с нашими сферы. Ночница, на время притихшая — а может быть, слух мой в ходе недавней беседы отвлекся от тщетных ее трепетаний, — вновь захлопотала, захлопала, загудела на бумажном тугом абажуре над моей головой.

Я молча ждал, и каждый нерв мой был ненасытен, напряжен и ободран, и казалось, прошла целая жизнь. Ничего.

Наконец, неспособный долее сносить неопределенность, я заговорил сам. Голос мой оказался тонок:

---

[1] Последние строки набоковского стихотворения, из начальной строки которого взято заглавие четвертой главы.

[2] Изумленный, пораженный, ошеломленный *(англ.)*.

— Есть здесь кто-нибудь?

Никакого ответа. Я ждал.

Внезапно к мадам Тук вернулся дар речи, и она лаконично пропела:

— Ну ладно, закончили. Теперь платиить.

Глаза мои чуть ли не со щелчком растворились, слезы пронзили их резью. Я заморгал. Мое изумление мгновенно выродилось в панический страх.

— Но мы не закончили! У меня есть *еще* вопросы! Это неслыханно!

Мадам Тук уже встала, уже возилась с фарфоровым чайничком на столике, близ которого она прежде сидела.

— После, после, — безучастно сказала она. — Теперь платиить.

Терзаемый мукой, но вполне убежденный каменно-бесстрастным выражением ее физиономии, что дальнейшие мольбы бессмысленны, я в отчаянии откинулся на спинку стула. Затем пришел миг отрезвления, и я полез в левый боковой карман и вытащил чековую книжку и ручку. Наклонясь над столом, я расчехлил перо и уже начал заполнять графы чека, когда что-то малое, мягкое пало на мой рукав и, кувыркаясь, скатилось на столешницу: ночница. Я замер, вглядываясь в нее. Насекомое лежало на спинке, пушистая ножка его билась, безумно и беззвучно вспарывая воздух. Затем тот же быстрый ритм переняли крылья, забарабанившие по дереву столешницы. Обтекаемое тельце отливало бурой розовизной, укороченные задние крылья были усеяны сдвоенными голубыми глазками. Не берусь утверждать, но мне показалось, что очеса ночницы сверкали, точно два крошечных уголька.

Пока я медленно выписывал чек, мадам Тук, удивив меня, смела обезумевшую бедняжку в чашу ладони и, отнеся к окну, выпустила, простря коротковатую руку в синюю ночь и подбодрив насекомое на языке, неведомом мне.

— Слиишком много букашек, — сказала она, вернувшись к столу.

Потрясенный, я вручил ей чек и откланялся.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Король, дама, валет»

Коллекция дурацких физиономий и замученных вещей
«Король, дама, валет», 242 [1]

Не желая задерживаться на неприятных и, если правду сказать, непредвиденных последствиях моего визита к мадам Тук и на происшедших вскоре за тем загадочных событиях, я приступаю теперь к обсуждению вопросов в большей мере литературных и в меньшей метафизических — частью из потребности сохранить мир моего рассудка, частью в ответ на то, что беспристрастный наблюдатель наверняка охарактеризовал бы как чрезмерно крикливые притязания моего достойного, но порою нетерпеливого издателя, позабавившего меня просьбой «заняться наконец делом», присланной факсом в убогую, но уютную гостиничку, расположенную в Виллефранс-сюр-Мер, где я приходил в себя после недавних ученых трудов. (Кстати сказать, море, мерно плещущее в полдень о песчаные берега этого чарующего городка, напоминает мне своим густым лазурным тоном некое озеро на моей родине, в далекой северной земле. А во время моих бессонных ночных блужданий я примечаю на его чернильно-черных водах гралицу серебристого света. Напомните мне в дальнейшем поподробнее остановиться на ней.)

В изначальном договоре на эту книгу (подписанном три года назад с издателем, проявлявшим в то время значительно большее понимание, — закон запрещает мне называть его имя) оговаривалось, что текст ее должен состоять не только из собственно

биографического материала (которым читатель, надеюсь, уже вполне насладился), но также из критических разборов каждой из набоковских книг. Так что теперь я, не придерживаясь никакого разумного порядка, помимо хронологического или псевдохронологического, обращаюсь к роману «Король, дама, валет» [2], ничем не схожему с «Машенькой» и отличающемуся странным отсутствием какого ни на есть блеска. Роман этот был начат двадцативосьмилетним Сириным в июле 1927 года, а закончен Сириным двадцатидевятилетним в июне года следующего, совсем недалеко, как мне говорили, отсюда.

Стоит пересказать сюжет, сколько бы он ни был банален. Мечтательный, не лишенный привлекательности молодой человек по имени Франц приезжает в большой немецкий город — ни разу в книге не названный, но несомненный Берлин — в надежде, что его дядюшка с материнской стороны, богатый биржевик и делец, владеющий, среди прочего, крупным универсальным магазином, поможет ему сколотить состояние. Бессердечной жене Драйера, Марте, удается поймать бедного малого в свои сети и, совратив его, в конце концов убедить, что единственной помехой на пути к их общему супружескому счастью является ее муж и что от него, от мужа, надлежит как можно скорее избавиться. Книга по большей части вращается вокруг их ничтожного романчика и планов убийства Драйера. Обидно, что Сирин заставил Франца совокупляться с толстой, жабообразной Мартой [3], вместо того чтобы вступить в более мужественный, более здоровый союз с Драйером, который и старше, и мудрее, и добрее ее. Описания все более бесстрастных спариваний четы «влюбленных» суть наихудшие пассажи романа, а почти невыносимые, хоть и тонко прописанные, натужно метафоричные оргазмы [4] заставляют читателей, подобных мне, неуютно ерзать в своих креслах.

При том что это слабейшая из книг Сирина, перебор тех ее мест, в коих различаются проблески чего-то получше, будет, я полагаю, полезнее разбора ее откровенно бедной повествовательной техники. В «Короле, даме, валете» присутствуют и предзвучия почти всех позднейших романов Сирина, и незначительное число отзвуков «Машеньки». Я собираюсь просто-напросто перечислить их, примерно соблюдая порядок, в котором они появляются, и давая минимально необходимый для связности изложения, но более чем достаточный комментарий. Мне нередко казалось, что современная литературная критика, и в особенности «научная», страдает от избытка «интерпретаций», вытесняющих простые факты.

Как уже отметили многие авторы, ключи — и реальные, и метафорические — играют в величайшем из русских романов Набокова, в «Даре» (1938) [5], главенствующую роль. Тема ключей с примесью темы так называемой «упреждающей памяти», которой еще предстояло прославить Набокова, изящно предвещается во 2-й главе романа «Король, дама, валет»:

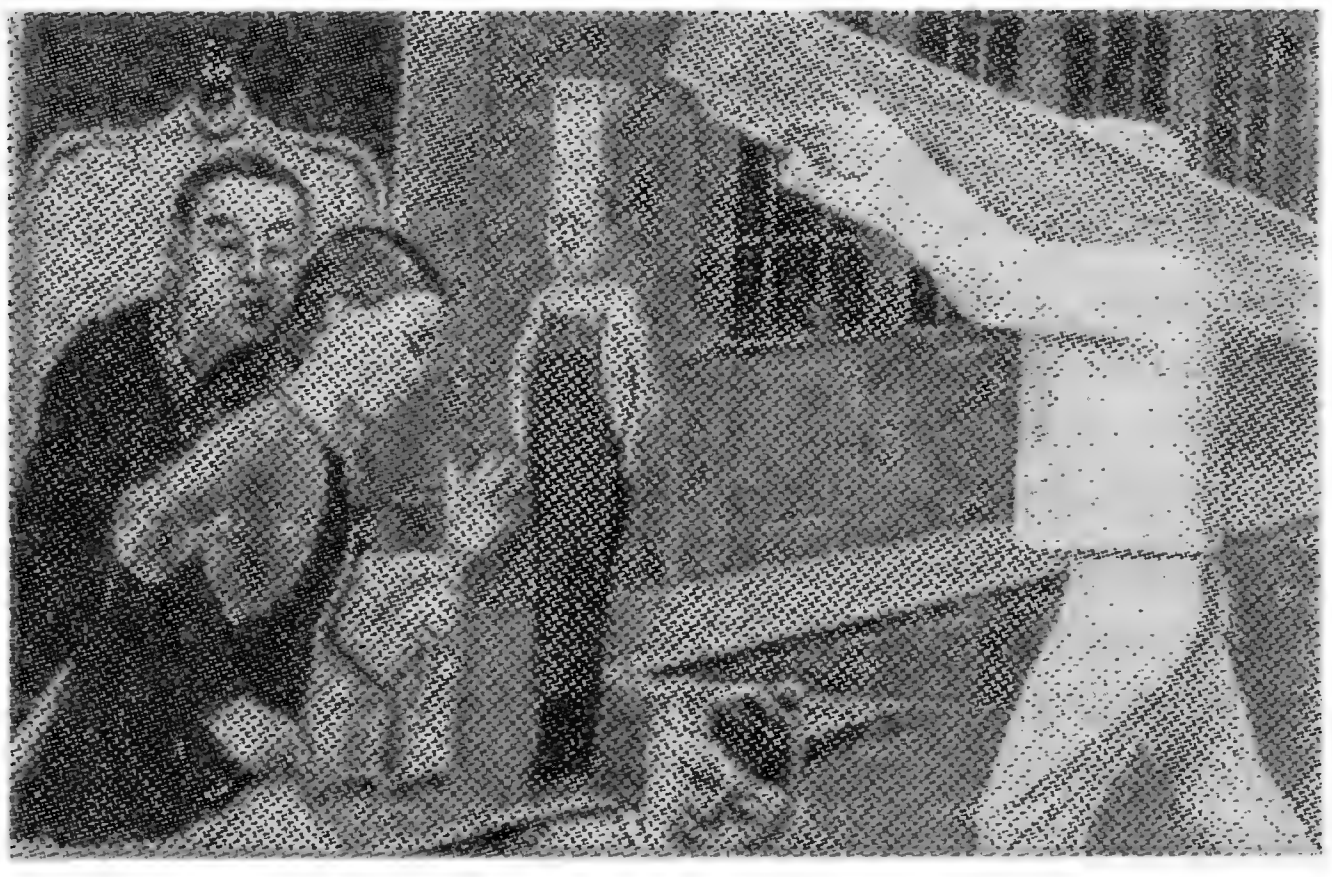
Позже, много месяцев спустя, стараясь восстановить этот день, она всего яснее вспомнила именно дверь и ключ, как будто простой дверной ключ был как раз ключ к этому дню (139).

И далее:

Опять что-то случилось с этим ключом, — черт его побери. [...] И вот этот ключ — тоже мудрит... (188).

Размножившись, ключи в последний раз возвращаются к нам в 10-й главе — в картине, пригрезившейся Францу: «Ему померещилось как-то, что в молоденькой девушке с подпрыгивающей грудью, в красном платье, которая побежала через улицу со связкой ключей в руке, он узнал дочку швейцара» (238). (Следует отметить, что этот предпросонный образ пророчески предвещает картину, написанную лжебароном Балтазаром де Клоссовски, известным более под именем Бальтюс[1] и жившим — да, собственно, и живу-

[1] Псевдоним французского художника (поляка по происхождению) Балтазара Клоссовски де Рола (род. в 1908 г.).



Еще одна женщина в красном платье

щим — совсем недалеко от старика Набокова, на берегу озера Леман. Картина, называющаяся «*La Rue*»[1] [1933], изображает сюрреальную уличную сценку и содержит в себе все признаки сомнамбулической эксцентричности. На самом переднем плане ее бежит девушка в красном платье, вернее, пытается бежать, ибо ее удерживает зловещая фигура, в которой не так уж и трудно признать молодого Володю Набокова:

Полагаю, всякий согласится со мною в том, что перед нами первый, неловкий эскиз тонкого мотива «ключей» в «Даре», где, как и здесь, простой дверной ключик преобразуется в один из важнейших элементов повествования. Кстати, еще одна мимолетная, ничем не объяснимая аллюзия на историю искусства: в главе 12-й Сирин так изображает Франца: «В очках, в пестром халате, [...] смутно походил на японца» — возможно, это отсылка к известной, сделанной на морском побережье фотографии японского живописца Фуджиты[2], жившего о ту пору во Франции:

[1] «Улица» *(франц.)*.

[2] Фуджита Цугухари, или Леонард Фуджита (1886—1968), — японский художник, живший и работавший преимущественно во Франции (странное для японца имя Леонард получено им в 1966 г. при крещении).

На следующей странице мы сталкиваемся с метафорой, предвещающей «Защиту Лужина», в которой шахматы ломают жизнь гроссмейстера Лужина и в конце концов губят его [6]. Это место опять-таки относится к Марте:

Чуть ли не в первый раз она чувствовала нечто, не предвиденное ею, не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни (139—140).

Как безусловно вспомнит читатель, в конце «Защиты Лужина» жизнь, или вернее смерть его, разворачивается перед ним в виде образованного из квадратов узора: «Там шло какое-то торопливое подготовление: собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты» (последняя страница «ЗЛ»). Тема шахмат ненадолго возникает в 11-й главе «КДВ», где впавший в оцепенение Франц глядит накануне своего (и Марты, и Драйера) отъезда к морю в окно и видит «дальний балкон, где горит лампа под красным абажуром и, склонясь над освещенным столом, двое играют в шахматы» (252).

Роман содержит также несколько грубоватых выпадов по адресу сексуальности в понимании Фрейда, которого, как мы теперь знаем, Набоков не любил, пожалуй даже чрезмерно, начиная с фаллического поезда, входящего в вагинальную трубу станции, Марты с ее «мокрым зонтиком» и «коричневатой розой» — фраза, которая 27 лет спустя обратится в самой известной из книг Мастера[1] в «*brown rose*» (здесь перед нами скорее все же неуместный эвфемизм, описывающий девичьи гениталии, нежели издевательски-фрейдистский образ, выскочивший незамеченным из-под пера замечтавшегося автора). Имеется также фрейдистский дырявый носок, из которого торчит «большой палец» (174) — напряженный фаллос, тематически напоминающий о дырке в носке юного Ганина (8-я глава «Машеньки»), хотя в последнем случае речь идет о дыре на лодыжке, но не в области пальцев («он... заметил некстати, что черный шелковый носок порвался на щиколотке» (74). Кстати, пятьюдесятью девятью страницами позже именно этот, первый носок штопает Марта (236). Надеюсь, приведенная мною подборка деталей доставит читателю удовольствие.

В 3-й главе возникает дальняя родственница Пниновой белки — странный подарок Драйера жене: «белка, от которой дурно пахло» (155). Почему белка должна дурно пахнуть, ума не приложу. Наши земблянские белочки — изящнейшие существа, их часто держат в качестве домашних зверьков, особенно люди помоложе, и пахнут они, сравнительно с собаками, кроликами и соболями, не так уж и сильно.

В 4-й главе мы встречаем первое из множества упоминаний безбородого автора о бритье («до лоску выбритый молодой человек» (163), видимо, бывшем у него навязчивой идеей. К примеру, всего лишь через страницу мы узнаем, что Франц «ежедневно брился, уничтожая не только твердый темный волос на щеках и на шее, но и легкий пух на скулах» (164). Далее Драйер воображает, как он «после основательного бритья» (241) всходит на эшафот в утро собственной казни (сцена, заметим *en passant*[2], предвещающая финал «Приглашения на казнь»). Раз уж мы остановились на уходе за телом, стоит сказать, что «мельчайшие угри, дружно жившие по бокам носа, близ угловатых его ноздрей» (164), есть не что иное, как ранние аватары черных головок, засоривших грубые поры крыльев толстоватого носа Падука в «Под знаком незаконнорожденных» (более подробно о Жабе см. примечание 3). И раз уж мы остановились на тиранах, интересно отметить, что безобидный Франц, которого Набоков сорок лет спустя преобразует во вкрадчиво-жестокого протонациста, уже в 1928-м или 1929-м украшается тем же клоком

---

[1] Имеется в виду «Лолита». В русском переводе *«brown rose»* обратилась в «коричневую розу» — см. 22-ю главу второй части романа.

[2] Мимоходом (*франц.*).

волос, что и мерзейший из диктаторов нашего века: «одна коричневая прядь имела обыкновение отклеиваться и спадать ему на висок, до самой брови» (164).

Ко времени, когда Сирин приступил к сочинению «Защиты Лужина» — то есть всего год спустя, — он уже в большей мере овладел искусством лукавой расстановки путеводных вешек — не таких, что значимость их становится сразу же очевидной для всякого, кроме совсем уж беспамятного читателя, но и не настолько темных, чтобы они стали неотличимыми от розыгрышей. Однако в «Короле, даме, валете» этот прием используется еще неуклюже. Когда изобретатель сообщает Драйеру, что остановился в гостинице «Видэо» (170), автор делает нас свидетелями того, как рассеянный Драйер безуспешно пытается извлечь это название из памяти, что, разумеется, задумано в виде намека для тех из нас, кто умудрился забыть название гостиницы Франца, сообщенное нам тремя главами или 43 страницами раньше, намека на то, что тут присутствует некая связь. *Même jeu*[1] производится с безносым господином, обладателем обезьяньей физиономии, с которым Франц сталкивается в 1-й главе, — много позже, теперь уж не помню где, автор заставляет его смутно припомнить этого господина при виде совсем другого лица. Куда более успешен и более характерен для зрелого Набокова механизм, посредством которого Драйер в 5-й главе извлекает из памяти изобретателя с его автоматами: «он заметил из окна господина, точно на шарнирах, мелкими шажками переходившего улицу, — и сразу почему-то (и это «почему-то» является подаваемым нам сигналом: ищите связь — *Ч.К.*) вспомнил разговор с милейшим изобретателем» (180). В более поздних сочинениях «почему-то» будут встречаться все реже и реже, и уже самому читателю придется собирать и связывать воедино мельчайшие детали, кои Набоков разбрасывает по своим текстам.

Обманчивые «принститутки» из 5-й главы «Машеньки» возвращаются к нам в более прозаичном обличии «проституции» в 8-й главе «КДВ», опять-таки связываясь в разуме Франца, как прежде в разуме Ганина, со школьными воспоминаниями. «Франц почему-то вспомнил, как в школьные годы тайком читал в таком же словаре статью о проституции» (215). (Молодой, безнадежно гетеросексуальный Сирин, похоже, питал острый интерес к шлюхам.)

В этой же 8-й главе (216) встречается и первое из известных мне в сочинениях Сирина упоминание о кокаине. Как могут подтвердить те из читателей, что знакомы с недавней дискуссией на сей счет, кокаин то и дело поминается в романах и рассказах Сирина. Его «Роман с кокаином», часто приписываемый Михаилу Агееву (хоть это не более чем псевдоним), — есть апофеоз увлечения нашего героя этим наркотиком.

Некий французский славист и одновременно с ним молодой американский ученый обратили внимание на обилие упоминаний числа три и троекратных повторов в «КДВ». (Я не уверен в значимости их наблюдения, на мой взгляд, это всего лишь эхо трехчастного названия романа.) Наспех составленный каталог являет нам следующее.

Поначалу Франц едет в Берлин третьим классом (121); разделенная на три части сцена мистерии (121); «три дырки» на бледном лице спящего Франца («две блестящие,— стекла очков, и одна черная — рот» (123); «треугольник лба» Марты, который Драйер видит в зеркале (137); частота употребления параллелизмов или предложений, состоящих из трех слов: «Хорошо, прохладно, просторно» (141), «он почувствовал у себя в голове все мячи, все мячики, все мячишки» (163) — что само по себе является отзвуком ряда из 2-й главы «Машеньки»: «и бублики, и бриллиантин, и просто бриллианты» (М, 40); «Она расспрашивала его о детстве, о матери, о родном его городке» (165, 166); «Драйер заполнял всю спальню, весь дом, весь мир» (236); «Вода. Ясность. Счастье.» (244); «Все кругом журчало, шелестело, дышало» (245); «Эти расфуфыренные ребятишки теперь купцы, инжене-

[1] Здесь: та же игра (*франц.*).

неры, чиновники...» (255); «она чувствовала и покой, и освобождение, и благодарность» (277); «В душе была пустота, глухота, покорность» (278); наконец, просто повторов одного и того же слова или слов (требование Драйера, чтобы Франц звал его «дядя, дядя, дядя» (134); его обращенные к шоферу слова «Трах, трах и еще раз трах» (161); «все равно — сегодня, сегодня, сегодня...» (167); «Следующий раз, вот клянусь, клянусь... матушкой клянусь...» (172); «Я считаю про себя, считаю... считаю...» (177); «на белую, белую, нестерпимо белую скатерть» (194); «Осмотрен. Осмотрен. Осмотрен» (228); «Нет, нет, нет» (229); «Чисти зубы нашей пастой, улыбаться будешь часто. Чисти зубы нашей пастой. Чисти зубы» (237).

Куда все это ведет и нас и читателя, сказать не могу. На мой вкус, самое удачное в книге место находится ближе к ее концу, в 11-й главе: «Ослепительно горела на солнце серебряная сахарница. Потом она медленно потухла. Вспыхнула снова» (244). Вот это уже чистый Набоков. С другой же стороны, критика Эрики по адресу Драйера может быть отнесена и к Набокову, жестокие стороны натуры которого достаточно известны: «Чувствительность эгоиста, — говорила когда-то Эрика, — ты можешь не заметить, что мне грустно, ты можешь обидеть, унизить — а вот тебя трогают пустяки...» (256). Подробности вещь хорошая, но искусство должны пропитывать куда более возвышенные элементы человеческого опыта. И меня повергает в грусть то обстоятельство, что Сирин не удосужился в большей полноте исследовать царственную тему, намек на которую содержится в названии его романа (см. примечание 2).

Один, последний *testenbörder*, как говорим мы, зембляне. Явственным кивком в сторону первых признаков неприятностей, которые свалились на Йозефа К. в «*Der Prozess*» Кафки, опубликованном за несколько лет до «КДВ» («*Die Köchin der Frau Grubach, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen acht Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen*»[1]), является удивление Франца в конце 11-й главы: «Почему ему не дали сегодня кофе?» (253, 254). И действительно, почему? Более подробно о Набокове и о том, другом Франце, см. в моей пятой главе.

КОММЕНТАРИИ

1. Все ссылки даются по изданию: Владимир Набоков. Король, дама, валет (в дальнейшем «КДВ»). Собрание сочинений в 4т. М., 1990, т.1.

2. Не следует упускать из виду то обстоятельство, что русское его название, переписанное латиницей, образует анаграмму английской фразы «*Look at Valdemar*» («Смотри на Вальдемара»), то есть завуалированную ссылку на Вальдемара Невнятного (1803—1867, правил с 1815-го по 1863-й), мудрого, но слабого короля, скончавшегося в изгнании. Вальдемар, имя коего представляет собой земблянский вариант распространенного славянского имени «Владимир», пришел к власти в начальные годы XIX столетия, будучи еще застенчивым двенадцатилетним отроком. Донимаемый своей амбициозной матерью, королевой Сидрой Заливной, желавшей, чтобы сын стал отважным королем-воителем, подобным отцу ее Торлаку Третьему, и ласкаемый своим регентом, эрцгерцогом Гингольдом-из-Октаном, заботившимся более о собственных мимолетных наслаждениях и престиже, чем об участи, уготовленной державе опекаемого им юного принца, Вальдемар сумел невесть каким образом уклониться от всех путей, кои норовили проложить для него многообразные менторы, и, ко всеобщему удивлению, обратиться в мужественного, атлетичного, эрудированного, благожелательного и падкого до забав монарха,

[1] «Кухарка его квартирной хозяйки фрау Грубах, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало» *(нем.). Перевод Риты Райт-Ковалевой.*

любимого народом, но, к несчастию, столь склонного к мечтаниям, что каждодневные грезы его оказались несовместимыми с заботами о том, что происходило в управляемой им пусть небольшой, но по временам сложноватой стране. В конце концов Вальдемар, свергнутый тайной организацией озабоченных аристократов, бежал в Париж, где и скончался в 1867 году, не оставив наследника.

3. На с. 369 о Марте сказано: «похожая на большую белую жабу». Это вторая в прозе Сирина жаба. Первая появляется во 2-й главе «Машеньки» в виде чернильницы на письменном столе покойного герра Дорна: «дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы». Обе они открывают череду невинных предшественников Жабы — тирана Падука из романа «Под знаком незаконнорожденных» (см. в оном).

4. См. в особенности с.236 и жалкую ночную поллюцию Франца на с.160.

5. См., к примеру, статью Д. Бартона Джонсона «*The Key to Nabokov's Gift*»[1] в канадско-американском журнале «*Slavic Studies*» (Ванкувер, Британская Колумбия), 16, 1982, с. 190—206. (Я незнаком с профессором Джонсоном, но мне говорили, что он до жути похож на Чехова[2].)

6. Не могу удержаться и не процитировать Шопенгауэра, цитирующего Аристотеля, цитируемого Сенекой: «*Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit*»[3] (Кажется, это из «*De tranquilitate animi*»[4].)

ГЛАВА 8

Смерть не смешна[5]

Задним числом относительно богатая событиями жизнь Мастера читается как роман, сочиненный автором, охваченным таким творческим пылом, что он то и дело забывает перечитывать уже им написанное — впрочем, и вдохновение посещает его так часто, что переделки, как и выстраиваемые в определенной последовательности черновики, оказываются излишними: рассказ изливается единым, до чрезвычайности длинным и становящимся все длиннее многокрасочным потоком, в чем-то подобным бесконечной связке шелковых носовых платков, которую фокусник с хорошо подделанным изумлением вытягивает из атласного своего рукава, либо, уж коли на то пошло, изо рта уступчивой, хоть отчасти и сконфуженной дамы, выдернутой им из публики. Что же до смерти Набокова, то она и поныне воспринимается как неприятное потрясение, нелепый в своей неуместности элемент череды событий — как если бы в самом конце шелковой ленты обнаружился не особенно яркий платочек, но живой червяк, или подгнившая слива, или какой-то равно удивительный иверень происхождения решительно необъяснимого.

Спасибо, мадам, можете сесть.

То, что Набоков умер не своей смертью, лишь теперь начинает признаваться широкой публикой. Его так называемая «загадочная» смерть, объявлявшаяся следствием то падения в горах, то вирусной инфекции, то воспаления легких, то прозаической остановки сердца, была, как ныне стало известно, причинена или по меньшей мере ускорена особливым, почти неуследимым ядом, неудобосказуемое название коего я не стану здесь открывать из опасения, что какая-нибудь неуравновешенная личность, отрастившая зуб на члена своей семьи, прежнего возлюбленного, шумного соседа или начальника (нет, это определенно не Вы, драгоценнейший М.), может отыскать этот яд и использовать.

---

[1] «Ключи к набоковскому «Дару» *(англ.)*.
[2] Скорей уж на Рериха.
[3] Ни один великий ум не был без примеси безумия *(лат.)*.
[4] «О терпеливости животных» *(лат.)*.
[5] Обыгрывается первый вариант названия незаконченного романа Набокова «Подлинник Лауры: Смерть смешна».

Раздобыть этот яд нетрудно. Он не имеет ни вкуса, ни запаха, обнаружить же следы его можно лишь посредством вскрытия, произведенного вскоре после кончины жертвы знающим медицинским экспертом. Набоков, в последние два своих года несколько раз попадавший в больницу, считался человеком больным. Никто не заподозрил, что дело здесь нечисто, а потому и о вскрытии никто не похлопотал. Тело, о чем я узнал слишком поздно — иначе не предпринял бы бесплодной ночной вылазки, описанной мною в первой главе, — кремировали всего через несколько дней после того, как обладатель его освободил, так сказать, помещение. Увы, никаких годных для предъявления суду доказательств совершенного преступления не сохранилось.

И все-таки позорный путь, что тянется инфернальным пунктиром по картам Германии, Франции, Америки, возвращаясь к горному склону над Гстаадом к роскошному отелю в Монтрё и завершаясь в конце концов в мрачной лозаннской больнице, проследить можно — и он будет прослежен, о мой кроткий читатель, — от штриха к штриху, пока не явится он во всей своей полноте, подобный замысловатому и по видимости бессмысленному рисунку, нанесенному на лист бумаги старым, обмакнутым в лимонный сок гусиным пером и остающемуся незримым для невооруженного глаза, но явственно проступающим, если нагреть листок у свечи либо электрической лампы, — пророческий узор, похожий на загадочную картинку, где однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда[1].

* * *

Как ведомо каждому читателю, отец Набокова был убит вечером 28 марта 1922 года при попытке предотвратить предположительное покушение на русского государственного деятеля и историка Павла Николаевича Милюкова, выступавшего в берлинском филармоническом зале перед толпой, состоявшей из русских (и по меньшей мере двух земблянских) эмигрантов. Толкование происшедшего, принятое тогда же и считавшееся истинным по сей день, сводилось к тому, что объектом покушения, совершенного «монархистскими экстремистами», являлся Милюков, глава партии конституционных демократов — так называемых «кадетов», представляющих собою русскую реплику наших куда более воспитанных и жизнерадостных карлистов, — и что Владимир Дмитриевич Набоков, также присутствовавший на сцене, был смертельно ранен, когда попытался удержать вооруженного пистолетом убийцу и повалить его на пол. Но довольно этого исторического глянца, намеренно наведенного на трагическое событие [1].

На самом деле убийца — русский, поселившийся под странным англо-американским именем Боб Уайт в дешевой гостиничке близ Курфюрстендамм, — отлично продумал каждый свой ход. Его тренировщики (два безликих аппаратчика из Семипалатинска) дело свое знали. (Я получил эти сведения от баснословно старого эмигранта, и поныне живущего, перебиваясь с хлеба на воду, в сельской вилле на юге Франции.) Они, тренировщики, сознавали, что Набоков-старший, славившийся и отвагой, и чувством чести, увидев нацеленное оружие, без колебаний бросится на защиту своего коллеги Милюкова, который — по одному уже тому, что именно он обращался к публике с речью, — и будет сочтен главной мишенью нападающих. Уайту, меткому стрелку, ничего не стоило «промахнуться» по предположительной жертве и попасть в Набокова, находящегося бок о бок с человеком, на которого якобы совершается покушение. Вскоре после этого Набоков-старший скончался. Ужасная трагедия преждевременной смерти этого 53-летнего человека в последующие полстолетия блуждала, подобно некоему призраку, по произведениям его сына. Но довольно ли одного этого убийства, чтобы объяснить навязчивое влечение Набокова к образам смерти, к убийствам, к тому, что юристы кличут «ошибоч-

[1] Последнее позаимствовано из заключительного предложения мемуарной книги Набокова «Память, говори».

ным опознанием»? Ответ, утверждаю я, гласит: нет. Разумеется, трагедия есть мощная движущая сила искусства, но, опираясь лишь на нее, мы никогда не поймем, почему Набоков с такой силой и настоятельностью — так и тянет сказать маниакальностью — раз за разом обращался к одним и тем же фундаментальным, фундаментально пугающим темам.

Набоков знал: и за ним тоже ведется слежка, знал так же уверенно, как то, что гибель отца была отнюдь не случайной. Поначалу слежка эта не содержала в себе угрозы — тайные силы, полагавшие, что молодой хлыщ и эстет, полная противоположность своего политически деятельного отца, не составляет для них опасности, упражнялись в скрытном надзоре, не более. Но по мере того как возрастала писательская слава Сирина, по мере того как он становился все более прямым в своих нападках на идиотически жестокий режим, терзающий его родину, силы тьмы пришли к заключению, что это раздражающее начало надлежит уничтожить. Сирин, всегда отличавшийся острой интуицией, почувствовал, что жизни его угрожает опасность. Положение осложнялось еще и тем, что он был теперь женат, что у него родился сын, он просто не имел больше права бравировать, изображая молодого, ни от кого не зависящего художника. Еврейское происхождение его жены, Веры, и разгул антисемитизма в Веймарской Германии снабдили биографов Набокова удобным объяснением длинной вереницы миграций и странствий, начавшейся в 1939-м переездом из Берлина в Париж и завершившейся в 1960-м переселением в Монтрё после двадцати проведенных в Соединенных Штатах лет. Однако подлинная причина его неусидчивости лежит в иной плоскости.

Теперь уже можно сказать, что человек, назвавшийся Робертом Уайтом [2], был членом призрачной клики, преследовавшей цель создания «единой, демократической, социалистической России» и того ради истреблявшей всех, кто без должного одобрения высказывался о государстве Ленина—Сталина. Молодой писатель Сирин поначалу привлек ее внимание лишь как сын выдающегося политического деятеля, боровшегося с абсолютистским правлением большевиков. Ранние его сочинения были достаточно безобидны — с идеологической точки зрения. Если он и разделял чувство отвращения, питаемое к новому режиму средним перемещенным русским интеллигентом, он возглашал это чувство не громче среднего изгнанника, осевшего в Риге, Париже либо Берлине. Первые три его романа были посвящены: 1) инфантильной любви; 2) адюльтеру и 3) шахматам, то есть темам навряд ли способным встревожить сообщество профессиональных убийц. Но по мере того как Сирин выказывал, печатно, все большее презрение к тирании, сокровенная эта организация, официально безымянная — назовем ее удобства ради «Тенями»[1], — наметила его для того, что она эвфемистически именовала «устранением». Дошли ли до Сирина слухи об этих намерениях (что маловероятно, если учесть присущую «Теням» манию секретности), или его просветил некий трепет предпредведения, это так навсегда и останется нам неизвестным. Известно, однако, что ощущение нависшей опасности заставило Сирина бежать в Париж еще до того, как преследователи успели схватить его и лишить жизни. Бомба, вовсе не сброшенная с немецкого самолета, как уверяют нас некоторые свидетельства, но подложенная двумя агентами «Теней» (один из которых жив-здоров и поныне и обосновался в Нью-Йорке) в сырой подвал дома на рю Буало, в котором Набоков снимал квартиру, взорвалась всего через несколько часов после того, как и он, и семья его выехали оттуда — радостно, как может теперь представить читатель, пусть и несколько торопливо, — в Шербур.

---

[1] Кинбот воспользовался здесь названием террористической организации, охотившейся за ним самим. (См. роман «Бледное пламя».)

* * *

После того как Набоковы перебрались в Соединенные Штаты, напряжение, казалось, несколько ослабло, хотя и здесь, среди мирного населения городка Априлс, штат Аризона, на фоне величавых лиловых гор, было предпринято несколько покушений на жизнь Владимира, каждое из которых оказалось, слава богу, неумелым и неуспешным. Первым из них стала попытка отравления, осуществленная злобными мерзавцами ни больше ни меньше, как в день рождения Пушкина, 6 июня 1944 года, попытка, провалившаяся, поскольку ВН, и без того уж умученный острым расстройством, выбежал, прервав изучение гениталий малазийских бабочек из здания Музея сравнительной биологии в Кембридже, штат Массачусетс, и вместе с обильной рвотой изверг из своего терзаемого болью желудка яд, смесь стрихнина с танином. Второе, почти удавшееся покушение состоялось, когда он преподавал в Корнелле: некий молодой член «Теней», случайно забредший в хранилище радиоактивных веществ, расположенное в одной из лабораторий штата Нью-Мексико, получил тем самым возможность ненадолго подвергнуть Набокова облучению, причинив ему пустяковое радиационное отравление, принятое невежественным врачом за последствие «солнечного удара». (Агент этот несколько времени спустя скончался от рака кожи в городе Паскагула, штат Миссисипи.)

После публикации «Лолиты» — в 1955-м (в Париже) и в 1958-м (в Америке) — Набоков смог оставить преподавание в университете (это неблагодарное, скудно оплачиваемое занятие, неотделимое от безъюморного подхалимства, мелкотравчатого политиканства и педантической капризности) и возвратиться в Европу, на сей раз в Швейцарию, многие столетия бывшую благополучным раем изгнанников, беженцев и экспатриантов всех видов и родов. Переселясь туда, наш герой смог наконец насладиться полной безопасностью за зеленеющей высокой альпийской стеной, отгородившей эту безмятежную страну от всего остального света.

Так он, во всяком случае, думал.

КОММЕНТАРИИ

1. Почему достойных граждан, хранящих верность своему государю, непременно нужно обзывать «экстремистами»? Не все монархи дурны, история буквально кишит великодушными королями и снисходительными королевами.

2. Настоящее его имя, во всяком случае имя, обозначенное в польском паспорте, отобранном у него при аресте, было — Алексей Иванович Беловский.

От переводчика

Читатель, особенно читатель Набокова, должно быть, уже сообразил, что его попытались облапошить. Разумеется, никакого Чарльза Кинбота в реальности — по крайности, в нашей, обыденной — не существует. Кинбот обитает в реальности иной, литературной, в качестве одного из центральных персонажей романа В. Набокова «Бледное пламя» (или «Бледный огонь», это зависит от перевода). Строго говоря, и там его существование сомнительно — есть основания полагать, что и он, и Зембла, «страна далеко на севере», которой он правил, существуют лишь в воспаленном воображении мимоходом упоминаемого в романе русского профессора из перемещенных лиц, носящего анаграмматическую фамилию Боткин.

Приведенные выше главы из романа «Серебристый свет» сочинены Джеффом Эдмундсом, человеком также отчасти загадочным. Как рассказал мне весной этого года президент международного Набоковского общества Дональд Бартон Джонсон, Джефф возник в набоковс-

ком ученом сообществе словно бы ниоткуда — в том смысле, что на «набоковеда» он никогда и ни у кого не учился, — возник с посвященной Набокову научной работой, вызвавшей интерес столь живой, что ему предложили принять участие в издании журнала «Nabokov Studies». Сам он называет себя «библиотечным клерком» и действительно работает в университетской библиотеке.

Насколько я понимаю, «Серебристый свет» был изначально задуман как литературоведческое исследование русской прозы Набокова, но по ходу работы над ним артистическая натура Джеффа взяла верх и в результате возник как новый автор, так и описание его замысловатых похождений.

Полагается еще привести библиографическую справку. Попросив Джеффа снабдить меня таковой, я получил (с обещанием добавить вскоре нечто более занятное) нижеследующее:

Джефф Эдмундс родился в 1964 г. в Анн-Арбор, штат Мичиган, в семье художницы и ихтиолога. Учился на художника, несколько его картин хранятся в частных собраниях США и Великобритании. В настоящее время работает «специалистом по каталогизации» в библиотеке университета штата Пенсильвания, где он в 1995 году создал в Интернете посвященный Набокову сайт ZEMBLA, редактором которого и является. Его рецензии, статьи и переводы с русского и французского публиковались в «Славянском и восточно-европейском журнале», в журнале «Nabokov Studies» и в ZEMBLA. Первый его роман «Метро» будет издан небольшим независимым американским издательством в конце 1999 г.

Обещанное и поступившее вскоре занятное добавление содержало историю зачатия Джеффа, вряд ли пригодную для публикации.

Остается только добавить, что с именем Джеффа Эдмундса связан один из самых громких в набоковедческом мире скандалов, вызванный тем, что в прошлом году он обнародовал в ZEMBLA статью некоего Мишеля Дисоммелье, в которой обильно цитировались украденные у Набокова черновики последнего его романа «Подлинник Лауры» (перевод большей части статьи был напечатан в «Ex libris НГ», а полный вариант — в журнале «Новая Юность»). Один из самых видных знатоков творчества Набокова возмутился этим поступком Джеффа настолько, что даже пригрозил ему судебным преследованием за нарушение авторских прав. Впрочем, гнев его улегся, когда Джефф признался в том, что и Дисоммелье, и «извлечения из набоковского текста» сочинены им самим.

■

ЭРИК ОРСЕННА

Два лета

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского Н. БУНТМАН и А. ДЕГТЯРЬ

Жилю Шаину,
Жану Бернару Бланденье,
всем моим братьям —
островитянам и переводчикам

Порою острова встают вдали,
Бесплотные, как след тумана,
Кочующие призраки земли
В безбрежных водах океана.

Эдмунд Спенсер.
Королева фей. Книга 2, песнь 12

Счастливы дети, взращенные в любви к острову. Он наставляет их, учит тому, что в жизни всегда пригодится: воображению, одиночеству, свободе и даже легкому пренебрежению к твердой земле под ногами, учит всматриваться в горизонт, ходить под парусом, сниматься с якоря...

Наш остров.

С сентября до конца июня, среди серой скуки школьной парижской жизни, мы думали только о нем. Он стоял у нас перед глазами наяву и во сне, его изображения были наклеены на все стены, на откидные доски парт. С ним связывались все мечты о любви и приключениях. Там обитали герои наших любимых книг: естественно, Робинзон, но заодно и Три мушкетера, и даже Сансеверина, не без удивления, надо полагать, очутившаяся среди гранитных глыб, подточенных прибоем.

Остров утешал нас в трудную минуту и заставлял стыдиться собственных слабостей. Кто мог воспитать нас лучше?

Он был нашим единственным родовым достоянием, общим со взрослыми. У них тоже в рабочих кабинетах — будь то страховое агентство, клиника или фирма по производству игрушек — непременно висела в рамочке его карта. Они тоже поверяли ему свои туманные мечты и тоску по морскому простору.

Как описать всеобщее ликование, когда наставал час отъезда? Помню, наш большой белый «рено» мы называли «Фрегат». Море начиналось для нас уже в Париже, прямо у заставы Сен-Клу.

Мы перескакивали с одного лета на другое, как перескакивают, переправляясь вброд, с камня на камень. Все остальное в нашей жизни можно без сожаления забыть.

I

Каким образом в доме, заполненном с первых чисел июля огромным семейством — дедушками, бабушками, тетушками, кузенами, братьями и сестрами по крови и во Христе, вдовами дальних родственников, закадычными подружками, дядюшками с подозрением на наследство, бодрыми прабабками и свежим пополнением из новоиспеченных зятьев («совершенно никчемных») и невесток («кошмарно надушенных»), — когда

© Librairie Arthème Fayard, 1997
© Н. Бунтман, А. Дегтярь. Перевод, 1999

тонкая, как бумага, перегородка или просто занавеска в цветочек отделяет вашу постель от тесной комнатушки, битком набитой детьми и заставленной, словно лавка старьевщика, разного размера кроватями, а поверх занавески еще норовит заглянуть хихикающий малыш, стоя на цыпочках на подушке, или за вами подсматривают дрожащие от любопытства подростки сквозь дырку в дощатом потолке — тайный наблюдательный пункт, неизменно заново открываемый каждым следующим поколением, — как, спрашивается, в такой обстановке заниматься любовью?

Можно, конечно, под одеялом. И доказательство тому — бесчисленное потомство, приносимое по весне. Тут быстро овладеваешь умением заставить молчать матрас, кусать кулак в миг блаженства, держать наготове вафельное полотенце, чтобы, не дай бог, не оставить на простыне рокового пятна, которое грозит стать темой пересудов на века.

Но как же столь необходимый аккомпанемент, музыка, короче — слова любви?

Весь дом по ночам и во время сиесты был начеку и сбирал свой мед с малейшего шепота, с каждого нежного «Да, да!», с чуть слышного «Еще, еще!», даже не произносимого, а выдыхаемого в самое ухо.

И на другой день, в тиши ясного утра, с пляжа неслись дружные постанывания малышей: «Да, да! Еще, еще!», а на террасах пожилые тетушки в соломенных шляпах, не выпуская из рук вязания, обменивались саркастическими замечаниями относительно несдержанности теперешней молодежи.

Виновники сидели за завтраком не подымая глаз, мотали все на ус и уже больше никогда не давали воли словам.

Однажды на этом острове бессловесной любви высадился невысокий человек. У него были темные глаза и походка фавна. Глубоко равнодушный к насмешкам моряков, не одобрявших городской элегантности, он был одет в белый тиковый костюм.

Из Парижа его гнала тоска. Слишком многое напоминало ему там о недавно умершем великом друге, Жане Кокто. «Князь поэтов» частенько наведывался в его жилище на бульваре Сен-Мишель и с удовольствием смотрел и слушал, как юный, не вполне одетый фавн до зари разбирает для него Куперена[1].

Остров был не первой его стоянкой. Он избороздил всю Францию в поисках тихой пристани, нового порта приписки. Будучи по профессии переводчиком, он мог заниматься своим делом где вздумается.

Три километра с севера на юг, полтора с востока на запад — осмотр новой земли оказался недолог. Гость открывал одно за другим чудеса здешних мест, и в нем крепла счастливая уверенность: «Нашел! Наконец-то нашел! Здесь я смогу вновь обрести вкус к жизни.

Я так ненавижу холод и дождь, а тут идеальный микроклимат. Этот остров не подпускает к себе облака: они держатся от него в отдалении, цепляясь за материк. Воздух волшебно-теплый, видимо, его согревает благословенный Гольфстрим. Растительность южная: алоэ, мимоза, пальмы, — уголок Сардинии посреди Ла-Манша.

Профессия моя сродни ремеслу паромщика, поэтому ничто не может так вдохновить меня, как движение судов, вечным хороводом скользящих по архипелагу.

К тому же, говорят, после 25 августа здесь все пустеет, и самые мощные в мире приливы освежают ум два раза в день, а сладкий рис с молоком по средам возвращает в детство. Нечего больше искать. Сдаюсь».

Так рассуждал сам с собой на террасе местного кафе «Перекати-поле» переводчик с повадками фавна. Он жмурился, что было у него знаком высшего блаженства. И его

---

[1] Франсуа Куперен (1668—1733) — французский композитор, клавесинист, органист. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

пухлые гранатовые губы мечтательно потягивали в честь принятого решения скверное гаме из граненого стакана.

Вокруг говорили на непонятном языке. Справа группа всклокоченных юношей бурно комментировала загадочное послеобеденное происшествие, видимо приведшее их в ярость.

— Прошляпить такой шквал!

— Всего в пяти кабельтовых!

— Нельзя было упускать шкаторину!

— В другой раз сам займусь оттяжкой гика.

Супружеская пара слева беседовала куда спокойнее. Шепот исповедальни перемежался латынью:

— В любом случае, отводки в порядке!

— Ты видел Wisteria sinensis?

— Нет, что бы там ни говорили, а всё-таки глазок на подвое лучше всего!

— Отлично, отлично, — повторял наш герой, потирая руки («Такие маленькие, — вздыхал Кокто, беря их в свои ладони, — и не подумаешь, что такие искусные!»). — Отлично. Местный язык, несомненно, французский, но приправлен множеством малоизвестных наречий. Ничто так не бодрит переводчика, как хорошо унавоженная словесная почва. Единый, изначальный, довавилонский язык дал здесь, распавшись, больше осколков, чем где-либо еще на планете. Благодарю тебя, Господи, я нашел землю Обетованную!

II

— Дом? На острове? Вы серьезно?

Господин Н., нотариус соседнего городка, с изумлением рассматривал дерзкого клиента.

— Дом! Да откуда я его возьму, дома их никогда не выставляют на продажу, никогда. Семьи крепко за них держатся. Кстати, вы семейный?

— Собственно говоря...

— Просто хочу предупредить. Если, в виде исключения, я вам что-то и подыщу, имейте в виду: там безраздельно царят семьи. Вас ни за что не примут, если вы не семейный.

— У меня два племянника. Они с радостью приедут на каникулы.

— Племянники — это еще не вполне семья. Так что постарайтесь. Я же, со своей стороны...

Кончиками длинных серых пальцев, похожих на очищенные испанские козельцы, он рылся в картотеке. Со стены за ним наблюдал Эрнест Ренан. Что делал здесь автор «Молитвы над Акрополем»? Ренан был местной гордостью, хоть и попахивавшей слегка адской серой, ибо он осмелился — в прошлом веке-то! — бросить вызов всемогущему католицизму. Прохожие шарахались от него на улице, опасаясь ненароком коснуться самого Дьявола.

— Нет, пока ничего. Разве что решится вопрос с неделимой собственностью Ландриё... Виноторговка из Кемпера и ее вьетнамский зять-дантист... О боже правый!

Он морщился, углубляясь в этот кошмарный лабиринт вражды и ненависти — крестный путь любого нотариуса.

— Подождем-ка месяц-другой. Пока это дело прояснится... Если оно вообще когда-нибудь прояснится. Слово «неделимая» применительно к собственности бывает порой удивительно точным.

Он встал. У него был измученный вид.

— Можно вам задать последний вопрос? — отважился переводчик.

Законник не ответил и только устало моргнул: мол, задать-то вы можете...

— На этом острове... Мне показалось, что люди там пользуются очень точной лексикой, специальными терминами. Даже дети. Никаких тебе «штуковин», или «это самое», или «ну, в общем»... вы меня понимаете? Наоборот, там только и слышишь: «гусеницеснимать», «подпорка под шпалеру», «краспица».

— А, вы заметили? Ну еще бы, такой человек, как вы, не мог не заметить. Именно это вас и привлекло? Ничего удивительного. Абсолютно ничего.

Он украдкой взглянул на собеседника. Потом уставился на носки собственных ботинок.

— Остров крошечный. Вы, наверно, уже убедились. И находится под охраной как заповедник. Строить там больше нельзя. Люди вынуждены тесниться в тех домах, которые уже существуют.

Он умолк. То ли собирался с силами, то ли призывал кого-то на помощь. Быть может, Эрнеста Ренана, так истово верившего в успехи Разума?

— Признаюсь, я не совсем понял.

— Скученность не способствует нежным речам. Вот они и говорят в отместку не о любви, а о чем-то еще, и в этом поднаторели. Но учтите, я вам ничего не сказал. Это только моя гипотеза. Я не психолог. Ступайте и сочините себе семью. А я посмотрю, чем смогу вам помочь.

III

На северном конце острова, гласит легенда, два брата убили отца, чтобы отнять у него королевство. В тот же миг за совершенное преступление Бог обратил их в камень, а море навеки окрасилось кровью. Тут-то и жил теперь переводчик — среди красных камней, на самом краю земли. «Гаво» он с собой не взял: рояль не вынес бы местного климата. Сырость портит струны и размягчает душу. Настройщики не приезжали на остров — зачем? Островитяне использовали пианино как подставки для фотографий. Портреты предков и фотографии свадеб давно заменили собой ноты. Все пропахло мастикой. Музыка была забыта.

Бывшую неделимую собственность Ландриё составляли три лепившиеся друг к другу лачуги. Своих кошек — великолепную кошачью коллекцию — он поместил на западе, кровать — на востоке. Посередине была кухня. На столик для бриджа, покрытый изъеденным молью и прожженным сигаретами сукном, он водрузил свой старый верный «ремингтон». Конечно, машинка не могла заменить рояль (не в ее власти воскрешать Куперена), но все-таки было чем занять пальцы.

— Добро пожаловать на борт, — прозвучал над ним, словно с неба, грозный глас облаченного в сутану существа, когда они вместе покупали картошку в бакалейно-посудно-табачно-канцелярской лавке. — Заходите как-нибудь вечерком. Я здешний кюре.

Спустя неделю, после долгой и сложной внутренней борьбы (позволяют ли полубезбожные-полупротестантские взгляды встречаться с католическим священником), переводчик решился в конце концов принять приглашение.

Дверным молотком служил большой медный дельфин.

— Осмелюсь полюбопытствовать, — начал кюре после двух стаканов терпкого сидра, от которого драло горло, как коленку от падения с велосипеда на гравий, — чем вы предполагаете заполнять здесь свои дни?

Это была его навязчивая идея: заполнять свои дни. Он по опыту знал, что на острове время убить трудно, почти невозможно. Как будто пространство и время, заключив здесь временный союз, сговорились сводить людей с ума.

— Буду переводить.

— Переводить? И с какого же языка, позволь спросить?

Кюре легко перешел на ты. Ведь остров — это корабль, не так ли? И мы его экипаж.

— С английского.

Кюре поморщился. Англия пользовалась здесь дурной репутацией. Веками захватывала, жгла, насиловала, истребляла.

— Неужели на юге или на востоке нет хороших книжек? Выбрал бы что-нибудь испанское или китайское, например! Китайцы хоть не причиняли нам зла.

Кокто научил переводчика всем видам нежного общения, в том числе и искусству вовремя произнести фразу, которую от тебя ждут.

— Переводчики — это те же корсары.

В правом глазу кюре, в том, который не прикрывало отяжелевшее веко, блеснул радостный огонек. Чтобы «заполнить свои дни», он в свое время погрузился в местную историю — излюбленное занятие священников. И обнаружил, что наш чудесный остров, наш райский уголок, любезный взору пейзаж из розовых скал и гортензий, когда-то был родиной грозных плавучих воителей. Едва достигнув сознательного возраста, они получали от королей Франции «каперское свидетельство». Аккредитованные таким образом, они садились на ладьи и «шли на нечестивцев» (иначе говоря, на англичан). За что те и подвергали наш архипелаг периодическим чисткам.

— Корсары?

Кюре не мог взять в толк, что общего между разбоем и столь мирным занятием, как перевод. Пришлось пускаться в объяснения.

— Что делают корсары? Приглянется им иностранное судно — и они его захватывают, выбрасывают команду за борт, меняют экипаж. А потом поднимают свой флаг на самой высокой мачте. Так же и переводчик. Он захватывает книгу в плен, меняет язык и делает ее французской. Вы никогда не думали, что книги — это те же корабли, а слова — их экипаж?

— Пожалуй, да, если так посмотреть...

И кюре подлил себе еще сидра, резкого, как фальшивая нота.

После этой встречи — поскольку на острове любые новости, включая тайны, поведанные на исповеди, мгновенно становятся всем известны — с переводчиком начали здороваться на улицах незнакомые люди, его приветствовали даже отставные флотские офицеры, вдевавшие 18 июня, в черный день Ватерлоо, траурную ленту в петлицу. Они с трудом сдерживались, чтобы не похлопать его по плечу: желаем удачи, корсар, мы с вами, ах, если бы вы могли захватить в плен заодно и всю Англию и наконец-то покончить с этим разбойничьим логовом!

IV

В первые годы на острове наш переводчик-корсар вел себя мудро и осмотрительно: переводил только покойников, обладавших множеством бесспорных достоинств, в частности стоическим терпением. Ибо перевод — процедура болезненная, что-то вроде хирургического вмешательства: разрезаются фразы, ампутируются оттенки смысла, производится пересадка каламбуров, что-то отсекают, что-то наращивают; под предлогом точности текст кромсают, перекраивают. Но усопшие авторы не протестуют. Вдобавок тем, кто пребывает в вечности, спешить некуда. Никто не станет вас торопить, нервно постукивая пальцем по стеклу часов.

Общаясь с этим миролюбивым племенем (Генри Джеймсом, Чарльзом Диккенсом, Джейн Остин), переводчик несколько расслабился. И работал когда вздумается, то есть редко. Надо сказать, что вопреки опасениям кюре дни на острове летели незаметно и быстро, без малейших признаков скуки. Освещение менялось ежесекундно, приливы и

отливы непрерывно обновляли горизонт. Можно было просто сидеть на берегу с утра до вечера и любоваться сменяющими друг друга видами. Бывший горожанин, перевалив за пятьдесят, наконец-то наслаждался природой. Что же до совместной жизни с сорока семью кошками, то они стимулировали его мысль. Он выстроил на их счет немало гипотез. Приведу здесь лишь две, сознавая, что эти животные заслуживают не одного тома.

1. На заре веков кошки жили у людей внутри. Они воплощали в человеке дикость, пережитки джунглей. Каждый из сынов божьих носил в себе собственную кошку — в ней была заключена его свобода, его дерзкая воля. Отсюда и внешне необъяснимое поведение людей: то они сладко мурлычут на солнышке, то вдруг вскакивают и ни с того ни с сего бросаются бежать; то забываются в ласках, то кидаются прочь, впадают в неистовство, царапаются, наносят друг другу жестокие раны, глубокие, напоенные ядом, долго не заживающие, такие, как, например, ревность. Это кошка внутри дает понять хозяину-человеку, что нет ничего прочного, вечного и всегда надо быть начеку, даже во сне.

Но их сожительство оказалось недолгим: человек захотел покоя, а кошка восстала против самодовольства, раздутого послеобеденного живота, умильного воркования перед спариванием и нелепой гордости после. Словом, они не сошлись характерами. В один прекрасный день кошка вырвалась из тела человека, но осталась рядом — уж очень привыкла.

2. Кошки — это слова, только пушистые и живые. Как и слова, они бродят вокруг нас, но не дают себя приручить. Усадить кошку в корзинку перед отходом поезда не легче, чем вызволить из памяти нужное слово и усадить в нужное место на белом листе. Слова и кошки относятся к разряду неуловимых.

V

По вечерам, несколько раз в неделю, переводчик принимал молодого крепкого юношу; юноша был шофером на грузовом фургоне и приходил усталый после рабочего дня, одурев от непрерывной езды между портом и тремя местными магазинчиками. Они садились за стол друг против друга. И молчали, потупясь. Пишущая машинка стояла между ними, как бдительная дуэнья. Всю ночь напролет они пили красное вино. Потом переводчик начинал тихо что-то напевать. Под утро, часа в три-четыре, он, чуть пошатываясь, вставал, опускался на колени у ног шофера, стаскивал с него носки и отправлялся стирать их в раковине.

VI

На острове нашем летом много преподавателей: если вам повезло и у вас длинный отпуск, возникает естественное желание провести его в земном раю. Они везут сюда в конце июня чудовищные горы бумаг и книг, намереваясь — почти всегда всерьез — писать здесь монументальный труд на тему, интересующую их одних.

К этому племени эрудитов, сибаритов, вечных диссертантов принадлежал и Жан-Поль, еще один друг переводчика. Он был невысокий, кругленький, но в его взгляде мелькало иногда такое отчаяние, словно там вспыхивал маяк, оповещая о грозной опасности.

Они познакомились, как это обыкновенно случается с людьми, живущими по соседству: когда подошло время ужина, а единственный местный магазин уже закрылся, у одного из них не оказалось не то соли, не то яйца для майонеза, а другой («Конечно, конечно, это так хорошо, что вы зашли, я давно мечтаю с вами познакомиться!») открыл буфет и предложил выпить по стаканчику: «Может, отметим знакомство?»

Как известно, Европа XVII века тяжело переживала исчезновение латыни. Она предчувствовала, что недалек час, когда, утратив старое средство общения, Амстердам и Бо-

лонья, Саламанка и Хайдельберг или Оксфорд перестанут понимать друг друга. Это сгущение тьмы казалось тем более удручающим, что ветер Разума как раз начал развеивать туман религии и суеверий. Вот почему философам, и в числе первых Декарту, пришла в голову мысль придумать «всеобщий язык, легкий для понимания, произношения и написания, но главное, который помог бы мышлению, столь четко определив все вещи, что стало бы почти немыслимо обмануться».

Отберем главные понятия, подтянем второстепенные, обозначим простым набором букв или знаков, и дело в шляпе! Прощай тоска по латыни! Вооруженные столь совершенной системой представлений, люди смогут общаться с небывалой легкостью. Пример: N — живые существа; Nn — животные; Nnk — четвероногие; Nnka — лошадь.

Последние лет десять, если не больше, неутомимый Жан-Поль изучал труды трех участников этой просветительской авантюры:

1668 г. Преподобный Джон Уилкинс, английский епископ, родственник Кромвеля, выпускает «A real character and a philosophical language»[1]. Сорок видов основных понятий. Доклад в Королевской академии встречен аплодисментами.

1797 г. Париж. Жан де Мемье. «Сочинение о пазиграфии, или Основы нового науко-искусства писать и печатать, чтобы носитель иного языка мог прочесть и понять текст без перевода» (двенадцать основных знаков).

И, наконец, Жан Сюдр, чуть запоздалый, зато самый забавный изобретатель «сольресоля» — универсального языка, построенного на музыкальных нотах (1868).

Визиты переводчика начинались всегда одинаково: он скребся в садовую калитку, потом, комкая вязаную шапочку и опустив глаза долу — живое воплощение болезненной скромности, — косолапя входил в сад: «Не помешал?»

Они усаживались на низенькую гранитную ограду, оставляя между собой изрядное пространство, и разговаривали, не глядя друг другу в глаза, созерцая некую точку на газоне среди одуванчиков. Человеческий язык был не просто их любимой темой, он был героем захватывающих приключений, которыми они самозабвенно увлекались. На соседней лужайке дети запускали воздушного змея.

— Вы знаете Джорджа Стайнера?[2]

— Интересно, кого вы намерены мне представить на этот раз?

— Это настоящий странник, паломник по всем культурам, прошлым и нынешним. Сейчас он как раз завершает безумный проект: пытается воссоздать картину мира после крушения Вавилонской башни. По его мнению, язык аризонских индейцев хопи содержит все понятия современной физики, квантовой механики и теории относительности. Например, они даже не сочли нужным придумывать слово для обозначения времени. Любое действие для них зыбко, неопределенно, неоднозначно, и смысл его меняется в зависимости от того, кто смотрит на происходящее.

Переводчик время от времени вскакивал, шагал взад и вперед по аллее, бормоча: «Поразительно, поистине поразительно!» — и снова возвращался на место.

Иногда Жан-Поль прерывал дискуссию, чтобы позвонить жене. «Нормальная» профессия офтальмолога (всего четыре недели отпуска) удерживала ее в Париже, куда муж звонил ей чуть ли не каждый час.

Переводчик готов был сквозь землю провалиться, так смущал его этот супружеский дуэт — во всяком случае, доступная его слуху мужская партия, которую он находил слишком пылкой. Он маялся, краснел, потом, спохватившись, начинал прислушиваться: как-никак он переводит «Женский портрет» Генри Джеймса, и грех не воспользоваться возможностью пополнить свои скудные сведения о мире женщин.

Жан-Поль возвращался с улыбкой на устах.

---

[1] «Истинный характер и философический язык» (*англ.*).

[2] Джордж Стайнер (род. в 1929 г.) — американский прозаик, критик, эссеист (см. его эссе «Тигры в зеркале» в «ИЛ», 1995, № 1).

— Она так скучает, бедняжка. И там еще жарища ужасная. Так на чем мы остановились?

— Вы полагаете, что английский в конце концов убьет все прочие языки?

— Сначала он убьет сам себя. Невозможно распространяться вширь, не обедняясь.

— А как насчет китайского? Сочетается ли логика идеограмм с бинарным принципом информатики?

VII

Как-то вечером после ужина неутомимый диссертант повел переводчика на вторую вершину острова — к часовне Святого Михаила (двадцать шесть метров над уровнем моря, почти черного, с чуть заметными штрихами течений). Десяток малышей в белых пижамках уже сидели там возле креста.

— Как называется островок за тем траулером на якоре?

— Бениге, месье.

Вопросы задавал взрослый мужчина, крупный и бородатый. В сумерках поднимались руки, как на уроке в школе, и звенели в ответ ребячьи голоса.

— А тот, со стороны колокольни, если вы еще что-то можете разглядеть?

— Модез.

— Отлично. Завтра, когда пойдете на байдарках, не забудьте про подводные камни: они могут распороть днище.

Диссертант наклонился к другу и прошептал тихонько, чтобы не мешать уроку:

— Перед нами развалины Вавилонской башни.

Он медленно обвел рукой архипелаг — десятки темных глыб, разбросанных до самого горизонта, за который стремительно скатывалось солнце.

— Вы знаете, сколько языков сейчас в мире?

Голова переводчика дважды дернулась. Он навеки вычеркнул цифры из своей жизни.

— Тысяч пять, я думаю. В одной только Южной Америке сто девяносто. Слово «филология» означает не «наука о словах», а «любовь к логосу». Однажды все его части соединятся. И логос вновь станет единым.

Переводчик отметил про себя с облегчением, что, учитывая непродолжительность человеческой жизни, лично он не рискует увидеть ни новое единство логоса, ни кошмары, которые оно неминуемо за собой повлечет: леденящую ясность, вечное серое однообразие, не говоря уже о безработице литературных переводчиков и синхронистов. Дай бог Вавилонской башне как можно дольше лежать в развалинах!

Белые пижамки неслись вниз по склону, а за ними едва поспевал их ночной учитель.

— Осторожно! — вопил он в ужасе. — Осторожно, не упадите!

Его крики перемежались шумной одышкой и яростным бормотанием:

— За каким чертом этим ослам выходить в море, они и на земле могут успешно сломать шею!

В ту ночь красное вино не заглушило тоски переводчика. Из пирамиды деревянных ящиков, заменявших книжные полки, он достал книгу и до рассвета вслух, очень громко читал Лафонтена:

В Париже проживала Обезьяна,
Едва лишь ей дана была жена...[1]

— Слушайте, слушайте, — говорил он кошкам, — слушайте во все уши язык, который скоро умрет.

Кошки с пониманием кивали.

---

[1] Перевод Н. Юрьина.

VIII

Будни кандидата на Нобелевскую премию

В Швейцарии, когда заканчивается строительство корабля, его тут же поднимают на сушу и превращают в отель. Такой обычай имеет ряд преимуществ — например, путешественникам не грозит морская болезнь. А поскольку в большинстве своем здешние путешественники уже немолоды, пресытились горизонтами и устали от суеты, их вполне устраивает такое положение дел. Клиентура имеет тут все, что положено: экзотику корабельных коридоров, полумрак узких переходов, толчею в кают-компаниях, еду под музыку и атмосферу вечного круиза — чего еще желать?

На борту одного из таких пароходов, в Монтрё, жил писатель Владимир.

Он сгорал от нетерпения и искал утешения у озера.

Каждый вечер, гуляя под руку со своей женой Верой, он бодро, несмотря на возраст и комплекцию, доходил до маленькой пристани, склонялся над озером, раздвигал пришвартованные лодки и, глядясь в воду, по-русски вопрошал:

— Я ль не лучше всех, я ль не будущий лауреат?

Озеро держало нейтралитет, как и страна: оно умело когда надо уйти от ответа. Тем более что на другом его берегу располагалась соперница Монтрё, Женева, где часто бывал другой сгоравший от нетерпения литературный кумир, аргентинец Борхес. Чтобы никого не обидеть, озеро отвечало невнятно, и успокоенная чета удалялась пить вечернее виски (которое писатель в интересах конспирации прятал в чайничке под видом заварки).

Вера и Владимир знали, что стокгольмская Академия, хоть и открывает порой новые звезды, чаще все-таки воздает должное известным: чем ярче они сияют под разными небесами, тем больше у них шансов быть увенчанными. Посему звезды были чрезвычайно внимательны к распространителям этого сияния — переводчикам.

Хатчинсону & К

от Владимира Набокова-Сирина
Несторштрассе, 22
Берлин-Халензее
22 мая 1935 г.

Господа!

Благодарю за письмо от пятнадцатого числа. Меня уведомили, что перевод уже набирается в типографии и мне пришлют корректуру. Мне, разумеется, никоим образом не хотелось бы делать лишнюю правку и вообще задерживать выход книги. Мои требования скромны. С самого начала я пытался добиться точного, полного и правильного перевода. Не знаю, уведомил ли Вас г-н Клеман об обнаруженных мною в его переводе недостатках. Перевод приблизителен, неряшлив, сделан кое-как, пестрит ошибками и пропусками, в нем нет ни пружины, ни стержня, он столь убого облачен в тяжелый и плоский английский, что я не смог дочитать его до конца. Это не может не удручать автора, который трудится в поте лица, стремясь к идеальной точности выражения, и все ради того, чтобы переводчик хладнокровно погубил все до последней фразы.

А вот еще одно послание, писанное почти через тридцать лет:

«Интернэшнл геральд трибюн»

Ницца, Английская набережная, 57
25 февраля 1961 г.

Сэр!

Я намерен начать с благовоспитанными, но дурными переводчиками войну на уничтожение.

Искренне Ваш.

По всему миру несчастные корпели над «Бледным пламенем», «Лолитой», «Себастьяном Найтом» или «Адмиралтейской иглой» (премия журнала «Плейбой» за 1975 год), старались, не щадя себя, передать прозрачность, трепет крыл, неуловимую музыку. Но как быть верным языку, который сам никому не верен, как точно передать самый неточный, самый зыбкий и самый емкий язык нашего столетия?

Они могли бы ожидать хоть некоторой признательности. Увы!

В воздух то и дело взвивалась со свистом плетка Владимира, карающий бич из кожи быка Миура[1]. И где-то в богом забытом уголке земного шара (на заваленной словарями тесной кухне с дребезжащим холодильником; в дачной пристройке с дырявой крышей, посреди мокрого от дождя сада с милоцветом; в двухкомнатной квартирке на верхотуре многоэтажки в тринадцатом округе Парижа, на авеню Шуази) какой-нибудь переводчик корчился под ударом, сжимал зубы, глотал слезы, рвал двадцать второй вариант шестнадцатой главы «Лолиты» и принимался за двадцать третий.

А Владимир, довольный собой, припадал к чайнику.

— Не желаешь ли немножко «эрл грея», душенька?

И в звездной швейцарской ночи, над Альпами, корабль Набокова плыл в края чистой славы. Что за дело архангелам до какой-то Нобелевской премии?

IX

Господину Жилю Ш.
Остров N.

Издательство «Артэм Файар»
10 октября 1969 года

Сударь!

Высоко оценивая Ваши профессиональные заслуги, мы решили предложить Вам перевести на французский язык последний опус русско-американского писателя, кандидата на Нобелевскую премию Владимира Набокова. Речь идет о семейной кровосмесительной хронике, озаглавленной «Ада, или Радости страсти». Автор, не страдая от излишней скромности (но автор есть автор, вы же понимаете), говорит о романе следующим образом: «Ничто в мировой литературе, за исключением, быть может, воспоминаний графа Толстого, не может сравниться в радостной чистоте и аркадской невинности с главами моей книги». Надеемся, Вы не отвергнете этот знак нашего доверия...

Далее следует витиеватая формула вежливости и подпись:

Шарль Оренго, генеральный директор.

PS. В подкрепление предлагаемого договора Вы найдете здесь чек на получение аванса.

PPS. Поскольку г. Набоков пока не принадлежит к безответному и бесконечно терпеливому племени покойников, смеем надеяться, что Вы несколько ускорите Ваш обычный темп работы.

Ошарашенный Жиль долго вертел в руках послание с таким внушительным вложением. Никогда, сколько существуют на свете переводчики, ни одному из них не выдавали столько наличности, покуда не представлено по крайней мере страниц сто, аккуратно перепечатанных через два интервала. Судя по всему, приближалось вручение Нобелевской премии, и издатель не хотел упустить возможность громкой рекламы.

— Что ж, наполним закрома, — сказал себе переводчик, — и возблагодарим Господа.

От своей ветхой крыши он давно уже не ждал защиты от дождя. Несмотря на рас-

[1] Так звали быка, убившего во время корриды прославленного тореро Манолете (Мануэль Лаурчано Родригес Санчес, 1917—1947).

ставленные в местах главных затоплений тазы, от сырости портилось все, включая характер кошек. Благодаря удачно подоспевшему чеку можно было попытаться восстановить водонепроницаемость жилища, на которую вправе рассчитывать каждый смертный.

Переводчик бросился на почту, предъявил чек и заказал разговор с Парижем.

— Вторая кабина, — сказала телефонистка.

— Я согласен! — заорал он в трубку.

— Смотрите-ка, вместо того чтобы слать по почте открытку, он теперь звонит. Словно подменили человека! — поделился издатель со своей секретаршей, повесив трубку. — Кажется, наш островитянин действительно покончил со своей вечной медлительностью.

Это замечание лишний раз доказывало, что оптимисты — плохие пророки.

Вечером переводчик устроил пир. Тушенка кошкам и великолепное бордо другу в грязных носках.

Весь драматизм ситуации открылся переводчику только назавтра, когда он ознакомился с остальными бумагами, вложенными в пакет: кроме шедевра, который надлежало перевести, там было несколько писем его создателя, из коих можно было составить некоторое представление о характере и воззрениях последнего.

Теперь еще один мелкий вопрос, который может показаться Вам незначительным, но меня он заботит. Боюсь, что фраза «Набоков — второй Пастернак» представляет собой журналистскую передержку. Быть может, правильнее было б сказать, как уже не раз говорилось, что Пастернак — лучший советский поэт, Набоков же — лучший русский прозаик, и этим кончается сходство.

«Ого! — отметил про себя наш друг. — Клиент попался не слишком покладистый!»

Он снова принялся за чтение, обуреваемый мрачными предчувствиями.

Итак, дабы не позволить всякой, пусть даже самой благонравной рекламе пойти ложным путем, я хотел бы высказать мои претензии к «Доктору Живаго», роману, быть может интересному как человеческий документ, но убогому художественно и на редкость пошлому философски. Политическая сторона его меня не занимает; во всяком романе меня заботят только художественные его особенности. И с этой точки зрения «Живаго» — вещь удручающая, ходульная, мелодраматическая, с шаблонными ситуациями и банальными персонажами. Вдруг мелькнет пейзаж или метафора, напомнив о таланте поэта Пастернака, но этого мало, чтобы спасти роман от провинциальной пошлости, столь типичной для советской литературы последних сорока лет.

(Из письма к Джорджу Вайденфельду. 12 января 1959 года)

Переводчик стянул с головы шапочку и почесал лысину, что было знаком глубокого замешательства:

«Боже мой, да я нарвался на психа!»

Отметим и бабочку на титуле, голова у нее как у карликовой черепахи, а рисунок на крыльях как у обычной капустницы (тогда как в моем стихотворении ясно описана представительница семейства малых голубянок с точечным узором на исподе крыльев), и выглядит она так же бессмысленно, как выглядело бы изображение тунца на обложке «Моби Дика». Выражусь прямо и четко: я не против стилизации, но решительно против стилизованного невежества.

(Из письма к Пайку Джонсону. 15 марта 1959 года)

«Господи, сохрани нас от живых авторов! А этот вообще бьет все рекорды. Как я страшно влип! Ну, ладно, посмотрим-ка теперь на «Аду». Не хватало еще, чтобы эта эпопея à la Толстой оказалась непереводимой».

Начало было спокойным и до боли знакомым: «Все счастливые семьи довольно-таки не похожи, все несчастливые довольно-таки одинаковы»[1]. Но уже через две страни-

[1] Здесь и далее роман В. Набокова «Ада, или Радости страсти» цитируется в переводе С. Ильина. Процитированная фраза является пародийным обратным переводом с английского первых строк романа Л. Толстого, обретшего в английском переложении заглавие «Anna Arkadievitch Karenina».

цы, после неизбежных генеалогических сведений, делающих все романы похожими на женщин, с ног до головы застегнутых на все пуговицы, когда вам не терпится поскорей перейти к делу, автор воспарил, запорхал от образа к образу, поклевывая зерна воспоминаний: предложение руки и сердца в подъемнике, путь в Дамаск, ветвисто-рогатый генерал, эдельвейс, невозможность перечитывать Пруста без саднящего жжения изжоги (sic!).

Как передать по-французски крылатый полет повествования над всем этим хаосом, как справиться с легкостью, свободой, изобретательностью бабочки, собирающей пыльцу со всего мира?

В этом-то и заключался весь ужас: привыкнув гоняться с сачком за чешуйчатокрылыми, вздорный кандидат на «Нобеля» придавал всему, что он пишет, их грацию.

X

С этой минуты, с этого пленительного чтения, сразившего переводчика наповал, резко обострился его давний профессиональный недуг: как нам известно, его натуре безнадежно претила спешка. Воспитатели эльзасской школы, где он учился, не достигли одной из главных своих целей — не привили ребенку священного ужаса перед пустой тратой времени и глубокого душевного трепета перед грозным божеством по имени Срок. На сей раз, однако, его медлительность приобрела фантастические масштабы и неотвратимо грозила катастрофой. Волшебный чек и проклятый шедевр прибыли в октябре 1969 года. Спустя три года и пять месяцев перевод еще не был начат.

Каждое утро, как только кофе начинал побеждать в нелегкой борьбе с винными парами после щедрых ночных возлияний, переводчик наносил визит своей мучительнице — несносной «Аде». Он поселил ее на низенькой этажерке, в отдельном домике, отведенном под жилище кошкам. Кошки писали на нее, точили об нее когти. Наш друг тихо радовался. Он усматривал в этом сближение с текстом, необходимое при внутренней подготовке к серьезной работе. Потом он возвращался к себе и бродил вокруг столика для бриджа, где стояла пишущая машинка. Профессиональными пальцами бывшего пианиста он поглаживал клавиши допотопного портативного «ремингтона», не имевшего буквы «П», шептал: «Потом, потом» — и шел поговорить о чем-нибудь другом — ценах на молоко или прогнозе погоды — со своим приятелем Дени, лучшим в мире ловцом гигантских омаров.

Если прибавить к этому, что он иногда листал русские дореволюционные иллюстрированные журналы и биографию графа Толстого, мы получим полное представление о его переводческой деятельности. На жизнь ему хватало незначительных сумм, которые присылали племянники: они тоже полюбили остров и проводили там все каникулы, оттягивая отъезд до последнего дня, несмотря на кошачью вонь.

XI

Три года и пять месяцев.

Слабостью, безразличием или богоданным терпением Артэма Файара объяснялось его молчаливое ожидание?

Переводчик старался не думать об издателе. И надо сказать, отлично в этом преуспел. Он твердо убедил себя в том, что в Париже понимают всю исключительную сложность набоковского романа. Чтобы сладить с таким монстром, времени жалеть нельзя, какие уж тут сроки...

В октябре, когда происходило вручение Нобелевских премий, у него все-таки возникало неприятное ощущение под ложечкой. Но тревога быстро отпускала. Ибо шведы тоже не торопились. Они дали премию Солженицыну (1970), Неруде (1971), потом Бёллю (1972). Очередь русско-американского швейцарца всякий раз отодвигалась — успеется.

Артэм Файар имел все основания не волноваться.

Разумеется, время от времени приходили письма в конвертах со знакомыми тиснеными инициалами «А. Ф.». Но стоит ли трудиться вскрывать? Ведь издатели вечно заваливают вас каталогами, где, прибегая к чудовищным гиперболам, рекламируют свои новинки. Будто у переводчика «Ады» есть время отвлекаться на что-то еще!

— Жиль, моя начальница хочет вас видеть.

В тот апрельский день 1973 года, как всегда по средам, наш друг отправился покупать традиционную упаковку сладкого риса в бакалейно-посудно-аптечно-газетно-табачную лавку. Долговязый персонаж, произнесший тревожную фразу, был по профессии почтальоном, но ничто не ценил так высоко, как свою любовь к литературе. Дабы никто в ней не усомнился, он всегда держал в левой руке книгу, причем непременно издательства «Галлимар», даже когда гордо катил на перегруженном корреспонденцией велосипеде с одного конца острова на другой. Он восхищался Жилем и горько ему завидовал: доведется ли и ему когда-нибудь увидеть свое имя напечатанным на обложке?

Они дошли вместе до скромного здания почты, прятавшегося среди зарослей цветущей герани.

В почтовом царстве мадемуазель Тевеннек, рядом с плакатом, прославлявшим выгоды хранения денег в сберегательной кассе («Надежность плюс свобода»), красовался, как и у нотариуса, Эрнест Ренан, друг Разума, исповедовавший веру в Прогресс.

— Жиль, бедный вы мой, на сей раз я ничего больше не могу для вас сделать.

Седые, старательно покрытые лаком волосы, бежевая кружевная блузка, брошка в виде морского конька превращали ее в принарядившуюся ради праздника бабушку. Праздник был, впрочем, испорчен дурной вестью.

Начальница похлопывала ладонями по коричневому бювару. Голубые глаза выражали искреннюю скорбь.

— Мне позвонили из Парижа. Оттуда, — палец ее указал не то на потолок, не то на небеса. — Ваш издатель грозится подать в суд на почтовую службу. Поскольку вы не отвечаете на его письма, он пришел к заключению, что они не доходят.

— Его... письма...? Не понимаю, — лепетал переводчик.

Она покачала головой с неизъяснимой грустью. Потом выдвинула ящик и извлекла набитый бумагами полиэтиленовый пакет.

— Вот они все! Скажите спасибо почтальону. Один бог знает, где он их подобрал. Здесь вы найдете и самые последние. Я их берегла у себя. Зачем было их доставлять?

Ее голос смягчился, как будто она вдруг заговорила с ребенком.

— Желаю удачи, Жиль. Мы охраняли вас как могли. Но мы всего-навсего остров, и когда Париж не на шутку гневается, нам приходится уступать.

XII

В тот день апрельский воздух лучился обещанием счастья. Остров словно вдруг принялся насвистывать и собирался пуститься в пляс. Даже лица суровых бретонцев украсились бледными улыбками. Тот, кто знаком с этим на редкость симпатичным народом, знает, что в здешних местах так проявляется наивысший восторг. Дрок вдоль дороги покрылся веселыми желтыми бутонами, а стебли милоцвета, распрямляясь, принимали такие позы, которые заклеймила бы Церковь, если бы смотрела не только на небо. По какому праву какой-то парижский издатель смеет портить дурманящий праздник весны на далеком острове департамента Кот-дю-Нор?

Переводчик остановился на мосту Вобан, соединявшем две главные части острова. Чайки внизу клевали выброшенные на берег водоросли. Он задумался, погрузился в

собственные мысли и не обращал внимания на приветствия встречных. Наконец он открыл полиэтиленовый пакет и вытащил наугад одно из писем.

Издательство «Артэм Файар»
Отправитель: литературный консультант
Париж, 22 мая 1971 г.

— От литературного консультанта! — возмутился он. — Почему бы не от консьержки? Или я уже недостоин писем господина редактора?

Сударь!

Перерыв всю почту за истекшие месяцы, я не обнаружил отправленных Вами страниц (в количестве ста), предусмотренных договором.

Уверен, что дело в обычной халатности почты, живущей, однако, за счет пишущих. Прошу Вас заняться проверкой и примите мои уверения в совершенном к Вам почтении.

Остальные письма были того же рода.

И в этот миг судьба подарила ему нового друга.

Миновав береговой сигнальный пост, переводчик остановился перевести дух. В одной руке он нес кошелку с обычными покупками (картошкой, ветчиной, парой бутылок «услады для желудка»), в другой — пресловутый полиэтиленовый пакет. Повернув голову, он заметил, что сквозь жасминовую изгородь на него устремлен женский взгляд невиданной доброты.

— Здравствуйте, Жиль, что-то вы не радуетесь такой дивной погоде.

Он частенько ее встречал. В девичестве эта дама носила фамилию Сент-Экзюпери, она разговаривала тихо и удивленно, будто весь мир был сплошным чудом.

Обреченным жестом, словно сокрушаясь об уделе человеческом, переводчик поднял обе нагруженные руки.

— Вы не откажетесь разделить со мной трапезу? — предложила дама. — Я приехала готовиться к лету. Сами знаете, что такое сад. Идемте, расскажете о ваших бедах.

На секунду переводчик вспомнил о кошках: вправе ли он не явиться домой вовремя?

И сказал себе, что некоторая доля непредсказуемости идет только на пользу при совместной жизни.

XIII

Сады и полюсы

Они с мужем жили очень далеко друг от друга.

Он исследовал полюсы, она ждала его возвращений.

Он принадлежал к той категории моряков, которые предпочитают неподвижные моря и застывшие ураганы, иначе говоря, его стихией был лед. Он руководил научными экспедициями к Южному полюсу. Бурил скважины среди бескрайней белизны и по извлеченным оттуда образцам породы читал историю нашей планеты. Льды — наша память: они надежно хранят геологические архивы ушедших веков. Долгие месяцы проводил он в краю, который Дюмон-Дюрвиль веком раньше нарек Пингвинополисом, или Землей Адели — в честь жены. Этот Дюмон-Дюрвиль, пылкий и бесстрашный мореплаватель, знал и другого рода славу: в 1837 году он вывез из Греции Венеру Милосскую. Может быть, мрамор ему наскучил? Так или иначе, но он предпочел ледяные поля.

Тем временем во Франции жена отважного полярника томилась от тоски. Она происходила из семьи летчиков, и тяга к приключениям была ей понятна. Однако и ей тоже хотелось исследовать мир. Хотелось соприкасаться с его жизнью, ощущать естествен-

ные ритмы и циклы природы. (Разумеется, у нее были дети. Но какой женщине этого достаточно?)

Кому же первому, мужу или жене, пришла в голову спасительная мысль?

Вопрос без ответа, так как оба с пеной у рта отстаивали свое авторство.

Такое часто случается, когда у супругов схожий образ мыслей.

Однажды она взглянула на желтую лужайку, спускавшуюся от дома к морю и похожую на старый половик с каемкой из поникших ромашек: это было вскоре после второй мировой, небо, видимо, замаливало грехи, и стрелка барометра не слезала с отметки «великая сушь». Дождя не было все лето. Она подумала: «А почему бы мне не сотворить шедевр из этого бретонского убожества?» (Версия жены.)

Однажды, находясь, как всегда, в плену у льдов, полярник размышлял о своей жене: «Мне так хочется, чтобы ей было хорошо. Какое (дозволенное в рамках супружества) занятие могло бы ее развлечь, пока я в экспедиции?» И тут его осенила великая ботаническая идея. Поблизости, надо заметить, растительности не наблюдалось.

— Дорогая, а что, если вместо этого чахлого плешивого газона развести чудо-сад? Мне было бы так приятно любоваться им, когда я бываю дома! (Версия мужа.)

На самом деле для жены моряка работа в саду полезна во всех отношениях: она успокаивает тело, делает тоньше вкус и развивает чувственность, препятствуя в то же время внебрачным связям. (Версия рассказчика.)

Урожденная Сент-Экзюпери углубилась в классику: прочла Гёте («Избирательное сродство»), Уильяма Робинсона («Заметки о диком саде»), Гертруду Джекилл («Зимостойкая живая изгородь»), Виту Сэквилл-Уэст («В вашем саду») и особенно внимательно Рассела Пейджа (1906—1985) — «Начинающему садоводу». Всю зиму она листала каталоги (Кру, Дельбар, Пажотен, Эльбор) и на них разорилась. Она начала сажать, ничего не принялось, она начала все сначала. И понемногу стала искусной садовницей.

— Раньше, — рассказывала она, — я была как все дачники. Приезжала в конце июня, когда уже все разрослось, цветет утесник, распускаются гортензии. Как можно считать, будто разводишь сад, если природа сама все за тебя сделала? Мне не хватало главного — февраля, когда идет подготовительная работа, и марта, когда наступает весна.

Переводчик всей душой с ней соглашался. Но пришло время рассказать и про свои неприятности. Он поведал про беспардонный натиск издателей, про их грубое пренебрежение к извечным ритмам природы. Как можно переводить Набокова, ближайшего друга бабочек, перенявшего их неуловимую грацию, зимой, когда нет ни единого чешуйчатокрылого, и это известно всем, кроме издателей?

Хозяйка взяла его за обе руки.

— О, как я вас понимаю! И они вас мучают? Значит, даже книжные люди испорчены нынешней цивилизацией! Как мне хочется вам хоть немножко помочь... Я знаю английские названия растений. Может быть, вам это пригодится? У меня ведь не было выбора: все лучшие книги о садах написаны по-английски.

Переводчик пылко поблагодарил. Да, эти названия для него будут просто бесценны. Проклятый Набоков создавал свою «Аду» как Ноев ковчег: чего только туда не напихал, и уж конечно без ботаники не обошлось.

Хозяйка взяла его под руку и повела осматривать свое творение.

Она называла кучу абсолютно неведомых трав и цветов.

Сад — тоже мудреное нагромождение слов. Когда гуляешь по нему, не зная названий, то наслаждаешься лишь туманными очертаниями. Все выглядит как до сотворения мира (ибо в начале было Слово). Так смотрит вокруг близорукий человек, у которого от внезапной пощечины недотроги-подружки свалились очки.

XIV

Хвала натуральному обмену

Спустя три месяца, а точнее, дождливым днем шестого июля, в первый официальный день каникул, на берег сошла огромная толпа. Смешавшись в единую массу на пароходе, пассажиры мгновенно раскололись на две группы, стоило им ступить на землю.

Одни, обвешанные фотоаппаратами, восклицали: «Какая прелесть!» или «Боже, розовые скалы! Ну прямо как на картине!» Благоухая кремами против солнечных ожогов, явно не грозивших им под серым небом, они осведомились, где находятся местные достопримечательности: маяк Пиратов, водяная мельница и высшая точка острова (тридцать два метра над уровнем моря), — и без промедления отправились штурмовать глянцевые красоты. В этой алчной орде вы без труда узнали бы глубоко презираемую у нас породу — туристов.

Остались сливки: аристократия, владельцы домов, сами себя нарекшие благородным именем дачников. Они выстроились в цепочку и из рук в руки передавали с катера на причал хозяйственный груз, необходимый для жизни вдали от Большой земли: ящики с банками яблочно-клубничного конфитюра, детские стульчики, кухонные раковины, надувные круги, «монополию», книжные полки, ножовки, а также складные биде, которым некоторые еще приписывали противозачаточные свойства.

Вскоре десяток холмиков оживил набережную. В этой второй толпе все знали друг друга, многие браки заключались по соседству, и соседство давно перешло в родство. Щедро сыпались последние новости: героические роды, поступление в университет, кончина благочестивой тетушки, увы. И, как всегда, долго не трогались с места груженные барахлом тележки. К счастью, был отлив. Дети мгновенно приросли к велосипедам.

Чуть поодаль совсем молодой парнишка сражался со словарями. Они высыпались из чемодана и, как дети, слишком долго промучившиеся взаперти, запрыгали по пристани. Их складывали в стопку, но она тут же рассыпáлась. Словари падали в лужи, а уцелевшие чистые томики глотали морось, злорадно коробившую страницы.

Это зрелище восхитило нашего эрудита, который трудился над проектом универсального языка и только что прибыл вместе со всеми. Он любил традиции и восхищался тем, что из поколения в поколение повторяются одни и те же ритуалы (и одни и те же ошибки). Он подошел, протянул руку:

— Коллега, если не ошибаюсь? Вы тоже пишете диссертацию?

Юноша со словарями поднял голову. Луч гордости блеснул на детском лице.

— Я занимаюсь неизвестной любовью Стендаля, его тайной страстью!

— Интересно! Необычайно интересно!

Эрудиту вспомнилось увлечение собственной юности, когда и он сгоряча решил, будто диссертацию, однажды начав, можно когда-нибудь закончить. Он наивно полагал, что года через два-три эти толстые ученые книги, рассыпавшиеся по причалу и наводившие ужас на моряков, отправятся отдыхать в закоулки стенного шкафа. Из огромного брошенного на острове научного материала, из всех этих обломков неосуществленных проектов можно было бы составить самую полную в мире энциклопедию. Но, разумеется, эрудит подавил свой скептицизм и пожелал юноше удачи и затяжной непогоды. Под синим небом, при ласковом морском ветерке ученые штудии превращаются в пытку.

В этот самый момент и появилась вербовщица. В длинном, на широких бретельках сарафане в зеленый цветочек, с выбившимися из-под соломенной шляпы светлыми кудрями и исцарапанными трудолюбивыми руками, урожденная Сент-Экзюпери встретила, как всегда, горячий прием. Кроме веселого характера, в ней ценили глубокое знание ботаники. Ее окружили, зацеловали, осыпали наивными вопросами: еще можно обрезать яблони? А декоративная слива тут приживется? Как бы так устроить, чтоб пораньше зацветали георгины?

Вербовщица улыбнулась, отступила, подняла руки:

— Тихо, тихо. Начнем сначала. Кто-нибудь из вас знает английский?

Затем она рассказала все: и про жестокость парижских издателей, и про сложнейший перевод, который надо срочно сдавать. Голос ее был, как всегда, нежен, но в тоне слышалась ледяная решимость.

Вверх потянулись руки:

— Если надо, то я могу попробовать, но многое уже забыл после школы.

— Я жил два года в Торонто!

— Может, хоть раз в жизни наша австралийская невестка на что-то сгодится?

— Ничего пока не могу обещать, но я поговорю с девчонкой, которая у нас сидит с детьми, у этой паршивки есть свои достоинства...

Добровольцы смекнули, что происходит торжественное скрепление договора: за переведенную фразу — черенок, за абзац — засаженную грядку.

Слова — за цветы, сады — за книги, нам к таким обменам не привыкать. Рыбу — за моллюсков, бензин — за приходящую няньку, объяснение (неверное), как пройти к месту, где водятся омары, — за рецепт (приблизительный) рисового пудинга. У натурального обмена есть свои преимущества: через ваши руки реально, осязаемо проходят все вещи, представленные в каталоге мироздания. Вместо того чтобы идти на поводу у современной лени (использовать деньги как универсальный эквивалент), учишься самостоятельно определять цену вещей, сопоставлять их попарно: скольких часов столярных работ стоит кило макрели, скольких слоев краски на заборе — рекомендация сына во флот?

Диалог от этого становится куда интересней и увлекательней.

На острове имели хождение лишь мелкие монеты, да и то дети быстро приспособили их для игры. Для всех покупок здесь довольствовались счетами: по одному на семью у каждого из трех лавочников, их гасили в конце сезона в ходе загадочных почтовых операций.

Деньги остались где-то далеко, на континенте, под дождевыми тучами.

XV

Кюре всюду мерещились ереси.

В прошлом году, прогуливаясь после трапезы среди скал к западу от маяка, он обнаружил там голого пожилого мужчину. Тот загорал, раскинув ноги, обнажив седую растительность. Музыка по черным проводочкам проникала в его мозг, а он загорал. Солнечные ванны на краю могилы.

Вечером священник пастырь призвал самых верных своих прихожан, тех, кто не пропускал ни единой службы, участвовал в организации благотворительных празднеств Пятнадцатого августа и никогда не забывал о церковных нуждах.

— Так я и знал! Из-за всякого вздора, который пишут в газетах про возврат к природе, про тягу к естественности, опять возродились адамиты[1].

Все началось с Книги Бытия: до грехопадения Адам и Ева ходили голышом. Да и царь Давид, чтобы вернуть благословенное время прямой связи с Богом, несомненно, скакал перед ковчегом Господним одетый в крохотную набедренную повязку. Опираясь на эти тексты, гностики, бегарды и тюрлюпены[2] с течением лет перешли к мистическому нудизму.

---

[1] Адамиты — секта, возникшая в первых веках нашей эры. Ее последователи собирались в своих церквах нагими.

[2] Гностики — последователи гностицизма, религиозно-философского учения поздней античности, вылившегося в ряд раннехристианских ересей. Гностицизм притязал на знание тайного смысла Библии, часто противоположного прямому. Бегарды, тюрлюпены — средневековые еретические движения, отличавшиеся, по мнению их критиков, экстравагантностью в отправлении культа.

К счастью, в 1972 году Господь в превеликой мудрости своей покончил с летом раньше обычного. После сияющего июня зарядили дожди — прекрасный способ борьбы с адамитами. Все живо натянули на себя одежку.

Год спустя кюре оказался во власти новых забот.

— Скажите, вы не считаете, что у нас нынче летом все слишком много ходят?

Ему напомнили о пилигримах, о паломничестве к святым местам: ходьба — занятие вполне благочестивое, исторически связанное с верой.

— Я бы с вами согласился, если бы эти новые любители пешего хода шли ко мне в церковь. Но увы...

Аргумент был веский. Возражения пришлось искать в дальних краях, кто-то привел в пример антиподов:

— На островах часто встречаются отменные ходоки. Когда тебя со всех сторон окружает вода, ты, естественно, ценишь твердую землю под ногами. Возьмите Австралию. Вам известно имя Брюса Чатвина? Писатель-путешественник самого высокого класса: обостренные чувства, неутомимые ноги. Он видел, как аборигены с песней проходят пешком из конца в конец всю Австралию. Эта песня, «песенный путь» — the song line — единственная их карта. И они никогда не сбиваются с пути. На заре цивилизации этого края не существовало. Далекие предки напели его камень за камнем, и он родился. Австралию можно читать как музыкальную партитуру. Шагая с песней, аборигены идут по следам своих предков, назывателей мира.

— Все равно, — сказал священник, — я буду начеку. Расплодившиеся ходоки не сулят ничего хорошего.

Меткий глаз священника его не обманул: никогда еще здесь столько не ходили пешком.

Казалось бы, ничего удивительного, ибо на нашем острове это основной способ передвижения. Автомобиль здесь запрещен, трактор — большая редкость, мопед служит исключительно для нужд врача и лесника, лошадь странным образом неизвестна, мул упрям и является плодом противоестественных любовных сношений, велосипеды вечно сломаны, заржавели или просто почему-то не едут.

Однако новые любители прогулок, присоединившиеся к обычным пешеходам, имели особые приметы: их губы шевелились, а глаза были устремлены в пустоту, словно прикованные к какому-то незримому видению. Время от времени на них нападало что-то вроде эпилептического припадка: страшное возбуждение, восторг. И тогда, если они прихватили с собой карандаш и бумагу, то принимались строчить как безумные, если же нет — опрометью мчались домой, как солдаты в колониях, мучимые тропической кишечной инфекцией.

Какую же болезнь мог означать набор столь разноречивых симптомов? Этот вопрос снова и снова вертелся в голове у кюре, как никогда сожалевшего о вышедшем из употребления таинстве исповеди: лет двадцать назад, стоило ему только подставить ухо, как в располагающей к признаниям полутьме, через решетку исповедальни, ему в мельчайших подробностях рассказывали все самые интересные секреты.

Дети тоже забеспокоились. Почему взрослые вдруг бросили обычные нелепые занятия: не подрезают засохшие ветки яблонь, не размалевывают забор белой краской («Учитесь, милые, на море нужно здороваться со всем, что движется, а остальное красить!»), не читают толстенные, продавливающие живот книги, например русский кирпич с идиотским названием «Война и мир» (надо же такое придумать!), не болтают с соседями о пресловутом местном микроклимате, о ливнях, обрушивающихся на материк, когда на острове ясно, совершенно перестали сражаться с кротами, чинить бачок в

туалете и проверять, почесывая затылок, ежегодное расписание приливов, будто оно меняется каждые полчаса.

Бедные родители явно впали в детство. Сосали и грызли карандаши, считали ворон, поднимали, вздыхая, глаза к синему небу, судорожно листали словарь, каждые пятнадцать минут вскакивали, лезли в холодильник, поедали все, что там есть, снова садились, включали радио, потом выключали, опять смотрели на небо и стонали: «Боже, я пропустил прилив» и т. п. — словом, предавались времяпрепровождению, свойственному скорее юным представителям человечества, обреченным на переэкзаменовку.

XVI

Как вы уже догадались, весь остров переводил «Аду».

Итак, крестовый поход против парижанина по имени Артэм? Отлично! И к нам без колебаний присоединились с великим энтузиазмом местные жители. Тотчас было забыто легкое презрение, которое они к нам питали. На войне как на войне, союзники есть союзники. Их воодушевляла, конечно, в первую очередь привязанность к Жилю. Но еще больше — ненависть к Парижу.

К тому Парижу, где вечно объявляют по телевизору солнце на Лазурном берегу и дождь в Бретани, когда там прекрасная погода.

К Парижу, который строит автострады по всей Франции, кроме западной ее части, и т.д. и т.п.

Теперь Париж возглавил список врагов, вытеснив англичан на второе место. В глубинах душ проснулась старинная неизрасходованная свирепость.

Иначе говоря, они старались вовсю, хотя филология отнюдь не была их основной профессией. Поставщики даров моря, газонокосильщики, повара в отеле «Бельвю», ремонтники, строители веранд, отставные офицеры военно-морского флота как никто умели отыскать названия редких птиц, починить разваливающуюся пишущую машинку, увести подальше явившегося с проверкой нудного налогового инспектора и испечь в любое время дня и ночи для тружеников пера сладкие блинчики или гречневые оладьи... Без подобных услуг переводчик — не более чем жалкий гребец, уносимый своенравным ветром и всесильным течением повседневных забот.

Наглядно демонстрируя, что под кроткой внешностью может таиться несгибаемая воля прораба, урожденная Сент-Экзюпери поделила книгу на столько частей, сколько нашлось англоговорящих добровольцев. Она навещала то одного, то другого, подбадривала, воодушевляла. С ней частенько приходила и ее младшая дочка Катрин, успевшая стать очаровательной. Два цветастых платья склонялись над нашими листками, овевая нас удвоенным ароматом изысканного мыла.

— «She had been prevailed upon to clothe her honey-brown body»[1] , — конечно, трудно, о боже, как трудно, особенно это предлогообразное наречие: upon, но — вперед! Вы себе не представляете, насколько ваша работа поможет нашему милому Жилю, он же такой тонкий, такой нервный! Вот, я принесла вам абрикосовый торт. Чудная фруктовая кислинка необычайно стимулирует мысль!

Так старомодными щедротами и восторгами она постоянно поощряла своих подопечных.

Так наставляла с утра до вечера малый народ переводчиков-любителей.

И так же, как и кюре, волновалась.

— Зачем вы без конца ходите взад и вперед по острову? Может, лучше посидеть за столом? Извините за нескромность, но вы уверены, что нужно столько ходить? Наш ранимый, трогательный Жиль вас ждет.

---

[1] Они все же уговорили ее натянуть [безрукавку] на темно-медовое тельце (*англ.*).

Мы ее успокаивали, уверяли, что ходьба — истинная союзница умственной деятельности.

Например?

Вы не представляете себе, то есть абсолютно, как передать по-французски типично набоковский пассаж: «The child tried to assurage the rach in the soft arch, with all its accompaniment of sticky, itchy, not altogether unpleasurable sensations, by tightly straddling the cool limb of a Shattal apple tree».

Когда быстро шагаешь, тело прислушивается к вам, проникается вашими проблемами («Набоков? Черт побери! А вы не могли выбрать кого-нибудь полегче?») и ноги немедленно посылают голове бодрящий сигнал («Спокойно, мы все уладим»). Один за другим приходят в действие десятки насосиков по всей ступне, и, пройдя первый километр, вы чувствуете приятное тепло: это застоявшаяся где-то в середине тела кровь поднимается по сосудам, вливается в мозг, оживляет его, запускает нужные механизмы, приводит в движение шестеренки и заводит волшебную карусель: начинается веселый праздник, голова превращается то ли в машину Тенгли[1], то ли в вольер, слова покидают свое кладбище (вечное место упокоения в алфавитном порядке словарей), пускаются в пляс, предлагают свои услуги.

Теперь только выбирай, на этой ярмарке словесный товар поставляется двумя способами: либо звуковым (через гортань, губы, язык), либо, если угодно, сразу попадает на бумагу (при помощи пальцев: среднего, большого, указательного):

«Девочка норовила умерить сыпь, покрывавшую мягкие своды, — вместе с попутными ей ощущениями зуда и липкости, в целом не столь уж и неприятными, — усаживаясь верхом на прохладный сук шаттэльской яблони и крепко стискивая его ногами».

Вот почему мы никогда так много не ходили пешком, как в то лето.

XVII

Наш переводчик, тот самый, настоящий, тоже шагал, но только ночью. Днем он сидел за машинкой. Он часами созерцал клавиатуру, с особенной нежностью глядя на сломанную букву «П». Потом его сокрушенный взгляд падал на кучу исписанных добровольными помощниками листков, которые каждый вечер, пылая от гордости, приносила урожденная Сент-Экзюпери. И всякий раз он благодарил со слезами на глазах, словно ему спасли жизнь. Потом, оставшись один, вздыхал: «Какие милые, добрые люди, но если бы они еще знали английский! Тут ведь совсем другой смысл, омонимия... Боюсь, все их усилия бесполезны!»

Над ним кружили бабочки. Они поняли, что дело тут срочное и касается их друга Набокова. Пренебрегая вонью и завистью кошек, они демонстрировали изящество полета, чертя в воздухе многоцветные зигзаги и вензеля, будто хотели сказать: вот как тебе надо писать, вот, не забудь, легко, виртуозно, неожиданно, живо.

Поэтому переводчик выходил только ночью, когда чешуйчатокрылые заканчивали свои назидательные представления и в изнеможении отправлялись в листву умирать. Их кокетство, признаться, ему поднадоело, но нельзя же было прямо и грубо сказать: «Хватит, оставьте меня в покое!», когда всем известно, что они находятся под покровительством и без того уже сильно раздраженного Владимира.

Он сократил безмолвные посиделки со своим другом-шофером. Он отсылал его восвояси, не выстирав носки, и с блокнотом в руке и карандашом за ухом (вряд ли бабочкам понравилась бы такая вульгарность) отправлялся в северную часть острова,

---

[1] Жан Тенгли (1925—1991) — швейцарский скульптор, создававший причудливые подвижные механизмы, используя части разнообразных двигателей, а также дерево, ткани и т.п.

где торфяная почва напоминает русскую равнину, землю Адиной юности. Ходьба, конечно, сама по себе творит чудеса, но почему бы к ней не добавить еще и декорацию?

И вот однажды ночью в пустынной низине он оказался свидетелем сцены из других времен. Перед ним возникла женщина, совсем юная. Она брела потерянная. Под странной шапочкой — светлые хвостики. Она зябла в полосатой шерстяной кофте. Ходила взад и вперед во тьме. От маяка к семафору и обратно. Но не сворачивала в луга. Наверное, ей говорили в детстве о губительных травах, которые, опутывая ноги, высасывают разум у христиан и те просыпаются наутро безумными. Он ее узнал. Она только что вышла замуж. Месяц назад ее вывели из церкви, осыпая рисовыми зернами. И вот уже она металась, задыхалась. Брак — тоже остров. Чтобы убежать, нужна лодка.

Откуда-то появились светлые точки — это две женские фигуры размахивали карманными фонариками, по нетвердой походке и широким силуэтам в них нетрудно было распознать пожилых дам. Вот они приблизились к полосатой кофточке. И положили с обеих сторон руки ей на плечи. Ни собак, ни чаек, мертвая тишина. Ни единого слова. Скоро все три пропали за папоротниками на дороге, ведущей к городу.

Часто потом переводчик клял себя за то, что тогда не вмешался. Но что он мог поделать против Семейных Законов?

XVIII

Кто я такой, чтобы знать все эти тайны?

Переводчик-любитель, как и остальные. Которого подрядили из-за его компетенции в неких особых вопросах.

Семья Э., уважаемая у нас не за солидное состояние, а за стаж проживания на острове и морские познания, обладала талантом добывать себе юных нянь. Никогда никому так и не удалось узнать, откуда они брались, — семья свято хранила эту тайну. Выйдя утром на пляж, все с изумлением видели очередное чудо: несносных детей Э. пытается увлечь игрой новая прелестная англичанка. Бледная или уже обгоревшая, забрызганная веснушками кожа, длиннющие ноги с такими узкими ляжками, что наверху между ними остается просвет, или, наоборот, жизнерадостная полнота, крепкие дразнящие икры; под лифчиком либо нечто символически очерченное, либо пышные округлости, мордашка либо томная, на грани обморока, либо весело-плотоядная...

Каждый год я с тоской думал: ну все, это последняя. Несносные дети подрастали, скоро им уже не нужна будет няня. Но чета Э. внимала моим молитвам. Осенью, когда наступал конец воздержания, они решительно устремлялись в супружескую постель. В июне приходило уведомление о новых родах, которое я встречал воплем восторга. Оно служило гарантией, что британский источник в ближайшее время не иссякнет.

Чтобы нашептать мне на ухо свое предложение, урожденная Сент-Экзюпери выбрала самую страшную толчею — очередь за пирожными в булочной-кондитерской «Дюбрей», в четверть первого в воскресенье, после мессы. Вероятно, более интимная обстановка сделала бы ее смущение совсем уж нестерпимым.

— Дорогой работящий Эрик, я прослышала о ваших вкусах. Вы не могли бы взять на себя, как бы это сказать... несколько вольные пассажи романа?

Зардевшись, она переминалась с ноги на ногу, пока белобрысый мальчуган перед нами брал тридцать две заказанные «корзиночки».

— Вы согласны? О, какой удачный день! У нашей Ады грудь как у англичанки, ведь правда?

И, перепуганная собственной дерзостью, она стремглав убежала, так и не взяв свой миндальный торт с персиками.

Вот так, вызывая зависть будущего специалиста по неизвестной страсти Стендаля,

вдохновляемый воспоминаниями о Джуд, Нэнси, Присцилле, Вирджинии, я тщился поймать в силки французского языка бедра, кожу, бледные соски, полупрозрачные виски, все ложбинки и выпуклости, все видимые пряди и скрытый пушок ветреной Ады.

XIX

Тем временем отшельник из Монтрё продолжал одаривать нас, переводчиков, профессионалов и любителей, утонченными любезностями:

What is translation? On a platter
A poet's pale and glaring head,
A parrot's screech, a monkey's chatter
And profanation of the dead[1].

XX

К концу каникул режим работы так ужесточился, что даже столь важное спортивно-светское событие сезона — регата Пятнадцатого августа — никого особенно не взволновала. Многие приняли в ней участие, поскольку так уж повелось с незапамятных времен, но рулевых гораздо больше занимал туалет Ады («Она омывает лицо и руки над стоящим на рококошной опоре старинным умывальником — волосы узлом подобраны на макушке, ночная рубашка скручена вокруг пояса»), чем буи, указывающие поворот. В тот день было совершено немало ошибок в управлении, свойственных скорее новичкам, чем мореходам такого класса (что до морского дела, то тут мы не страдали излишней скромностью). Даже Кристиан С. — да, да, победитель всех наших состязаний за последние десять лет, — поддавшись опасным, но хорошо известным ему капризам нашего юго-западного ветра, перевернулся и позорно шлепнулся в воду, прихлопнутый парусом, на глазах у изумленной публики, заполонившей пристань яхт-клуба.

Море, прежде безраздельно царившее в наших мечтах, было свергнуто с пьедестала. Мы пребывали во власти иных чар. Море обиделось, потом разгневалось и решило немедленно отомстить.

Не успел мэр под жидкие аплодисменты вручить кубок, как налетел страшный шквал и вырвал один за другим все зонтики «Рикар и Бирр» подле соседнего кафе «Кумушка». Напрасный труд: мы уже снова засели за письменные столы.

Кончается август, но Ада, несмотря на все наши усилия, задула еще только пятнадцать свечек на своем праздничном пироге. Иными словами, нам предстояло перевести еще триста четыре страницы и одолеть пятьдесят пять лет ее жизни, насыщенных всевозможными событиями.

XXI

В последний вечер перед нашим всеобщим рассеянием мадам собрала нас всех на паперти Святого Михаила, на высоте, напомню, двадцать шесть метров, там, где давали уроки знатоки нашего архипелага. Ее платье хлопало на ветру. Напрасно она напрягала голос (голос маленькой, вечно восторженной девочки) — ее слова улетали к чайкам, не достигая наших ушей. Мы поняли только, что она благодарила нас от имени Жиля (полномочной представительницей которого она являлась). А еще — что битва за перевод продолжится в

[1] Суть перевода? Чуть живая
На блюде голова певца,
Мартышкин вздор, речь попугая
И опошленье мертвеца (*англ.*).

Перевод С. Гандлевского

Париже, сбор у нее, по пятницам в восемь вечера, улица Одеон, дом 8, будет очень мило, если вы прихватите с собою вина, красного или белого, по своему вкусу.

Она замолчала.

Все взгляды были устремлены к ней. Прощай двадцатый век! Мы очутились далеко, очень далеко от нашего времени. Прислонясь к кресту, пригвожденная к нему закатными лучами, она звала нас в крестовый поход.

На другой день на материке нас поджидала какая-то парочка. Возбужденная брюнетка и длинный лысый тип в духе Эль Греко. Они молча крутились вокруг нас, шныряя по всей автостоянке, где мы рассовывали по багажникам дачный скарб. У хозяина ближайшей гостиницы мы спросили, кто это такие.

— Книготорговцы из П. Хотели посмотреть, что вы за люди и какая муха вас укусила, ведь вы заказали у них несметное множество английских словарей! За все время своего существования их лавка не получала такой прибыли! Теперь благодаря вам они смогут открыть отдел детских книг.

XXII

Зимой есть один только цвет — серый.

С утра до вечера переводчик сокрушенно осматривал окруженное водой крошечное царство, которое сам для себя выбрал. Его терзал резонный вопрос: какого черта я здесь торчу? Что за бредовая идея — запереть себя на этом острове величиной с конфетти?

Один из ответов, возможно, давали воспоминания Стефана Цвейга «Вчерашний мир», которые он читал в слезах, с восхищением и гневом. Что за безумие побудило людей уничтожить это чудо мысли, культуры, истинной дружбы поверх границ, фантазии, творчества — Европу накануне 1914 года? Как объяснить подобное самоубийство?

Цвейг рассказывает историю одного немецкого издательства. Альфред Вальтер Хаймель был богат и писал любительские стихи. Вместо того чтобы держать скаковых лошадей, он решил в начале века издавать книги. Причем только настоящую литературу, без малейших уступок потенциальным читателям. Их печатали столь прилежно, что в них не было ни одной опечатки.

«Решив оставаться в гордом одиночестве, пишет Цвейг, Альфред Вальтер Хаймель нарекает свое детище «Die Insel» — «Остров». Там печатались Рильке и Гофмансталь. И первые тексты Цвейга. Ему было тогда двадцать шесть лет.

И вот тридцать пять лет спустя «Остров» медленно и печально проплывает в памяти Цвейга, уехавшего подальше от Европы — и от ненависти. Он живет в Бразилии. Решение принято: дописать «Вчерашний мир» и покончить с собой.

XXIII

Двести семьдесят три раза поднималось море, по воскресеньям средненькое «Кирави» («услада для желудка») сменялось первоклассным бордо — таковы были единственные часы, отбивавшие ритм жизни переводчика.

Ибо, несмотря на похвальные честные и упорные усилия, работа не клеилась. Например, он десять раз заново переделывал трепетную главу XXXIX. Зачин получался: «Ладорские моды 1888 года хоть и грешили эклектичностью, но все же не подразумевали полной вседозволенности, как о том полагали в Ардисе». Однако уже со второй фразой: «Собираясь на большой пикник по случаю дня своего рождения...» — уже не получалось ничего. Набоковская музыка терялась в неуклюжих словах. Чем усерднее он работал, тем дальше удалялся от цели (порхающей прогулки), увязал в свинцовой, почти хайдеггеровской прозе.

Почему его так парализовали холода, ведь летом целые страницы текли сами, слов-

но надиктованные невидимыми, сладко пахнущими устами? Ночи напролет он ворочался с боку на бок в своей бретонской кровати, терзаясь этой загадкой. Единственное рациональное объяснение могло быть связано только с бабочками: когда климат не пускает их во Францию или когда они лежат где-то съежившись в виде куколок, переводить Набокова невозможно. Гипотеза подтвердилась в конце апреля — начале мая. Воздух заполонили летучие палитры под благозвучными латинскими именами, напоминающими о вечерних беседах римских ученых на тенистых берегах Тибра : Parnassius, Issoria, Pieris, Polyommatus, Zygaena, — и тотчас же рассказ о пикнике легко продолжился: «Шестнадцатилетняя Ада облачилась в простенькую полотняную блузку, кукурузно-желтые брючки и обшарпанные мокасины».

Издателя, как можно догадаться, не интересовали эти очевидные, но чересчур изысканные причинно-следственные связи. Ему нужен был текст, готовый, и непременно к тому дню (который не может не наступить), когда его автору будет вручена (наконец-то) Нобелевская премия. К счастью, в прошлом октябре Шведская академия избрала Патрика Уайта, но, как твердил в каждом послании Файар, «неожиданная отсрочка не дает повода расслабляться».

Предупреждений этих переводчик не читал: чтобы не огорчать почтальона, он теперь вскрывал парижскую корреспонденцию. Но, едва взглянув на очередное свидетельство издательского рвения, складывал письмо, чтобы использовать потом по домашней надобности: подсунуть под ножку кровати, ухватить велосипедную цепь, не испачкав рук в густой смазке, или худо-бедно заткнуть дыру в крыше.

— Ну надо же! — восклицал почтальон испуганно и восхищенно. — Ну надо же! Можно подумать, что вы совсем не боитесь Парижа!

XXIV

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ПРОВЕРИЛИ ПО АТЛАСУ ВАШ ОСТРОВ СУЩЕСТВУЕТ ТЧК НАЧАЛ СОМНЕВАТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ МОЛЧИТЕ ТЧК ПЛОХАЯ НОВОСТЬ ЗАВТРА ПОСЫЛАЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ТЧК ДЕСЯТОГО ИЮЛЯ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЧАСОВ ТЧК ЕСЛИ РАСПИСАНИЕ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ТЧК ГОТОВЬТЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ТЧК ПРИВЕТ ИЗДАТЕЛЬ

Как известно, телеграмма, выигрывая во времени, приносит в жертву тайну переписки. Двое почтовых служащих — отправляющий и получающий — заведомо посвящены в секрет.

Как скрыть его от глаз, читающих бланк, от выстукивающих буквы пальцев? Каким уставным уложением помешать секрету следовать своим естественным путем: подняться по глазному нерву, соскользнуть в гортань, потом проплыть по языку и оттуда, с условием строгой конфиденциальности, перейти в навострившееся ухо подружки, которая в свою очередь... Короче, через телеграфистку Терезу, да будет она благословенна, тревожное известие узнал весь остров.

Сначала над телеграммой смеялись: местные жители гордились удаленностью от Большой земли и презирали псевдоострова, имеющие связь с материком во время отлива (как, например, Нуармутье) или, того хуже, бесконечно вульгарный мост, пусть он еще только в проекте (как несчастный Ре). Будь их воля, они бы еще больше усложнили путь на остров и положили конец всякой переписке. Они с наслаждением предвкушали, как парижский эмиссар после изнурительного шестичасового путешествия будет час и одиннадцать минут топтаться на продуваемой всеми ветрами платформе в Г. (зал ожидания там испокон веку закрыт на ремонт).

И это лишь начало его невзгод. Ему предстоит погрузиться в прокуренную пепельницу, пропахшую вдобавок густыми пивными парами, словно она десять лет провалялась на дне пивной бочки (именно так, без преувеличения, воняло в вагоне), и час тряс-

тись там как в маслобойке. По окончании этой пытки ему придется долго ждать в кафе в П., пока прибудет красно-черный автобус и, загрузившись квохчущими курами, горшками с геранью (чаще всего для могил), двумя унитазами, пятью ящиками с конфитюром (яблочно-смородиновым), газонокосилкой, двигателем для яхты «Ласточка» в три лошадиных силы и пинг-понговым столом (взгроможденным на крышу), не спеша тронется, да еще сделает по дороге одиннадцать остановок: Международная школа гостиничного хозяйства, поворот на Логиви, гараж Жикель, Плубазланек-Центр, а когда он наконец доползет до пристани, причал, естественно, окажется пуст: катер, как всегда, ушел не дождавшись. Многострадальный путник увидит, как он мужественно рассекает далекие волны, вильнув на прощание белым задом с трехцветным флажком.

Островитяне смутно представляли себе породу издателей, но им было известно, что парижане — народ нестойкий: да и какой путешественник не растеряет своей боевитости после таких злоключений? К тому же они твердо знали, что среди столичных самые хилые — это интеллигенты, хотя, конечно, не стоит на всякий случай недооценивать противника. (Среди «континентальных» французов попадались иногда крепкие орешки — по крайней мере, так утверждал хозяин скобяной лавки: он божился, что может составить толстую телефонную книгу с именами несгибаемых упрямцев, из года в год оставляющих ему неоплаченные счета.)

Сказать по правде, зима была не слишком продуктивной и для переводчиков-любителей. Как ни стыдно в этом признаваться, в парижской суете воспоминания об Аде понемногу стерлись из памяти. Но она нас ждала, шаловливая, безмятежная, уверенная в своей силе. И когда все вернулись на остров, не без злорадства поглядывала на изможденные физиономии горожан и их чудовищные сумки. И с первой же ночи снова поселилась в наших снах. Одежд на ней было еще меньше, чем год назад. Без промедления мы схватили ручки и словари, и возобновилась битва.

Был создан неофициальный комитет, заседавший в «Перекати-поле», баре морской элиты, чтобы выработать стратегическую линию: встречать ли парижского эмиссара на пристани или пусть себе блуждает в неведении (на острове адресов нет, в лучшем случае туманные указания: Канатная бухта, Возле маяка, Северная Мельница)?

— Такие люди склонны добиваться своего, — сказала урожденная Сент-Экзюпери. — И тогда гнев их еще страшней.

Было решено, что она права. Встречу поручили почтальону.

— А как ты его узнаешь на набережной, в толчее?

— Не беспокойтесь!

Он гордился высоким званием почтальона. К нему стягивались нити, соединяющие разных людей. Так неужели же тот, кто ежедневно доставляет письма людям, не имеющим адресов, вдруг оплошает и не опознает среди любителей пикников палача переводчиков?

XXV

Кое-как приткнув свои длинные ноги в купе скорого поезда Париж—Брест, вышеупомянутый палач размышлял о жизни.

Он так и не снял пальто с капюшоном.

Жизнь (его собственная) увлекала его необычайно, как футбольный матч, как захватывающее зрелище, неизменно удивительное и непредсказуемое. Любое другое времяпрепровождение казалось ему скучным: кино, телевизор, любовь во всех ее формах...

В последние месяцы эта замечательная жизнь приняла неожиданный оборот. Еще недавно он считал, что работник издательства — это своего рода почтовый ящик: с утра до вечера в него запихивают писанину, которую он не может вместить. И вдруг он превратился в неумолимого кредитора. Он бороздил Францию и Европу, вырывая у Медли-

тельных обещанные рукописи. Медлительные — это особая этническая группа внутри общества, упрямое племя, хранящее с необычайной стойкостью свои традиции и обычаи и поразительно изобретательное на неоспоримые доводы в оправдание Задержки.

«Стоило бы завести дневник и записывать перлы из этих извинительных писем», — бормотал себе под нос заместитель Файара.

На него сыпались в невероятном количестве безвременные кончины (мать, отец, дядюшка-который-меня-воспитал, один раз даже похоронили любимую жену, благополучно воскресшую через несколько месяцев), неизлечимые недуги (интересно, что бы делали эти черепахи без спасительной болезни Дюпюитрена — ревматической судороги в кисти, как нарочно не дающей писать?), ограбления (мало кто знает, что воры — утонченные ценители и коллекционеры рукописей: они обчищают дома с единственной целью — похитить только что законченный перевод, а прочую ерунду — меха, телевизоры, магнитофоны — прихватывают лишь затем, чтобы запутать следы). Некий Жан-Луи не моргнув глазом сообщил, будто корова — да-да, то самое жвачное животное с выменем — вырвала у него из рук и сжевала единственный экземпляр заказанного перевода.

Он возвращался мыслями к последнему письму Жиля — настоящий шедевр, его следовало бы выгравировать на бронзе и прикрепить к Стене плача Медлительных:

Пятое января было указано Вами как крайний срок. Я вынужден констатировать, что вчера он истек. И может быть, так лучше для всех...

Что же на сей раз припас ему экс-пианист, окруженный морем и кошками?

XXVI

Они шли бок о бок. Быстрым шагом. Палача — посланца издателя — не сломили, судя по всему, тяготы путешествия. Наоборот. Он шел легкой спортивной походкой. Брал препятствия без усилий. Даже две самые высокие точки острова (часовня Святого Михаила — двадцать шесть метров над уровнем моря и маяк — тридцать два). В руке небольшой темно-красный портфельчик, на ногах башмаки на толстой подошве, которые покупают возле Сорбонны, собираясь пешком обойти Тибет. Надо пересмотреть наше отношение к издателям: далеко не все среди них домоседы и лежебоки с брюшком и одышкой. Кстати, имея дело с переводами, они неизбежно странствуют среди самых разных языков, а то и народов.

Благодаря телефону маршрут отслеживался метр за метром. То в одном доме, то в другом раздавался звонок: «Внимание, они приближаются, идут через Керанру, напряжение. Уже миновали Кераргилис». Так репортеры «Тур де Франс» комментируют финальный этап гонки.

Они беседовали. Все могли подтвердить: на пути от порта до обители переводчика (со всеми туристическими зигзагами) они ни на минуту не прерывали разговор, вернее, один (почтальон) говорил, а другой кивал.

Позднее, уже после всех этих драматических событий, каждый спрашивал себя: «Все ли я сделал, что мог? Не упустил ли чего-нибудь, что могло бы все изменить?» Но самый важный вопрос задавали почтальону: что он нарассказал парижанину? Не предал ли ненароком Жиля?

Ответ был неизменным:

— Сказали — задобрить. Я и задабривал.

До сих пор не улеглись сомнения. Некоторые, и я в том числе, полагают, что он воспользовался случаем и всучил издателю собственный товар, предложив для публикации одно из двух своих исследований: «Монахи на архипелаге (VI—XII вв.)» или «Правда о пиратах».

Так или иначе, но когда они появились вдвоем на дорожке между грядками укропа, они уже были лучшими друзьями.

Переводчик настоял на присутствии союзников по «операции Ада» хотя бы во время знакомства.

— Потом уйдете. Пусть эти парижане знают, что я не какой-нибудь таракан запечный, я тут не один, и меня так просто не раздавишь!

Еще он, видимо, полагал, что вскользь упомянутое имя Сент-Экзюпери произведет надлежащий эффект.

Как было условлено, мы грозно («Руки прочь от нашего друга!») воззрились на палача (темноволосый, худой, совсем юный, с пухлыми губами и бледным лицом, он был похож на студента, шагнувшего к нам прямиком из прошлого века, не то англичанина, не то швейцарца, дающего уроки музыки в аристократических домах Санкт-Петербурга), после чего откланялись.

— Так, — бормотал переводчик, — так-так, — и постукивал левым кулаком по правой ладони — типичный жест запечного таракана.

Мы не покинули его одного в борьбе с жестоким делячеством. На страже оставались еще две его армии: армия кошек, занявшая стратегические посты на суше и в воздухе — на фиговом дереве. (К счастью, ветер дул с юга и уносил неистребимую кошачью вонь в морские дали.) Что касается армии бабочек, то они плели свои сложные интриги, занимаясь нежным шантажом, как все те, кто живет недолго. Мы им доверяли.

— Я вам не враг, — сказал палач-заместитель. — И мой патрон тоже. Но видите ли...

Он был спокоен и говорил мягко.

— ...наша работа требует, чтобы мы вырывали книги у времени — или, точнее, у вечности, — где так уютно чувствуют себя замыслы великих романов, идеальных переводов, словом, грезы. Мы извлекаем их из уютного гнездышка на свет божий и размещаем в пространстве материального мира...

Он смущенно улыбался, будто приносил извинения:

— ...на полках книжного магазина, например.

Жиля, кажется, все это ничуть не трогало. Повернувшись к гостю спиной, он готовил чай. Церемония эта могла происходить у него в любой час дня и ночи. Чай, по сути, предварял и сопровождал всякое чужое вторжение в его мир или подводил итог этому вторжению. Я думаю, медовый цвет чая, его жар, тонкий, уютный запах придавали несчастному сил при общении с себе подобными, тем более что Куперена уже не было с ним. Чай служил своего рода броней.

Слова эмиссара показались ему разумными; он успокоился, повернулся, пригласил гостя сесть и сел сам. Их разделял круглый каменный стол. Над ними тенью нависала акация. Кошки, удостоверясь в том, что все идет мирно, втянули коготки. Вместо ожидавшейся войны двое книголюбов пытались вместе найти пути для примирения вечных ценностей (серьезная литература не терпит спешки) и коммерции (предполагаемое получение Нобелевской премии их общим автором).

— Мы можем ждать только до первого сентября, — приступил издатель.

— Какого года? — жалобно спросил переводчик в последней отчаянной попытке отринуть неумолимую реальность.

Издатель даже не стал отвечать.

— Итак, договорились. К тому же, полагаю, вы, как и мы в издательстве, еженедельно получаете потоки набоковской брани.

— О да! Не сказал бы, что он очень любезен!

— Вы позволите взглянуть?

Переводчик встал, вынул из кухонного шкафа пачку засаленных листков бумаги и приступил к чтению:

— «23 июля: «Чудовищные ошибки и невозможная вычурность...: недостаточное знание английского». 30 ноября: «На каждой странице — смысловые ошибки... Поразительная нечуткость к поэзии...» Продолжать?

Издатель улыбнулся.

— Пожалуйста, не обращайте на все это внимания. Колючий человек. Наверное, из-за вечного изгнанничества. На самом деле ему нравится ваша работа. Он не раз давал нам это понять, правда несколько сдержанно. Ну что, решено?

Гость поднялся.

— Так вы даже не останетесь ночевать?

Переводчик, кажется, искренне огорчился. Уж не собирался ли он оставить посетителя на несколько дней и даже запрячь в работу?

— Увы, нет. К сожалению, вы у меня не один. До 14 июля я должен вырвать у вечности еще четыре рукописи. Следующий клиент живет на вершинах Клермон-Феррана. Я и вообразить боюсь, на каких поездах предстоит туда добираться, да еще эти кошмарные пересадки...

Они обменялись рукопожатием. Издали было видно, как издатель двинулся по тропе вдоль болота, где вскоре к нему присоединился почтальон — историограф побережья.

«Всего одно лето? Нет, ничего не получится, — бормотал переводчик, стоя под акацией и не замечая пляски бабочек вокруг его морской шапочки. — Никогда, никогда! Очаровательный юноша, но, видно, Париж потерял всякое представление о времени».

XXVII

Здравомыслящий и отважный кюре! Он никогда не обольщался собственными успехами. Он знал, что народ стекается на утреннюю воскресную службу вовсе не из благочестия. Приходили поглазеть друг на друга. Прикрываясь улыбками и любезными кивками, с увлечением вычисляли стадию рака у А., нелады в семье Б. Подростки, имевшие достоверные сведения о том, что девственность определяется по форме щиколоток (чем они тоньше, тем вероятней грех), не сводили глаз с выстроившихся у алтаря голых лодыжек. Толстая блондинистая кузина наверняка уже с кем-то переспала. Надо бы воспользоваться! Малышам было скучно. Иногда до обморока. Их выводили подышать воздухом на кладбище. К лютой зависти их друзей, которые еще отыграются в следующее воскресенье.

После того как произносилось «Ite missa», прежняя почтальонша, хваткая женщина с усиками, распахивала настежь двустворчатую дверь и тянула за веревку колокол. На паперти еще долго болтали окутанные клубами ладана прихожанки, пока аромат жимолости окончательно не брал верх. На мраморных досках вдоль стены были высечены имена погибших в море. Это трагическое напоминание добавляло остроты нашим мечтам о регатах. Те, кто не успел заказать заранее марципановый торт с персиками в кондитерской «Дюбрей», прощались первыми.

Бедный Создатель, он не имел никакого отношения ко всем этим заботам, таким безнадежно земным!

Однако Его представитель на грешной земле не отказывался от честолюбивого замысла вернуть Его в наши души. Дабы зажечь в нас хоть искорку религиозного пыла, он старался изо всех сил, навещал нас под всевозможными предлогами и организовывал что ни день какую-нибудь новую форму богоугодной деятельности. Однако главную ставку кюре сделал на историю. В приходском листке «Баклан» он вспоминал былые времена, чтобы нас пристыдить. Безукоризненно точным и изящным слогом он вдалбливал в наши головы следующее:

1) Начиная с V века, в эпоху раннего средневековья, именуемого невеждами «диким», наш край населяли замечательные люди. Презрев опасности, они прибывали из Ирландии и Англии на ладьях и прочих плавучих средствах. Их вела мечта: по примеру святого Антония бежать от мира с его искушениями, удалиться в пустыню и там беседовать наедине с Всевышним. Прибыв к нам, они обрели счастье: можно ли найти более

пустынный и суровый край, чем несколько десятин гранита, окруженных водой? Святой Бюдок, святой Модез, святой Риом и их ученики расположились каждый на отдельной скале. Питались они водорослями и рыбой и проповедовали слово Божье на протяжении четырех веков. Потом нагрянули душегубы-норманны (плеоназм).

2) XV век — новое духовное возрождение. Нищенствующие братья францисканцы не могли более сносить мирскую суету больших городов. Они искали успокоения на нашем зеленом острове. И прожили тут до Революции.

3) А сегодня на этих благословенных островах вы видите лишь площадки для пикников, паломничество за креветками и моллюсками. Когда же вас посетят мысли о горнем?

На традиционных вечерних прогулках, когда малыши уже спали, хотя было еще светло, как белыми ночами в Санкт-Петербурге, мы смущенно оглядывали архипелаг. Как усомниться в правоте нашего дорогого кюре? Пейзаж поистине величественный: затопленные каменные глыбы, серые воды прибрежных течений — всё как в незапамятные времена. Только вера, увы, покинула эти берега.

XXVIII

— Дорогие братья и сестры, этот русский господин Набоков...

Проповедь Пятнадцатого августа застала нас врасплох. После чтения Евангелия кюре взошел на кафедру с подобающей торжественностью, все было как положено: скрип ступеней, шуршание ризы, эффектное появление проповедника перед народом, театральные взмахи широких рукавов. Голос сестры Марии, читавшей Евангелие с жалобными интонациями состарившейся девочки, еще не успел отзвучать. Паства украдкой поглядывала на часы. Почти полдень. Долго ли он собирается разглагольствовать? На улице такая погода...

Произнеся эти восемь слов, кюре замолчал, и в глазах его засверкали молнии.

— Дорогие братья и сестры, этот русский господин Набоков, которого вы, кажется, переводите, осужден Его Святейшеством Папой...

Он потрясал томиком карманного формата.

— В этой богомерзкой книге сорокалетний мужчина совращает дитя. И вы хотите стать сообщниками подобной гнусности? Да, вы, Франсуаза, Тьерри, Лоик, Вероника, Бенедикта...

Он называл одно за другим имена изумленно переглядывавшихся грешников. Они не привыкли к такой ярости в стенах церкви. Озабоченная уловлением душ, Церковь в последнее время скорее прельщала, заманивала, была снисходительна.

— Паскаль, Жанина, Анри, Надин... Я оставляю вас наедине с вашей совестью!

Он в бешенстве швырнул «Лолиту» на брезент, укрывавший тачки, тяпки и лопаты, которые ждали починки в восточном приделе. Потом спустился и завершил службу.

Никогда еще на памяти прихожан ни один кюре не был так краток в праздничный день.

XXIX

Каждую пятницу кюре обедал на террасе у двух сестер — Колетты и Маргариты. Там же обедал в свое время его предшественник. И предшественник предшественника.

Этот обычай восходил к пятидесятым годам, когда обе сестры, не довольствуясь управлением собственным растущим потомством, царствовали над всем островом. У них просили совета по всем вопросам. Их приговора боялись: в особо серьезных случаях они созывали общий сбор. Сколько вертопрахов, считавших, что обрюхатили девицу безнаказанно, приговаривались на знаменитой террасе к браку двумя парами неумолимых голубых глаз? Не добрая ли половина всех мужчин острова?

Пятничный обед был встречей сильных мира, заседанием совета министров, спрыснутым праздничным мюскаде.

С той поры много воды утекло. Некогда всесильная троица уже не обладала прежней властью. В речах проскальзывали интонации правительства в изгнании: мечты вернуть старое, недовольство ходом событий и тоска по прошлому, главное — тоска по прошлому.

В тот день кюре даже не притронулся к окуню, выловленному прямо утром. Досада лишила его аппетита.

— Наш остров становится языческим.

Колетта и Маргарита проводили его до пляжа. Чем огибать бухту по берегу, он решил добираться морем. Зрелище оказалось весьма эффектным: служитель церкви, в сутане, сидит в утлой лодчонке и табанит кормовым веслом, как заправский моряк. Интересно, на Тивериадском озере в библейские времена умели так лихо управляться с одним веслом?

К старости (обе они родились в прошлом веке) сестры стали позволять себе кое-какие тайные вольности. Когда вся семья уходила купаться или кататься на лодке, они запирались в гостиной. Там они включали проигрыватель и, краснея и прыская как девочки, слушали Брассанса, который столько лет был в этих краях под запретом. Он жил в устье Триё, как раз по ту сторону пролива.

Затем они усаживались в свои любимые кресла на террасе. Они вязали и наблюдали, передавая друг другу бинокль времен первой мировой войны — о, эта старинная кожа и тронутая ярью медь! И ничуть не жалели о былом величии. Прав кюре: остров становился языческим.

XXX

Несносная, коварная Ада!

Снизойдя к обстоятельствам и нашим усилиям, любая другая давно бы уже смилостивилась. Прекратила бы свои выкрутасы, села напротив нас за стол, заваленный яростно исчерканными черновиками, и, слегка растроганная, со смехом сказала бы:

— Ну ладно, довольно я вас помучила. Поиграли, и будет! Чем я могу помочь?

Но от нашей Ады такой любезности не дождешься — ни капли жалости. Куда там! Шли дни, приближался роковой срок, а она делалась все неуловимей: вот уж поистине вероломная кокетка!

Не успеешь с замиранием сердца взять ее за руку и отвести в любовно приготовленное для нее пристанище — на чистый лист бумаги, где (если захочет Бог и наша подружка), быть может, напишется по-французски восьмая глава второй части: «Зная, сколь падки его сестры до русского стола и русских развлечений, Ван повел их воскресным вечером в «Урсус», лучший из франко-эстонских ресторанов Большого Манхэттена», не успеешь восхититься ее платьем (коротким, открытым, сквозисто-черным), как она, вспорхнув, исчезает:

— Нет, простите, совсем забыла! Я ведь уже обещала...

И пропадает на всю ночь.

Но что еще хуже, она, особенно после обличений кюре, стала не просто убегать, а менять внешность, воплощаясь в юных обитательниц острова, которые ее знать не знали. Вон какая-то барышня нежится на теплом песке, отбивая правой коленкой такт, уж не Ада ли это? Мы бросаемся к ней, ведь уже несколько часов, как она пропала! Мы торопимся, бежим со всех ног, но она прогоняет нас, ей противна наша прыть, наши пылкие взгляды: «Нет, я не русская, поумней ничего не придумали?» А на другой день Ада снова заманивает нас в ловушку. Томная девочка-подросток загорает в лодке у границы бухты. На сей раз сомнений быть не может. Мы устремляемся к ней яростным неуклюжим

брассом и лишь успеваем увидеть, как она рывком натягивает символический лифчик и сердито кричит: «Что от меня надо этому старичью?»

Старичью? Да нам нет и тридцати, но ее родители уже грозят нам судебным иском.

Жена вечного диссертанта, обожаемый офтальмолог, сбежала от него в Париж.

— А зачем мне оставаться? Ты на меня даже не смотришь.

— Но, милая, эта книга...

— Книги — это стены, возведенные вокруг сердца.

Даже урожденная Сент-Экзюпери, наша горячо любимая предводительница и ангел-хранитель, и та нас побаивалась. Она совершенно перестала выпускать из дому очаровательную Катрин, прошлым летом дарившую нам столько цветов, Катрин, чей мыльный запах мы с таким наслаждением вдыхали. Позже она призналась, что тем августом в наших взглядах, устремленных на настоящие и будущие прелести дочери, ей чудился некоторый нездоровый блеск.

Еще одна проделка милой Ады.

Кто наконец поймает этого бесенка? В какую волшебную сеть?

Тогда никто и не помышлял призвать на помощь ионосферу.

XXXI

Все чаще и чаще в конце этого второго лета урожденная Сент-Экзюпери приглашала нас всех к себе на ужин. Она чувствовала, что наша переводческая команда после визита издателя слегка пала духом. «Какого черта, даже не зная толком английского, мы замахнулись на такую глыбу, как Набоков?» Чтобы заглушить опасный голосок здравомыслия, нет ничего лучше, чем местное мюскаде (из виноградников Буа Маленж). Два-три стакана — и уверенность возвращалась к нам. Сидя в саду, среди сладкого, почти приторного аромата жимолости, за каменным столом с неубранными остатками атлантических крабов, мы, забыв о времени, спорили о французском языке, о его ритмах, музыкальных созвучиях, внутренней сдержанности, неизбывной страсти к абстракциям и о его грамматике, которая не позволяет себя взъерошить.

Место ли нашей взбалмошной Аде в этом строго размеченном, упорядоченном саду?

То и дело поминаемый французский язык являл себя в конце концов среди нас, как гость, который, отужинав в другом доме, заглядывает потом к друзьям на кофеек. Мы чувствовали, как он неслышно приближается к нам, словно мать, чье присутствие так необходимо детям в ночной темноте. И мы, оробев несмотря на мюскаде, старались подольше удержать его, жонглируя именами тех, кто лучше всего послужил ему в свое время: Монтень, Лафонтен, Стендаль, Аполлинер. Он был явно доволен нами («Хорошие дети, молодцы!»). И рассказывал нам истории о других людях, которые задолго до нас собирались вместе, чтобы поговорить о том же самом: историю «Плеяды», прециозных салонов («Почему Мольер назвал их посетительниц «смешными жеманницами»? Разве так уж плохо пытаться обогатить повседневный язык?»), сюрреалистов («О, как они потешали меня своей заговорщицкой спесью! Я же сам диктовал им, иначе чего бы стоило их хваленое автоматическое письмо!»)

Вдруг налетал прохладный ветерок, и наш гость исчезал: «Смотрите работайте на совесть!» Мы молчали. Он уносил с собой слова. Наступало время расходиться по домам. Осиротелая группка переводчиков быстро рассеивалась в темноте, и лишь дрожащий фонарик освещал им путь.

В тот вечер речь зашла не о французском — о музыке. Мы чувствовали, что наша хозяйка волнуется. Она не могла усидеть на месте, вертелась, нервно барабанила пальцами по всем попадавшимся под руку предметам. Смотрела на часы. Может быть, пригласила кого-то, кто никак не идет? После картошки, запеченной в сметане, она не вытерпе-

ла, встала и скрылась в доме. Вскоре через распахнутую стеклянную дверь до нас докатились звуки клавесина.

Веселенький ритурнель — танец, кружащийся, как волчок. Едва подходя к концу, мелодия начинается снова с той же чуть надтреснутой резвостью. Песенка круглая, как карусель, как обнимающие руки.

— Ну как?

Хозяйка ждала нашего приговора. Она помолодела на тридцать лет. Смущенная, раскрасневшаяся, в голубом платье, словно из прошлого века, она то прижимала руки к груди, то опускала их. Как девочка, которая осмелилась спросить у родителей: «Ну как? Вам нравится музыка, которую я люблю?»

Мы чувствовали, что она вдруг стала хрупкой как стекло, и не прояви мы восторга — она расплачется. Мы рассыпались в похвалах: о, какой порыв, какая восхитительная легкость, какое изящное развитие темы...

Она не слушала. И с детской радостью сообщила:

— Куперен. Я наконец-то разыскала любимую вещь нашего Жиля — «Таинственные барикады». Странные тогда были названия, правда? И смешная орфография: «барикады» с одним «р». Вы позволите?

Она снова исчезла.

И снова зазвучал клавесин.

Мы тихонько поднялись. Молча откланялись. Но ей было не до нас. Сидя в кресле, она смотрела как зачарованная на вертящуюся пластинку. Мы послали ей мысленно воздушный поцелуй: дай бог вам удачи, сумеете ли вы когда-нибудь взять эти «таинственные барикады»?

От нас не укрылась ее страсть к Жилю. Каждый вечер мы сквозь папоротники наблюдали одну и ту же сцену: она приходит к нему с каким-нибудь подарком. Жиль, бормоча слова благодарности, берет у нее из рук бутылку «Шато Бешевель», кастрюльку с петухом в еще бурлящем вине или связанные на зиму перчатки. Они некоторое время стоят лицом к лицу, не глядя друг на друга. И все. Переводчик возвращается к кошкам, влюбленная дама — к своим девичьим мечтам.

XXXII

«¿Donde se esconde el sexo en esta puta de isla?»[1]

Сеньор Хосе Мария Фернандес на седьмом десятке уже не был так одержим страстями, как некогда. На протяжении сорока лет в его жизни не было дня без какого-нибудь любовного приключения, бурного или нежного, сомнительного или невинного, но всякий раз неожиданного. В то блаженное время он жил в Буэнос-Айресе. Двенадцатимиллионный мегаполис, прибежище всех рас, конечный пункт всех скитаний, открывал неисчерпаемые возможности для комбинаторики тел, а порой и душ.

Все эти сокровища памяти были тщательно запротоколированы в двадцати восьми блокнотах, благодарно нареченных «Homenaje personal a la Ciudad»[2].

Увы, эмиграция безнадежно охладила его пыл. Он часто вздыхал, с тоской поглядывая на свою ширинку: «В этой чертовой слякотной Европе у меня совсем обвисли штаны!»

Один сослуживец расхвалил ему здоровый климат нашего архипелага, и он снял на август заброшенную часовню с широким видом на прибрежную тину (не считая часов прилива). Дни отдыха, долгие и йодистые, протекали, как и предполагалось, с той долей входящей в состав атмосферы скуки, которая считается особенно благотворной для здоровья. Одно только смущало его покой. После обеда, укрывшись от западного ветра за

[1] Где же прячется секс на этом проклятом острове? (*исп.*)
[2] «Моя хвала городу» (*исп.*).

клумбой бирюзовых гортензий, он, лежа в шезлонге, размышлял о местных эротических обычаях. Он знал, чувствовал — секс витает в воздухе. Но, несмотря на многочасовые прогулки по самым укромным уголкам острова, неутомимое выслеживание, стояние по ночам с прижатым ухом у закрытых ставен, ему ничего не удавалось обнаружить. Ни явленных глазу действий, ни косвенных признаков, доступных слуху. Лишь кое-какие запахи, порой доносимые ветром, говорили обонянию, что где-то поблизости произошло соитие. Хотя поди разбери, точно ли тут был человек или повеяло мускусом морских водорослей... Он не упорствовал в поисках, зная по опыту, что рано или поздно все выяснится. Надо только подождать.

Эти размышления разбередили в нем неистребимую тайную ностальгию. Он мысленно бродил по родному городу, обходил его квартал за кварталом, торжествуя вновь и вновь былые победы. Кладбище Реколета и ненасытная ирландка, напуганная призраками. Неистощимый цветник галереи «Пасифика». Кафе «Тортони», где он по средам встречался со страстным фрейдистом: тот приносил с собой в «дипломате» dulce de leche[1] и любил, чтобы попозже вечером его умащали им в гостинице «Три сержанта»...

XXXIII

Как-то вечером, когда стало совсем невмоготу, Хосе Мария Фернандес решил воззвать к друзьям юности через Атлантику. Для этого у него имелось необходимое снаряжение, дорожный несессер изгнанника, который не может позволить себе то и дело звонить на другую планету, — коротковолновый передатчик TS 801 по последнему слову техники, купленный месяц назад в Курбевуа, в магазине «Вардюк».

В Аргентине, где расстояния огромные, а небо чистое, радио по сей день — любимое средство общения.

Сеньор Фернандес погрузил технику на тачку и добрался до северной части острова, где песчаная отмель врезается в море неподалеку от маяка. Он взглянул на небо — сплошное серое полотно, прорванное кое-где на западе красными блестками. Близилась ночь, лучшее время для связи с Южной Америкой: посланные из Бретани сигналы, под нужным углом отраженные ионосферой, попадут прямо на берега Ла-Платы. Взбалмошной и прожорливой ионосферы следовало остерегаться: когда солнце недостаточно активно шевелит своими электронами, она заглатывает все, что в нее попадает, ничего не отдавая назад. И как раз в то лето 1974-го солнечная активность оставляла желать лучшего.

В неверном свете сумерек он разместил на скале свой драгоценный TS 801 и протянул длиннющий провод антенны между двумя полуразвалившимися шалашами таможенников. Уселся на рояльный стульчик, с которым никогда не расставался (подарок его учительницы Клары Хаскил[2]), выбрал частоту: 14 MHz. Как во времена далекой юности, когда, сидя перед зеркалом, он тщательно причесывался и разглаживал усы, готовясь к очередному любовному приключению, у него колотилось сердце: «Кого мне пошлет судьба нынче ночью?» Жажда встреч составляла суть и смысл его жизни.

Он повернул эбонитовую ручку. И сразу же за темной решеткой динамика планета затянула свой вечный речитатив: потрескивание, попискивание, стоны. Ей действительно больно? Или просто шумит ветер от великого вращения Земли? Он долго слушал эти невнятные жалобы, сквозь которые слабо пробивались человеческие голоса. И наконец решился:

— Я — F5NLZ, вызываю Аргентину, я — F5NLZ, вызываю Аргентину. Прием.

— F5NLZ, вас поняла. LUZCX на связи. Ну что, OM, по-прежнему всем изменяешь? Прием.

---

[1] Сладкий молочный десерт (*исп.*).
[2] Клара Хаскил (1895—1960) — знаменитая пианистка, румынка по происхождению.

«ОМ», Old Man[1] — так между собой называли друг друга радиолюбители. Сеньор Фернандес вздрогнул. С первых звуков, несмотря на плохую слышимость, он узнал Хулию, одну из своих бывших невест. Тайком от мужа, врача из больницы Дон Боско, она установила передатчик в однокомнатной квартире, тщась уловить прошлое. Ах, если бы ионосфера могла навеки поглотить тоску по былому, а вместе с нею и угрызения совести! Сеньор Фернандес как мог выразил теплые чувства. Даже пообещал вернуться на Новый год. XYL (таков был код для замужних женщин: Ex Young Lady[2]) была на седьмом небе. Преимущество разговоров на расстоянии — их краткость. Три-четыре минуты, и все.

Много старых друзей дожидалось своей очереди. LU6BP, приятель-трансвестит, товарищ по ночным загулам в кабаках квартала Бока. LU5CM, сумасшедший болельщик «Ривер Плейт», предоставлявший свою жену всем желающим.

Когда годами не видишься, не о чем особенно говорить. Голоса призрачных друзей на другом краю света и радуют, и надрывают душу.

Он попробовал последний раз.

— F5NLZ вызывает Аргентину. Есть у кого-нибудь новости от Мэтра?

XXXIV

Богу было угодно, чтобы сеньор Фернандес сделал Хорхе Луису Борхесу один из самых прекрасных подарков: фотографию, открывавшую прямой путь к Нобелевской премии. Есть ли лучший способ осчастливить того, кто, как и Набоков, каждую осень ждал высшей награды? Он знал, что английские и шведские переводчики держат два главных ключа от Академии, но третий спокойно лежит в аппарате фотографа. Писатель — это не только книги, это еще и лицо. Хемингуэй без бороды и с впалыми щеками мог бы рассчитывать в лучшем случае на стипендию Гугенхайма.

В беспощадной нобелевской игре в «классики» Фернандес продвинул Борхеса по меньшей мере на пять клеток. Он сфотографировал его сверху, словно сам Господь Бог. Борхес стоял в центре некоего подобия розы ветров. Нездешний свет и горделивая отрешенность во взоре делали его символом величия человека. Один такой снимок стоил по меньшей мере двух прославленных романов о страданиях Африки.

— Я здесь, — произнес тихий глуховатый голос, и эти два еле слышных слова тут же потонули в шумах эфира.

Значит, не врет легенда. Значит, правда, что, несмотря на миллионы книг и сотни историй, нетерпеливо теснящихся в голове, старый слепец порой задыхается от одиночества и, запершись в своем кабинете в Национальной библиотеке, выходит на связь. И часами слушает, не говоря ни слова. Слушает род человеческий. Чтобы хоть ненадолго убедиться в его существовании. Настолько сомнительной представляется ему реальность мира.

Потрясенный Фернандес выключил приемник. Окно захлопнулось. Там, наверху, ионосфере надоело передавать сигналы. Настала ночь. Небо, усыпанное звездами, освещало пески. Тихо плескались волны.

XXXV

Сеньор Фернандес, увлекшись, совершенно забыл про остров. Только начав укладывать снаряжение на тачку, он обнаружил, что уже не один. Незаметно подкравшаяся (интересно, когда?) толпа любопытных наблюдала за его работой.

Урожденная Сент-Экзюпери подошла первой. Ее светлые вьющиеся волосы поблескивали под луной.

— Не помешаю?

---

[1] Старик (*англ.*).
[2] Бывшая молодая женщина (*англ.*).

Он чуть не ответил, как на связи: «F5NLZ слушает».

— Нет, нет, буду рад...

И наша предводительница рассказала обо всем: о не поддающейся переводу «Аде», гонениях со стороны Церкви, жестокости парижских издателей. Не согласится ли месье Фернандес помочь? Среди радиолюбителей наверняка есть компетентные люди, владеющие французским. В конкурсных диктантах всегда побеждают самые далекие (географически) друзья французского языка. Люди доброй воли по всей планете должны объединить усилия. Под конец она сразила нас следующим философским соображением: разве радио не такой же незаменимый посредник в диалоге между людьми, как и перевод, не в равной ли мере создают они благоприятную почву для дружбы и вечного мира?

Сеньор уже дал согласие («Я в вашем распоряжении, положитесь на TS 801, он не подведет»), когда с напыщенностью, неожиданной в столь скромной и целомудренной особе, она прибавила, что авиапочта ее знаменитого родственника Антуана, помимо прочего, выполняла ту же вселенскую миссию.

Решено было встретиться на следующий день, в час, когда капризная ионосфера, быть может, соизволит на нас поработать.

Каждый вечер до конца августа мы собирались вокруг сеньора Фернандеса и его приемника.

Выжидая, пока соблаговолит проснуться ионосфера, он рассказывал нам свою жизнь. Мы слушали затаив дыхание, сидя вокруг него на песке.

Начинал он пианистом. Шуман, Шопен. Его туше нравилось. Если бы не несчастный случай 18 июня 1965 года, кто знает, может, он и достиг бы славы? В тот день он упал, споткнувшись о ковер, плохо закрепленный на гостиничной лестнице. Упал *на руки* и тем самым спас себя от серьезных повреждений. Такая же беда приключилась на вокзале в Брюсселе с его учительницей — неукротимой, тонкой, легендарной Кларой Хаскил. Но она-то, как истинный музыкант, падая, отвела руки назад. В результате ударилась головой о ступеньку и умерла. Пока вокруг Фернандеса хлопотали грумы в форменных красных кителях с золотыми пуговицами и обтягивающих мошонку рейтузах: «Все в порядке, месье? Может быть, вам вызвать врача?» — он повторял: «Ясно, все ясно, я недостоин высокой судьбы в искусстве, я не берег пальцы!»

Едва оправившись, он разорвал все контракты, сжег онемевшее пианино и сделался фотографом. Тот, кто не жертвует ради музыки всем, в том числе и жизнью, не заслуживает звания музыканта. Обосновавшись в Париже, он зарабатывал тем, что продавал документальные снимки в испаноязычные газеты. Когда глаза уставали от «лейки», он давал им отдых, напрягая слух и выходя на связь с большим миром.

— Какая изумительная, поистине полная жизнь! — воскликнула урожденная Сент-Экзюпери.

— А вы тоже бисексуалка? — поинтересовался в ответ аргентинец.

Он посмотрел на часы и бросился к приемнику: ионосфере, если верить расписанию, пора было очнуться от сна.

— Всем, всем, всем. Я — Хосе F5NLZ. Повторяю. Всем, всем, всем. Я — F5LNZ. Кто-нибудь может перевести на французский: «Their immoderate exploitation of physical joy amounted to madness»?[1]

Долгая удивленная пауза, и — множество голосов в ответ, с самыми разнообразными акцентами: подпрыгивающий карибский, прерывистый африканский, рубленый вьетнамский.

— На связи HH6CD Жан Максимен, привет из Порт-о-Пренса: вместо нейтрального «exploitation» я предлагаю «алчное злоупотребление».

---

[1] Их неуимчивость по части телесных радостей граничила с безумием (*англ.*).

— XU7VA Пномпень, Кьен, опять коммунисты на кого-то покушались, предлагаю соединить «immoderate» и «amounted» в «расточительность»: «пользовались наслаждением с расточительностью».

В перерывах между беседами с обитателями Земли радиолюбитель снимал наушники, утирал со лба пот:

— Какая все-таки дружная семья — франкофоны!

И негромко добавлял, распрямляясь во весь свой отнюдь не исполинский рост:

— Зато испанский захватил все Соединенные Штаты!

Когда небо смолкало — то есть ионосфера отказывала нам в помощи, — мы тихонько, чтобы не спугнуть ее окончательно, начинали болтать. Жюльетта обычно приносила в термосе чай, кофе, Сюзетта — блинчики, тонкие и легкие, как морской ветерок. Разговор часто сворачивал на бури. Ходили легенды, будто наши предки-пираты заманивали корабли ложными сигналами, чтобы вызвать крушение и завладеть ценным грузом, причем заманивали именно сюда, к утыканной рифами, подточенной прибоем северной оконечности острова. Но прилично ли было вспоминать о не слишком славном прошлом, когда ради Адиной красоты парни всей земли протягивали нам братскую руку помощи?

XXXVI

Ада все поняла. Неуловимая, ветреная, ускользающая, она знала, что ей уже не спрятаться, не сбежать с нашей маленькой планеты, не упорхнуть в космические пространства. Куда бы она ни кинулась, ее поймает какой-нибудь радиолюбитель с помощью ионосферы.

Эти незримые путы могли кого угодно привести в ярость. Она же предпочла увидеть в них высшую дань поклонения. Польщенная (не будем забывать о роли кокетства в ее натуре), она решила стать сговорчивей. И зажить в довольно приятной, в сущности, обители, которую мы ей предлагали: во французском языке.

— Наконец-то! — приговаривал Жиль в шапочке набекрень, кривя губы счастливой усмешкой и барабаня по допотопному «ремингтону». — Наконец-то! Милая Адочка, кажется, я тебя поймал!

XXXVII

Сеньор Фернандес заслуживал за свою помощь подарка. Спросили, чего бы ему хотелось. Он задумался, наморщил лоб.

— Я бы хотел присутствовать при каком-нибудь местном обряде.

Как все аргентинцы, потомки выходцев из Европы, он испытывал нежную страсть к нашим традициям и обычаям. Его попросили подождать денек-другой, пока солнце и луна займут нужные места. Встречу назначили на полдвенадцатого двадцать второго августа на пляже Бек-Сансон, форма одежды — морская.

Он ненавидел переодеваться: слишком многих его друзей в Буэнос-Айресе засосало увлечение переодеванием в одежду другого пола. Он явился на песчаный берег в обычном своем костюме. Только закатал до колен бежевые брюки. Так он и поднялся на борт нашей семейной яхты: в белом шелковом пиджаке, в красной рубашке и галстуке с жемчужной булавкой, волосы напомажены, дыхание благоухает лакрицей, фотоаппараты наперевес — одна «лейка», два «никона» (местный обычай стоит увековечить).

Легкий ветерок ерошил воздух, желтизна, возвещая осень, облекала мир подобием ореола, на море покачивалась великая армада. Лодки всех видов: благородные яхты медово-красного дерева, приземистые кетчи, неуклюжие моторно-парусные посудины, шлюпки, круглые, как ореховая скорлупа, или оснащенные странными приспособлени-

ями типа снегоочистителей на носу, бесконечное множество пластмассовых корыт, катера с высоко посаженными, нелепыми рубками вроде вышки охранника, байдарки, каноэ, весельные ялики, грозно ощетинившиеся сетями, — полный набор всех существующих на свете плавучих средств. Таким, надо думать, предстал перед немцами разноплеменный флот 6 июня 1944 года[1].

Сеньор Фернандес наполнялся впечатлениями. В легкие ему вливался йодистый воздух с примесью испарений дизельного топлива. Глаза, привыкшие к светло-шоколадным водам Ла-Платы, удивленно ширились при виде моря, окрасившегося в бесчисленные цвета и оттенки: изумрудный, темно-синий, серебристый, черный. Уши жадно ловили типичные для французских семей перебранки: «Ну, женщина у штурвала — считай, пропали!», «Оставить дома мюскаде! Вечно ты портишь удовольствие!», «Если этот ребенок сейчас же не уймется, я выкину его за борт», — на всех лодках одно и то же. А он снимал и снимал. Madre de Dios[2], в Буэнос-Айресе сумеют оценить портрет старушки Европы на каникулах!

Мы вышли из бухты, и наш друг, поджав ноги, забился в самый угол кокпита, чтобы не мешать маневрам. Уж не началась ли у него морская болезнь? Слабым голосом он повторял одно и то же слово: «Креветки, креветки!» Ему не верилось, что весь этот флот снарядили ради столь ничтожных созданий.

Гувернантка, обучавшая его в детстве французскому, была одержима этимологией: по ее мнению, слово «креветка» произошло от искаженного «шеврет», «козочка», чтобы обозначить этакое прыгучее ракообразное. Вот, говорил он себе, вот как удивительно обогащают нас путешествия: кто бы мог подумать, что Франция, старшая и мудрейшая дочь Церкви, являющаяся с 1789 года совестью человечества, страна, взявшая Бастилию и породившая Шарля де Голля, пылает такой неистовой страстью к креветкам?

Флот разделился. Впереди толкались моторки — вонючие, шумные, вульгарные. Сзади легко, как ласковое прикосновение, скользил без звуков и запахов аристократический лес парусов.

Вдали, в открытом море, плыли сопровождаемые чайками горы сероватой гальки с торчащей грузовой стрелой. Каким чудом не тонут эти плавучие песочницы?

Первые лодки вышли в залив и радостно рассеялись по архипелагу. Как дети по лугу в пасхальный день.

Свернули в узкий проливчик, заросший водорослями. Потом в другой, еще уже. И оказались в своеобразном атолле — тихой зеленой заводи, окруженной песчаными отмелями. С десяток пустых лодок уже покачивалось там на солнышке как вызов опоздавшим.

Бросили якорь, спустили паруса. Наш гость отказался за нами последовать. Его элегантный наряд и правда не годился для того, чтобы бродить по пояс в воде среди водорослей и тины.

Дружески похлопав его по плечу, мы, все по очереди, с ним попрощались:

— Счастливо, Хосе Мария. Сцены, которые вы будете наблюдать, типичны для наших краев.

— Как жаль, что вы не хотите пойти с нами, ведь вы так любите местные обычаи!

— Большие отливы — это как карнавал, понимаете? Все дозволено!

— Да-да, все дозволено, — мечтательно прибавила, покраснев, урожденная Сент-Экзюпери.

Затем мы с чистой совестью покинули нашего приятеля. Древний охотничий инстинкт был не чужд и нам, цивилизованнейшим представителям человечества (переводчикам-любителям). Широко шагая, выставив сачки, словно копья, мы продвигались к

---

[1] Имеется в виду высадка союзников во Франции во время второй мировой войны.
[2] Матерь Божья (*исп.*).

нашим заветным местам, секрет которых из поколения в поколение передавался от отца к сыну.

XXXVIII

Сеньор Фернандес остался один-одинешенек за двенадцать тысяч километров от Буэнос-Айреса и трепетал, словно мальчишка, спрятавшийся в материнских юбках. Запахи отлива, телесный цвет воды и песка, округлые формы, обильная, мягкая растительность, влажная свежесть напоминали близость женщины.

Сеньор Фернандес перекрестился. Он догадывался, почему Господь допускает лишь несколько таких больших отливов в году, почему, не успеет море выставить напоказ свои соблазнительные пространства, как Он в мудрости своей приказывает воде поскорее их скрыть. Чтобы справиться с нахлынувшими чувствами, он сошел с яхты, привел «лейку» и «никоны» в боевую готовность и взобрался на высокий утес, следуя примеру столпников, убежденных, что сидение на колонне помогает одолевать чувственные соблазны.

Открывшийся пе́ред ним вид не имел ничего общего с обычным бретонским пейзажем. Скорее он напоминал Азию. Травы, водоросли и лужицы морской воды поблескивали в желтом свете, а сотни крошечных человеческих фигурок, согнувшись, обрабатывали это гигантское рисовое поле. Трогательные люди! Каждый так ревностно оберегает от других свои «охотничьи места», так гордится этим семейным секретом — и все трудятся рядышком! Француз и в толпе всегда остается одиноким всадником.

Чайки, встревоженные было вторжением увешанного странными приспособлениями бородача, быстро поняли, что он не опасен. И снова расположились вокруг. Он сидел среди них, словно в трепещущем зрительном зале перед началом спектакля.

XXXIX

Светловолосая женщина (видно, Бог пожелал, чтобы в этих краях у всех женщин и детей были светлые волосы) подходила все ближе. Она остановилась у маленькой косы, на чистом песке, волнообразно разрисованном отступающим морем. Ничто не отличало ее от других собирательниц пильчатых креветок (Palaemon serratus). Однако она вдруг отбросила сачок и, поведя плечом, освободилась от корзинки. Сняла косынку, распустила шнурки тапочек, стремительно расстегнула пуговицы старого клетчатого плаща. И осталась в огромных солдатских шортах цвета хаки и полосатом свитере — неизменной местной униформе. Так она и стояла среди сверкающей белизны, странной в этом мире оттенков и цветовых сочетаний, и пристально вглядывалась в даль. Потом закрыла глаза.

Появился мужчина, он нес приспособление для ловли крабов, что-то вроде воровской фомки — длинный, черный, загнутый особым образом на конце крючок, которым крабов выгоняют из расселины, вспугивают плавунцов и отковыривают от скалы моллюсков. В другой руке он держал грабли, словно морской садовник, чтобы выгребать из-под гальки залежи раковин, морщинистых, как кожа старого китайца.

Он шел как будто мимо. И вдруг бросился к ней. Не сняв снаряжения. Женщина взъерошила ему волосы. И они молча соскользнули на влажный песок.

Для завсегдатая ночных заведений Буэнос-Айреса зрелище самозабвенного сплетения тел было не в новинку. Его потрясло звуковое сопровождение. Обнимая друг друга, они непрерывно говорили. Громко и радостно, будто наслаждение заключалось для них не столько в ощущениях, сколько в словах: «Какое счастье, что ты хочешь меня!», «Откуда в тебе такая удивительная нежность?», «Мне столько ночей снилась твоя кожа», «Больше я уже не буду бояться», «Возьми меня с собой!»

Все признаки земной любви, которые он тщетно выслеживал с самого приезда, были налицо, они восхищали его, как пьянящая музыка, как подарок иностранному гостю от

Франции, жизнерадостной чревоугодницы и блудницы, Франции Мопассана и Рабле.

Он сменил фотоаппарат, навинтил на второй «никон» 400-миллиметровый объектив и, отвлекшись от счастливой парочки, навел его на песчано-скалистые дали. Пока неутомимая армия тружеников занималась ловлей креветок, мужчины и женщины в укромных уголках — на песке и в водорослях, на краю морских лужиц или у подножия скал — занимались любовью.

Только не думайте, что кругом творилось прелюбодеяние, что все попавшие в объектив Фернандеса нарушали супружескую верность, как те двое, которых он увидел первыми. Глядя в видоискатель, фотограф с изумлением узнавал знакомые ему пары: он прекрасно видел и слышал, как они по пути сюда переругивались в лодках со злостью и раздражением, безошибочно указывавшими на длительность и законность их отношений.

Бедные островитяне! Обреченные таиться и молчать среди скученности перенаселенных домов, они жадно наслаждались простором и свободой, стараясь не упустить ни минуты из этого часа или двух, когда отлив (коэффициент 115) оголял берег. А любители подсматривать с семафора, белевшего вдали едва различимым пятнышком, могли сколько угодно глядеть в самый мощный бинокль — пустая трата времени! Праздник любви оставался недосягаем для любопытствующих ханжей.

О, дивный человеческий праздник под насмешливый, а может быть, и завистливый крик кружащихся чаек![1]

Промокшие любовники под скалой, где сидел аргентинец, поднялись и стоя смотрели друг на друга. Наш друг закрыл глаза. У него была своя мораль: можно без зазрения совести наблюдать за всеми играми тел, но души имеют право говорить без свидетелей. Однако выдержал он недолго и вскоре разжал веки.

Женщина обхватила ладонями лицо мужчины. Оба были отчаянно серьезны.

— До будущего года, — сказала женщина.

— Береги себя, — сказал мужчина.

Они оторвались друг от друга, повернулись друг к другу спиной и, быть может, слишком решительно зашагали каждый к своей законной половине.

Тут только Фернандес заметил, что забыл от волнения нажать кнопку спускового механизма. Местные обычаи так и остались неувековеченными.

XL

На обратном пути, пока мы, перебивая друг друга, сравнивали свои еще шевелящиеся трофеи, наш гость не проронил ни слова. И ушел он молча, задумчиво. Мы улыбались ему вслед. Мы догадывались, куда он направился — на так называемый Холм Медяницы, наш лучший наблюдательный пункт. Там его ожидало хорошо нам знакомое разочарование. Воды Ла-Манша, поднявшись, скрыли все: жесты, слова и сам берег любви. Морская даль была тиха и целомудренна. Именно там, еще в детстве, мы поняли, что море — это зримый образ Времени.

XLI

Мы, естественно, рассказывали о Жиле сеньору Фернандесу, и тот всякий раз восклицал:

— Такой прелестный человек ваш друг и такой несчастный!

---

[1] Вы позволите повествователю краткую биографическую справку? Рожденный 22 марта, он, по всей вероятности, был зачат в один из таких отливов предыдущего года, то есть 18 июня (коэффициент 108). (*Прим. автора.*)

А об ионосферических подвигах аргентинца мы рассказывали Жилю.

— Человек, который берет небо в сообщники... — всякий раз бормотал в ответ переводчик, никогда не заканчивая фразу.

Однако, состязаясь в изобретении предлогов, они избегали друг друга. И до последнего дня, хотя дома их стояли почти рядом, они так и не встретились.

Может, оба бывших музыканта слишком истосковались по роялю? И боялись, как бы знакомство не разбередило в них эту тоску?

Или в эпоху Кокто что-то уж очень личное связывало их и они не хотели снова угодить в старую ловушку?

XLII

Тридцать первого августа часа в четыре утра стал хлопать шифер на крышах. Заскрипели дощатые перегородки. Под дверьми замяукал ветер. Тени деревьев ходили ходуном, корабельные фалы с сухим щелчком ударялись о мачты. Черное как уголь небо рвалось прочь и на бешеной скорости неслось к югу. Когда пришло время рассвета, день не настал. Как будто где-то наверху, на чердаке галактики, разверзся люк и на землю хлынула тьма.

Остров била килевая качка, натягивались швартовы. В такие минуты, когда рев бури был особенно грозен, ничто так не успокаивало нас, как словари, энциклопедии и накопленные нашими вечными диссертантами горы карточек и записей. Есть ли в мире что-то более основательное и надежное, чем эти тонны бумаги? Они служили нам и якорем, и балластом. Без них наш остров давным-давно пошел бы ко дну. Или его унесло бы течением бог весть куда. Под землей уже что-то трещало. Ураган пытался смести нас, вырвать из гранита, как вырывают зуб.

Я часто думаю, что Карибские острова — это обломки бретонских берегов, украденные двенадцатибалльным норд-остом и унесенные в Америку его родственниками-пассатами. Жаль, что я не принимал участия в этом путешествии.

Кюре шел вдоль бухты, наклонясь вперед, как лыжник на трамплине в миг прыжка. Обеими руками он пытался удержать на голове шапочку. Ничего не получалось: слишком сильный ветер. Он остановился, задумался: неудобный головной убор не влезал ни в один карман раздуваемой ветром сутаны. Он огляделся. Никого. Он один в разбушевавшемся мире. Тогда он нагнулся, сунул шапочку под побеги утесника, перекрестился, наскоро попросил Всевышнего охранить ее от возможных похитителей и снова пустился в путь, сражаясь с обезумевшим ветром.

Во имя чего вел он эту борьбу со стихией, когда все прочие островитяне спокойно сидели дома и проводили время, как обычно в ненастные дни: стучали по стеклу барометра, воздевали руки к небу, стонали: «Боже, когда же он перестанет падать?» — и снова принимались стучать. Быть может, он спешил соборовать умирающего, нес ему последнее утешение? Но в этом случае даже при такой ужасной погоде с ним был бы служка. Достопочтенный кюре продвигался вперед метр за метром. Рядом бронзово-зеленое море вновь объявило извечную войну граниту. Оно шло на приступ и осыпало отважного клирика брызгами.

Оставались всего сутки до крайнего срока — рокового первого сентября. Надо было торопиться. Ни один переводчик-любитель в ту ночь не ложился спать. Мы чуть ли не ежечасно переговаривались по телефону, советовались, подбадривали друг друга. После короткой передышки у барометра я вернулся к рабочему столу. К полудню нужно было отдать последнюю страницу, ту, где подводится итог всей книге: «Последняя часть истории Вана содержит откровенный и красочный рассказ о пронесенной им через всю жизнь любви к Аде».

Жиль будет читать, зачеркивать, править, поглаживая левой рукой шерстяную ша-

почку; она так плотно облегала голову, что издали наш друг казался обладателем уникальной лысины цвета морской волны.

Среди рева и грохота бури нелегко было внимать безмятежному, чистому журчанию Набокова: «Решетчатая галерея, расписные потолки; красивая игрушка, утонувшая в незабудках на берегу ручейка...» Дверь гудела как барабан, досадуя, что никто не обращает внимания на ее мучения. Охваченный жалостью, я подошел погладить ее доски, потрепать за ручку.

— Вы к тому же еще и глухой! — На пороге стоял кюре без шапочки. Он переминался с ноги на ногу и трясся, будто ему приспичило по неотложной нужде.

Я пригласил его войти. Ветер смел со стола мои жалкие черновики и гонял их по полу. Не реагируя на мое приглашение, кюре указал на небо:

— Надеюсь, теперь вы поняли?

Палец его был устремлен вверх, к бешено несущимся черным тучам.

Ирландия в очередной раз любезно послала нам жестокий циклон. Ничего нового. Что тут понимать?

— Вам известно, что произошло, когда Библию перевели на греческий?

Я сознался в своем невежестве.

— В тот день мир на трое суток погрузился во тьму. Я не всегда согласен с евреями, но тут они точны: на трое суток. С такими вещами не шутят. Господь наказал строителей Вавилонской башни. Острова — штука хрупкая. Остров теряет остов. Я вас предупредил.

И он ушел не простившись, продолжая бормотать угрозы: «Неразумные, остров теряет остов», а ветер подхватывал: «Остров... остов...».

Склоненный силуэт прыгуна с трамплина скоро скрылся в папоротниках.

Кюре продолжал свою миссию, обходя паству с последним предупреждением.

XLIII

Первого сентября переводчики-добровольцы с семьями собрались на террасе сестер Лордеро. Уже были свалены в кучу сумки, чемоданы, детские коляски, разноцветные велосипеды, летние трофеи (камни для пресс-папье, выброшенные морем обломки погибших кораблей, бусы из костей каракатицы, огромное гнездо — наверняка альбатроса...), фирменные блюда островной кухни, без которых совсем уж невмоготу возвращаться в Париж (нога барашка, выкормленного на приморских лугах, хлеб из девяти злаков, миски с рисовым пудингом), отводки герани, кошмарные статуэтки и кубки — завоеванные в нелегкой борьбе призы регаты, бутылки с морской водой против зимнего гайморита и т.д. и т.п.). И как обычно, отцы семейств мрачно ходили вокруг неуклонно растущей горы: «И вы думаете, я позволю запихать все это в МОЮ машину?»

Тем временем маленькая Вероника в отчаянии бегала по саду, шарила под гортензиями, рыскала под бересклетом и фуксиями: «Гонтран! Гонтран, ты где?» Вышеозначенный Гонтран был серым кроликом, доставшимся ей на благотворительной ярмарке Пятнадцатого августа, и сейчас — очень своевременно — пропавшим.

А сверху, из чердачного окошка под самой крышей, над священной для каждого островитянина безумной церемонией сборов, некий офтальмологический феномен по имени Патрик — девять лет, сто двадцать процентов зрения в правом глазу и сто тридцать в левом, если только не наоборот, — всматривался в горизонт.

Буря усиливалась. Ветер терзал море, тряс, взбалтывал, срывал гребни волн. А оно отыгрывалось на пришвартованных лодках. Сломанным мачтам уже потеряли счет. Какую-то яхту с оборванной якорной цепью относило на скалы Бек-Сансона. Владелец гнался за ней на плоскодонке, отчаянно выгребая против волн и призывая ее вернуться. Только чайкам не было дела до этой битвы. Они парили над водой, презрительно глядя вниз, как

швейцарские наблюдатели взиравшие с высоты своих аэропланов на движение крохотных армий под Верденом. К полудню показался катер.

— Вот он, вот он! — заорал феномен. — Это «Синица».

— Господи, наконец-то!

— Что за манера — всегда приходить на пристань за два часа!

— Ты тоже хорош... Прилив не ждет!

Это был ежегодный повод для ожесточавшейся с каждой минутой перепалки между мужьями и женами, но причина, конечно, таилась глубже: женщины нервничали, боялись что-то забыть, мужчинам было заранее дурно при мысли о том, сколько придется тащить. Вечная война оседлых и кочевых племен.

— Ну, ну, дети, полно, полно, — повторяли с вымученными улыбками всеобщие бабушки Маргарита и Колетта, воздевая руки к небесам в страхе, что вот-вот, прямо у них на глазах, разобьются многолетние браки и насмешливый ветер подхватит и унесет их обломки.

Еще до того, как пришвартоваться, катер дал гудок: поторапливайтесь, неразумные дачники, и молитесь Богу!

Прижавшись друг к другу — три десятка желтых плащей разных размеров, — мы выжидали момент, чтобы броситься на пирс. Дети вместе с родителями считали валы. Предание гласит, что самый страшный — седьмой. Предания не лгут. Только мы испуганно произнесли цифру шесть, как серо-зеленая водяная гора обрушилась на «Синицу». Кто-то крикнул: «Пора!», и, не обращая внимания на волны, все наше канареечное войско, задыхаясь, с младенцами на руках, с пакетами и сумками, пустилось бегом по длинной гранитной ленте.

— Быстрей! — кричали бабушки с мыса. — Быстрей, а то накроет!

Моряки втащили нас на борт как раз вовремя: новый огромный вал обрушился на катер.

И тут на вершине холма мы увидели Жиля: он ехал на велосипеде как ни в чем не бывало, будто не было ни бури, ни отходящего катера, ни бледных от качки детей: «Мамочка, долго еще нас будет так подбрасывать?», ни издателя, уже сто лет ждущего на другом берегу, ни рассерженного капитана, уже скомандовавшего отдать швартовы.

К велосипеду была прицеплена коляска, битком набитая кошками: они непременно должны были присутствовать при триумфе хозяина. По торжественному случаю Жиль облачился в белый тиковый пиджак, тот самый, в котором играл Куперена для Кокто. Брюки, видимо, пропали: то ли затерялись в странствиях, то ли истлели, не выдержав превратностей жизни. Вместо них на Жиле топорщились видавшие виды вельветовые штаны.

С медлительностью столь же восхитительной, сколь несносной (катер содрогался, шпангоуты угрожающе трещали, капитан цедил сквозь зубы: «Сумасшедший, совсем рехнулся!» — и глаза его горели жаждой смертоубийства), Жиль развязал тесемки, которыми французская Ада (заточенная в серую папку) была прикреплена к багажнику.

И взошел на пирс.

Сопровождаемый свитой чаек, белый тиковый пиджак неторопливо приближался. Жиль шествовал уверенно и горделиво, как воин на параде. И море застыло, потрясенное его величавой походкой. К тому же у моря свои правила: оно без зазрения совести куражится над уродливыми плащами — униформой рядовых жертв ненастья, но разве можно так обращаться с тонким, изысканным тиком?

Жиль был уже близко. Уже видно было, как рыжие кожаные туфли лавируют среди луж. И тут море опомнилось: нельзя безнаказанно дразнить его так долго! Оно трижды вздыбилось и накрыло наглеца с головой. Последняя волна чуть не оказалась роковой. Жиля уже сносило в пучину, но он чудом удержался на самом краю, поправил галстук и подошел к катеру под аплодисменты.

Подняв на вытянутых руках толстую серую папку, которую всеми силами старался уберечь от воды во время морской атаки, он искал, кому бы вручить свой шедевр. Наконец, моргая и криво усмехаясь, подошел к сеньору Фернандесу и протянул ему свое детище через качающийся борт.

— Вручаю это вам. Как бывшему пианисту...

Потом наскоро распрощался: «Спасибо! До будущего лета!». Катер отделился от пирса, проехавшись килем по дну и взбаламутив песок. Жиль вернулся к кошкам, сел на велосипед, и все вместе они поехали вверх по крутой тропе, утыканной табличками: «Частная собственность. Вход воспрещен. Проход через пляж». Вскоре белый тик, вельвет и пушистый мех кошек скрылись из виду.

XLIV

Бедная Ада, в какую авантюру мы ее втравили! Ее качало, окатывало брызгами, может быть, даже мутило. Как же, наверно, тосковала она сейчас по твердой земле своего детства, по парку в Ардисе и шаттэльским яблоням, на прохладные сучья которых она так любила усаживаться верхом, крепко стискивая их коленками!

Бедная французская Ада! Мы вложили в нее всю нашу любовь, всю нашу преступную страсть к метафорам, и вот она на наших глазах таяла, стекая капля за каплей с мокрых страниц на пол общей каюты, куда мы ее перенесли.

Урожденная Сент-Экзюпери раскрыла серую папку. Мы обступили ее, встав на цыпочки и вытянув шеи, как зеваки, глазеющие на жертву дорожной катастрофы.

Несчастная Ада, ее юность и зрелость погибли, страницы склеились, строчки расплылись, сделанные чернилами поправки потекли и размыли целые страницы. Например, эпизод, когда Ван запирается в ванной, чтобы преодолеть влечение к своей сестре Люсетте и там «решительно избавляется от блудливого бремени», приобрел голубоватый оттенок, подходящий скорее для Маленького Принца, чем для мужественной борьбы с инцестом.

Наша Ада, изящно раскланиваясь, уходила от нас в белизну страниц, откуда Владимир, охотник за бабочками, посвистывая, извлекал ее строка за строкой.

— Боже, Боже, — повторяла урожденная Сент-Экзюпери, — она тает, смотрите, о Господи, она тает... о!..

Вечный диссертант взял на себя руководство спасательными операциями. Несмотря на качку, мокрые страницы разложили на сиденьях. Кто пожертвовал платком, кто — косынкой, а кто и рубашкой. С заботливостью медсестер мы осушали одну за другой наиболее пострадавшие части любимой Ады: отрывок, где Ван дерется на дуэли со своим соперником Перси, и тот, где чересчур услужливая Кордула задирает в обшарпанной гостинице багряную юбку и дважды осчастливливает того, кто там оказался...

Забившись в дальний угол, где были свалены заплесневелые спасательные круги, дети наблюдали за нашими действиями с таким увлечением, что забыли о подступавшей рвоте.

— Та дама, на листках, еще к нам вернется?

— Да, дорогой. Я думаю, мы подоспели вовремя.

Решив, что спасение ведется как надо, я поднялся на палубу. «Синица» вышла из бухты. Всё, что мы претерпели до сих пор, было только началом. Теперь море не на шутку за нас взялось, ведь мы были так перед ним виноваты. Мы два лета подряд пренебрегали им. Можно было не сомневаться: чтобы нас наказать, оно пустит в ход весь свой талант, злобу и хитрость.

Вдали, на террасе под гигантским лавром, изогнутым как олива, сновали две темные фигурки, держа концы огромного белого полотна. Таков был обычай: Маргарита с Колеттой, уплывая в зиму, всегда поднимали парус.

ЭПИЛОГ

Господин Генеральный Директор!

Исполняя высокую миссию, которую Вы соблаговолили на меня возложить, 10 и 11 августа сего года я побывал в местах, справедливо привлекших Ваше внимание.

Хотя эстетические впечатления и не должны влиять на отчет чиновника, не могу не довести до Вашего сведения следующий факт: от вида, открывающегося с прибрежного серпантина, захватывает дух. Представьте себе необъятный морской простор и на горизонте сотни розовых скал, между которыми скользят бесчисленные парусники. А главный остров из своего зеленого далека наблюдает за этим огромным каменным семейством, выступающим над водой...

Вот так, даю руку на отсечение, начнется следующий и, вероятно, последний этап в истории нашего архипелага — с официального доклада генеральному директору ЮНЕСКО и рекомендации сделать наш маленький рай достоянием всего человечества по категории «лингвистический заповедник». Надо только подождать пару столетий. А то и меньше.

На наш остров станут приезжать ради совершенно особого отдыха. Чтобы, окунувшись в древний, полузабытый язык, каковым вскоре станет французский, пережить (по выбору) некоторые волнующие моменты человеческого существования: «Новое открытие ревности» (14 дней), «Радости грусти» (1 неделя), а для тех, кто предпочитает держаться подальше от сферы чувств, — «Глоссарий моря» (трехмесячный курс), «Сад и его словарь» (два месяца)...

Обогатившись свежими лингвистическими впечатлениями, восхищенные гости впредь смогут без содрогания сносить безликую серость Всемирного языка.

Эта эпоха пока еще не настала, хотя растянувшаяся на два лета история, которую я вам поведал, произошла очень давно.

Внешне ничего не изменилось. Чайки насмешничают, гортензии цветут, прилив и отлив сменяют друг друга. Весной повсюду разгуливают ежи. Пытаясь вернуть нас на путь истинный, кюре в приходской газетке публикует поучительные рассказы об отшельниках. Как и его предшественники. В баре «Перекати-поле» по-прежнему полно народу. Там всласть ругают Париж. Вспоминают легендарные места, куда больше никто не плавает: Тонкинский залив, мыс Горн.

Вот вдали на дороге появляются два моих закадычных друга, которые помнят счастливое время, когда мы вместе переводили «Аду». Я знаю, что их сюда привело.

— Пошли?

Иногда вечерами на острове нечем дышать. Тогда надо все бросить и выйти в море. Все чаще и чаще мы проводим ночь на якоре, где-нибудь посреди архипелага. Дальние путешествия нам уже не по возрасту, но катящиеся волны создают иллюзию плавания.

Меркнет свет, и ветер тоже стихает. Значит, пора прислушаться.

Что за странные слова примешиваются к плеску воды, шороху водорослей, шелесту крыл?

Luulevaisuus, zakochany, servero africka klobasa, gyönör, statornicie, mortväcki ples... Я все записал в блокнот. В Институте восточных языков проверил по словарям. После перевода легче не стало: ревность, влюбленный, копченая колбаса, сладострастие, верность, пляска смерти... Какой диковинный роман способен объединить эти разрозненные слова?

А может быть, — и меня бы это нисколько не удивило, — на наших островах, через столько веков после монахов, нашли приют носители «малых языков»? Албанцы — на Лавреке, чехи — слева по борту на Бениге. Южнее, на Рагенезе, — финны, а баски — на Модезе, в открытом море. Чтобы получше расслышать, нужно подплыть ближе. Но они, конечно, попрячутся. Они знают, что их наречия смертны.

Почему же в ночи эта сарабанда слогов так напоминает о свадьбах? О буйных свадьбах. Перепутались семьи. Непонятно, кто тут брачующиеся. И вместе с людьми пляшут слова. И тоже как умеют дарят друг другу счастье.

Плечом к плечу спят мои товарищи. Как знакома мне детская улыбка, то и дело проступающая у них на губах! Наверное, их снова пленяет двенадцатилетняя русская гитаночка, и ее голые ноги пахнут сосновой смолой.

А меня уносит один и тот же сон, я вижу его вот уже сорок лет: мне снится регата словарей. Они плывут по воде, распахнутые посередине, медленно огибают остров. Ветер листает страницы, которые, поднявшись, вдруг застывают. И делаются похожи на квадратные паруса легендарного плота Кон-Тики, который пересек половину Тихого океана через год после моего рождения.

От редакции

«Все персонажи этой книги вымышленные, и любое сходство с реальными людьми — случайное совпадение» — такими словами часто предваряют свое повествование романисты, даже — и в особенности — если прототипы их героев, как и описанные события, легко узнаваемы, по крайней мере для современников.

Эрик Орсенна, напротив, настаивает на подлинности рассказанной им истории и называет настоящие имена ее участников, в числе которых был и он сам.

Герой повести Жиль Ш. (названный в посвящении полностью — Жиль Шаин) действительно является автором французского перевода «Ады», законченного им в соавторстве с Жаном Бернаром Бланденье, также упомянутым в посвящении. Широко цитируемые в тексте письма Набокова — подлинные. Упомянутый в главе XXXIV портрет Борхеса (фото Пепе Фернандеса, еще одного реального персонажа повести) широко известен и опубликован во многих печатных изданиях, в том числе и в журнале «Иностранная литература» (см. Литературный гид, посвященный Хорхе Луису Борхесу: «ИЛ», 1999, № 9, с. 201).

■

АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ

Перехитрить Набокова

О Набокове хочется писать так, как если бы до этого о нем никто не писал. Понятно, что это практически невозможно. Не говоря уже о тысячах статей и книг о нем, его произведения сами по себе представляют развернутый комментарий к «жизни и творчеству». Человек, начавший сочинять свою эталонную биографию, не дожив и до сорока лет, изо всех сил постарался если не лишить читателей и почитателей права на новые интерпретации, то, по крайней мере, предопределить направления их поисков и ассоциаций. И все же в каждом набокофиле живет мечта стать святее Папы римского: то солидный ученый вставит в статью ссылку на выдуманного авторитета (подобно тому как сам Набоков выдумал биографа Чернышевского — Страннолюбского — или Джона Рэя, «автора» предисловия к «Лолите»), то научная монография прерывается лирическим отступлением, вычурной метафорой, каламбуром, загадкой или неожиданно обретает закольцованную композицию, столь любимую объектом исследования.

Людям, живущим в тени Набокова, сухое научное описание кажется по определению недостаточным. Набоков оказался едва ли не последним писателем нашего столетия, сумевшим с помощью виртуозной словесной эквилибристики сохранить непрозрачность текста, ощущение зашифрованной и глубоко запрятанной тайны. Стремление приблизиться к этой тайне — именно оно движет филологами, культурологами и просто взыскательными читателями. Кажется, что один из двойников, прячущихся в сложной системе зеркал набоковской прозы, должен обладать плотью и кровью, отбрасывать тень. В конце концов, Набоков сам говорил в интервью Альфреду Аппелю, что в его прозе «настоящих» двойников нет. Значит, должен существовать по крайней мере один настоящий оригинал — пусть и его неминуемо придется поставить в кавычки.

Тень Набокова. Иногда она вырастает до исполинских размеров — как в старом экспрессионистском фильме (ночь, мерцающий свет факелов, мощеная средневековая улочка, закопченные стены домов, крадущийся герой). Иногда в ровном, сером свете наступающего утра кажется, что тень эта — лишь порождение прихотливого воображения и ничего не было, оптический обман.

Набоков словно навязывает выбор между двумя банальностями: миф о собственной независимости, оригинальности, уникальности (в предисловии к английскому изданию «Приглашения на казнь» он скажет, что единственный писатель, оказавший на него влияние, — это Пьер Делаланд, которого сам же он и выдумал) и — представление о нем как о знатоке мировой культуры, каждая строка которого отзывается обратным эхом писателей, поэтов и философов прошлого. Первый тезис Набоков упорно защищает в различных автокомменатриях — статьях, предисловиях, интервью. Второй — заявлен в его прозе, полной открытых отсылок к чужому культурному опыту. Отслеживая эти отсылки, легко впасть в распространенную среди набоковедов (и не только) ошибку. В конце концов, любой мотив можно проследить хоть до античной литературы. Но нельзя забывать о том, что писатель, невольно или сознательно цитируя тот или иной фрагмент другого писателя, поступает так только потому, что эта конкретная цитата наполнена для него специфическим личным смыслом, а не потому, что он хочет помочь заработать на хлеб будущим критикам и интерпретаторам. Только обнаружив внутренние психологические причины цитирования, можно приблизиться к пониманию того, насколько существенна наметившаяся параллель.

Все началось с одной цитаты:

> Сейчас я могу признаться, что и в ту ночь, и в последующую, да и раньше меня донимало призрачное ощущение того, что моя жизнь — это не вполне идентичный близнец, пародия, неудачная версия жизни другого человека, проживающего где-то на этой

© А. Медведев, 1999

ли, на иной ли земле. Я чувствовал, как демон заставляет меня вживаться в этого человека, этого писателя, который был и всегда останется несравненно более великим, здоровым и жестоким, чем ваш покорный слуга. *(«Взгляни на арлекинов!»)*[1]

Очевидно, что слова Вадима Вадимовича, повествователя последнего законченного романа Набокова, в первую очередь относятся к отношениям «герой — автор». Подобно Цинциннату («Приглашение на казнь»), Кругу («Под знаком незаконнорожденных») и многим другим героям Набокова, писатель Вадим Вадимович в критические моменты начинает подозревать мир в сделанности, вымышленности. Стоит достаточно быстро оглянуться — и застигнутые врасплох предметы не успеют занять свои привычные, отведенные им автором-демиургом места, а за лицевой стороной реальности обнаружится сверкающая подкладка. Но сколь же велик соблазн применить эту цитату к самому Набокову. Логично предположить, что писатель, все произведения которого строятся вокруг темы зеркал, двойников, близнецов, так или иначе пробовал спроецировать эту тему на свою жизнь и на тех людей, которые окружали его в реальном мире. И пусть Набоков, рассуждая о Гоголе, безапелляционно заявлял, что нос из одноименной повести — прежде всего литературный прием, а не факт биографии, биографическая проекция неизбежна, если задаться вопросом, почему повесть называется все-таки «Нос», а не «Ухо» или «Язык».

Писателей, радикально повлиявших на Набокова, не так уж и много — Пушкин, Шекспир, Достоевский (с необъяснимым легковерием слависты цитируют презрительные набоковские отзывы о нем, не думая, что это всего лишь способ «замести следы»), может быть, Белый... Увлекаясь анализом конкретных параллелей и скрытых и открытых цитат, легко забыть, что ни один из номеров этого списка не интересовал Набокова сам по себе — просто потому, что ему «понравилось их творчество». Набоков действительно независим и уникален в одном отношении: он выбирал тех, кто окажет на него влияние. Иными словами, повлиять на него могли те и только те, кто так или иначе совпадал со структурой его главной темы, его raison d'être[2], его исходным креативным импульсом, который дал о себе знать задолго до того, как он взялся за перо.

Имя очередного кандидата на роль «тени» Набокова, которое пришло время добавить к «списку влияний», может показаться таким незначительным и маргинальным, что вся статья принимает сходство с розыгрышем. И тем не менее: Николай Николаевич Евреинов (1879—1953) — драматург, постановщик, философ, режиссер театра «Кривое зеркало», автор пьесы «Самое главное», высоко оцененной Луиджи Пиранделло, и трактатов «Театр как таковой» и «Театр для себя» — об извечном театральном инстинкте преображения, который проявляется не только в творчестве, но и в каждом мгновении повседневной человеческой жизни. Чтобы частично избавиться от впечатления мистификации, сразу же приведу единственное абсолютно достоверное доказательство связи между Набоковым и Евреиновым, уже знакомое внимательным читателям набоковедческой литературы. 29 декабря 1977 года в парижской газете «Русская мысль» была опубликована заметка «Владимир Набоков (Сирин) играет Евреинова» (подпись — инициалы А. А. — по-видимому, принадлежит вдове Евреинова, Анне Александровне Кашиной-Евреиновой). В ней рассказывалось о литературном суде, устроенном 27 мая 1927 года в Берлине над автором «Самого главного» и основной идеей его пьесы — о том, что, «раз мы не в силах дать счастье обездоленным, мы должны дать хотя бы его иллюзию. Это — самое главное» (*Николай Евреинов*. Самое главное. Ревель, 1921). Роль ответчика на шуточном процессе, как уже понятно из заголовка заметки, исполнил Набоков, который «вызвался сыграть самого Евреинова, чтобы защитить идею пьесы» («Русская мысль»).

Своеобразие сюжета «Самого главного» (новоявленный апостол театральности нанимает труппу актеров, подселяет их под видом обычных людей к неприкаянным жильцам меблированных комнат и заставляет разыгрывать театр в жизни, чтобы скрасить несчастным их невеселые дни) было не единственной причиной инте-

---

[1] Здесь и далее, за исключением оговоренного случая, — перевод автора статьи.
[2] Разумное основание, смысл *(франц.)*.

реса к Евреинову, возникшего в кругах русской эмиграции. После отъезда из Советской России в 1925 году Евреинов оказался едва ли не единственным из эмигрантских авторов, обладающим громкой европейской славой и материальным благополучием. В 1922 году его арлекинаду «Веселая смерть» поставил в театре «Старая голубятня» знаменитый французский режиссер Жак Копо. В мае 1925 года «Веселая смерть» и «Самое главное» появились в репертуаре театра Луиджи Пиранделло в Риме. В ноябре 1926 года в Париже состоялась премьера «Самого главного» (переименованного в «Комедию счастья») в постановке Шарля Дюллена (пьесу ему рекомендовал все тот же Пиранделло). Вместо запланированных 30 представлений, в первый же сезон пьесу сыграли 250 раз, а авторские отчисления за первые полгода выросли с обещанных пяти до ста тысяч франков. Еще за год до этого «Самое главное» перебралось за океан — пьесу поставили в нью-йоркском театре «Guild» в декорациях Сергея Судейкина (в главной роли — Эдвард Джи Робинсон, будущая звезда фильмов Билли Уайльдера и Орсона Уэллса).

Это затянувшееся представление нужно не для того, чтобы реабилитировать в глазах современного читателя полузабытого драматурга (со сверхъестественной проницательностью Евреинов даже в лучшие годы предвидел это медленное и, в сущности, труднообъяснимое сползание в безвестность; отчаянно цеплялся за славу, раздавая себе преувеличенные похвалы в статьях и трактатах; даже собственную историю русского театра написал, чтобы закрепить свое место в ней, — все впустую). Но важно понять, что значила подобная слава для полунищих писателей и поэтов, потерявших в эмиграции всякий рынок сбыта, кроме узкого кружка себе же подобных.

Итак, одно вещественное доказательство представлено: по крайней мере, один раз в жизни Набоков ощущал себя тенью другого писателя, перевоплотился в него, стал его сценическим двойником. Что еще? В 1932 году, во время своего первого путешествия в Париж, Набоков обедал у Евреинова и в письме жене от 14 ноября написал: «Евреинов — из тех людей, которые мне совершенно чужды, но он чрезвычайно забавен, гостеприимен и пылок. Имитируя кого-нибудь, он демонстрирует восхитительный талант, но что за ужасающая вульгарность в его философствованиях! Например, он утверждает, что весь мир делится на «типы»... и Достоевский — величайший в мире писатель» (цитирую по биографии Набокова; ее автор Брайан Бойд приводит также слова Набокова о «мистико-фрейдистской» атмосфере в квартире хозяина, любопытно, что в пустяковом с виду фрагменте упоминаются сразу два вечных антагониста Набокова — Достоевский и Фрейд). С марта 1939-го по май 1940 года Набоков с семьей жил в Париже по адресу рю Буало, 59, в трех минутах ходьбы от дома Евреинова (№ 7 по той же улице). Вот, пожалуй, и все свидетельства прямого контакта.

И все же Евреинов в определенном смысле — двойник, тень, «не вполне идентичный близнец» Набокова, а точнее — Набоков в определенные периоды мог ощущать себя двойником Евреинова, а порой и его «неудачной версией». Абсурдно было бы утверждать, что без Евреинова не было бы Набокова. В конце концов, при всей оригинальности первого, в «эстетическом» смысле эти величины несопоставимы. Пьесы Евреинова остроумны, но совершенно «нелитературны» — он не обладал никакой властью над словом, да, впрочем, и не стремился к ней, утверждая внеэстетическую природу театральности: «И какое мне (черт возьми!) дело до всех эстетик в мире, когда для меня сейчас самое важное стать *другим* и сделать *другое*, а потом уже хороший вкус...» («Театр как таковой», 1913). Так что цель этой статьи — отнюдь не в том, чтобы «разоблачить» Набокова, предъявив скрытый источник его вдохновения, а в том, чтобы показать, как он, обращаясь к тому или иному автору, «берет свое». Как он заимствует те и только те элементы чужой творческой вселенной, которые вписываются в его личный узор. Моя тема — не Набоков и Евреинов, а то чудо алхимического превращения, тот резонанс, который происходит при соприкосновении Набокова с культурной традицией.

О сходстве Набокова и Евреинова с разной степенью настойчивости и подробности писали слависты Владимир Александров, Рене Герра, исследователь творчества Евреинова Спенсер Голуб, первый биограф Набокова Эндрю Филд. Предположение Филда о серьезном влиянии, которое Евреинов оказал на Набокова, было

названо «абсурдным» вторым набоковским биографом — новозеландцем Брайаном Бойдом. Даже наиболее обстоятельно подошедший к этой теме Александров написал, что «ни в художественных произведениях Набокова, ни в его критических дискурсах экзистенциальный акт театрализации жизни, по Евреинову, никакого отклика не нашел» («Набоков и потусторонность»). Возразим тремя цитатами:

> Весь театр — это обман, сплошной обман, сознательный, нарочный, но очаровательный настолько, что ради него только и стоит жить на свете! *(«Театр как таковой»)*

> Единственное, быть может, подлинное в нем была бессознательная вера в то, что все созданное людьми в области искусства и науки только более или менее остроумный фокус, очаровательное шарлатанство. *(«Камера обскура»)*

> Все самое очаровательное в природе и искусстве основано на обмане. *(«Дар»)*

Две набоковские цитаты (обратите внимание, насколько слова Годунова-Чердынцева, протагониста «Дара», подходят Горну, антигерою «Камеры обскура») почти дословно продолжают евреиновскую идею театра как «очаровательного обмана». Именно на этой идее Евреинов строил свой главный аргумент против «натурализма» театра Станиславского. Ведь если в основе театра лежит сознательный и неустранимый обман, то любая попытка скрыть этот обман, показать на сцене «настоящую», «реальную» жизнь, выдать условное театральное зрелище за безусловную действительность оказывается недобросовестным подлогом, разрушающим театральную иллюзию. Аргумент против «ненужной жизненной повторности» реализма («Театр как таковой») мог оказаться особенно близок Набокову; равно как и его обратная сторона — утверждение творческой воли к преображению действительности. В биографии Бойда есть упоминание о том, как Набоков еще в дореволюционном Петербурге видел пародийную постановку «Ревизора» на сцене театра комических миниатюр «Кривое зеркало», главным режиссером которого в то время был Евреинов (всего в 1910-е годы он поставил в «Кривом зеркале» около 100 пьес, 14 из них — собственного сочинения). «Ревизор» Евреинова представлял собой «режиссерскую буффонаду в пяти построениях одного отрывка». Это была пестрая последовательность различных версий постановки гоголевской пьесы: сначала — добротная «классическая постановка»; потом — в духе Станиславского (как пояснял в пьесе ведущий, «высокохудожественные постановки Московского художественного театра отличаются, во-первых, тем, что все происходит, как в жизни, а во-вторых — тем, что все происходит не как в жизни, а в «настроении»; «режиссер съездил в Миргород, установил местоположение дома городничего, изучил местный говор...»); в духе Макса Рейнгардта (пляски аллегорических персонажей и цирковые трюки); «мистериальная постановка» в манере Гордона Крэга («сцена представляет собой беспредельное пространство, окруженное сукнами», а хрестоматийная фраза о скором прибытии ревизора сопровождается похоронным ударом колокола) и, наконец, «кинематографическая» версия — с непременными погонями и летящими в лицо тортами. Бойд приводит цитату из дневника Набокова, из которой ясно, что больше всего его позабавила пародия на натурализм Художественного театра.

Но, пожалуй, самым остроумным произведением Евреинова, направленным против буквально понятого реализма в театре, стала пьеса «Четвертая стена» (премьера состоялась в «Кривом зеркале» 22 декабря 1915 года в декорациях Юрия Анненкова — того самого, который почти четверть века спустя поставит в парижском «Русском театре» набоковские пьесы «Событие» и «Изобретение Вальса»). В ней он виртуозно демонстрирует, как неумолимая логика театра выворачивает наизнанку утопию натурализма, как попытка имитировать жизнь приводит к неуклюжей пародии на реальность. По сюжету амбициозный режиссер ультрареалистического направления ставит «Фауста». Для наибольшего правдоподобия он требует от актера изъясняться «на древнегерманском наречии», мечтает «напульверизовать зрительный зал каким-нибудь составом, передающим запах ветхости», а бутафору приказывает налить в чашу настоящий яд. Правда, возникает непредвиденная трудность: как известно, по ходу действия Мефистофель превращает яд в волшебный напи-

ток, после чего Фауст осушает чашу до дна. Тогда режиссер, ничуть не смущаясь, просит актера «имитировать» процесс питья. Но на этом оргия реализма не заканчивается. Доводя до абсурда идеи Станиславского о «четвертой стене», которая должна отделять актера от зрителей, помощник режиссера предлагает соорудить на авансцене настоящую стену. Предложение с восторгом принимается: «Четвертая стена!.. Вот она, заря нового театра! — театра, свободного от лжи, комедиантства, от недостойных чистого искусства компромиссов!» Во втором акте стена уже на сцене. В окне появляется измученный актер:

> Фауст (*обращаясь к публике*). Не могу больше!.. Господа, вы свидетели!.. (*Осушает чашу яда и, шатаясь, скрывается...*)

К счастью, выясняется, что осторожный бутафор вместо «стрихнина пополам с синильной кислотой» налил в чашу безобидных желудочных капель. Обратим внимание, что остроумная логика Евреинова, использованная в «Четвертой стене», идеально соответствует «гегелевскому силлогизму юмора», который Набоков вывел в английской версии «Камеры обскура» — романе «Laughter in the Dark»:

> Дядя остался дома с детьми и сказал, что устроит им на потеху маскарад. После долгого ожидания он так и не появился; дети спустились вниз и увидели человека в маске, набивающего мешок столовым серебром. «Ой, дядя!» — закричали они в восторге. «Ну, правда хороший костюм?» — отозвался дядя, снимая маску. Так строится гегелевский силлогизм юмора. Тезис: дядя переоделся во взломщика (на потеху детям); антитезис: это действительно был взломщик (на потеху читателю); синтез: это все-таки был дядя (читатель одурачен). (*«Смех во тьме»*) [3].

Применим силлогизм к шутке с ядом. Тезис: безвредный напиток вместо яда; антитезис: это действительно яд; синтез: все-таки это не яд, а желудочные капли. Отличительные черты юмора Евреинова и Набокова — выворачивание наизнанку понятий и ситуаций, провокационная игра с читателем и зрителем, который лишь задним числом понимает смысл шутки, и, наконец, обыгрывание условной природы искусства и насмешка над теми, кто принимает иллюзию за реальность.

Но не только презрение к безвдохновенному реализму и специфическое чувство юмора связывают Евреинова и Набокова. Скучной имитации жизни Евреинов противопоставил образ Арлекина, преображающего и театр, и саму действительность. В своих трактатах он не только отождествлял себя с этим героем комедии дель арте, но и видел в себе провозвестника религии нового, «чудесного века маски, позы и фразы»: «Я Арлекин и умру Арлекином!» («Театр как таковой»). А на обложке «Самого главного» — работы Юрия Анненкова — Евреинов был изображен в виде арлекина, распятого на кресте.

Именно здесь, в этой точке, и произошло короткое замыкание; возникает скрытая, но прочная связь между Евреиновым и Набоковым, все творчество которого прошито и структурировано арлекинскими мотивами. Но прежде чем привести доказательства, вспомним, что представляла собой художественная вселенная Набокова в середине 20-х годов — незадолго до того, как Набоков полчаса побыл Евреиновым на эстраде второразрядного берлинского кафе.

В том фрагменте из «Взгляни на арлекинов!», где герой говорит о себе как о неудачной версии куда более великого писателя, интересна не только тема двойничества, но и тема творческой несостоятельности. Эта тема имеет непосредственное отношение к началу писательской карьеры Набокова: его стихотворения и рассказы, написанные до 1924 года, поражают своей беспомощностью и какой-то беспросветной банальностью:

> Твой будет взлет неизъяснимо ярок, / а наша встреча — творчески тиха... (*«Родине», 1923*)

> ...я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых звезд. (*Рассказ «Слово», опубликован в берлинской газете «Руль» 7 января 1923 года*).

Пишет все это не испуганный гимназист, в первый раз принесший тетрадку

---

[3] Этот фрагмент описывает характер юмора, свойственный карикатуристу Акселю Рексу (английская версия Горна) — одному из долгой череды набоковских антигероев.

собственных сочинений в редакцию иллюстрированного журнала для юношества, а вполне уверенный в себе 24-летний литератор, успевший получить кембриджский диплом филолога и опубликовать не одну книжку. Со дня разлуки с Россией, якобы разбудившей сонный дар Сирина, прошло уже несколько лет, а его стихи и проза, бессодержательные и вяловато-торжественные, так и не сдвинулись с мертвой точки, поставленной в конце его первого поэтического сборника, вышедшего в Петрограде в 1916 году. Дежурная фраза в духе «лучшие его строки были продиктованы любовью к России» не имеет к раннему Набокову никакого отношения. По странной иронии именно стихам, обращенным к родине, свойственна наиболее сокрушительная бездарность *(Кость в груди нащупываю я: / родина, вот это кость — твоя. «К родине»*, 1924*)*.

Перемену, произошедшую с Набоковым около 1924 года, иначе как чудом не назовешь. В рассказах «Картофельный эльф», «Бахман», «Возвращение Чорба» он с такой головокружительной легкостью достигает безукоризненной верности тона, что остается предположить, что до этого момента его замещал какой-то мелкий, неудачливый двойник, немедленно прогнанный при появлении настоящего хозяина. Если в 1925 году этот двойник еще пытается вернуть утраченные позиции, то с 26 года он окончательно изгоняется со страниц прозы и лишь изредка проявляет себя в некоторых не слишком удачных стихах. Появляется новый писатель, ослепительный дар которого возник словно из ничего, по мановению волшебной палочки невидимого фокусника.

Присмотримся повнимательнее к упомянутым трем рассказам, позднее вошедшим в сборник «Возвращение Чорба» (Берлин, 1930). Иногда на периферии, иногда в центре сюжета в них повторяется один и тот же мотив, восходящий к античному мифу о Дедале и Икаре и средневековой легенде о незадачливом ученике чародея (последняя была актуализирована романтиками, а позднее перешла в пользование современной низовой культуры — страшных историй и фильмов ужасов). Это мотив несостоявшегося чуда, неудавшегося фокуса:

> Шок протянул руку, хотел, видно, выщелкнуть монету из уха карлика, — но, в первый раз за многие годы мастерских чародейств, монета некстати выпала, слишком слабо захваченная мускулами ладони. *(«Картофельный эльф», 1924)*

> Он совал монетку в щелку музыкального автомата и при этом плакал навзрыд. Сунет, послушает мелкую музыку и плачет. Потом что-то испортилось. Монета застряла. Он стал расшатывать ящик, громче заплакал, бросил, ушел. *(«Бахман», 1924)*

В «Возвращении Чорба» мотив несостоявшегося чуда уже становится сюжетообразующим: герой рассказа, жена которого недавно погибла, наступив на оголенный провод, покупает на ночь проститутку, чтобы воскресить в номере обшарпанной гостиницы свое прошлое — первую брачную ночь. Посреди ночи он просыпается и — испускает «страшный истошный вопль».

> Он проснулся среди ночи, повернулся на бок и увидел жену свою, лежавшую с ним рядом. Он крикнул ужасно, всем животом. *(«Возвращение Чорба», 1925)*

Далее следует несусветная трагифарсовая сцена, в которой спасающаяся бегством проститутка сталкивается в дверях с родителями жены Чорба, ничего не подозревающими о смерти дочери и пришедшими увидеться с ней. Фокусник Шок, музыкант Бахман, Чорб — первые в длинной галерее набоковских «неудачников». И если уж говорить о едином метасюжете произведений Набокова, то им является отнюдь не драма утраты и ее последствия (как естественно было бы предположить, если согласиться с мнением о том, что главным источником вдохновения для Набокова была память об утраченной России), а творческая неудача. Лужин кончает жизнь самоубийством, не справившись с миром шахматного наваждения, который сам же вокруг себя и создал («Защита Лужина»). Изобретатель конструирует движущиеся манекены, плавные движения которых идеально имитируют человеческую пластику, но в итоге не может поддержать в них иллюзию жизни («Король, дама, валет»). Магда мечтает о карьере кинозвезды, но ее первое появление на экране заканчивается полным провалом («Камера обскура»). Герман задумывает идеальное преступление и обряжает простолюдина Феликса собственным двойником, но

сходство оказывается мнимым, существующим лишь на территории германовского безумия («Отчаяние»). Цинциннат и Чернышевский, эти двойники с разными знаками, равные друг другу «по модулю», пишут в тюрьме, перед лицом смерти, книгу своей жизни, но не могут совладать с непослушными словами («Приглашение на казнь», «Дар»). Мечта Гумберта об эротическом рае в обществе Лолиты сбывается — но лишь на то недолгое время, пока Лолита не повзрослеет, а болезненное чувство любви и раскаяния не поставит под сомнение успех его гедонистического проекта («Лолита»). Чарльз Кинбот лелеет воспоминания о Зембле, но поэт, которому он вверяет свое прошлое, упоминает его родину лишь в одной строчке своей поэмы («Бледный огонь»). И наконец, писатель Вадим Вадимович так и не может вспомнить, тенью какого писателя он является («Взгляни на арлекинов!»).

Все эти персонажи, даже если профессия их не имеет ничего общего с искусством, изображаются Набоковым как творцы, которым по той или иной причине не удается (вос)создать подлинную реальность — будь то в искусстве или в жизни. Их замыслы, мечты и наваждения чреваты скрытым изъяном, который рано или поздно приводит к неудаче. Чаще всего — не без участия коварного двойника (Валентинов в «Защите Лужина», Горн в «Камере обскура», Барбашин из пьесы «Событие», Куильти в «Лолите»...). Чрезвычайно важно, что от произведения к произведению причины этой неудачи могут казаться диаметрально противоположными. Иногда фатальная ошибка персонажа заключается в рабском подражании реальности и недостатке воображения (изобретатель из «Короля, дамы, валета», писатель Зегелькранц из «Камеры обскура», Чернышевский из четвертой главы «Дара», художник Трощейкин из «События»). Иногда эта ошибка — в попытке без остатка раствориться в мире вымысла и забвении реальности, которая впоследствии жестоко мстит герою (Гумберт Гумберт, Чарльз Кинбот, Сальватор Вальс из пьесы «Изобретение Вальса»).

Вся эта галерея неудачливых творцов порождена сильнейшим ощущением творческой несостоятельности, которое преследовало Набокова в самом начале его карьеры. Под творческой несостоятельностью я имею в виду не просто технически плохое качество его ранних стихов и рассказов, но и осознание бессилия искусства перед лицом времени и смерти. В начале 20-х годов в Берлине Набоков сталкивается с невозможностью воссоздать в воображении утраченную Россию, а также на опыте познает необратимость смерти, когда от рук террористов гибнет его отец. Но боль потери для Набокова — это отнюдь не обычная ностальгия. В авторецензии на книгу мемуаров «Убедительное доказательство» он пишет о себе в третьем лице: «В каком-то смысле Набоков прошел через все уныние и упоение ностальгии задолго до того, как революция разобрала декорации его юных лет»[1]. Чувствительнее всех прочих потерь для него — не утрата родины или миллионного состояния, а опыт ускользания реальности, которая вытекает из мира, как молоко из прохудившегося пакета. Именно этот опыт, по-видимому, данный ему очень рано, ляжет в основу его писательских усилий. Сквозь призму этого опыта даже чувство тоски по родине принимает у Набокова специфическую окраску. Боль потери для него — это, прежде всего, боль от невозможности почувствовать боль, сделать потерю «своей», настоящей, избавиться от самоощущения бесплотного призрака, бесцельно бродящего среди размалеванных декораций. Самое страшное для Набокова и его героев — когда выясняется, что терять-то, в сущности, нечего: реальность ускользнула сквозь пальцы задолго до того, как стать недоступной из-за внешних обстоятельств. В «Событии» Люба в разговоре о погибшем сыне скажет Трощейкину: «Бог тебя знает, может быть, тебе и нечего забывать».

Тема творческой несостоятельности причудливым образом переплетается у Набокова с темой несостоятельности финансовой. Обратите внимание, что во всех трех ранних рассказах, цитаты из которых были приведены выше, в ключевых сценах фигурируют деньги: монетка выпадает у фокусника из руки, Бахман сует монетку в автомат, Чорб платит проститутке «двадцать пять» за ночь (забавная отсылка к «Двенадцати» Блока). Это зародыш важной для Набокова темы, которая впоследствии останется постоянной спутницей его героев. Набоков часто сравнивает не-

[1] Перевод Сергея Ильина.

удачную рифму с несостоятельным должником; в зеркальной структуре романа «Дар» литературный эмигрантский вечер остроумно срифмован с собранием Общества русских литераторов, на котором выясняется, что касса Общества безнадежно растрачена; и совсем уж комичный пример: когда неудачливый и полунищий художник Трощейкин из «События» говорит, что «Баумгартен денег не даст», в этом хочется видеть намек на несостоятельность безвдохновенного реализма, которому сам основоположник эстетики Александр Готлиб Баумгартен отказывает в новом кредите. В произведениях Набокова, всегда стремившегося зарабатывать деньги только литературным трудом (что вплоть до выхода «Лолиты» ему не удавалось), мотив финансового неуспеха становится не менее важным, чем творческая неудача персонажей. Можно даже предположить, что невероятный по эмигрантским масштабам коммерческий успех Евреинова стал одной из причин, по которой внимание Набокова было надолго отдано этому человеку (за это наблюдение автор статьи благодарит Андрея Томашевского).

В 1938 году, в тот период, когда Набоков решал свое языковое будущее, он вернулся к ранним драматургическим опытам и создал две лучшие свои пьесы — «Событие» и «Изобретение Вальса». Неудивительно, что именно на территории драматургии тайное стало явным: в «Событии» отсылки к произведениям Евреинова особенно заметны и бесспорны. Отметим, что «Событие» отделено более чем десятилетием от того времени, когда Набоков внимательно прочитал Евреинова (логично предположить, что это произошло, самое позднее, перед шуточным процессом 1927 года). Тем важнее то обстоятельство, что Набоков использует в пьесе не только концептуальную канву евреиновских сочинений (критика имитационного реализма), но и включает в нее отдельных персонажей, сошедших со страниц Евреинова, вкладывая в их уста почти дословные цитаты. Пьеса «Событие» начинается со сцены, в которой Трощейкин готовится дописать заказной детский портрет. Почти законченный холст стоит на сцене: мальчик окружен пятью круглыми дырками, в которые художник намеревается дописать сине-красные мячи. Но мячи куда-то закатились, из пяти осталось только два, и Трощейкин злится, не в силах приступить к работе. Перед нами — знакомый мотив творца, стремящегося воссоздать точную копию реальности и терпящего крах на этом пути.

Но что мешает ему? Кто бросает ему вызов? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разгадать индивидуальную набоковскую символику сочетания красного и синего, а также многочисленных сине-красных мячей, катающихся из романа в роман (из «Короля, дамы, валета» в камеру Цинцинната и так далее). Отмычка к этой символике прячется на страницах романа «Камера обскура»:

> Откуда ни возьмись прилетел большой, разноцветный, как арлекин, мяч, прыгнул с легким звоном, и Магда, мгновенно вытянувшись, поймала его и встала и бросила его кому-то.
>
> Кречмар вцепился в живое, в шелковое, и вдруг — невероятный крик, как от щекотки, но хуже, и сразу: звон в ушах и нестерпимый толчок в бок, как это больно, нужно посидеть минутку совершенно смирно, посидеть, потом потихоньку пойти по песку к синей волне, к синей, нет, к сине-красной в золотистых прожилках волне, как хорошо видеть краски, льются они, льются, наполняют рот, ох, как мягко, как душно, нельзя больше вытерпеть, она меня убила, какие у нее выпуклые глаза, базедова болезнь, надо все-таки встать, идти, я же все вижу, — что такое слепота? отчего я раньше не знал... но слишком душно булькает, не надо булькать, еще раз, еще, перевалить, нет, не могу...

Вторая цитата — описание смерти Кречмара — кажется темной и невнятной: что такое синяя, «нет, сине-красная в золотистых прожилках волна» и какое откровение она несет с собой герою? Но если поверить первой цитате и принять как гипотезу отождествление сине-красного мяча с арлекином, становится понятным, что речь идет об арлекинском костюме (в том виде, в котором он был принят в театральной, ярмарочной и цирковой пантомиме XVIII—XIX веков): чередование красных и синих ромбов, граница между которыми прошита золотыми блестками (вот они, загадочные «золотистые прожилки»). Оба эти фрагмента были изменены Набоковым в авторизованном переводе «Камеры обскура» на английский язык. В «Смехе во тьме» «разноцветный, как арлекин, мяч» превращается в «большой яркий», а сине-красная волна в золотистых прожилках — в «синюю, синюю»...

После приведенных цитат уже не остается никаких сомнений в том, *кем* является злой гений Кречмара и божество Горна:

> ...Горн с удовольствием думал, что это еще не все, далеко на все, а только первый номер в программе превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе. Директором же сего заведения не был ни Бог, ни дьявол. Первый был слишком стар и мастит и ничего не понимал в новом искусстве, второй же, обрюзгший черт, обожравшийся чужими грехами, был нестерпимо скучен, скучен, как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика. Директор, предоставивший Горну ложу, был существом трудноуловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе, — переливчатым магическим призраком, тенью разноцветных шаров, тенью жонглера на театрально освещенной стене...

Таким образом, смерть Кречмара — это, как обычно у Набокова, свидание с богом-автором-демиургом. Перед смертью он узнает в своем «злом гении» арлекина — в этом и заключается пережитое откровение: «отчего я раньше не знал...»

Обратим внимание на два эпитета в последней цитате — «двойственный, тройственный». Это превращение двойки в тройку, симметрии в асимметрию, мертвого зеркального отражения в преображающее искусство, смерти в жизнь (ведь «2/3» — это еще и формула рождения на свет нового существа) также характерно для набоковской символики арлекина, который, если верить старинным итальянским гравюрам, сжимал свой жезл (по-английски — lath, использованная в тексте аббревиатура названия «Look at the Harlequins!», «Взгляни на арлекинов!») между вторым и третьим пальцами. Этот же мотив воплощается в неоднократно упоминаемом Набоковым фокусе: если скрестить второй и третий пальцы и коснуться кончиками небольшого шарика, возникнет тактильная иллюзия второго шарика (этому фокусу, например, Круг обучает своего сына в романе «Под знаком незаконнорожденных»). И наконец, вспомним знаменитый монолог баронессы Бредофф:

> Сложи две вещи вместе — шутки, слова, — и у тебя получится тройной арлекин. Давай же! Играй! Изобретай мир! Изобретай реальность! *(«Взгляни на арлекинов!»)*

Но вернемся к «Событию». Мячи-арлекины убегают от Трощейкина. Вслед за Евреиновым, Набоков видит в арлекине неудержимый дух преображения и свободной игры, безжалостно разрушающий недостаточно вдохновенные попытки копирования реальности. Впрочем, вскоре мы убеждаемся, что Трощейкин не настолько лишен вдохновения, как могло показаться сначала. Выйдя на авансцену и глядя в зрительный зал, он рассказывает жене о картине, которую собирается написать:

> ...вот представь себе... Этой стены как бы нет, а темный провал... и как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды... сидят и смотрят на меня. Причем все это лица людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят на мою жизнь.

Но этот порыв заканчивается ничем:

> А может быть — вздор. Так, мелькнуло в полубреду — суррогат бессонницы, клиническая живопись... Пускай будет опять стена.

Так и хочется добавить — «четвертая». В этом фрагменте кажется, что Трощейкин ощущает незримое присутствие арлекина на страницах набоковского текста. Ведь арлекин, по Евреинову, это не только разрушитель мертвой натуралистической иллюзии, это еще и проводник между искусством и жизнью, пророк новой религии преображения, благодаря которому сотрется грань, отделяющая сцену от зрительного зала. В финале «Самого главного» переодевшийся арлекином главный герой, обращаясь к публике, восклицает:

> Мы (актеры комедии дель арте. — *А. М.*) воскресли, друзья мои!.. вновь воскресли! Но уже не для театра только, а для самой жизни, опресневшей без нашего перца, соли и сахара!.. Мы вмешались в жизненный пирог, как приправа, без которой он ничего не стоит на вкус, и подрумянили его огнем нашей любви, как праздничную булку!..

Отказавшись от преодоления «четвертой стены» штурмом, Трощейкин рассказывает Любе о другой своей идее:

> Под шумок написал Баумгартена сразу в двух его видах — почтенным старцем,

как он того хотел, а на другом холсте, как хотел того я, — с лиловой мордой, с бронзовым брюхом, в грозовых облаках...

А вот описание офицера, соперника главного героя в «монодраме» Евреинова «Представление любви»:

...колоссального роста, почти великан; весь темный, может быть, оттого, что так нестерпимо блестят его пуговицы... <...> Лицо красное, из-под черных густых усов, которые все время топорщатся, белый оскал лошадиных зубов; нижняя губа громадных размеров, ярко-малиновая, слюнявая, плотоядная... Лицо зверское и неописуемо пошлое.

В соответствии с евреиновской теорией монодрамы, во многом предвосхитившей эстетику экспрессионизма, зритель должен видеть на сцене не подобие объективной реальности, а внутреннюю психологическую реальность главного героя. Публика смотрит на других действующих лиц глазами протагониста и тем сильнее отождествляет себя с ним. Отметим, что этот прием является обходным путем для устранения «четвертой стены», но на этот раз не с помощью прямого обращения актера в зал, а путем «перенесения» зрителя на сцену:

...задача монодрамы — почти что перенести самого зрителя на сцену, чтобы он почувствовал себя истинно действующим. (*Николай Евреинов*. «Введение в монодраму», 1913)

При постановке «События» в «Русском театре» в Париже режиссер Юрий Анненков (знаменитый график-портретист, театральный художник, протеже Евреинова, приглашенный им для оформления спектаклей в «Кривом зеркале») использовал и другие приемы монодрамы. В перерыве между действиями у одного из героев, Ревшина, стремительно вырастают усы. Анненков комментирует:

...было бы невероятно, если бы при том внутреннем состоянии, которое испытывал этот герой, отправляясь на именины, разодетый, с цветком в петлице, с букетом в руках, с обдуманными остротами и надеждой встретиться с знаменитым писателем, усы не подтянулись бы, в свою очередь! *(«Последние новости» от 12 марта 1938 года)*

Это не что иное, как верное следование одному из правил монодрамы:

...сам субъект действия должен являться перед нами таким, каким он себе представляется в тот или иной момент сценического действия. *(«Введение в монодраму»)*

И последний пример «монодраматического» подхода — полупрозрачный занавес, который отделяет Любу и Трощейкина от остальных персонажей в минуту их недолгого прозрения. В отличие от усов, занавес указан в ремарке в тексте пьесы:

...следовало бы, чтобы случилась прозрачная ткань или средний занавес, на котором вся их группировка была бы нарисована с точным повторением поз.

В этом эпизоде Трощейкин вновь чувствует на себе устремленные из зала взгляды и произносит примечательную фразу:

...бежать, — а мы почему-то медлим под пальмами сонной Вампуки.

Это открытая отсылка к пародийной опере «Вампука, невеста африканская: во всех отношениях образцовая опера», поставленной в 1909 году в театре «Кривое зеркало», — ее сокращенное название стало синонимом дурной театральной условности.

Полупрозрачный занавес неоднократно обыгрывался Евреиновым в его пьесах и постановках. В «Фундаменте счастья» он опускается в сцене прихода Смерти к гробовщику. В кривозеркальных «Эоловых арфах» он символизирует собой дымку перед глазами пришедшего в театр пьяного критика. И в заключение приведем французский термин, обозначающий «средний занавес»: manteau d'Arlequin, плащ арлекина.

В третьем действии «События» на сцене появляется персонаж, забредший в «Событие» прямо со страниц «Самого главного». Это частный сыщик Барбошин, призванный защитить Трощейкина от неминуемой смерти от руки вышедшего из тюрьмы соперника. У него «голова трагического актера и длинные седовато-рыжие волосы». По этим приметам, а также по исключительно напыщенной манере речи

можно заключить, что он — переквалифицировавшийся актер. В первые же минуты он сообщает:

> Между прочим, у меня было одно интереснейшее дело, как раз на вашей улице. Ультраадюльтер типа Б, серии восемнадцатой. К сожалению, по понятным причинам профессиональной этики я не могу вам назвать никаких имен. Но вы, вероятно, ее знаете: Тамара Георгиевна Грекова, двадцати трех лет, блондинка с болонкой...

Это не кто иной, как подрабатывающий сыщиком Актер, один из героев «Самого главного». Его слова об «ультраадюльтере типа Б» с участием «блондинки с болонкой» — это не отсылка к чеховскому рассказу, а намек на Даму с собачкой — именно так она представлена в списке персонажей евреиновской пьесы. Дама с собачкой нанимает сыщика, чтобы разыскать пропавшего мужа, оказавшегося троеженцем:

> ...мне отрядили такого сыщика, что... *(Целует кончики пальцев)* прелесть, душка!.. даже в театре служит нарочно, чтобы лучше изучить гримировку, мимику и тому подобное... *(«Самое главное»)*

У Барбошина в «Событии» есть один странный монолог, который невозможно объяснить, если не знать генеалогию этого персонажа. Ни с того ни с сего он начинает говорить о своих «грандиознейших планах»:

> А я вам говорю, что моя фамилия *Барбошин*. Альфред Барбошин. Причем это одно из моих многих настоящих имен (главный герой «Самого главного», Параклет, выступает в пьесе под пятью личинами, последняя из которых — Арлекин. — *А. М.*). Да-да... Дивные планы! О, вы увидите! Жизнь будет прекрасна. Жизнь будет вкусна. Птицы будут петь среди клейких листочков, слепцы услышат, прозреют глухонемые.

Помимо очевидной отсылки к Достоевскому («клейкие листочки»), в этом пассаже явно содержится пародийное изложение жизнестроительских идей Евреинова. Особенно характерна метафора «вкусной жизни», постоянно использовавшаяся Евреиновым в его произведениях. В главе «Театральность как аппетитность» он пишет:

> Театральность это такой вкусный соус, под которым можно съесть родного отца. *(«Театр как таковой»)*

Отметим еще одну странность: если, вводя в текст пьесы мячей-арлекинов и «четвертую стену», Набоков ссылается на Евреинова с явным сочувствием, то образ Барбошина — довольно злая пародия. Эта пародия — зародыш пьесы «Изобретение Вальса» (1938), которую Набоков пишет вскоре после «События». Имя ее героя — Сальватор, и он действительно вознамерился стать спасителем всего человечества. Под угрозой оружия фантастической мощности он приказывает провозгласить себя правителем мира и намеревается в приказном порядке пересе-

лить людей в золотой век процветания и благоденствия. «Грандиознейшие планы», о которых комичный Барбошин только заикался, начинают сбываться, но не совсем так, как рассчитывал их автор. Угрозу шантажа приходится привести в действие, гибнут невинные люди, а оставшиеся в живых не хотят навязанного блаженства. В конце концов мечты Вальса превращаются в болезненный бред — автор намекает, что все действие пьесы происходило в его воспаленном мозгу.

В «Изобретении Вальса» не так много прямых отсылок к Евреинову и арлекинской теме, как в «Событии», но они, безусловно, есть. Имя Сальватор (спаситель) напоминает о главном герое «Самого главного», настоящее имя которого — Параклет — в древнегреческих текстах Нового Завета имеет значение «заступник», «утешитель». Фамилия Вальс, танцевальный оттенок которой подчеркнут упомянутым в пьесе поэтом Турвальским, является своеобразным эхом счастливого финала «Самого главного»: актеры, одетые в костюмы героев комедии дель арте, смешиваются с публикой и танцуют «под бравурный вальс бального оркестра» (это последние слова пьесы). Приказав привести себе на выбор красивых девушек, девственник Вальс, смущаясь, надевает маску. По словам Сна, его секретаря, «она страшноватая». Маска так и не названа, но уместно напомнить, что в комедии дель арте арлекин носит маску черного цвета, намекающую на его возможное происхождение от бесенка Эллекена, персонажа средневековых мистерий. И здесь можно усмотреть

параллель с «Самым главным»: одна из сюжетных линий пьесы — Параклет—Арлекин подбирает любовника отчаявшейся девственнице.

В «Изобретении Вальса» Набоков проницательно изображает обратную сторону учения Евреинова. Он показывает, как попытка стать суверенным королем в царстве собственного воображения, подменить жизнь «театром для себя» приводит к забвению первой реальности. Утопия изменения мира с помощью творческого воображения может привести к худшей разновидности тоталитаризма. В конце концов, именно эта логика оказалась применима к определенному этапу евреиновской биографии: в 1920 году самопровозглашенный «апостол театральности» стал режиссером массового действа «Взятие Зимнего дворца», приуроченного к третьей годовщине Октябрьского переворота.

Позднее сам Евреинов утратил веру в чудесные свойства театральности, перехлестнувшейся через рампу в реальную жизнь. В «Корабле праведников» (написан в 1924 году) и «Театре вечной войны» (Париж, 1928), продолжающих основные темы «Самого главного» и образующих вместе с ним законченную трилогию, уже нет смеха, бойкой арлекинады, маскарадных костюмов и конфетти. Театральность переосмысляется как лживость, притворство и средство агрессии. В «Театре вечной войны» описано даже «Военно-театральное училище», в котором студентов обучают «искусству камуфляжа» в жизни. Противоречие, с которым не справился Евреинов, — это противоречие между проповедью «театра как такового», построенного на «очаровательном обмане», и призывами к театру жизни, которые в конечном счете отрицают условность искусства. Карьера Евреинова вполне подчиняется «гегелевскому силлогизму юмора». От бунта против натурализма Евреинов переходит к проповеди условной арлекинады. Но в итоге, ратуя за «театр жизни», он уничтожает рампу, что приводит в тупик все того же натурализма. Вместо того чтобы «наполнить своим проявлением жизнь» («Самое главное»), искусство, утратив изначальную условность, растворяется в жизни и теряет свой вкус.

Но вселенная Набокова строится не по Гегелю. Писатель легко уживается с парадоксами и, постоянно тасуя члены различных антиномий, приписывая им то положительный, то отрицательный знак, строит на этом с виду шатком фундаменте свое искусство. В личной мифологии Набокова, сформировавшейся еще в раннем детстве, евреиновское противоречие формулируется так:

> Постояннейшим же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий прямоугольник — и песок становится пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи. Когда же после всех этих роскошеств обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновенного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой караморой в углу, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить, и трезво белела скамья под знакомой хвоей; но из всех оконец, в него-то мои герои-изгнанники мучительно жаждали посмотреть. *(«Другие берега»)*

В отличие от Евреинова, Набоков не желает выбирать между силой воображения и силой реальности. Воображение для него — отнюдь не абсолютная ценность, как принято считать. Избыток воображения может привести к забвению реальности, и тогда сквозь приторно-густые разноцветные стекла уже не разглядеть пресную скамью под знакомой хвоей. Но с помощью Евреинова в самом начале своей карьеры Набоков сумел разглядеть, что является причиной его неудач, его неспособности приблизиться к подлинной реальности в жизни, воспоминании, искусстве. Непослушный дух Арлекина смеется над художником-имитатором. Но тот же дух обладает волшебной властью преображения, способной сделать вымысел не менее реальным, чем сама жизнь. Таким образом, неудача творца получает шанс превратиться в триумф. Нет больше места отчаянию и бесплодной ностальгии. Нет сомнения, что арлекинские мотивы у Набокова шире, чем у Евреинова. Многоликий Арлекин образует в набоковской прозе бесконечный синонимический ряд. Вот лишь некоторые из его звеньев: Петрушка, Панч, жонглер, цирковой акробат, фокусник,

мим, шут, карлик, а отсюда — и уменьшительная форма любого слова, эльф, король эльфов, древний король бритов Херла, легенда о котором была без сомнения известна Набокову, Erlkönig (персонаж баллады Гёте, с которым Гумберт сравнивает Куильти), джокер, карточный валет, шахматный конь, тень, актер, палач, низвержение короля и его замена пародийным двойником — шутом, арлекином, обезглавливание и вообще любое усечение (проходя на казнь, Цинциннат видит на двери слово «анцелярия»), каламбур, рифма, опечатка, гнусавый голос (в прошлом исполнители роли Арлекина, как и русские петрушечники, использовали специальную «гнусавку»), сочетание красного и синего, ромб (Эрутар Ромб — один из псевдонимов Куильти, мнимая отсылка к Артюру Рембо), ромбический орнамент, сшитое из лоскутков разноцветное одеяло (именно такое одеяло покрывает камеру мсье Пьера в «Приглашении на казнь», и именно от его английской версии — quilt — образована фамилия Куильти), цветное стекло и окно вообще, драгоценные камни (слово «diamond» имеет по-английски двойное значение — ромб и бриллиант), трость или любой другой фаллический предмет, отсылающий к волшебному жезлу Арлекина, переход 2 в 3, превращение квадрата в ромб, разбитое зеркало, любое нарушение симметрии (вспомним трещинку в окне ванной комнаты у Лужина), «равновесие с небольшой погрешностью» (этот термин Даниила Хармса удивительно точно описывает часто встречающийся у Набокова мотив: приведем в пример хотя бы помост для казни «в центре квадратной площади, — нет, именно не в самом центре, именно это и было отвратительно»), отклонение от прямой линии, танец, бабочка (ромбической формой крыльев и расцветкой она напоминает арлекинский костюм), бессмертная душа, воображение, искусство (в последней главе «Убедительного доказательства» говорится о «ромбовидном узоре искусства») и, наконец, сам Набоков, любивший подчеркивать, что в состав его фамилии входит слово «набок». В конце концов, квадрат (часто встречающийся у Набокова символ смерти, зеркального отражения, потустороннего мира и присутствия автора в тексте) есть не что иное, как набок склонившийся ромб. Примеры можно множить бесконечно, и кажется, что сквозь это многообразие уже не разглядеть тень Евреинова-Арлекина. И все же есть еще одно, решающее доказательство. В финале романа «Дар» Федор Годунов-Чердынцев рассказывает Зине о своих планах:

> «...хочу кое-что по-своему перевести из одного старинного французского умницы-...это великолепно, — есть у него знаменитое место, которое, кажется, могу сказать наизусть, если не собьюсь, не перебивай меня, перевод еще приблизительный: был однажды человек... он жил истинным христианином; творил много добра, когда словом, когда делом, а когда молчанием; соблюдал посты; пил воду горных долин (это хорошо, — правда?); питал дух созерцанием и бдением; прожил чистую, трудную, мудрую жизнь; когда же почуял приближение смерти, тогда, вместо мысли о ней, слез покаяния, прощаний и скорби, вместо монахов и черного нотария, созвал гостей на пир, акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц, трех волшебников, толленбургских студентов-гуляк, путешественника с Тапробаны, осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой, среди сладких стихов, масок и музыки... Правда, великолепно? Если мне когда-нибудь придется умирать, то я хотел бы именно так». «Только без танцовщиц», — сказала Зина.

В набоковедческой литературе было отмечено, что «старинный французский умница» — это, несомненно, выдуманный Набоковым Пьер Делаланд — единственный писатель, влияние которого он признавал. Высказывалось также предположение, что переписанная по-своему история о беспечной смерти — это роман «Приглашение на казнь», которому, кстати, предпослан вымышленный эпиграф из Делаланда:

> Подобно тому как глупец полагает себя богом, мы считаем, что мы смертны. *Делаланд. «Разговоры теней».*

Но никто не обратил внимания, что рассказанная Годуновым-Чердынцевым история есть точное повторение пьесы Николая Евреинова «Веселая смерть» (1909) о стареющем Арлекине, устроившем последнее представление комедии дель арте на собственных похоронах. «Шут, остающийся шутом пред Ликом Смерти — величайшее торжество человека!» — писал Евреинов («Театр для себя», т. III, 1917). «...И Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

Это хорошо, правда?

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ

МУЗЫКА МОЛЧАНИЯ, ИЛИ ВРЕМЯ ЗЕРКАЛ

Счастлив ли кот, смотрящийся в зеркало? Что видит он там? Нагую девочку, которую наблюдают еще чьи-то глаза?

Эротичен ли Бальтюс, столь часто рисующий обнаженное тело и испытывающий, судя по всему, к нему лишь единственный тип влечения — эстетический?

Вся жизнь Бальтюса напоминает сон, в котором живут герои его полотен. Сон определенно счастливый.

Ему посвящали стихи Рильке и Элюар, позировали Дерен и Миро, о нем писали статьи Арто и Камю, а в его воспитание внесли свою лепту все европейские столицы, от Берлина и Парижа до Женевы и Рима. Военную службу он проходил в Марокко, а по Италии путешествовал вместе с Андре Жидом. Феллини сказал: будь он уверен, что возможно снять фильм о живописи, своим героем избрал бы Бальтюса. И сам Пикассо покупал его работы — чтобы позже подарить их Лувру.

Ребенком Бальтюс любил зимой смотреть на горы сквозь пелену падающего снега. А когда позднее увидел восточную живопись, к нему словно вернулось то, детское, зрение. Он понял, насколько восточное восприятие мира близко европейцу.

Избегавший прессы и вообще публичности Бальтюс не любил давать интервью. Известно всего три — все 1962 года, когда благодаря поддержке Андре Мальро он стал президентом Французской академии в Риме и обосновался на знаменитой вилле Медичи. Официальный пост, видимо, заставил пойти на уступки, отказаться от некоторых принципов.

Но и опубликованные тогда тексты интервью выглядят скорее как репортажи, где героя цитируют, и не более. Сам он просит «лишь беседовать», а не задавать вопросы в ожидании ответов. Жанр «разговоров о себе» ему так же мучителен, как и его ближайшему другу, Альберто Джакометти. «Я не знаю, что сказать о том, что я рисую, правда», — признается художник корреспонденту газеты «Монд».

Автопортрет (1943)

Он даже просит не помещать своей биографии в каталоги выставок. «Наилучший способ открыть выставку, — говорил он устроителям, — сказать: Бальтюс — это художник, о котором ровным счетом ничего не известно. А теперь смотрите картины».

В его высокомерном отказе от биографии, в нежелании обсуждать личную жизнь и комментировать свое творчество нет вымученной позы. Скорее это традиция Сезанна и Дега, настаивавших на независимой жизни картины, на анонимности творца. Название одной из посвященных ему статей — «Денди» — прочитывается не столько как дань полузабытому феномену, но как *hommage*[1] определенному стилю. Ведь у денди не может быть обычной биографии

[1] Дань уважения *(франц)*.

© А. Мокроусов, 1999

— только стиль. Стиль — его биография. Поэтому какими подробностями тут делиться?

Точно так же он не любит и галерейную активность. Большинство выставок проходит, как правило, в музеях, от Метрополитен и Галереи Тейт до Центра Помпиду.

В эпоху, когда царят масс-медиа, такая позиция не в моде. Биографию себе скорее выдумают, нежели вовсе от нее откажутся. Долгая, годами длящаяся работа над полотном (от первого до второго мазка может пройти целая вечность) — тоже словно из другого времени. Между 1966-м и 1973-м годами он создает всего четыре картины — зато какие! Среди них два безусловных шедевра: «Турецкая комната» (ныне в Центре Помпиду) и «Игроки в карты» (в роттердамском музее Бойманса—Ван Бойнингена).

Турецкая комната (1963—1966)

И Рильке мальчика заметил...

Балтазар Клоссовски де Рола родился в 1908 году. Еще в середине XIX века его предки переселились из Польши во Францию. А первая мировая война заставила его родителей (отец — знаток живописи, чья монография о Домье интересна и сегодня, мать — художница) перебраться из Парижа в Берлин. Затем, после их развода, дети с матерью оказались в Швейцарии. Именно здесь происходит знакомство с Рильке, ставшим близким другом Баландины Клоссовски. Впоследствии она сыграет роль медиума между поэтом и миром изобразительного искусства. И Рильке будет больше внимания уделять ее сыну, чем собственной дочери. Двенадцатилетний мальчик посылает поэту свои рисунки к «Мицу», сказке Рильке о найденном и вновь потерянном коте. Летом 1921-го восхищенный Рильке публикует в Цюрихе сорок его рисунков со своим предисловием. Бальтюс иллюстрирует по его просьбе и китайские сказки. Рильке в восторге от глубины детских познаний в восточной культуре.

Но начало европейской известности приходится на 1934 год, когда в парижской галерее «Пьер» открылась первая персональная выставка Бальтюса. Разразился скандал, вызванный непозволительной, на взгляд зрителей, откровенностью полотен.

Восхищенный же Антонен Арто, откликнувшийся на выставку рецензией, предлагает ему на следующий год работу над «Ченчи», спектаклем, которому суждено войти в историю театра. И сам Бальтюс надолго полюбит театр: декорации и костюмы к операм и драмам заказывают ему крупнейшие режиссеры и драматурги, от Барро до Камю.

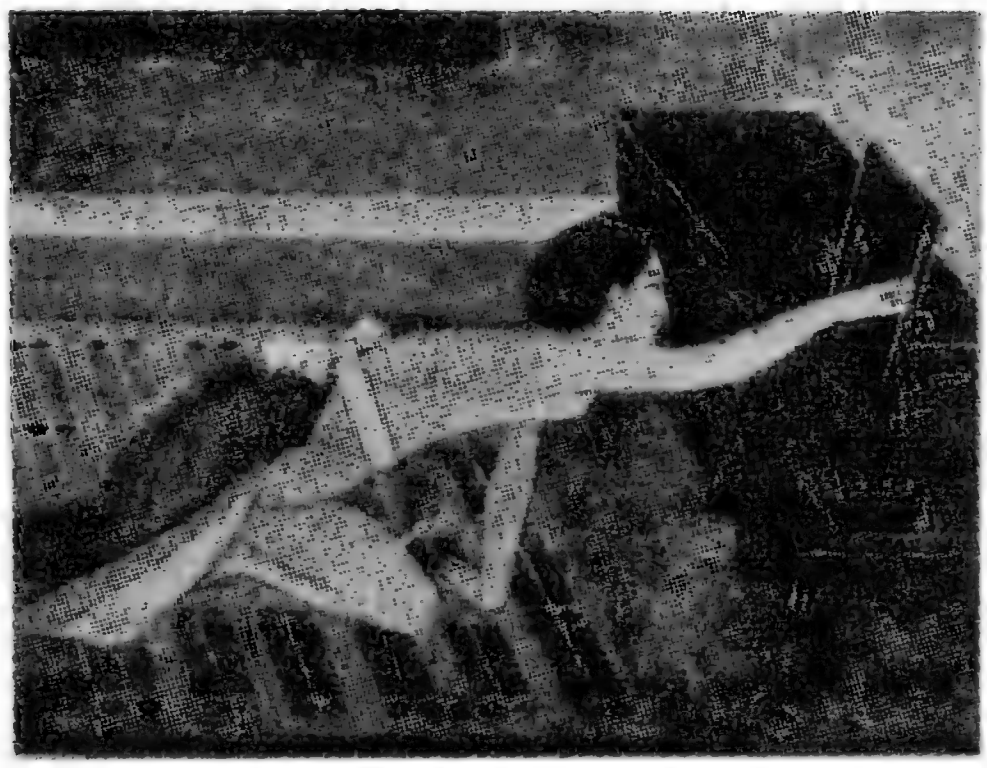
Потомкам будет нелегко восстановить образ XX века, если к ним попадут лишь картины Бальтюса. Примет времени в них не найти. Персонажи не только не стремятся определить себя через символы эпохи, но словно даже и не догадываются , какой век на дворе. Да и кому догадываться? Кошкам, смотрящимся в зеркала? Обнаженным девочкам в томных позах за неожиданно отдернутой портьерой? Застывшим фигурам, наполняющим улицы чувством неясной тревоги?

Ощущение неуютности мгновенно возникает при взгляде на бальтюсовские пространства — даже в расслабленно-домашних, подчеркнуто «семейных» сюжетах (чаще всего ему позируют родственники, или дети близких друзей, или японка Сетсуко Идета, ставшая его второй женой), где молодые ню потягиваются на фоне пестрых обоев, или читают, развалившись в креслах, или просто пребывают в томной неге, напоенной неясными грезами, похожей на забытье, обморок. Сон, балансирующий на грани яви и потустороннего, туманного видения, чарует многих. У Бальтюса он воспринимается еще обостреннее — во многом из-за особенностей художественной манеры.

Изображая тело, Бальтюс не стремится к точности. Пропорции чаще всего не соблюдаются, голова оказывается слишком большой для туловища, а во всех позах ощущается неловкость, создающая впечат-

ление напряженности и неудобства, словно мы без спросу вторглись в мир, который этого не ожидал.

Эротизмом полны многие картины Бальтюса. Но излучает его не подчеркнуто избыточная сексуальность самих ситуаций. Бальтюс всегда словно обозначает жест в сторону чего-то, что может быть понято и как запретное — куда влекутся смутные фантазии подростка, страдающего депрессиями, но не сознающего еще собственные помыслы как грешные. Впрочем, художника занимает вовсе не греховная подоплека — его интересует живопись как таковая. Краски и линии. Классические жанры: портреты, пейзажи, бытовые сценки.



Японская фигура с черным зеркалом (1967—1976)

Взгляд из зазеркалья

«Бальтюс рисует прежде всего светом и формами. Это свет стены, паркета, стула и человеческой кожи, предлагающий нам проникнуть в мистерию тела»[1].

Что, собственно, происходит на полотнах Бальтюса? Читают книжку, играют в карты, одеваются. Кот таращится из-под стула, потрескивают дрова в камине.

Знают ли изображенные, что в мире существует время? Вряд ли. Послеполуденная истома длится вечность. В мире зеркал времени вовсе нет. Быть может, женщины и франты, проводящие часы у туалетного столика, заняты самым увлекательным делом на свете — они исследуют миры, о которых им не расскажет никто другой. Можно ли снять фильм, весь построенный на зеркальных отражениях, или запечатлеть неуловимые чувства, овладевающие всяким, кто обнаружит своего двойника?

Этим очарованы и бальтюсовские девочки-подростки, то напряженно всматривающиеся в ручное зеркальце, то протягивающие его коту.

Собственно, все его картины — это одно пространство, взгляд начинает привыкать к кушетке, к обоям, к застывшим позам. К чему привыкнуть трудно, так это к тому, как неожиданно вдруг возникают фигуры из обивки стен, из самого воздуха, словно ткущего персонажей. Нет, то не химеры — фигуры обладают зримой массой, они даже подчеркнуто скульптурны в своих застывших позах. Но их скульптурность, отсвечивающая мрамором кожа лишь обозначают непосредственную связь со средой. Фигуры от среды зависят, поскольку ей принадлежат. Попав на улицу (еще один излюбленный сюжет Бальтюса), они вступают в диалог с домами, другими фигурами, хоть и старательно делают вид, что никого вокруг не замечают.

Сера, его любимец, точно так же не делал различий между августовским маревом, деревом на берегу моря и сидящей фигурой под зонтом.

Чего у Сера не было никогда — так это двусмысленной невинности, простодушной распущенности, что зачастую ощущаются в полотнах Бальтюса. Задравшаяся юбка в «Уроке гитары» (1934) являет нам девичье тело без нижнего белья. И в сюжете «Японской фигуры с черным зеркалом» (1967—1976) отсылка к любовному подтексту очевидна. Но разве тот, кто смотрит на Алису, его любимого кэрролловского персонажа, «вписывая» ей своим взглядом порочность, рассказывает о самой Алисе? Скорее уж о самом себе.

Иллюстрациями Тенниэла к этой книге Бальтюс вдохновлялся много лет. Сам он позднее говорил, что «никогда не переставал видеть вещи таковыми, какими увидел их в детстве, какими раскрылись они в 1912—1920 годах».

Ему вообще свойственна долгая память о детских книгах. Прочитав в четырнадцать лет «Холмы бурных ветров» Эмили Бронте (роман, известный в России как «Грозовой перевал»), он словно попал в плен к тексту, который завладел им с силой навязчивой галлюцинации. Но лишь в 1933-м возникнет графическая серия к роману. А

[1] *Antonin Artaud*. Oeuvres completes, vol. II. Paris, 1956, p. 366

на основе ее — один из шедевров довоенного Бальтюса, «Туалет Кэти».

Именно здесь едва ли не впервые возникает у него тема зеркала, которым поглощена героиня и которое так интригует зрителя скрытой в нем недосказанностью. Завороженность им приобретает у бальтюсовских героев почти болезненный характер: они не в силах оторвать взгляда от самих себя. И когда зеркало отсутствует в «рамке» картины, нас не оставляет впечатление, что оно все же есть. Ведь даже спящие излучают флюиды восторга от того, что их наблюдают. И этим наблюдателем, этим существом из зазеркалья оказывается зритель картины. Не отсюда ли рождается та неожиданная близость Бальтюса китайской эстетике, где «картина — это не копия какого бы то ни было предмета материального или идеального мира, а пространство «совместного рождения» (бин шэн) всего сущего — пространство активное, энергетически заряженное и функциональное по своей природе»[1]?

Потустороннее в его полотнах возникает не только из-за скрытого символизма неподвижных фигур или странной роли котов, чья родословная восходит, конечно же, и к китайской мифологии (о китайских мифах напоминают также другие персонажи бальтюсовской живописи, например, в «Большой композиции с вороном», 1983—1986), но и благодаря особенностям письма — чуть размытым контурам и плотной, практически осязаемой атмосфере происходящего. Легкое марево, которое окутывает людей и предметы, заставляет вглядываться в них пристальнее, позволяя увидеть то, что ускользает от беглого взгляда. В этом внимании к форме мира, в споре с идеей Батая — «Взгляд на вещь, проникновение в нее разрушает ее» — есть что-то от наследия раннего Возрождения или сезанновского понимания искусства как «гармонии, параллельной природе». Видимо, Бальтюс мог бы адресовать современной ему культуре слова Филиппа Жакоте о Пикассо: «Газеты ставят его рядом с Микеланджело, Гойей, Веласкесом, упуская из виду главное различие. Пикассо был, вероятно, по-своему гениален, но это гений эпохи, в сердцевине которой — пустота»[1].

Бальтюс своими работами словно соглашается: да, эпоху не выбирают. Но никто не обязывает тебя любить то время, куда ты вынужденно попадаешь. Можно и в нем оставаться верным тем пространствам, которые оказываются ближе, — Сиене эпохи кватроченто или японским островам. Можно, ощутив себя частью беспрерывной линии, связывающей столь разные эпохи, не доверять тому, как современность характеризует и оценивает сама себя. А ежедневно отстаивать то, что тебе в ней кажется важным.

[1] *В. Малявин*. Послесловие переводчика. — В кн.: *Дж.Роули*. Принципы китайской живописи. М., 1989, с.140.

[1] *Филипп Жакоте*. Стихи. Проза. Записные книжки. М., 1998, с.66.

НЕОЛИРИЗМ

Jean-Michel Maulpoix. La Poesie comme l'amour. Paris, Essai sur la relation lyrique. Paris, Mercure de France, 1998

Закончилась ли эпоха лирической поэзии? Книга известного французского поэта и критика Жана-Мишеля Мольпуа ставит своей целью дать ответ на этот вопрос. «Поэзия как любовь» — своего рода итог, завершающее слово ее автора в многолетней полемике, уже давно раскалывающей современную французскую поэзию на два лагеря.

Движение, к которому причисляет себя Мольпуа, в истории новейшей французской литературы получило название «неолиризм». Оно зародилось в 80-е годы XX века в противовес господствовавшей в то время «буквалистской», или «минималистской», поэзии. Эта последняя возникла, в свою очередь, как протест против слепого следования творческому опыту сюрреалистов. «Минималисты» противопоставили многословной риторике «лириков» лаконизм и сдержанность поэтического выражения, граничившие порой с полным «удушением» слова (недаром в критике это время часто именовалось периодом «оледенения» французской поэзии, эпохой ее «зимних стихов»). Одним из основных постулатов приверженцев «минимализма» стал отказ от тех «лирических иллюзий» поэзии вообще и сюрреалистской в частности, которые Франсис Понж в свое время назвал «романтико-лирической раковой опухолью», а современный поэт и критик Кристиан Прижан обозначил еще более агрессивно и провокационно — как «слюняво зияющее «я».

Раскол новейшей поэзии на «минималистов» и «неолириков», как считает Мольпуа, был задан уже самой неоднозначностью понятия «лиризм» во французском языке. Слово это, ставшее употребительным во Франции начиная с первой половины XIX века, помимо своего положительного значения — «энтузиазм творческого порыва», сразу же обрело и другой, пренебрежительный оттенок — «неуместная напыщенность стиля». Именно в этом уничижительном смысле, замечает Мольпуа, часто воспринимал термин «лиризм» литературный XX век. Многие его поэты жаждали «подрезать крылья лиризму», видя в нем лишь выспренную сентиментальность и вычурность самоизливающегося «я».

Книга Мольпуа — ответ сторонникам такого «упрощенного и поверхностного», по его выражению, понимания лиризма. Она представляет собою сборник написанных в разное время статей и эссе, автор которых как бы всякий раз заново, находя все новые аргументы и формы выражения, спорит с этой давней «ленивой традицией». Понятие «лиризм», считает он, слишком долго связывали с гегелевским определением лирики как субъективного отражения жизни души — в отличие от объективности эпоса. Но время исповедальной лирики ушло. Уже Флобер стремится к «лиричности стиля», Аполлинер воспевает «визуальный лиризм», а Бретон отстаивает лиризм в самой жизни. А это уже совсем иной подход к лиризму: он уже больше не хочет быть просто излиянием чувств.

Именно эту новую логику лиризма в трех ее основных проявлениях — «критическом», «объективном» и «отрезвленном» — и отстаивает книга Мольпуа. Так, *критическое* (или рефлексирующее) начало в современном лиризме Мольпуа видит в тех мучительных размышлениях поэта о законности своего права на творчество, которые уходят корнями еще в эпоху Бодлера и Нерваля, впервые во французской поэзии начавших «подрывную деятельность» и «подавших в суд» на самих себя и свое творчество. Требование же *объективности*, выдвигаемое неолирикой, есть попытка современного перегруженного противоречиями сознания дать ответ на давние проклятые вопросы, находя смысл и оправда-

ние поэзии прежде всего в ее пристальном наблюдении за самой реальностью. Покинув «я», занятое самим собой, и перенеся акцент на его отношения с *другим*, с жизнью, «объективный» лиризм — или, как еще его называет Мольпуа, «лиризм переплетений» — ставит своей целью восстанавливать и утверждать ту связь поэзии с миром, которая ранее так часто рвалась то под напором исповедального лиризма с его субъективностью, бьющей через край, то под давлением минимализма, который структуралистски противопоставлял «объективность реальности» и «объективацию текста». По мнению Мольпуа, именно минимализм второй половины XX века воздвиг барьер между творческим опытом и жизнью и, превратив белый лист бумаги в единственно достойную внимания реальность («Революция возможна теперь лишь в грамматике или синтаксисе», — утверждал минималист Дени Рош), нанес сокрушительный удар по непрерывности связи между словом и предметом. Недаром как раз в это время и заявили о себе неолирики, напомнив о необходимости живой подвижной взаимозависимости поэтического жеста и человеческого существования и утверждая лирический, предполагающий «некую идеальную преемственность между словом и вещью», статус стихотворения.

Итак, автор рассматривает неолиризм (жаждущий «сопряжений и переплетений» в противовес «разрывам и разъединениям» минималистов) прежде всего как стремление поэтического «я» соединиться с реальностью. Но что это такое — современное поэтическое «я»? И что являет собою та объективная реальность, которая окружает «лирического субъекта» и с которой он пребывает в непрерывных взаимоотношениях? В чем суть того «лирического жеста», который адресует миру современная поэзия? Позицию Мольпуа нельзя понять вне того фундаментального факта, что в конце XX века бытие потеряло целостность и осмысленность, распалось на множество мелких, пусть разноцветных, но хрупких осколков, — подобно тому, как когда-то, символически предваряя будущее, разбилось стекло бодлеровского «плохого стекольщика» или героя «Окон» Стефана Малларме. Человек XX столетия пережил крах гуманистических идеалов, отказался от веры в Высшую Истину, потерял четкие экзистенциальные ориентиры, и мир предстал ему во всей своей непрочности, шаткости и трагической необъяснимости. «Современность обнажила и обособила, — пишет автор, — тот очаг неопределенности (центр пустоты, место зова и просьбы), который еще в начале XIX века скрывали религия, идеология или мораль».

Этот кризис сознания не мог не отразиться и на поэзии. Сегодня, как утверждает автор, время, когда она могла воспевать, славить и стремиться к Вечному Абсолюту, безвозвратно ушло. Лиризм утратил свои былые иллюзии, потерял веру в утопию, религию. Он стал «отрезвленным». Если раньше поэт пусть и не открывал, но по крайней мере непрерывно искал смысл Вселенной («орфическое объяснение Земли»), то для «отрезвленного» лиризма поиск ключа к ее пониманию заведомо обречен на неудачу. Если раньше поэзия признавала за собой право наставлять, пророчествовать и приобщать к Истине, то «отрезвленный» лиризм отрекается от профетического слова (как писал Лоран Гаспар, «стихотворение не несет в себе ответа на вопрос, поставленный человеком или миром. Оно лишь делает этот вопрос глубже, острее...»). Если раньше романтическая мифология представляла поэтическое творчество как откровение и мессианство, то «отрезвленный» лиризм окончательно затоптал свой оброненный еще во времена Бодлера ореол.

Понятие «отрезвленного», похоронившего свои иллюзии лиризма позволяет Мольпуа рассматривать историю французской поэзии как своеобразную медленную смерть ее традиционного лирического героя, который постепенно теряет веру в Идеал и икарическую «жажду воспарения». Напротив, он все сильнее поддается соблазну «нисхождения» и наконец, ударившись о землю, «задыхается», как Малларме, «от горлового спазма». «В своей пламенной элегичности французская современная поэзия, — пишет автор, — становится «элегией» о поэзии вообще, могилой поэта...»

Но на этой могиле, словно Феникс из пепла, вырастает совершенно новый, неожиданный тип лирического героя, который подобно расколовшемуся современному бытию потерял свою целостную оформленность и состоит отныне из множества кусочков, «личностных» фрагментов: «наследник без завещания, по выражению

Рене Шара, современный лирический герой соткан из многих людей». Ему столько лет, сколько «одновременно Гомеру и Рембо, у него обоняние Бодлера, череп Верлена, глаза Валери, плечи Рене Шара, сломанная рука Мишо... горло Малларме...». Он осуществляет внутри поэзии некое «кочевание» — «интеллектуальное, онтологическое и эмоциональное», становясь тем самым одним из воплощений того поэта-изгнанника, которого еще Платон обрекал на вечное скитание за чертой своего города-государства.

Лишив своего лирического героя самости и наделив его, таким образом, предельной подвижностью, неолиризм как раз и оказывается способен, по мнению Мольпуа, найти новый исход для той врожденной беспокойной потребности в трансцендентном, что заложена в каждой индивидуальности и ранее обретала успокоение в религии или идеологии. Неолиризм видит для нее новые возможности в обращении поэзии к самой реальности — в ее загадочной «непрозрачности и простоте». Это то обращение к реальности осязаемого живого мира, когда основным центром притяжения становится *лицо другого человека*. Именно этого *другого* современный лирический субъект, освобожденный от прежней самоуглубленности, теперь более всего и жаждет понять и принять в себя. «Лирический субъект — это голос другого, говорящего со мной, это голос других, говорящих во мне, это тот голос, которым я говорю с другими...В другом, и только в нем, человек проверяет свое собственное существование».

Стремясь таким образом к предельному осуществлению формулы, заявленной еще Рембо — «Я это другой», современность и получает тем самым возможность дать, по Мольпуа, свое собственное «трансцендентальное» определение сути лирического жеста: «Поэзия как любовь». Только так, объединив (вслед за Элюаром) эти два слова, неолирик рубежа XXI века способен реализовать свой «энтузиазм творческого порыва» в *духовном* измерении и тем самым остаться «гражданином горизонта».

Таков итог размышлений Мольпуа о «длинной цепочке исканий» (Октавио Пас) новейшей поэзии. Этот итог представляется нам тем более значительным и важным, что свидетельствует о глубинном жизнеутверждающем смысле духовной позиции автора книги. Действительно: сочувствуя, с одной стороны, постмодернистским устремлениям современной культуры — ее отказу от веры в какие бы то ни было «безусловные» ценности и «большие проекты», «Поэзия как любовь» настойчиво ищет и находит, с другой стороны, способы преодоления того ценностного релятивизма, к которому неизбежно приводит подобный отказ. Утверждая любовь в ее высокой жажде растворения и слияния с другим как новую форму трансценденции, Мольпуа пытается таким образом спасти французский «отрезвленный» лиризм от окончательного отрезвления — от той пустоты и черной зияющей дыры, куда в любой момент может сорваться не видящее Смысла постмодернистское сознание.

Только так, только благодаря своей вере в Любовь, убежден виднейший современный французский лирик и критик Жан-Мишель Мольпуа, поэзия конца XX века все еще и способна осуществлять то, в чем видится ему вековечное ее назначение — «поддерживать в нас ощущение чуда».

А. ВИНОГРАДОВА

О ПОЛЬЗЕ ОГУРЦА И ПРАВОТЕ ТЕЩИ

«Ничего смешного». **Юмор, сатира, пародия, афоризм. Составление, перевод, справки об авторах А. Ливерганта. М., Новое литературное обозрение, 1999**

То ли название сборника придумал не сам составитель, то ли просто обрадовался творческой находке, но так или иначе, именно с комментариев по сему поводу он и начал свое предисловие: «Надо обладать довольно специфическим чувством юмора, чтобы назвать юмористический сборник «Ничего смешного». Между тем название это — не каприз и не поза; скорее желание настроить читателя на чуть менее легкомысленный лад». Что ж, о количестве смешного в антологии и впрямь судить читателю. Как ни грустно, в самом «событии юмора» большая часть лавров, как правило, пожинается не стороной порождающей (шутящей), а воспринимающей, по крайней мере в сфере устного юмора. Рискнув пошутить, «порождающая сторона» какое-то время с внутренним трепетом ждет одобрения — взрыва смеха, и если

вместо него следует недоуменное или благожелательное молчание — а что дальше? — то никакой суд в мире не признает остроту остротой, и порождающей стороне остается лишь оттачивать комическое мастерство, а сторона воспринимающая, словно этакий купец-самодур, снисходительно ожидает новых «номеров».

Обращаясь к «Ничего смешного», «стороне воспринимающей» нужно настроиться на то, что ведущая линия в этой книге — пародийная. Это закономерно. В основу антологии легли подборки англоязычных литературных пародий, публиковавшихся в 70—80-е годы в «Вопросах литературы». От соседства со статьями о многонациональной советской литературе, которыми читателей журнала нещадно бомбила тяжелая авиация литературоведов-соцреалистов, возникал дополнительный пародийный смысл.

Пародия, к удовольствию читателя, понимается составителем широко. Это пародия не только на личности (Брет Гарт, Хемингуэй, Генри Джеймс), но и на жанры, что дает полнейший простор составительской воле. Любопытно, кстати, что среди изобилия пародий на англо-американский литературный бомонд нет пародии на О. Генри, и вовсе не оттого, что составитель поленился: их практически не существует. При всей своей кажущейся открытости, обнаженности в смысле приемов, в новеллах О. Генри есть что-то неуловимое, не позволяющее пародисту быстро и мастеровито совершить литературное заклание.

Что же касается жанровой пародии, то она, в принципе, включает в себя все многообразие комической литературы, и афоризм — при желании — можно счесть пародией на наши потуги быть глубокомысленными в повседневности. Так или иначе, под переплетом антологии А. Ливерганта собралась великолепная компания острословов, а их речения — дабы не создавать ощущения монотонности — издатели верно решили разбросать по всей книге в виде своеобразных заметок на полях. Прием постмодернистский («НЛО» за постмодернизм горой) и очень удачный. Всегда приятно отвлечься от текста, чтобы прочитать свифтовское «Все хотят долго жить, но стареть не желает никто». Под стать Свифту и доктор Сэмюэл Джонсон: «Огурец следует тонко нарезать, поперчить, полить уксусом — а затем выбросить за ненадобностью». Это вовсе не упражнение в абсурдизме (хотя абсурдизм как раз неплохо чувствовал себя в эпоху рационализма). Это мудрое наблюдение за нашей бурной активностью при достижении целей, которые нам, мягко выражаясь, не совсем ясны.

«Афористам» в антологии отлично помогают «лексикографы». Юмористы и сатирики всех времен испытывали искушение посостязаться с теми, кто составляет всевозможные словари — тут пародисту великое раздолье. И в настоящей антологии отражены попытки такого состязания. Сэмюэл Джонсон, впрочем, сам был профессиональным лексикографом, и кому как не ему были ведомы тонкости этого особого вида искусства. Джордж Бернард Шоу не оформлял свои афоризмы в виде иронического словаря, но его определения, вроде «Мученичество — это единственный способ стать знаменитым, не имея способностей» или «Газета — это печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и крушением цивилизации», так и просятся в словарь. Менее известен у нас кумир американских интеллектуалов первой трети XX века Генри Менкен, представленный своим «Джазовым Вебстером». У него газета — «способ сделать невежественных людей еще более невежественными, а безумных — еще более безумными». Какая юмористическая антология обойдется без упоминания тещи, и составитель вполне элегантно ликвидирует этот пробел с помощью менкеновского «Самоубийство — запоздалое признание правоты тещи».

Огорчительно, однако, что по неким причинам в книгу не попали еще два великих «лексикографа». И если отсутствие Оскара Уайльда, вероятно, можно объяснить тем, что свои блестящие афоризмы он вкладывал в уста героев собственных пьес, то «неявка» Бирса непонятна. Автор «Словаря Сатаны» при всей своей мизантропии сделал вклад в развитие американской сатиры, который трудно переоценить.

Впрочем, для антологии важнее не отсутствующие, а присутствующие. И в этом плане она являет собой раздолье имен и талантов. Это и великолепная когорта английских юмористов, группировавшихся вокруг «Панча», и блестящая плеяда американских острословов, писавших для получившего известность в 20-е журнала «Нью-Йоркер». Правда, одной коротень-

кой публикации неподражаемой Дороти Паркер, наверное, недостаточно, чтобы по достоинству оценить силу таланта писательницы, которую в 20—30-е годы всерьез считали самой остроумной женщиной Америки. Но «Ничего смешного» — не единственный сборник, где публиковались переводы этого мастера.

Совершенно по-новому выглядит Арт Бухвальд. В брежневские времена могло сложиться впечатление, что это убежденный марксист-ленинец, подобно Майку Куину бичующий язвы американской псевдодемократии, — по крайней мере таким он выглядел в нашей периодике: брали что выгодно, да и за права не платили. Но вот в сборнике А. Ливерганта мы увидели совсем нового Бухвальда — остроумного, изобретательного, блестяще откликающегося на злобу дня.

«Ничего смешного» содержит много находок, способных убедить, что не Шоу единым славна английская юмористика и не Твеном — американская. Твена, кстати, тоже не позвали на пир острословия, скорее всего из-за того, что его и так много печатают. Тем не менее антология, повторяю, интересна как раз теми, кто в ней присутствует. А это и Фрэнк Салливен с Вуди Алленом, и Джон Коллинз Сквайр с Патриком Кэмпбеллом, и многие, многие другие. А главное — это американец Джеймс Тэрбер, который удивительно удачно сочетал в себе английскую культуру подтекста с американским гротеском.

Но собрать антологию — это еще полдела. Надо ее перевести. Как известно, среди многих определений юмора есть и такое: «Юмор — это то, что остается при переводе с одного языка на другой». В этом смысле юмор сродни поэзии: его ориентированность на стиль и нюансы не выносит приблизительности. Антология «Ничего смешного» хорошо переведена, и хотя, наверное, можно спорить о частностях, в ней есть тон, вкус, стиль, а это самое важное.

Итак, творения английских и американских острословов стали достоянием русской культуры. Каждый, наверное, найдет в этой книжке что-то полезное для себя, но, на мой взгляд, интересней другое. Как видно из книги, граждане Соединенных Штатов и Соединенного Королевства сказали немало смешного, горького и едкого по поводу того, что происходит в их родных странах. Но если принять во внимание, сколько эти страны сделали для мировой цивилизации, картина и вовсе покажется впечатляющей — могучий союз острого слова и несокрушимого дела.

С. БЕЛОВ

ТРЕТЬЯ ИМПЕРИЯ: КАЖДОДНЕВНЫЙ АД

Виктор Клемперер. Свидетельствовать до конца. Из дневников 1933—1945. Перевод с немецкого Е. Маркович. М., Издательская группа «Прогресс», 1998

Эта книга увидела свет в Германии в 1995 году — через несколько десятилетий после того, как была написана, и через тридцать пять лет после смерти автора (1965). Издание стало бестселлером, появились переводы на другие языки, много рецензий. Посмертно Виктор Клемперер был удостоен премии имени Ханса и Софи Шолль[1] города Мюнхена. Теперь избранное из этих весьма обширных дневников вышло и в России следом за публикацией перевода его книги «LTI. Язык третьего рейха. Записные книжки филолога».

Почти все, кто писал о дневниках Клемперера, сравнивали их с «Дневником Анны Франк», и такое сопоставление более чем естественно. С той разницей, что в данном случае автор — зрелый человек, гораздо лучше разбиравшийся в сути происходящего и способный глубже осмыслить масштабы несчастья, которое Гитлер навлек на Германию. Кроме того, это человек рафинированной культуры, получивший образование в университетах Мюнхена, Берлина, Женевы и Парижа, прекрасно владеющий пером. Виктор Клемперер был специалистом по романской и германской филологии, автором ряда монографий по истории французской и немецкой литературы. С 1920 года он жил в Дрездене, занимал должность ординарного профессора Высшего технического училища. Но с приходом нацистов к власти благополучному профессорскому существованию пришел конец. Для Клем-

[1] Ханс Шолль (1918—1943), Софи Шолль (1921—1943) — создатели антифашистской молодежной организации, казненные гитлеровцами.

перера, еврея по национальности, начались беспросветные будни изгоя — в обществе, где не осталось места тем идеалам, что вдохновляли великих мыслителей, которые являлись объектом его исследований. Мало помогли ученые заслуги и даже то, что во время первой мировой войны он добровольцем ушел на фронт. В 1935 году Клемперера увольняют с работы согласно «Закону о государственных служащих», принятому 7.4.1933 г., хотя и до этого в училище его фактически бойкотировали: приходилось читать лекции одному-двум слушателям. Затем следует выселение из недавно построенного собственного дома; вместе с женой-«арийкой» их принудительно водворяют в общежитие, именовавшееся «еврейским домом», потом — еще два переезда, в другие «еврейские дома». Ученый отбывает трудовую повинность и приобретает новые профессии: упаковщика чая, потом рабочего на картонажной и бумажной фабриках. До крушения гитлеровского режима на долю Клемпереров выпадает еще одно страшное испытание — разрушительная бомбардировка Дрездена 13 февраля 1945 года.

И все эти годы Виктор Клемперер ведет дневники, жена через верных людей помогает переправлять заполненные тетради в надежные места. Таким образом все написанное удается сохранить. Ведение дневника, в котором содержались резкие оценки идеологии и политики фашистских властей, уже само по себе было несомненным подвигом. Легко вообразить, что грозило бы автору, если бы такие материалы были обнаружены. 8 февраля 1942 года Клемперер записывает: «Страх, что моя писанина однажды может довести меня до концлагеря, и в то же время чувство, что делать эти записи — мой долг, моя жизненная задача, моя профессия». О том, как он понимает смысл этой «жизненной задачи», автор размышляет постоянно: «Наблюдать все до последней детали, записывать, не спрашивая, удастся ли когда-нибудь использовать эти записи, посчастливится ли им выйти в свет»; «Из позорных и безумных деяний национал-социалистов я выбираю и описываю только те, с которыми у меня, тем или иным образом, имеются личные точки соприкосновения. Все остальное можно прочесть в газетах»; «Я записываю только самое ужасное, фрагменты безумия, в которое мы все погружены»; «В этой нотной тетради лежат последние листы моего дневника. Сегодня их увезут. Но я продолжаю писать. Это — *мое* геройство. Я хочу свидетельствовать, хочу оставить *точные* свидетельские показания!»; «Речь идет не о крупных событиях, а о буднях тирании, о буднях обычно забывают. Тысяча комариных укусов хуже, чем один удар по голове. Я наблюдаю и описываю комариные укусы...»

Именно то, о чем часто забывают, о чем нельзя прочитать в газетах и что не попадает в «большую» историю, составляет главную ценность книги Клемперера. То, как глобальные процессы отражаются на повседневной жизни конкретных людей и в их умах, как самые жестокие, античеловеческие идеи заражают души масс и какие испытания выпадают на долю жертв этих идей.

Первые год-полтора после установления гитлеровской диктатуры Клемперер, как и многие его друзья и знакомые, твердо рассчитывал, что нацистский режим недолговечен: «...повсюду, или почти повсюду, ощущается теперь проблеск надежды. Так *не может* долго продолжаться». Одна из записей подобного рода, сделанная в апреле 1933 года, носит полуанекдотический характер: передавая мнение одного своего знакомого, что «французы-де нас освободят», Клемперер прокомментировал это так: «...я действительно верю, что они сюда придут, и очень многие... будут приветствовать их как освободителей». Ожидание близких перемен появилось и после «ночи длинных ножей», когда Гитлер расправился с высшим командованием штурмовых отрядов, конкуренции с которыми опасались и сам фюрер, и генералы рейхсвера. Клемперер и многие другие воспряли духом, видя, что «они друг друга пожирают», но чуда не случилось. Периоды надежд чередовались с периодами отчаяния. В связи с «юбилеем» гитлеровского режима он пишет: «*Три года!* А может затянуться и на сто лет». В сущности, из-за подобных колебаний настроения Клемперер и пропустил момент, когда еще можно было покинуть страну, эмигрировать. Потом это стало невозможно. Самым жестоким разочарованием для Клемперера и его единомышленников явилось то, что немцы в своей массе поддержива-

ли Гитлера: «Мои убеждения касательно немецкой нации и прочих национальностей стали шататься, как зубы во рту у старика». В записях первых лет войны, когда Германия одерживала быстрые победы, автор стремился противостоять всеобщему ликованию, охватившему страну: «И все же мы можем, *должны и можем* не верить иллюзии, что Англия и Франция позволят себя уничтожить».

Характерно, что с самого начала автор дневников сопоставляет фашистский режим с коммунистическим, находя в них общие черты. Так, еще в 1933 году он отметил: «...для меня в конечном итоге национал-социализм и коммунизм тождественны: оба материалистичны и склонны к тирании, оба презирают и отрицают свободу духа и индивида». Высказывания такого рода не единичны, правда, это не помешало автору после окончания войны — и, очевидно, под впечатлением национальной катастрофы — вступить в компартию и принимать от властей ГДР награды и почести.

Виктор Клемперер — в отличие от подавляющего большинства своих соплеменников — остался жив, эпопея жизни (а вернее — страданий и прозябания) в третьей империи завершилась. О германском фашизме написаны сотни книг, тысячи статей. Казалось бы, известно все. Но дневниковые записи Клемперера доказывают, что это не так. Перед нами документ, поражающий своей подлинностью, в котором ничего не искажено, не подправлено, не приукрашено, как это бывает с позднейшими воспоминаниями. Свидетельства такого рода редки и потому особенно ценны для потомков.

Л. ГИНЦБЕРГ

ФЕДЕРИКО АНДААЗИ

Благочестивые

Federico Andahazi. Las piadosas

Plaza & Janes, 1999

Молодой аргентинский писатель Федерико Андаази стал широко известен на родине и за рубежом благодаря своему роману — бестселлеру «Анатом». Его новая книга также привлекла внимание не только аргентинцев, но и всех, кому интересна личность лорда Байрона. Впрочем, главный герой книги не он, а доктор Полидори — скромный секретарь великого поэта. Находясь в окружении Байрона, Перси Биши Шелли и Мери Шелли, он и сам был не чужд творчества: его повесть «Вампир» была написана почти за сто лет до знаменитого «Дракулы». Героинями романа Ф. Андаази стали три «благочестивые» сестры Полидори, вдохновившие его на создание повести. Тропою зла они привели скромного литературного секретаря в ад, каким является творческая слава, — быть автором «Вампира».

МАРИЯ ЭСТЕР ДЕ МИГЕЛЬ

Денди при дворе короля Альфонса

Maria Esther de Miguel. Un dandy en la corte del rey Alfonso

Planeta, 1999

Одна из самых читаемых в Аргентине писательниц Мария Эстер де Мигель (в прошлом монахиня, сельская учительница и директор Национального фонда искусств) среди прочих тем обращается к аргентинской истории. Герой ее нового романа, сразу же попавшего в списки бестселлеров, — Фабиан Гомес-и-Анхорена, реально существовавший аристократ из Буэнос-Айреса, родившийся в середине прошлого века, — отправляется жить в Европу. Там он держится на равных с флорентийской и парижской знатью, а также с членами испанского королевского двора в изгнании и даже становится близким другом короля Альфонса XII. Дабы описать мадридский период жизни персонажа, автор сама совершила путешествие в Испанию. Историческая достоверность романа несомненна, ибо писательница строго следует правилу ограничивать рамки художественного вымысла при воссоздании облика реальных лиц и событий прошлого.

ХАНИФ КУРЕЙШИ

Близость

Hanif Kureishi. Intimacy

Scribner, 1999

Новый роман известного английского писателя Ханифа Курейши вызвал оживленную реакцию в прессе. «Причиняя кому-то боль, ты волей-неволей вступаешь с ним в близость», — так рассуждает герой этой повести Джей, собирающийся навсегда расстаться со своей возлюбленной и их общими маленькими детьми. Книга представляет собой внутренний монолог Джея — хронику его душевного кризиса. По мнению рецензентов, «печальная красота этих строк, внезапно открывающих читателю глаза на истинную природу человека, спасает повесть от риска превратиться в очередную мрачную интроспекцию».

СТИВЕН УОТСОН

Готовьтесь к святым: Гертруда Стайн, Вирджил Томпсон и популяризация американского модернизма

Steven Watson. Prepare For Saints: Gertrude Stein, Virgil Thompson and the Mainstreaming of American Modernism

Random House, 1999

Стивена Уотсона называют виртуозом от литературоведческой журналистики. По мнению критиков, его книга 1991 года «Странные соседи по постели: первый американский авангард» стала непревзой-

денным образцом исторических монографий, систематизирующих и анализирующих сложные явления литературы и искусства. Хроникальные обзоры соседствуют со словариками жаргона, малоизвестные фотографии — с подлинными статьями из прессы тех лет. В новой книге Уотсон приложил тот же метод к одному из решающих моментов в судьбе модернизма — истории создания оперы «Четверо святых в трех актах», поставленной в 1934 году. Ее либретто писала Гертруда Стайн, а музыку — Вирджил Томпсон. Именно с этой оперы началась эра театрального авангарда в США.

ЭЛЛЕН ЛУИЗА ХАРТ, МАРТА НИЛ СМИТ

Эмили Дикинсон: Раскрывай меня осторожно (интимные письма к Сьюзен Хантингтон Дикинсон)

Open Me Carefully: Emily Dickinson's Intimate Letters to Susan Huntington Dickinson

Ed.by Ellen Louise Hart and Martha Neil Smith

Paris Press, 1999

Биографы Эмили Дикинсон сломали немало копий, споря о подлинной истории взаимоотношений Эмили Дикинсон с женой ее брата Остина — Сьюзен. Если верить легендам, они были близкими подругами, но затем вдруг рассорились на целых пятнадцать лет. Впрочем, именно Сьюзен обмыла тело Эмили, когда та скончалась. Составители данного сборника писем (сюда же включено более двух десятков стихотворений, которые ранее не было принято связывать с именем Сьюзен) придерживаются мнения, что Эмили и Сьюзен весьма близко общались в течение длительного времени вплоть до смерти поэтессы, ежедневно обмениваясь «стихописьмами» (по выражению Сьюзен). Более того, по мнению Харт и Смит, Сьюзен выполняла роль «первого читателя» произведений Эмили — об этом свидетельствуют немногие уцелевшие послания самой Сьюзен.

ПАМЕЛА НЕВИЛЛ-СИНГТОН

Фанни Троллоп: жизнь и приключения умной женщины

Pamela Neville-Sington. Fanny Trollop: The Life and Adventures of a Clever Woman

Viking, 1998

Фанни Троллоп вошла в историю прежде всего как мать известного английского писателя Энтони Троллопа. Менее известно, что она и сама была писательницей — и не только. Финансовые затруднения и жизненные разочарования вынудили Фанни Троллоп — к тому времени мать шестерых детей — искать счастья в Америке. Но и там все ее смелые предприятия, например создание парка аттракционов, совмещенного с театром, музеем и торговым центром, успеха не имели. Находясь на грани разорения, она решается написать книгу о своем американском путешествии... и в 53 года просыпается знаменитой. За два последующих десятилетия она выпустила более 40 книг — в основном романы. По мнению рецензентов, биографу удалось передать дух эпохи и характеры персонажей. Не отрицая всей сложности отношений Энтони Троллопа с его матерью, Невилл-Сингтон все же высказывает предположение, что Фанни стала прототипом одной из самых обаятельных его героинь — Гленкоры Паллистер.

■

■ ИСПАНИЯ

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ИСТОРИИ

В море можно найти все что угодно, заметил в свое время Дж. Конрад. Лауреат многих премий Мануэль Висент нашел в средиземноморских водах источник вдохновения, фон, на котором разворачиваются события в его новом романе «Они — морские» (издательство «Альфагуара»), а в конечном счете — и очередной литературный успех. Он стал лауреатом авторитетной премии «Альфагуара» за роман, которая присуждается в этом году во второй раз.

Премия размером в 175 тысяч долларов была вручена в мадридском литературном кафе «Хихон» в присутствии известных испанских и латиноамериканских писателей, журналистов, издателей и кинематографистов. Поздравить коллегу пришли Фернандо Дельгадо, Марио Бенедетти, Эльвира Линдо, Роса Регас (член жюри) и — что особенно почетно — Нобелевский лауреат Г. Гарсиа Маркес, а также министр образования и культуры Мариано Рахой.

Как отметило жюри, такую высокую оценку Мануэль Висент получил не только как романист, но и как журналист. Уже долгие годы он является неизменным автором крупнейшей мадридской газеты «Паис» и виднейшей фигурой в испанской публицистике последних десятилетий.

Что касается достоинств романа-призера, то их немало. Повествование начинается весьма интригующе: «В августовское воскресенье в два часа пополудни в водах бухты появилось тело Улисса Адсуара». Жив он или мертв, читателям предстоит решать в конце романа. Пока же их ждут другие впечатляющие открытия: главный персонаж со столь красноречивым мифологическим именем воскресает из того самого моря, что поглотило его десять лет назад, а теперь возвратило, уступив силе чувства тосковавшей по возлюбленному женщине.

Вот как объясняет иносказательность этой истории сам автор: «Такое — то есть исчезновение и возвращение — может случиться не только на море, но и на асфальтовой тверди любого города. Расстаются и через много лет встречаются бывшие сокурсники, супруги, любовники... Тонуть и всплывать можно по-разному... Масса «утонувших» бродит по улицам в поисках берега, где их ждут и всегда узнают их любимые».

Мануэль Висент принимает поздравления от генерального директора издательской группы «Сантильяно» Исабель де Поланко и Г. Гарсиа Маркеса

■ ИТАЛИЯ

СОВЕТНИК ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ «СВИНЬИ»

Опубликованный недавно респектабельным издательством «Эйнауди» роман «Согласно объявлению» стоил его автору, Фабрицио Рондолино, многообещающей политической карьеры. Член группы советников при премьер-министре Массимо Д'Алема, трудившийся на ниве создания имиджа главы правительства, стал жертвой слишком ревностных стражей общественной нравственности.

В итальянской прессе замелькали сообщения о том, что роман содержит «вульгарно-непристойные» сцены, и это было признано несовместимым с политической деятельностью автора. Странно, что печатное слово вызвало столь бурную реакцию в стране, где бывший член парламента, знаменитая порнозвезда Чиччолина, грозится вернуться в политику.

Ф. Рондолино использовал разгоревшуюся полемику, чтобы яростно наброситься на пуританство итальянской политической системы и выступить в защиту свободы слова. В своих многочисленных интервью и статьях он, в частности, говорил, что в издательских кругах полно «свиней», которые «трясутся над своей политической девственностью», а из-за присущей им агрессивной ментальности они готовы подозревать любого, решившегося на откровенность, в грязном расчете. Возмутитель спокойствия отказался от своего поста, решив полностью посвятить себя литературному труду. Возможно, на этом поприще его ждет больший успех: ведь опубликованная два года назад первая книга Ф. Рондолино — «Такая

хорошая должность» — получила престижную премию «Монделло» за лучший литературный дебют.

■ США

ВСЕ СЛЕЗЫ МИРА В ОДНОЙ КНИГЕ

Крокодиловы слезы, слезы радости, слезы умиления, счастья, боли, страдания и волнения. Человек приходит в этот мир под собственный плач, а уходит под плач близких. Этот естественный для человека способ выражать всевозможные эмоции исследует в своей не менее эмоциональной книге «Слезы: культуроведческий экскурс в историю плача» (издательство «Нортон») профессор Томас Лутц. Его обзор поистине широк, ведь первые, иконографические изображения плачущих относятся к XIV веку до нашей эры.

Плачущие персонажи — не редкость в мировой классике; в частности, автор обращается за примерами к произведениям Гомера и Шекспира. С появлением кинематографа слезы перекочевали на экран, положив начало слезливым мелодрамам, а с приходом телевидения отдельные мелодрамы разрослись до целых сериалов — «мыльных опер». Как констатирует Томас Лутц, ныне без слез, образно говоря, не обходится ни высокое искусство, ни народное творчество.

ЕЩЕ ОДНА ЛОЛИТА

История знаменитой «Лолиты» известна всему миру. Бесконечная череда разоблачительных статей, скандалов и судебных процессов преследует набоковскую героиню. Не успели отгреметь сражения в связи с выходом на экраны фильма Адриана Лайна, как разразился очередной скандал в Италии. Молодая писательница Пиа Пера опубликовала «Дневник Ло» — историю Гумберта и Лолиты, увиденную глазами самой нимфетки. Крупнейшие издательства Европы и Америки уже скупили было права на издание книги, когда в дело вмешался сын Набокова Дмитрий с угрозой подать в суд за кощунственное отношение к произведению отца и за плагиат. И вот новая сенсация. Известный мастер юмора и политической сатиры — американская писательница Эмили Прейгер выпустила в издательстве «Рэндом хаус» роман «Роджер Фишбайт», язвительную и обескураживающую пародию на «Лолиту» Набокова. Рассказчиком выступает сама «жертва» домогательств со стороны отчима — 15-летняя Лаки Леди Линдерхоф, которая находится в тюрьме для малолетних преступников в ожидании суда: ее обвиняют в убийстве.

Современная Лолита, в отличие от своей литературной предшественницы, далеко не наивна. Девочка хорошо разбирается в жизни окружающих ее взрослых (а это, главным образом, алкоголики и извращенцы, любители «нимфеток»). Отец оставил семью много лет назад, мать — пьяница, которая влюбляется в жильца (заявленного в названии Роджера Фишбайта) и начинает ревновать его к дочери. Отослав дочь подальше, в пансионат, она выходит замуж за Фишбайта, однако новоиспеченный муж и отчим убивает ее и отправляется с падчерицей в интимное путешествие, всячески балуя девочку и склоняя ее к сожительству. Впрочем, этот противоестественный союз длится недолго: Фишбайт изменяет своей «Лолите» с малолетней красоткой фотомоделью, за что ему приходится поплатиться жизнью.

Эмили Прейгер стремится вызвать у читателя шок, и это ей удается. Роман изобилует мрачными подробностями в описании опасностей, которые поджидают детей на каждом шагу. Никто не забыт: ни похищенные подростки, ни дети, подвергающиеся насилию дома, ни маленькие рабы и проститутки из Азии, ни малолетние преступники... Главная героиня постоянно является объектом нездорового внимания со стороны практически любого мужчины — будь то дворник, учитель, держатель пансиона или очередной дружок матери. Сорок пять лет спустя после набоковской «Лолиты» слова о «более счастливом поколении в более безопасном мире» могут вызвать у Лаки лишь горькую усмешку.

■ ФРАНЦИЯ

НЕОЖИДАННЫЙ БАЛЬЗАК

Весь 1999 год прошел во Франции под знаком 200-летнего юбилея Оноре де Бальзака. Этому событию посвящались

Молодой Бальзак

выставки, конференции, многочисленные публикации в литературных журналах, на полках книжных магазинов появились новейшие переиздания произведений писателя. Казалось бы, о Бальзаке известно все или почти все и изучены все документы, имеющие отношение к его жизни и творчеству. Тем приятнее стал сюрприз, ожидавший посетителей замка Туари на юге страны, — в картинной галерее владельца замка впервые был выставлен на обозрение карандашный рисунок, изображающий молодого, веселого и еще вполне беззаботного писателя. Этот портрет, авторство которого не установлено, был случайно найден в семейном архиве виконта Поля де ля Пануза. В настоящее время виконт известен главным образом как основатель крупнейшего зоологического парка страны, но его предки занимали видное место в государственной и культурной жизни Франции. Среди бесценных сокровищ, обнаруженных в 55 сундуках семейного архива, — свидетельства 9 столетий европейской истории, в том числе 500 писем испанского короля Филиппа V и бумаги министра финансов Франции времен Людовика XV. Однако самой неожиданной находкой стал портрет Бальзака, к которому было приложено письмо Огюста Родена, датированное июлем 1894 года. Это письмо создателя многочисленных скульптурных портретов писателя адресовано прадеду Поля де ля Панузу. В нем скульптор благодарит графа Анатоля за возможность ознакомиться с рисунком. Кроме того, Роден сообщает, что сфотографировал портрет и просит разрешения

передать фотографию брюссельскому коллекционеру, собиравшему все связанное с жизнью Бальзака.

■ ЯПОНИЯ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ УСПЕХ МОЛОДОГО АВТОРА

Вихрем ворвался в современную японскую литературу 22-летний Кэйитиро Хирано, удостоенный престижнейшей премии им. Акутагавы за свой роман «Затмение». За три-четыре недели сразу после присуждения премии книга разошлась тиражом более 400 тысяч экземпляров, что вознесло ее молодого автора на литературный Олимп страны. В Японии в столь молодом возрасте подобного успеха добивались лишь Юкио Мисима и Кэндзабуро Оэ.

«Затмение» — это история странствий молодого монаха XV века, пересекающего Южную Францию на пути во Флоренцию. В этом «романе воспитания» главный герой посвящается в тайны алхимии и любви, присутствует на судебном процессе над ведьмой и принимает самое непосредственное участие в различных приключениях, которые способствуют его духовному росту. Критики высоко оценивают роман Кэйитиро Хирано и особо подчеркивают сложную структуру книги и столь нечастую для японской прозы черту, как использование идеограмм.

По материалам газет «Монд» (Франция), «Паис» (Испания), «Стампа-Туттолибри» (Италия), журнала «Ньюсуик» (США).

Книги, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров журнала «Л'Экспресс» (Франция) от 14 ноября 1999г.

1. **Amélie Nothcomb.** STUPEUR ET TREMBLEMENTS
2. **Jean Echenoz.** JE M'EN VAIS
3. **Alexandre Jardin.** AUTOBIOGRAPHIE D'UN AMOUR
4. **Jean d'Ormesson.** LE RAPPORT GABRIEL
5. **Jean Rouaud.** SUR LA SCENE COMME AU CIEL
6. **Elizabeth Georges.** UNE PATIENCE D'ANGE
7. **John le Carré.** SINGLE ET SINGLE
8. **Michael Connelly.** LE DERNIER COYOTTE
9. **Michael Cunningham.** LES HEURES
10. **Patricia Cornwell.** LA GRIFFE DU SUD

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1999 год
№ 1 – 12

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Апдайк Джон — Бек и щедроты шведов *(Рассказ. Перевод с английского И. Бернштейн)*, № 9.

Бакли Кристофер — Здесь курят (*Роман. Перевод с английского Сергея Ильина*), № 11, 12.

Бальмонт К. Д. — см. Торренте Бальестер Гонсало, № 2.

Барикко Алессандро — Шелк (*Роман. Перевод с итальянского Геннадия Киселева*), № 6.

Барнс Джулиан — Краткая история парикмахерского дела (*Рассказ. Перевод с английского Л. Мотылева*), № 10.

Барт Джон — Конец пути (*Роман. Перевод с английского и послесловие В. Михайлина*), № 5.

Батлер Роберт Олен — Три рассказа из книги «Таблоидные фантазии» (*Перевод с английского М. Гальпериной*), № 4.

Беллоу Сол — На память обо мне (*Рассказ. Перевод с английского Л. Беспаловой*), № 2.

Каррер Эмманюэль — Усы (*Роман. Перевод с французского Ирины Волевич*), № 4.

Клер Рене — Китайская принцесса (*К 100-летию со дня рождения. Повесть. Перевод с французского А. Брагинского*), № 3.

Клима Иван — Рассказы (*Перевод с чешского Н. Шульгиной и В. Каменской. Вступление Н. Шульгиной*), № 3.

Кнапп Радек – Франек (*Рассказ. Перевод с немецкого Е. Соколовой. Вступление Станислава Лема*), № 11.

Мулиш Харри – Симметрия (*Рассказ. Перевод с нидерландского С. Белокриницкой*), № 11.

Памук Орхан — Черная книга (*Роман. Перевод с турецкого Веры Феоновой. Предисловие Б. Дубина*), № 6.

Рой Арундати — Бог Мелочей (*Роман. Перевод с английского Л. Мотылева*), № 7, 8.

Савинио Альберто — Мопассан и «Другой» (*Эссе. Перевод с итальянского и вступление Г. Киселева*), № 10.

Сарамаго Жозе — Каменный плот *(Роман. Перевод с португальского А. Богдановского)*, № 9, 10.

Саррот Натали — Откройте (*Фрагменты книги. Перевод с французского и вступление И. Кузнецовой)*, № 5.

Тар Шандор — Рассказы (*Перевод с венгерского Ю. Гусева. Вступление Петера Эстерхази*), № 8.

Томас Дилан — Рассказы (*Перевод с английского и вступление Е. Суриц*), № 12.

Торренте Бальестер Гонсало — Дон Хуан (*Роман. Перевод с испанского Н. Богомоловой)*, № 1, 2.

К. Д. Бальмонт — Тип Дон Жуана в мировой литературе, № 2.

Туррини Петер — Всё, наконец (*Монолог. Перевод с немецкого Л. Бухова*), № 12.

Шмидт Арно — Гадир, или Познай самого себя (*Рассказ. Перевод с немецкого и вступление Т. Баскаковой*), № 7.

Эко Умберто — Остров Накануне (*Роман. Перевод с итальянского и вступление Елены Костюкович*), № 2, 3.

Этвуд Маргарет — Та самая Грейс (*Фрагменты романа. Перевод с английского И. Янской. Вступление Н. Пальцева*), № 4.

СТИХИ

Акико Ёсано — «О богиня Медуза, молю...» (*Стихи. Перевод с японского и вступление Е. Дьяконовой*), № 10.

Галчинский Константы Ильдефонс — Стихи (*Перевод с польского и вступление А. Гелескула*), № 9.

Дероше Альфред — см. Из канадской поэзии, № 5.

Земянин Адам — Стихи из цикла «Польские коврики» (*Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой*), № 7.

Иган Десмонд — Стихи (*Перевод с английского и вступление А. Кудрявицкого*), № 3.

Из канадской поэзии. **Эмиль Неллиган. Альфред Дероше** (*Перевод с французского Р. Дубровкина. Вступление И. Кузнецовой)*, № 5.

Из книги «Лучшие американские стихи 1998 года» (*Перевод с английского и вступление Г. Кружкова*), № 11.

Ихан Алойз — Стихи (*Перевод со словенского Жанны Гилёвой. Вступление Надежды Стариковой*), № 4.

Каменьская Анна — Стихи (*Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой*), № 2.

Неллиган Эмиль — см. Из канадской поэзии, № 5.

О'Нил Юджин — Стихи (*Перевод с английского В. Рогова)*, № 1.

Пилински Янош — Стихи. Фрагменты интервью (*Переводы с венгерского Н. Горской, Е. Малыхиной. Вступление Е. Малыхиной)*, № 8.

Ракуза Ильма — Стихи из книги «Перечеркнутый мир» *(Перевод с немецкого Е. Соколовой. Вступление М. Шишкина)*, № 9.

Реверди Пьер — Стихотворения в прозе (*Перевод с французского и вступление Алины Поповой*), № 12.

Хасс Роберт — Стихи из книги «Солнце сквозь лес» (*Перевод с английского и вступление Глеба Шульпякова*), № 6.

Яндль Эрнст — Стихи (*Перевод с немецкого и вступление В. Куприянова*), № 10.

ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ

Целан Пауль — Псалом (*Переводы с немецкого. Вступление Н. Мавлевич*), **Лаку-Лабарт Филипп** — Молитва (*Перевод с французского Н. Мавлевич*), № 12.

ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА

Мистраль Габриела — Стихи (*Перевод с испанского и вступление Н. Ванханен*), № 4.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

«Бамбук шелестит под осенним ветром...» *Из старинной китайской поэзии* (*Перевод с китайского и вступление Ильи Смирнова*), № 6.

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

Иллюстрации Арнольда Гары к «Евгению Онегину», № 6.

Парини Джузеппе — см. Хлодовский Руф, № 6.

Риго Бела — Пушкин и Йокаи (*Эссе. Перевод с венгерского Т. Воронкиной*), № 6.

Хлодовский Руф — Пушкин и Парини. *О возможном источнике замысла романа «Евгений Онегин»*. **Джузеппе Парини** — Фрагменты поэмы «День» (*Перевод с итальянского Евгения Солоновича*), № 6.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

«RUSSKAYA KLASSIKA», № 1.
XX ВЕК: СТОП-КАДР, № 2.
ЖИЗНЬ КАК РОМАН, № 3.
МИРЧА ЭЛИАДЕ: ОДИССЕЙ В ЛАБИРИНТЕ, № 4.
ИСЧЕЗАЮЩИЙ ТЕКСТ, № 5.
XX ВЕК: СТОП-КАДР-2, № 6.
ГЕРТРУДА СТАЙН, ИЛИ АМЕРИКАНКА В ПАРИЖЕ, № 7.
«СЛОВО — БЕССЛОВЕСНЫМ», № 8.
БОРХЕС, ИЛИ ИСТОРИЯ БЕСКОНЕЧНОСТИ, № 9.
КНИГА И/ИЛИ КОМПЬЮТЕР, № 10.
ЖИЗНЬ КАК РОМАН-2, № 11.
ТЕНЬ НАБОКОВА, № 12.

Андерсон Шервуд — Творчество Гертруды Стайн (*Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина*), № 7.

Аннинская М. — Творивший легенды. **Борис Виан** — Квартира в наперстке (*Рассказ. Перевод с французского М. Аннинской*), № 11.

Барнс Джулиан — Вспышка (*Рассказ. Перевод с французского Л. Мотылева*), № 1.

Барнс Джулиан — см. Современники о Борхесе. № 9.

Бартелми Доналд — В музее Толстого (*Рассказ. Перевод с английского С. Белова*), № 1.

Беллоу Сол — Литературные заметки о Хрущеве (*Перевод с английского Людмилы Мотылевой*), № 6.

Блум Харольд — см. Современники о Борхесе, № 9.

Бодар Люсьен — «Совершенный» человек (*Перевод с французского А. Николаевой*), № 6.

Борхес Хорхе Луис — Из книг «Расследования» (*Перевод с испанского В. Кулагиной-Ярцевой*), «Земля моей надежды», «Атлас», «Личная библиотека» (*Перевод с испанского Б. Дубина*), № 9.

Борхес Хорхе Луис — Память Шекспира (*Новелла*). **Рикардо Пилья** — Чужая память (*Перевод с испанского Б. Дубина*), № 9.

Бурмистрова Людмила, Борис Дубин — Неистощимые строки, № 9.

Бустос Домек Орасио (Хорхе Луис Борхес, Адольфо Бьой Касарес) — Из книги «Шесть задач для дона Исидро Пароди» *(Перевод с испанского Н. Богомоловой)*, № 9.

Буццати Дино — Осколки невозможного (*Перевод с итальянского Н. Кулиш*), № 6.

Бьяджи Энцо — Конец империи (*Перевод с итальянского М. Архангельской*), № 2.

Валенте Хосе Анхель — см. Современники о Борхесе, № 9.

Вальехо Сесар — Парижские хроники (*Перевод с испанского П. Грушко*), № 2.

Ваше Жак — см. Дубин Сергей, № 11.

Вейете Пьер — Смерть Франко (*Перевод с французского Н. Малыхиной*), № 6.

Виан Борис — см. Аннинская М., № 11.

Визель Михаил — Гипертексты по ту и эту стороны экрана, № 10.

Во Ивлин — Коронация 1930 года (*Перевод с английского А. Михайлина*), № 2.

ГАЛЕРЕЯ «ИЛ», № 1, 5, 7, 10.

Генис Александр — Книга книг. *Комментарий к одному изобретению*, № 10.

Гертруда Стайн: краткая летопись жизни и творчества, № 7.

Грин Грэм — Еретик от марксизма (*Перевод с английского В. Горностаевой*), № 6.

Д'Аннунцио Габриеле — см. Кормильцев Илья, № 11.

Дубин Борис — Борхес в свои сто: знакомый и неизвестный. № 9.

Дубин Борис — см. Бурмистрова Людмила, № 9.

Дубин Сергей — «Самоубитые обществом»: Риго, Ваше, Краван. **Жан Риго** — Э. Л. **Жак Ваше** — Письма с войны. **Артюр Краван** — Оскар Уайльд жив! (*Рассказ. Переводы с французского С. Дубина*), № 11.

Зюскинд Патрик — Германия, климакс (*Перевод с немецкого Э. Венгеровой*), № 6.
Кессель Жозеф — Комедия сухого закона (*Перевод с французского Н. Кулиш*), № 2.
Кинбот Чарльз — Серебристый свет. *Подлинная жизнь Владимира Набокова* (*Начальные главы романа. Перевод с английского и послесловие С. Ильина*), № 12.
Клех Игорь — Нисхождение автора, № 8.
Конвицкий Тадеуш — Post scriptum (*Перевод с польского К. Старосельской*), № 6.
Конинг Ханс — Заметки о XX веке (*Перевод с английского Н. Калошиной под редакцией О. Варшавер*), № 2.
Копкинд Эндрю — Стать взрослым в эру Водолея (*Перевод с английского С. Силаковой*), № 6.
Коркуэра Артуро — Стихи (*Перевод с испанского П. Грушко*), № 8.
Кормильцев Илья — Сказка о Мальчике, которому до поры до времени везло. *Судьба Ежи Никодема Косинского.* **Ежи Косинский** — По поводу «Раскрашенной птицы»: заметки автора (*Перевод с английского Ильи Кормильцева*), № 3.
Кормильцев Илья — Три жизни Габриеле Д'Аннунцио. **Габриеле Д'Аннунцио**. Речь, произнесенная с балкона Капитолия 17 мая 1915 года (*Перевод с итальянского И. Кормильцева*). Ноктюрн. (*Фрагмент романа. Перевод с итальянского С. Герье под редакцией А. Смирнова*). № 11.
Корнель Петер — Пути к раю (*Комментарии к потерянной рукописи. Перевод со шведского Ю. Яхниной. Вступление Милорада Павича*), № 5.
Кортасар Хулио — Жизнь Эдгара Аллана По (*Перевод с испанского Н. Богомоловой*). **Эдгар Аллан По** — Из «Маргиналий» (ноябрь 1844 — июль 1849) (*Перевод с английского Л. Мотылева*), № 3.
Косинский Ежи — см. Кормильцев Илья, № 3.
Краван Артюр — см. Дубин Сергей, № 11.
Кузнецов Сергей — Рождение Игры, смерть Автора и виртуальное письмо, № 10.
Кузьмин Дмитрий — Краткий катехизис русского литературного Интернета, № 10.
Кутзее Дж. М. — Осень в Петербурге (*Роман. Перевод с английского С. Ильина*), № 1.
Лезер Ларри — Битва под Москвой. Декабрь 1941-го (*Перевод с английского А. Соколинской*), № 2.
Лесьмян Болеслав — Кукла (*Стихотворение. Перевод с польского А. Гелескула*), № 8.
Лондон Джек — Из военной корреспонденции (*Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина*), № 2.
Лоуренс Т. Э. — Перемены на Востоке (*Перевод с английского А. Нестерова*), № 3.
Маруяма Кэндзи — В небе снова радуга (*Рассказ. Перевод с японского Григория Чхартишвили*), № 8.
Медведев Алексей — Перехитрить Набокова, № 12.
Меллоу Джеймс Р. — Зачарованный круг, или Гертруда Стайн и компания (*Главы из книги. Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина*), № 7.
Милош Чеслав — Из книги «Родная Европа» (*Перевод с польского К. Старосельской*), № 2. Мирча Элиаде: краткая летопись жизни и творчества. № 4.
Михеев Алексей — Вокруг, около и вместо, № 5.
Мюлле Шарль — см. Ребу Поль, № 1.
Набоков Владимир — Убедительное доказательство. *Последняя глава из книги воспоминаний (Перевод с английского С. Ильина)*, № 12.
Найпол Видиа С. — После Революции (*Перевод с английского О. Варшавер*), № 6.
Нестеров А. — Князь мятежа. *История Лоуренса Аравийского*, № 3.
Нодье Шарль — Записки Жирафы из зоологического сада. *Письмо к возлюбленному в пустыню* (*Перевод с французского и вступление Веры Мильчиной*), № 8.
Окампо Виктория — Беседа с Борхесом (*Перевод с испанского Е. Лысенко)*, № 9.
Орсенна Эрик — Два лета (*Повесть. Перевод с французского Т. Бунтман и А. Дегтярь*), № 12.
Павич Милорад — Дамаскин (*Новелла для компьютера и плотничьего циркуля*). Стеклянная улитка (*Предрождественская повесть. Перевод с сербского Н. Вагаповой)*, № 10.
Пенсон Жан-Клод — Стихи (*Перевод с французского Е. Туницкой*), № 1.
Пильх Ежи — Монолог из норы (*Повесть. Перевод с польского К. Старосельской*), № 1.
Пилья Рикардо — см. Борхес Хорхе Луис. № 9.
Пирпонт Клодия Рот — Мать утраты смыслов. *Гертруда Стайн как первооткрывательница литературного модернизма (Перевод с английского В. Михайлина)*, № 7.
По Эдгар Аллан — см. Кортасар Хулио, № 3.
Попов Евгений — Отсутствие отсутствия, № 5.
Ребу Поль, Шарль Мюлле — Из книги «В стиле...» (*Перевод с французского А. Богдановского*), № 1.
Риго Жан — см. Дубин Сергей, № 11.
Родригес Монегаль Эмир — Соавторы и помощники (*Перевод с испанского Е. Лысенко*), № 9.
Рубо Жак — Осел (*Стихотворение. Перевод с французского Михаила Яснова*), № 8.
Руменс Кэрол — Стихи (*Перевод с английского А. Кудрявицкого*), № 1.
Сабато Эрнесто — см. Современники о Борхесе, № 9.
Сарло Беатрис — см. Современники о Борхесе, № 9.
Современники о Борхесе: **Эрнесто Сабато, Бе-**

атрис Сарло, Джулиан Барнс, Харольд Блум, Хосе Анхель Валенте, Сьюзен Сонтаг (*Переводы В. Кулагиной-Ярцевой, Б. Дубина*), № 9.
Сонтаг Сьюзен — см. Современники о Борхесе, № 9.
Сонтаг Сьюзен — Сцена письма (*Рассказ. Перевод с английского М. Гальпериной*), № 1.
СРЕДИ КНИГ, № 5.
Стайн Гертруда — Париж Франция (*Фрагменты книги. Перевод с английского Т. Казавчинской*), № 7.
Стайн Гертруда — Тихая Лена *(Повесть. Перевод с английского В. Михайлина)*. № 7.
Старостина Анастасия — Камуфляж и откровение, № 4.
СТАТЬИ, ЭССЕ, № 1.
Унамуно Мигель де — Легенда о затмении (*Перевод с испанского П. Грушко*), № 2.
Фишер Тибор — Коллекционная вещь (*Роман. Перевод с английского А. Ливерганта*), № 8.
Хорхе Луис Борхес: краткая летопись жизни и творчества, № 9.
Чоран Эмиль — Мирча Элиаде *(Перевод с французского Анастасии Старостиной)*, № 4.
Щепаньский Ян Юзеф — Логика террора (*Перевод с польского К. Старосельской*), № 6.
Юнгер Эрнст — Из книги «В стальных грозах» (*Перевод с немецкого А. Егоршева*), № 2.
Элиаде Мирча — Испытание лабиринтом. *Беседы с Клодом-Анри Роке (Перевод с французского Анастасии Старостиной)*, № 4.
Элиаде Мирча — Человек без судьбы... *Из книги «Воспоминания. I. Мансарда» (Перевод с румынского Анастасии Старостиной)*, № 4.
Эмис Мартин — Джон Леннон: от «битла» до «домохозяйки» (*Перевод с английского В. Горностаевой*), № 6.
Эпштейн Михаил — Книга, ждущая авторов, № 5.

ЭПИСТОЛЯРИЙ

«Храни меня в своем сердце!» (К 250-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте)
Зигрид Дамм — «Ах, но ты же не оставишь меня одну!».
Кристиана и Гёте: из семейной переписки (*Перевод с немецкого Г. Косарик*), № 11.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Уэллс Герберт — Фрагменты автобиографии (*Главы из книги «Герберт Уэллс в любви». Предисловие Дж. П. Уэллса. Перевод с английского Р. Облонской*), № 10.
Хеллман Лиллиан — Сырой материал. *Мемуары (Главы из книги. Перевод с английского М. Кан*), № 9.

СТАТЬИ, ЭССЕ

Волгин Игорь — Из России — с любовью? «*Русский след» в западной литературе*, № 1.
Генис Александр — Без языка. *Эзра Паунд*, № 9.
Злобина Алена — Зеркало. *Шекспир на московской сцене и вокруг*, № 11.
Круглый стол «Французская литература выходит из чистилища» (*Составление и перевод с французского Натальи Мавлевич*), № 10.
Сарамаго Жозе — О том, как герои учат автора ремеслу. *Нобелевская лекция 1998 года* (*Перевод с португальского А. Богдановского*), № 4.
Сырбу Ион Д. — Упражнения в ясности (*Фрагменты книги «Журнал журналиста без журнала». Составление и перевод с румынского Татьяны Ивановой. Предисловие Кирилла Ковальджи*), № 6.
Шимборская Вислава — Необязательное чтение (*Перевод с польского К. Старосельской*), № 5.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

«Всех этих слов на русском нет...» (Круглый стол «ИЛ», посвященный переводу ненормативной лексики), № 7.

ГАЛЕРЕЯ «ИЛ»

Геташвили Нина — Гертруда Стайн и художники, № 7.
Живопись и графика в рамке монитора: немного истории, № 10.
Мокроусов Алексей — Осколки повседневного, № 2.
Мокроусов Алексей — Счастливый побег, или Время манекенов. *Жан Эльон и соблазны эпохи*, № 11.
Мокроусов Алексей — Музыка молчания, или Время зеркал, № 12.
Файбисович С. — Игра в бисер, № 1.
Юшкова Ольга — «Ожидание» Лючио Фонтана, № 5.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Злобина Алена — Возвращение на землю, № 1.

СРЕДИ КНИГ

Белов С. — О пользе огурца и правоте тещи, № 12.
Венедиктова Т. — Роман воспитания — 90-е, № 3.
Визель Михаил — Прореха в ткани бытия, № 11.
Виноградова А. — Неолиризм, № 12.
Гинцберг Л. — Третья империя: каждодневный ад, № 12.

Гондович Ян — Химеры на страницах книг, № 5.
Дубин Борис — Атака на границу, № 4.
Дубин Борис — Приручeнная бесконечность словаря, № 11.
Зверев Алексей — «Друг друга отражают зеркала», № 11.
Зверев Алексей — Круговая оборона, № 4.
Зверев Алексей — Набоков на кафедре, № 9.
Зенкин С. — Новый и старый Сирано, № 3.
Зенкин С. — Жорж Батай между возможным и невозможным, № 7.
Злобина Алена — Постмодернизм с другим лицом, № 4.
Мавлевич Н. — Иллюзия подлинного, № 3.
Ромашко Сергей — Памятник несостоявшейся дружбе, № 9.
Соколова Елизавета — Имя против любви. № 9.

АНКЕТА «ИЛ»

Мировая литература: круг мнений. На вопросы анкеты отвечают **Евгений Попов, Лев Рубинштейн** (№ 2); **Владимир Корнилов, Михаил Рощин** (№ 6); **Татьяна Толстая** (№ 8).

У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ, № 1—12.

КУРЬЕР «ИЛ», № 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

Анкета для читателей, № 12.
Памяти Андрея Сергеева, № 2.

«АНГЛИЯ» Британские книги

МОСКВА, Хлебный пер., 2/3, м. Арбатская. Тел.: (095) 203-5802
С.-ПЕТЕРБУРГ, Набережная р. Фонтанки, 40. Тел.: (812) 279-8284

Часы работы: **пн., вт., ср., пт. с 10 до 19**
чт. с 10 до 20
сб. с 10 до 18,
вс. с 11 до 17
без перерыва

РЕГУЛЯРНО В КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

- Авторские чтения
- Лекции специалистов и ведущих переводчиков по английской и американской литературе
- Детские праздники
- Английский дискуссионный клуб и многое другое

Информацию о наших мероприятиях вы можете получить
по телефонам: 203-58-02 и 203-44-03

Мы также выполняем индивидуальные заказы на любые книги, изданные в Великобритании и в США

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОТЕКАМ И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ДИЛАН ТОМАС (DYLAN THOMAS; 1914—1953) — английский поэт и прозаик, родом из Уэльса. Автор поэтических сборников «18 стихотворений» («18 Poems», 1934), «Двадцать пять стихотворений» («Twenty-five Poems», 1936), «Карта любви» («The Map of Love», 1939), «Смерти и входы» («Deaths and Entrances», 1946), «Приключения со сменой кожи» («Adventures in the Skin Trade», 1955), автобиографической повести «Портрет художника в щенячестве» («Portrait of the Artist as a Young Dog», 1940; русский перевод частично опубликован в 1997 г.), пьесы «Под сенью Молочного леса» («Under Milk Wood», 1954, рус. перев. 1988) и др. В «ИЛ» печатались стихи Дилана Томаса (1964, № 10).
Публикуемые рассказы взяты из книги Дилана Томаса «Collected Stories» (Everyman's Paperback, 1993).

ПЬЕР РЕВЕРДИ (PIERRE REVERDY; 1889—1960) — французский поэт, автор 14 поэтических сборников, среди которых «Стихотворения в прозе» («Poèmes en prose», 1915), «Овальная отдушина» («La lucarne ovale», 1916), «Переодетые жокеи» («Les jockeys camouflés», 1918) и др., а также ряда статей о живописи.
На русском языке стихи П. Реверди печатались в антологиях «Западноевропейская поэзия XX века» (1977), «Поэзия Европы» (1977) и в сборнике «Я пишу твое имя, Свобода!» (1968). «Мысли о поэзии» Реверди опубликованы в сборнике «Писатели Франции о литературе» (1978).
Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Стихотворения в прозе» («Poèmes en prose». Paris, impr. de Birault, 1915) и «Стеклянные лужицы» («Flaques de verre». Paris, Gallimard, 1929).

ПЕТЕР ТУРРИНИ (PETER TURRINI; род. в 1944 г.) — австрийский драматург, прозаик, публицист. Автор пьес «Охота на крыс» («rozznjogd», 1967), «Убийство ребенка» («Kindsmord», 1973), «Граждане» («Die Bürger», 1982), «Смерть и дьявол» («Tod und Teufel», 1990) и др.; сценариев телесериалов «Альпийская сага» («Alpensaga», 1980), «Рабочая сага» («Arbeitersaga», 1988), сборника публицистики «Моя Австрия» («Mein Österreich», 1988).
Публикуемый монолог «Всё, наконец» («Endlich Schluss») был напечатан в журнале «Theater heute», 1997, № 7.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН (PAUL CELAN, наст. имя Пауль Лео Анчел; 1920—1970) — австрийский поэт, переводчик французской, английской, русской поэзии и прозы на румынский и немецкий языки. Родился в Черновицах (Румыния), жил в Бухаресте, Вене, с 1948 г. — в Париже; автор книг «От порога к порогу» («Von Schwelle zu Schwelle», 1955), «Ничья роза» («Die Niemandsrose», 1963), «Световолие» («Lichtzwang», 1970), «Снежная часть» («Schneepart», 1971) и др. Переводы стихов Целана на русский язык публиковались в антологиях («Западноевропейская поэзия XX века», 1977 и др.). П. Целану был посвящен отдельный выпуск рубрики «Портрет в зеркалах» («ИЛ», 1996, № 12).

ФИЛИПП ЛАКУ-ЛАБАРТ (PHILIPPE LACOUE-LABARTHE; род. в 1940 г.) — профессор философии и эстетики Страсбурского университета, представитель новейшей французской философии. Помимо книги «Поэзия как опыт» («La poésie comme expérience», 1986), глава из которой публикуется в номере, ему принадлежат работы «Типография I» («Typographies I», 1979), «Типография II» («Typographies II», 1986), «Политический вымысел» («La fiction du politique», 1987), «Хайдеггер, искусство и политика» («Heidegger, l'art et la politique», 1990), «Нацистский миф» («Le mythe nazi», в сотрудничестве с Ж.-Л. Нанси, 1991) и др.

НАБОКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1899—1977) — русско-американский писатель; родился в Петербурге. С 1919 года в эмиграции: жил в Англии, Германии, Франции, где печатался под псевдонимом Сирин. После переезда в США (1940) начал писать по-английски и публиковаться под собственной фамилией. В 60-е годы поселился в Швейцарии, где прошли последние годы его жизни. Написанные на русском языке книги В. Набокова «Защита Лужина» (1930), «Камера обскура» (1933), «Приглашение на казнь» (1936), «Дар» (1937), «Николай Гоголь» (1944), «Другие берега» (1954) и др. опубликованы в нашей стране. В «ИЛ» напечатаны роман «Пнин» (1989, № 2), рассказы «Второй режиссер» (1993, № 12), «Сёстры Вейн» (1997, № 5), а также переводы Набокова из Мюссе и Рембо (1987, № 5); роман «Лолита» опубликован в Библиотеке «ИЛ» (1989).
Публикуемая последняя глава мемуарной книги «Убедительное доказательство» («Conclusive Evidence») была напечатана с сокращениями в журнале «Нью-Йоркер» (1999, № 1).

ЭРИК ОРСЕННА (ERIC ORSENNA; род. в 1946 г.) — французский писатель, лауреат Гонкуровской премии (за роман «Колониальная выс-

тавка», «Exposition coloniale», 1988). Печатается с начала 70-х годов. С 1983 по 1986 г. был советником президента Франции по культуре. Автор романов «Жизнь как в Лозанне» («La vie comme à Lausanne», 1977, премия Роже Нимье), «Французская комедия» («Une comédie française», 1980), «Большая любовь» («Grand amour», 1993) и др. Повесть «Два лета» («Deux étés») печатается по изданию Paris, Librairie Arthème Fayard, 1997.

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (род. в 1969 г.) — учился во ВГИКе на режиссерском факультете; журналист, переводчик. Работал в журналах «Премьер», «Пари-матч», в газете «Время МН».

МОКРОУСОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1965 г.) — литературный критик, автор статей по изобразительному искусству. В 1991—1996 гг. вел раздел «Книжный шкаф» в журнале «Огонек». Печатался в журналах «Современная драматургия», «29», «Московский наблюдатель». В «ИЛ» были опубликованы статьи «Бестселлер: русский акцент» (1994, № 7), «Траектория шляпы» (1997, № 2), «Шепоты и крики» (1997, № 6) и др. Постоянный автор рубрики «Галерея «ИЛ».

■ Переводчики:

Е. СУРИЦ (БОГАТЫРЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА) — переводчик с английского, французского, немецкого и скандинавских языков. В ее переводе издавались романы «Доводы рассудка» Дж. Остин, «Повелитель мух» У. Голдинга, «Консервный ряд» Дж. Стейнбека, «Пан» К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана, «Записки Мальте Лауридса Бригге» Р. М. Рильке (Библиотека «ИЛ», 1988). В «ИЛ» в ее переводе напечатаны романы «Я в замке король» С. Хилл (1978, № 1, 2), «Миссис Дэллоуэй» (1984, № 4) и «Орландо» (1994, № 11) В. Вулф, «Пирамида» У. Голдинга (1996, № 3), «Между небом и землей» С. Беллоу (1998, № 4), «Чтение в темноте» Ш. Дина (1998, № 8), пьесы разных лет С. Беккета (1996, № 6) и др. Лауреат премии «ИНОЛИТ» (1994).

ПОПОВА АЛИНА ИОСИФОВНА — аспирантка кафедры французской литературы университета Париж-VIII. Живет в Санкт-Петербурге. Переводит с французского и английского языков. Стихи Пьера Реверди — ее первая публикация в области художественного перевода.

БУХОВ ЛЕОНАРД СЕМЕНОВИЧ (род. в 1925 г.) — переводчик с польского и немецкого языков. В его переводе публиковались и ставились в театрах пьесы «Эмигранты», «Стриптиз», «Летний день», «Портрет» С. Мрожека, «Мария» И. Иредыньского, «Тихая ночь» Г. Мюллера; изданы рассказы С. Мрожека, повесть «My Sweet Raskolnikow» Я. Гловацкого. В «ИЛ» опубликованы в его переводе роман «Начало, или Прекрасная пани Зайденман» А. Щиперского (1992, № 2), фрагменты книги «Три дамы К. рассказывают истории» Х. Зандер (1993, № 3), пьесы «Любовь в Крыму» С. Мрожека (1994, № 10), «Племянник Вольтера. Мистификация в стиле Дидро» Х. М. Энценсбергера (1998, № 7), рассказы Д. Дёрри (1997, № 11), рассказы и эссе Я. Гловацкого (1998, № 2).

МАВЛЕВИЧ НАТАЛИЯ САМОЙЛОВНА — переводчик с французского. В ее переводе публиковались «Сказки кота Мурлыки» М. Эме, «Портреты-воспоминания» Ж. Кокто (Библиотека «ИЛ», 1985); в «ИЛ» печатались также «Песни Мальдорора» Лотреамона (1993, № 1), романы «Перелом» А. Сарразен (1993, № 10,11), «Голубчик» Э. Ажара (1995, № 7), «Путь в один конец» Д. Ван Ковелера (совместно с Г. Зингером; 1996, № 3), рассказы Б. Виана и др.

ИЛЬИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1948 г.) — переводчик с английского. В его переводе издавались написанные по-английски романы и рассказы В. Набокова; «Король былого и грядущего» Т. Х. Уайта, «Волшебная сказка Нью-Йорка» Д. П. Донливи; «Каббала» Т. Уайлдера; «Чернее некуда» Н. Марш; «Вообрази себе картину» Дж. Хеллера («ИЛ», 1998, № 2), «Наша банда» Ф. Рота; «Осень в Петербурге» Дж. М. Кутзее («ИЛ», 1999, № 1).

■

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Два с половиной года назад, в юбилейном, пятисотом номере «Иностранной литературы» мы обратились к Вам с просьбой ответить на несколько вопросов. Попытка установить обратную связь увенчалась успехом: редакция получила сотни писем с отзывами о нашей работе — как положительными, так и критическими. Теперь нам хотелось бы продолжить диалог, и мы предлагаем Вам новую анкету:

1. С какого года Вы читаете «ИЛ»?

2. Какие публикации последних двух-трех лет Вы считаете наиболее удачными?

3. Назовите наши наименее удачные публикации.

4. Считаете ли Вы, что за последние годы журнал стал: лучше, хуже, содержательнее, скучнее...

(Подчеркните нужное или, по возможности, дайте свое определение. Прокомментируйте Ваше мнение.)

5. Наш журнал начинает издавать книжное приложение. Произведения каких зарубежных авторов Вы хотели бы в нем видеть?

6. **И немного о себе: возраст, пол, образование, профессия и все, что сочтете важным и интересным.**

Заполненную анкету нужно вырезать и отправить в редакцию; если же Вы, например, читаете журнал в библиотеке, мы охотно примем Ваши ответы и без анкетного бланка.

В конкурсе участвуют письма, отправленные до 1 марта 2000 года.

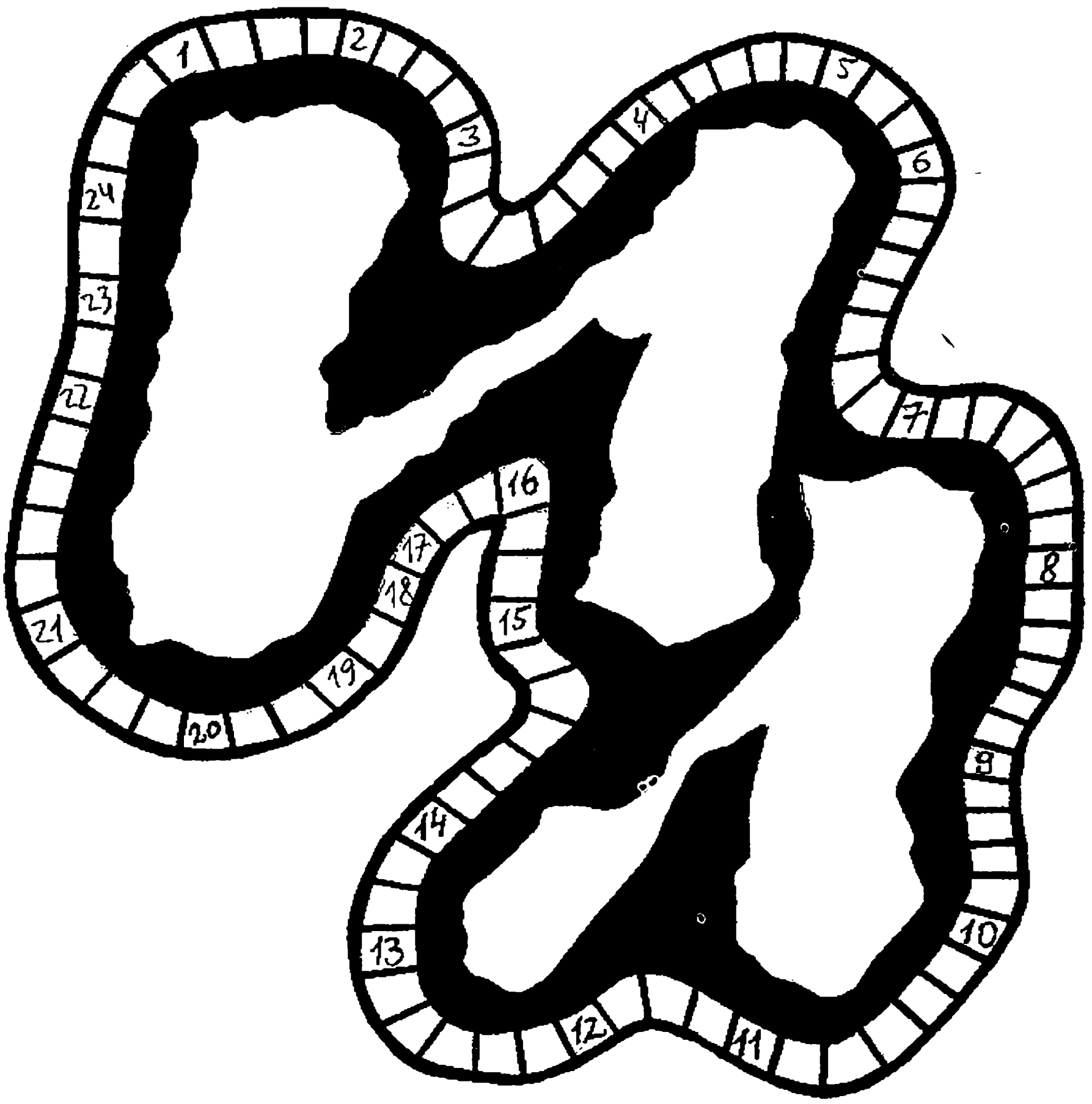
Благодарим Вас за участие в анкете.

**Среди тех, кто пришлет ответы на нашу анкету,
мы разыграем 10 книжных комплектов,
куда войдут три первых тома нашей книжной серии.**

**А шанс получить дополнительный приз появится
у читателей,
разгадавших наш чайнворд.
Среди них будут разыграны 10 бесплатных подписок на 2001 год.**

ЧАЙНВОРД

для внимательных читателей «ИЛ»



1. Роман, публикация которого в «ИЛ» вызвала такие читательские отклики: «Бред сумасшедшего», «Чтение заумных идиотов», «У вас надежный дебильный состав редакции».

2. Немного французского солнца.

3. Путешественник с томиком Страбона.

4. Автор романа, название которого состоит из двух местоимений и одного союза.

5. Ромен Гари (псевдоним).

6. Вообразите его картину.

7. Русский писатель, герой рассказа английского писателя.

8. Лауреат Нобелевской премии (имя).

9. Ферма. Кролики.

10. Не Агата.

11. Английский писатель венгерского происхождения с немецкой фамилией.

12. Один из главных редакторов «ИЛ».

13. Вернон Салливен (настоящая фамилия).

14. Знаменитый энтомолог.

15. Том, Томас, Тобиас...

16. Полвека в Исаакиевском соборе.

17. Лауреат Нобелевской премии (фамилия).

18. Лучший (он же худший) автор «ИЛ» по итогам предыдущего читательского опроса.

19. Джойс, но не Джеймс.

20. «Все вы — потерянное поколение» (автор высказывания).

21. Тринидадский писатель.

22. Французский литературный журнал.

23. Йозеф, Филип...

24. «Моя другая жизнь» (автор книги).

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

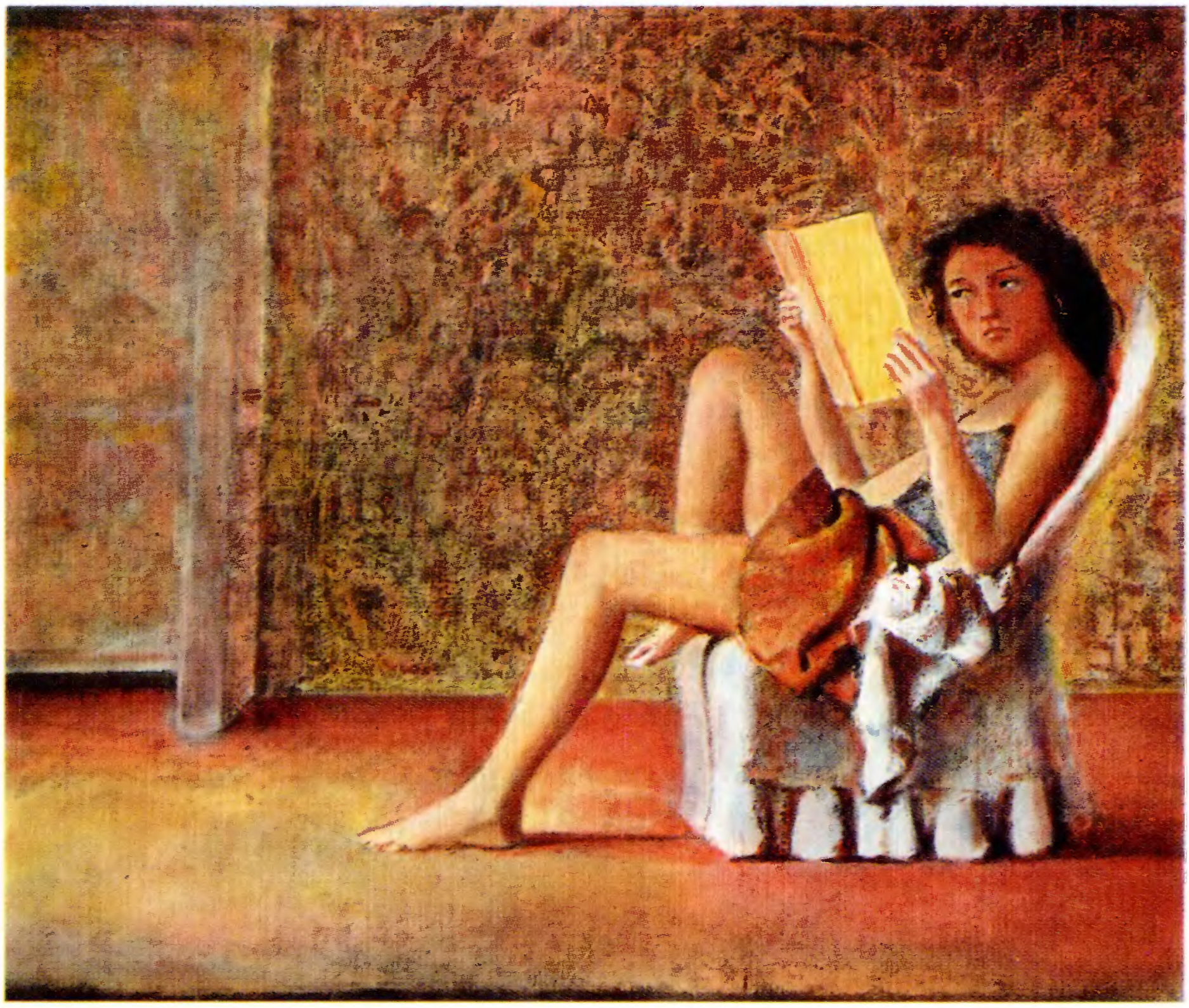
галерея
линия-арт

Среди ведущих
авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**

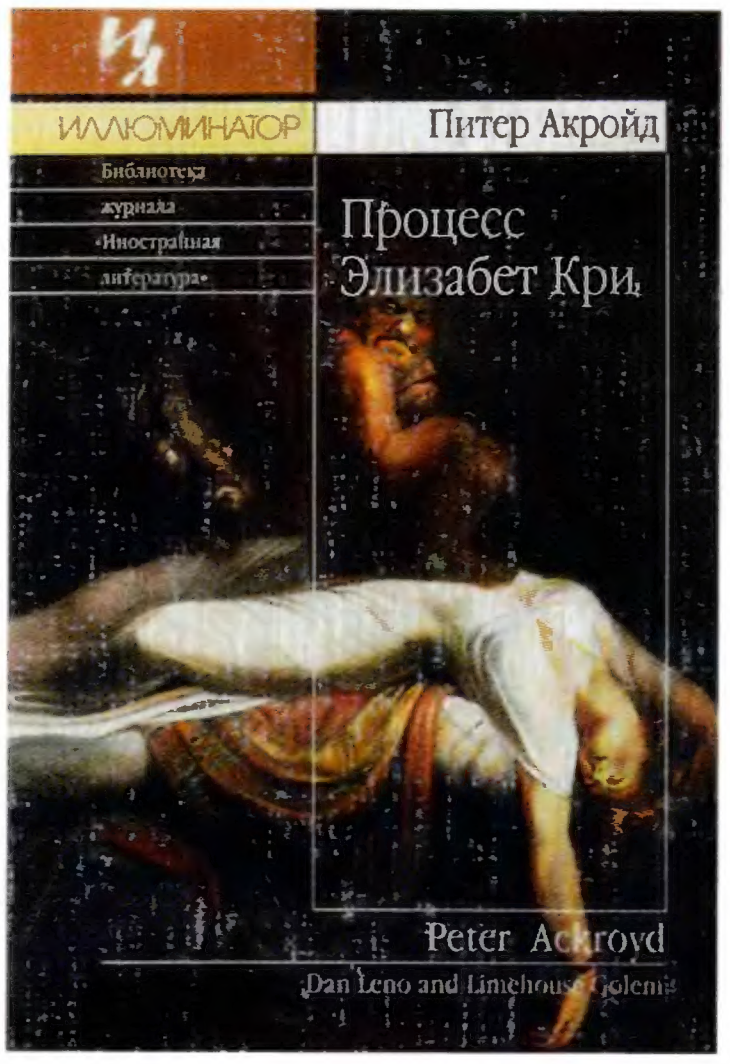


Внимание!

Возобновляется выпуск

БИБЛИОТЕКИ ЖУРНАЛА

«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»



В нашей новой

книжной серии

«ИЛЛЮМИНАТОР»

ЧИТАЙТЕ

ЛУЧШИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В ЛУЧШИХ ПЕРЕВОДАХ

По вопросам оптовых закупок
обращаться
в редакцию журнала
«Иностранная литература»

Fax **(095) 953-5061**
E-mail **inolit@adicom.ru**

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература» 1999, №1
2, 1 — 256.